

Н О В Ы Й
М И Р

9

1960

1960

Н О В Ы Й
М И Р

1960

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 9

Сентябрь, 1960 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
АЛЕКСИС ПАРНИС — Остров Афродиты, пьеса в трех действиях. Авторизованный перевод с греческого Ю. Лукина и А. Столтидиса	3
К. ВАНШЕНКИН — Четыре стихотворения	41
НИКОЛАЙ ДУБОВ — Жесткая проба, повесть	43
И. ФРЕНКЕЛЬ — Червоный куток, стихотворение	85
И. ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь. Продолжение	87
М. СИМАШКО — Искушение Фраги, повесть	137
АЛЕКСАНДР КРОН — На ходу и на якоре (Впечатления)	155
Е. СТЮАРТ — Доверие, стихотворение	187
ХУАН РЕХАНО — Песни мира, стихи. Перевел с испанского М. Самаев	188
ПУБЛИЦИСТИКА	
ДМИТРИЙ РУДЬ — Вот наш путь	191
В МИРЕ НАУКИ	
Р. ПЕРЕСВЕТОВ — Загадочные приписки	205
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
<i>К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого</i>	
А. СЕРГЕЕНКО — Встречи с Толстым	213
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
<i>Обсуждаем проблемы современного романа</i>	
М. КУЗНЕЦОВ — Спор решит жизнь	236
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Гоффеншефер. Поэма о героях. — В. Огнев. Молодой поэт и его критика. — А. Берзер. Веселые рассказы. — З. Паперный. Смех Саши Черного. — М. Злобина. Мертвые остаются с живыми.	251

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	265
А. Шарков. Счастье и мир — народам!— В. Спасский. Словарь семилетки.— И. Миндлин, кандидат исторических наук. Надежный спутник.— А. Байкова, кандидат исторических наук. Заря над арабским Востоком.	

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Л. Фарбер. Алексей Яровицкий, революционер и писатель	275
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

АЛЕКСИС ПАРНИС

★

ОСТРОВ АФРОДИТЫ

Пьеса в трех действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ЛАМБРИНИ КИРЬЯКУЛИ
АНАСТАСИС
ТЕОФИЛИС
ГЛОРΙΑ ПАТТЕРСОН
ДЭВИ, ее сын
КЭТ, ее дочь
РАЛЬФ ОУЭНС, жених Кэт.
ЭДУАРД УИЛСОН
ДЖОРДЖ МАКЛЕЙ
РИЧАРД КИТС
НИКС ДЖОНСОН
ВИКИ, горничная

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Гостинная в вилле Оуэнса. В глубине сцены высокая двустворчатая дверь, ведущая в сад. Она раскрыта: видны колонны веранды, увитые плющом. Слева окно, справа дверь в комнаты. Дубовая лестница уходит вверх. В углу пианино. Около дивана телефон. В другом углу большие старинные часы — контраст по отношению ко всей мебели и утвари: креслам, маленькому книжному шкафу, шифоньерке, столу, люстре и радиоле. Это вещи современного стиля. На стенах картины: африканские пейзажи, виды джунглей, пирамиды, караваны. На полочках безделушки, статуэтки, ваза, миниатюрные изображения Будды, причудливые фигурки божков, вырезанные из дерева, чучела экзотических птиц. Над всем этим два огромных слоновых бивня.

Часы бьют семь. Но солнце еще высоко — августовский вечер. Вдалеке звук горна. Джордж Маклей, лысый шестидесятилетний мужчина, одетый в шотландский костюм, шагает по гостиной, перелистывая томик в золотистом переплете.

Джордж (*декламирует*). День-ночь, день-ночь
Мы идем по Африке.
День-ночь, день-ночь —
Все по той же Африке...

Вики (*входит с подносом*). Ваш кофе, сэр.

Право первой постановки принадлежит Государственному ордену Ленина Академическому Малому театру.

Джордж. Да, Киплинг бессмертен!.. Ты чувствуешь, Вики, какая упругая сила в его строфе? Но чтобы это как следует понять, его стихи надо читать только шагая, шагая, шагая... Как бы на марше! Вот так:

День-ночь, день-ночь
Мы идем по Африке.
День-ночь, день-ночь —
Все по той же Африке...

Мне кажется, например, что школьники легче усвоят Киплинга, если они будут заучивать его строки маршируя.

Вики. Прекрасная мысль, сэр. С вашего разрешения, сэр, это, наверно, было бы полезно не одним школьникам, но и дамам, которые заботятся о своей талии.

Джордж. Проказница!.. У тебя ум гораздо острее, чем можно было бы ожидать. (*Пытается обнять ее.*)

Вики. Боже мой, сколько раз я вынуждена была напоминать вам, сэр...

Джордж. Как тебе не стыдно, Вики! Я же только... ну... по-отечески... (*Покручивает усики.*) Ну ладно. Что делается в доме?

Вики. Мистер Дэви, как всегда, работает.

Джордж. Не могу все-таки понять: почему ты каждый раз начинаешь с Дэви? Когда спрашивают о доме, ты должна прежде всего сказать о госпоже. Служишь у Паттерсонов восемь лет и все никак не освоилась с элементарными требованиями этикета.

Вики. Госпожа уже давно вышла в сад, сэр.

Джордж. И мисс Паттерсон с ней?

Вики. Нет, молодая госпожа решила прогуляться по городу.

Джордж. Одна?

Вики. Одна.

Джордж. И вы отпустили ее? Вы разве не знаете, как это опасно?

Вики. Ведь мы всего несколько дней как приехали. Откуда же нам знать?

Джордж. Ох, уж эти лондонские гости! Они воображают, что Кипр — это все тот же древний остров Афродиты... благодатный остров, где из пены морской явилась миру богиня красоты и любви. А он давно уже, дорогая моя Вики, стал островом Марса, бога войны! Было время, действительно, — и я хорошо это помню! — когда все здесь дышало спокойствием... Каждое утро встречало нас тихой зарей...

Встала из мрака младая, с перстами пурпурными Эос...

Вики. Вы хорошо знаете греческий язык, сэр?

Джордж. Уже в молодости я владел им в совершенстве. А двадцать лет службы здесь помогли мне узнать не только язык. Я даже собираюсь писать книгу об этом острове.

Вики. О сэр! Вы дадите мне ее прочитать?

Джордж. Ты думаешь, тебя заинтересует такая тема?

Вики. Последнее время я очень много читаю. Мистер Дэви дает мне книги.

Джордж. И ты все понимаешь, что в них написано?

Вики. Если я не понимаю, он объясняет мне. Я ведь окончила только начальную школу, сэр, но он так понятно обо всем рассказывает... Он все может объяснить!

Входит Кэт. У нее в руках огромный арбуз.

Кэт. Дядя Джордж! Как видите, я вернулась с линии фронта без единой царапины. Мне захотелось увидеть настоящий греческий базар. Знаете, дядюшка, там есть один торговец вином — кстати, он очень кра-

сив... Он уверяет, что продает то самое вино, которое пил на Кипре Отелло, чтобы подкреплять силы и достойно провести свой медовый месяц с Дездемоной... *(Хочет.)* Я обязательно поведу Ральфа туда, где можно купить это вино. Мне хотелось бы сделать запас хотя бы месяца на два... А как вам нравится мой трофей?

В и к и. Какой громадный!

К э т. Он был взрезан и лежал на самом верху. Красная рана... Мне вспомнились мадридские торреро... Но у меня потекли слюнки, и вот он здесь.

Д ж о р д ж. Он был взрезан?!

К э т. Что вас так испугало, дядя?

Д ж о р д ж. Я слишком хорошо знаю, что здесь за люди. Им ничего не стоит упрятать в арбуз мину.

К э т. Но это совсем мирный арбуз! Убедитесь сами.

Д ж о р д ж. Бог мой! Осторожно! Я тебе еще раз повторяю: нельзя шутить такими вещами!..

К э т. Ну хорошо... Я вовсе не собираюсь превращать моего любимого дядюшку в миноискатель! Вики, отнеси на кухню. *(Вики уносит арбуз.)* Вы становитесь таким смешным, сэр, когда пугаетесь...

Д ж о р д ж. Ты здесь всего неделю. Ты ничего не знаешь... Расспроси-ла бы своего жениха. Хотя бы о том, почему я переселился к нему. Вообще он порасскажет тебе немало поучительных историй. Он-то за три года многого насмотрелся.

К э т. Достаточно того, что его письма были полны таких историй. Мне казалось, что я читаю военные сводки и от меня зависит его повышение по службе.

Д ж о р д ж. Ральф — настоящий джентльмен и прекрасный офицер. Великие идеалы...

К э т. ...помогли Ральфу стать таким, каким я и хотела его видеть. Молодым майором с розовыми щеками и большими перспективами.

Д ж о р д ж. Ральф получил повышение только благодаря своим заслугам... Известно ли тебе, например, какого опасного террориста ему удалось схватить всего месяц тому назад?

К э т. О! Что касается смелости Ральфа — тут мы не расходимся с вами, дядюшка. Ральф решителен и дерзок, как пират. Вероятно, это я в нем и люблю.

Д ж о р д ж. Ты не находишь, что стоило бы подбирать более удачные выражения, говоря о своем будущем муже?

К э т. Дядюшка готов потупить глаза, если правда предстает перед ним обнаженной?.. Можно подумать... Ах вы, милый старый лицемер! Или вы требуете покровов только для абстрактных понятий?.. Обнаженные женщины — ведь это вполне в вашем вкусе?

Д ж о р д ж. Как тебе не стыдно! Что за вульгарная манера разговаривать! Был бы жив твой отец... Он очень огорчился бы.

К э т. Но я же видела у вас в комнате такие открытки... Мне они тоже понравились. Правда, не все... Однако вы напрасно перешли к обороне! Никакой удар ни с тыла, ни с фланга вам не грозит. Перед вами не враг, а союзник!

Д ж о р д ж. Не болтай глупостей... Это... это произведения искусства!

К э т. А! Как досадно, что я так поздно об этом узнала... Тогда идемте скорей, посмотрим вместе все, все, что у вас там есть! Вы же знаете, милый дядюшка, как я люблю... искусство! *(Делает шаг к двери, ведущей в комнаты нижнего этажа.)*

Д ж о р д ж. Кэт!.. Прошу тебя... Ты уже не маленькая, перестань дурачиться... Будь же наконец серьезной... Хоть в чем-то! *(Быстро поворачивается и уходит. Кэт хочет.)*

Кэт. Держите его!.. Держите!.. Дядя Джордж! (*Поднимает оставленный Джорджем на кресле томик Киплинга.*) Вы забыли своего Киплинга! (*Идет вдогонку за Джорджем, маршируя, передразнивая его.*)

День-ночь, день-ночь
Мы идем по Африке...

Глория (*входит с веранды, неся букет цветов*). Кэт... Ты опять издеваешься над дядей Джорджем? Ты совсем забываешь о его возрасте.

Кэт. Эта привычка у меня с детства, мама! И я никак не могу от нее избавиться. Вся разница в том, что тогда мне доставляло удовольствие взъерошить и растрепать его напوماженную прическу... а теперь он облысел, и мне доставляет такое же удовольствие ерошить его напوماженную мораль!

Глория. Мораль дяди Джорджа безупречна.

Кэт. Старинный парик... Один из тех, что прикрывают миллионы английских лысин.

Глория. Отнеси цветы в комнату Ральфа.

Кэт. Не хочу. Я поссорилась с ним.

Глория. Что у вас опять произошло?

Кэт. Я просила его показать мне пленного киприота, которого он поймал... Я хочу наконец знать, что важнее Ральфу: я или его дурацкие служебные правила!

Глория. Ты понимаешь, о чем ты просила?

Кэт. Чему ты удивляешься, мама? Я оделась бы сестрой милосердия. Этот киприот ранен. Врач ведь ходит к нему. Каждый день делает перевязку.

Глория. Еще одна нелепая эксцентричность. Ральф совершенно прав.

Кэт. Он обещал показать мне на Кипре все...

Глория. Он и показывает тебе все... Наши прогулки очаровательны. Вспомни вчерашний вечер, когда мы взобрались на вершину горы. Развалины византийской церкви, розовые от заката, были удивительно хороши... Да... руины всегда надо смотреть вечером...

Кэт. Туда нас привел Китс, наш верный, добрый Китс...

Глория. Ты вспомнила о нем очень кстати. Мне кажется, этот верный, добрый Китс не должен забывать, что ты уже обручена. Он держит себя по отношению к тебе слишком свободно.

Кэт. Тебе кажется?.. Так вот что я тебе скажу, мама. Если мой жених не желает показать мне этого смертника сам, я попрошу об этом Китса. Лазурные заливы, древние колонны, горы — все это я уже видела. Теперь я хочу спуститься в темные подвалы Кипра. Я хочу увидеть человека, приговоренного к смерти!

Глория. У тебя странное пристрастие к тому, чем подобает заниматься мужчинам.

Кэт. Да! Господь бог совершил ошибку, наделив мужским характером твою дочь, а женским — сына. Дэви...

Глория. Дэви избрал для себя путь ученого... И все говорит за то, что он прибавит нечто новое к славе имени Паттерсонов. Дэви, несмотря на свою молодость, уже занял неплохое место в мире науки...

По лестнице спускается Дэви, протирая очки и иронически улыбаясь.

Дэви. Не знаю, какое место я занял в мире науки, но вот то место, что отведено мне здесь, никак не может способствовать моим скромным усилиям, так сказать, что-то сделать... Все время какой-нибудь шум. То море, то люди. Чего стоит один этот горн в соседней казарме...

Г л о р и я. Мы привезли тебя сюда, Дэви, не для того, чтобы ты здесь работал. Прерви свои занятия хоть на время. Пока мы здесь, на этом острове... Отдохни!

Д э в и. Но мне просто некогда отдыхать! Мне нужно так много сделать, так много успеть, мама. Мне нельзя было отрываться от срочных занятий и ехать сюда ради всяких в конце концов, так сказать, пустяков...

К э т. Пустяков? Свадьба сестры для тебя пустяки?

Д э в и. Нет, я говорю не о свадьбе... А о твоих, так сказать, капризах... Да, вот именно: о твоём капризе. Ну почему тебе взбрело в голову устраивать свадьбу непременно тут?!

Г л о р и я. Не забывай, Дэви, что место службы Ральфа здесь, на этом острове.

Д э в и. Да ведь Ральфа вот-вот переведут в генеральный штаб. Вполне можно было бы отпраздновать свадьбу и в Лондоне. Однако, как и пужно было ожидать, Кэт настояла на своём. Как приятно потом рассказывать о бракосочетании на фронте, в окопах, когда из-за каждого холма в тебя целятся террористы и на каждом шагу подстерегает тысяча опасностей!..

К э т. Интересно, старшие братья всегда так брюзжат?

Г л о р и я. Когда у тебя будет своя семья, Кэт, ты будешь еще скучать и по брюзжанию брата, и по нотациям матери... по дому, из которого ты уходишь в жизнь.

К э т. Ухожу...

Г л о р и я. Мне как-то не верится, что, когда мы вернемся в Лондон, откроется дверь и кто-то скажет: «Добро пожаловать... миссис Оуэнс!» А мисс Паттерсон уже не будет существовать...

К э т. А мисс Паттерсон уже не будет... Никогда...

Г л о р и я. Никогда... Какое это печальное слово для матери... Ни-ког-да... Это слово бессильно только перед памятью. Память помогает нам хотя бы на время вернуть то, что ушло... Дэви...

Д э в и. Да, мама?

Г л о р и я. Ты помнишь наш сад в Калькутте?.. Помнишь, как отец подарил тебе живого маленького слоненка? Ты помнишь?

Д э в и. Что-то помню... Очень смутно, мама...

К э т. А я совсем не помню Индию...

Г л о р и я. Ты была еще в пеленках, когда мы оттуда уехали... А вот Каир ты должна уже хорошо помнить...

К э т. Каир я помню. Конечно. И пирамиды. И пыль. И солнце — как желток в коктейле. И страх. Я очень боялась бедуинов. Даже к верблюдам я привыкла быстрее. *(Смеется.)* Но взбиралась на них только тогда, когда рядом был Дэви...

Г л о р и я. Ты всегда любила Дэви. И он тебя.

Д э в и. Я ведь там сочинил нашу семейную песенку... Сколько мне было? Десять?.. Правда, мама?

Г л о р и я. Да... да...

Д э в и. Помнишь, родственники, друзья предсказывали мне после этого блестящую карьеру композитора. А я, так сказать, назло им, стал самым заурядным ученым. Моцарта из меня не вышло... Да, удивительное все-таки лицемерие... Расхваливать такую глупую песенку!

Г л о р и я. Все, что было в детстве, может показаться взрослому человеку глупеньким. Даже рубашечки, которые он носил, даже чепчики с кружевами... *(Обнимает его.)* Ах, дети, дети... Давайте-ка вспомним нашу песню! Ну, Дэви, начинай...

Д э в и садится за пианино. К э т становится рядом с ним. Мать опирается на их плечи.

Дэви (*поет*). Наша славная семья
В глубь веков идет,
Из глубокой древности
Она свой род ведет...

Но в том заслуга наша
И тем мы хороши,
Что все всегда любили
Друг друга от души...

Все вместе. Что все всегда любили
Друг друга от души...

Внезапно замолкают.

Глория. А дальше? Почему вы замолчали?

Кэт взглядом показывает на дверь веранды. Там стоит пожилая женщина в черном.

Глория. Что это за женщина?

Кэт. Я попросила Ральфа, чтобы он нашел повариху. Из здешних. Вечером у нас гости, и мне хочется удивить их греческой кухней. (*Женщине.*) Вы повариха?

Женщина. Нет... Господин Джордж приказал часовому пропустить меня в ваш дом.

Кэт. А, вам нужен дядя Джордж? Сейчас я его позову.

Дэви. Подожди, Кэт, я схожу. Извини, мама, я должен еще немного поработать... (*Выходит.*)

Женщина. Пусть придет и господин Джордж, хотя мне нужен не он. Я пришла говорить с леди Паттерсон. Это вы?

Глория. Да. Садитесь. Что привело вас сюда? (*Садится в кресло.*)

Женщина. Я узнала, что скоро в вашем доме будет большая радость: вы выдаете свою дочь замуж.

Глория. Вы правы.

Женщина. Большая радость может понять большое горе...

Глория. Чем я могу помочь вам? Садитесь же, пожалуйста.

Женщина. Я пришла просить... Это лучше делать стоя. Я уже была у вашего будущего зятя, у вашего губернатора, у всех ваших главных начальников. Всюду мне отказали. Тогда я решила просить у самой главной — у матери...

Джордж (*входит взволнованный*). Я совсем забыл... Глория, эта женщина — мать киприота, арестованного Ральфом.

Кэт. Это становится интересным!

Женщина. Да, я Ламбрини Кирьякули... Мать патриота, который осужден на смерть. Которого никогда бы не поймали, если бы он не был ранен.

Джордж. Как покровители этого острова, Глория, мы должны быть великодушны... Поэтому я счел нужным, чтобы ты выслушала ее.

Глория. Тебе следовало подготовить меня к такому визиту, дорогой Джордж.

Джордж. Я ждал, когда ты вернешься из сада... Потом зачитался, потом заговорился с Кэт... (*Прочувствованно.*) Глория, послушай меня, я ведь знаю здешних людей... Постарайся быть с ней помягче.

Глория. В какое положение ты меня ставишь, Джордж? Ты неправ... (*К Ламбрини.*) Скажи, что я могу сделать для тебя?

Ламбрини. Вы можете сделать, чтобы я увидела сына. Ему очень темно в тюрьме. Ему очень холодно перед смертью. Я должна прийти к нему. Я должна своими руками перевязать его раны...

Г л о р и я. Насколько мне известно, закон не разрешает этого. Не правда ли, Джордж?

Л а м б р и н и. Закон? Мой сын заключен в тюрьму не по закону. Если его надо судить — пусть приведут его в суд. Пусть люди слышат, в чем он виновен. Его приговорили к смерти тайком, в тюрьме...

К э т. Вы говорите так, словно осужден невинный. Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю, но... он террорист.

Л а м б р и н и. Мой сын не террорист.

К э т. Как? Разве у него не было оружия?

Л а м б р и н и. Того, кому даст оружие в руки народ, называют солдатом.

Г л о р и я. Кэт! Прошу тебя... *(К Ламбрини.)* Мне слишком трудно было бы разобраться в этом темном и непонятном для меня деле.

Л а м б р и н и. Жизнь юноши солдата для вас темное и непонятное дело?.. И несчастье мое для вас тоже темное и непонятное дело?.. И мои волосы, белые от горя?.. Откажись от своих слов, английская мать, иначе господь поразит тебя громом!

Д ж о р д ж *(тихо Кэт)*. Здесь, когда в таких случаях говорят о боге, подразумевают людей... Не бог, а люди бросают бомбы и закладывают мины... Надо говорить с ней мягче... Как можно мягче!..

Г л о р и я. Джордж, я прошу тебя избавить меня от этой сцены. Я вижу, что женщина пришла угрожать мне, а не просить.

Л а м б р и н и. Я не угрожаю. Я пришла говорить с тобой. Язык матерей одинаков на всем свете. Я говорю с тобой на этом языке...

Г л о р и я *(встает)*. У меня не может быть общего языка с матерью преступника. Джордж, ты слышал мою просьбу? Проводи эту женщину.

Д ж о р д ж *(смущенно смотрит на Ламбрини)*. Пойдемте...

Л а м б р и н и *(останавливает его жестом руки, Глории)*. Я обошла все кабинеты в резиденции губернатора. Я ждала во всех коридорах. Там везде холод и плесень. В твоем сердце тоже холод и плесень.

Г л о р и я *(яростно)*. Джордж! Как ты позволяешь ей разговаривать со мной в таком тоне?!

Л а м б р и н и. Кто может не позволить? На этом острове люди чувствуют себя подданными только бога и родной земли!

Г л о р и я. Вон!..

Л а м б р и н и. Здесь люди всегда чувствуют свое превосходство над врагами...

Д ж о р д ж. Пойдемте, прошу вас...

Л а м б р и н и. Здесь люди говорят, как с равным, только с другом...

Г л о р и я. Кэт, ты, кажется, хотела увидеть подвалы Кипра... Вот они сами пришли в наш дом. Ты можешь быть довольна... *(Устало опускается в кресло.)*

К э т. Я очень довольна, мама.

Р а л ь ф *(входит очень веселый, в летнем кителе)*. Наконец отмутился! *(Увидев Ламбрини, мрачнеет.)* А!.. Пробралась и сюда со своими жалобами? Ничего не выйдет! Твой сын сам не хочет облегчить свою участь. Он отказывается назвать имена своих сообщников.

Л а м б р и н и. У моего сына нет сообщников. У него есть товарищи по оружию. Он солдат.

Р а л ь ф. Мило! Какие могут быть солдаты там, где нет государства? У вас же нет государства! Ты понимаешь это?

Л а м б р и н и. Наше государство у нас в сердцах.

К э т. С каким пафосом она говорит! Дядя Джордж, на этом острове все так разговаривают?

Д ж о р д ж. Примерно так... Здесь все фанатики, дорогая Кэт. А фанатизм чем-то сродни поэзии...

Р а л ь ф. И безумию.

К э т. Ральф, неужели нам так необходим этот остров?

Р а л ь ф. Мы приняли его под свою опеку. До его зрелости, Кэт... Ну, а потом, естественно, мы дадим ему самоуправление.

Л а м б р и н и. Под опеку... Послушай, майор. Ты, правда, сам еще молод... Но ты видел когда-нибудь, чтобы младший опекал старшего?! Язык наш гораздо древнее вашего. Земля наша вспахана, орошена кровью и полюбила свободу тоже намного раньше, чем ваша. Этот остров — ровесник человеческого сердца. Он так же древен, хотя и всегда так же юн, как само сердце человека.

Р а л ь ф. Ты не находишь, что тебе пора уходить?! Иди!

Л а м б р и н и. Я хочу видеть моего сына. Вы дадите мне увидеть его?

Р а л ь ф. Нет.

Л а м б р и н и пристально смотрит каждому в глаза. Молчит. Затем резко поворачивается и уходит.

Р а л ь ф. Посмотри, чтобы она действительно ушла, Джордж.

Д ж о р д ж уходит.

Г л о р и я. Как она могла оказаться здесь?

Р а л ь ф. Всему виной вечный либерализм Джорджа.

К э т. И его трусость.

Г л о р и я. Только что нам было так уютно и хорошо... Я чувствовала себя такой спокойной. О, моя голова, моя бедная голова...

К э т. Принести твои таблетки, мама?

Г л о р и я. Нет, нет... Я пойду прилягу. *(С трудом встает, уходит.)*

К э т и Р а л ь ф усаживаются на диван.

К э т *(после паузы)*. Сигарету.

Р а л ь ф. У тебя испортилось настроение? *(Пауза.)* Ты все еще сердишься на меня?

К э т. Нет. Последние слова старухи взволновали меня...

Р а л ь ф. Люди на Кипре очень экспансивны, Кэт. Они склонны все преувеличивать. Как дети и... поэты. *(Смеется.)*

К э т. Ты смеешься? А я ведь понимаю, Ральф, что тебе здесь вовсе не легко живется...

Р а л ь ф *(кладет голову к ней на плечо)*. Я устал... Но скоро мы с тобой уедем. Что мы выберем для нашего свадебного путешествия? Тироль? Рим? Восток? Хочешь, поедем туда, где ты родилась? Навестим ваш сад в Калькутте...

К э т. Ты выберешь сам.

Р а л ь ф. Куда бы мы ни поехали с тобой, всюду нам будет хорошо... Ведь наша любовь — такая же древняя и всегда такая же юная, как человеческое сердце. *(Смеется.)*

К э т. А это не твои слова! Ты услышал их от этой женщины... Ты украл их у Кипра! *(Целует его.)* Знаешь, старуха все время стоит у меня перед глазами. Мне все-таки кажется, что все мы в чем-то несправедливы к этим людям...

Р а л ь ф. Ты прелестный маленький хамелеон, Кэт! Ты каждую секунду другая. Если бы можно было подсчитать, сколько раз ты меняла цвет волос, прическу, духи и убеждения — я уже не говорю о туалетах...

К э т *(прижимается к нему)*. Это моя самозащита.

Р а л ь ф. А кто же твой враг?..

К э т. Твои глаза. Как только они начинают привыкать ко мне, приходится сразу менять свой цвет.

Р а л ь ф. А ты знаешь? Мне нравятся все твои цвета...

Кэт. Хочешь, потанцуем?

Ральф (*ставит на радиолу пластинку*). Этот вальс познакомил нас... Помнишь наш первый вечер?..

Они танцуют. Цвет неба в окне становится мягче. Слышен клаксон автомобиля. Они не обращают внимания. В дверях появляется Китс, нагруженный бутылками вина. Он в мундире капитана. Это сорокалетний мужчина, загорелый, с суровыми чертами лица и начинающими седеть волосами.

Китс. Тревога! Прилетел Китс, чтобы разорить голубиное гнездо! Прилетел коршун Китс! Что?! Вы продолжаете свои танцы?

Кэт. Мы ждем аплодисментов, Ричард!

Ральф. Как все начинающие, мы нуждаемся в поощрении.

Китс. Вы начинающие? В танцах или в любви?

Кэт. Ты забываешь хотя бы о том, что Ральф — начинающий майор!

Китс. Вот это верно. Я все еще не могу свыкнуться с мыслью, что он теперь старше меня по чину... Отлично! Сейчас я брошу на пол гору бутылки и стану аплодировать вам обним. Раз... два... Но не думаете ли вы, что эти аплодисменты будут нам очень дорого стоить?

Кэт. Постыдись, Ричард! Разве коршуны бывают скудными? Это не похоже на Китса...

Китс. Бог мой! Я просто забочусь о нашем общем благе. Если вы будете пить это вино, то вихри истинных аплодисментов забушуют в вас самих! (*Показывает кивком головы на бутылки.*) Это «кумандария»! В бутылках, которые вы видите, притаились все аплодисменты кипрского лета...

Кэт. И все его выстрелы и взрывы?

Китс (*откупоривает бутылку. Берет бокал*). Этому сорту вина больше пяти тысяч лет: Когда-то его пили Аристотель и Платон. А двенадцать лет тому назад его пил я. В Африке. Со здешними ребятами. С Кипра. Когда мы вместе дрались против Роммея. Они пошли добровольцами. Я командовал ими. Потом война сыграла отбой... Они вернулись, чтобы пахать землю, делать вино и детей... (*Пьет.*) А сейчас...

Ральф (*Кэт*). Недавно в горах его чуть не убили.

Китс. Они ловко устроили западню... Ох, и затрясло меня от...

Кэт. Ты испугался? Коршун Китс, перед которым трепетали джунгли Малайи и Кении?

Ральф. Не верь ему, Кэт. После первого бокала он всегда становится странным.

Кэт. Мне кажется, это уже не первый бокал...

Китс. Я сказал правду. Ты недослушала. Всякий раз, когда начинается бой с киприотами, меня трясет... не от страха, а от смеха. От хохота!.. Мне лезет в башку, что в меня всадит пулю один из тех. Из моих ребят. С которыми вместе мы завоевали и праздновали победу. Вот будет забавно!..

Кэт (*Ральфу*). И много таких людей в горах?

Ральф. Не знаю. Но после недавней стычки среди убитых были двое старых знакомых Китса. Он опознал их трупы. (*Смеется и чокается с Китсом.*) Они получили от своего бывшего командира повышение... на тот свет...

Китс (*ударяет кулаком по столу. Лицо его неожиданно искажается гневом*). За молчи!.. Я тебя просил не говорить так... Ты же знаешь... В тот день я не стрелял...

Ральф. Ну ладно, ладно... Не сердись...

Пауза. Китс берет бутылку и, опрокинув ее, пьет из горлышка.

Что ты делаешь?.. Подожди хотя бы, пока все соберутся!

Кэт. А я тоже хочу пить сейчас! Не слушай его, Ричард! Налей и мне!

Ральф. Тогда пейте одни. Хозяину полагается быть трезвым.

Кэт. Вот что, господин хозяин, принесите-ка нам какой-нибудь закуски. И скажи Вики, чтобы она накрывала стол на веранде.

Ральф. Гм... Ты опять выглядишь по-новому, мисс Хамелеон! *(Уходит.)*

Кэт. Ты слышишь, как он меня называет?

Китс *(отвечая не ей, а своим мыслям)*. Как бы ты ни менялась, ты не изменишься никогда.

Кэт. Что ты хочешь этим сказать?

Китс. Ты всегда останешься самой собой. Сейчас я уточню... Дочерью своей матери...

Кэт. Ты так уверен в этом?

Китс. Я тебя хорошо знаю. Очень хорошо. И ты это поняла еще там, в Лондоне... Потому-то, как я полагаю, и прервался наш роман так... скорострительно! Женщины не любят, чтобы их разгадывали. Как религия!.. У них пользуются успехом дураки. Или те, кто умеет казаться дураком.

Кэт. Ты имеешь в виду Ральфа? Ты все еще так меня любишь?..

Китс. Тебя нет. Я не умею любить то, чего нет.

Кэт. И все-таки ты меня любишь...

Китс. Многие считают, что бога нет... А все-таки молятся ему... Выпьем!

Кэт. За твой религиозный атеизм!

Китс. За моего несуществующего бога!

Дэви *(входит со свертком под мышкой. При виде Китса лицо его светлеет)*. Хэлло, Ричард!

Китс. Дэви! Ты куда собрался? Что это у тебя за сверток?

Дэви. Иду купаться! Я еще не пропустил ни одного дня. Всегда в это время. Это мои любимые часы... В сумерках почему-то как-то особенно чувствуешь, что такое море... *(Они пожимают друг другу руки, хлопывая по плечу.)* Эх ты, солдатская душа...

Китс. Давай немного выпьем. Садись. Море от тебя никуда не убежит.

Кэт. Не понимаю: что может связывать двух этих людей?

Дэви. Ты бы, Кэт, так сказать, лучше пошла и помогла маме одеваться. Она нервничает и без конца ворчит на бедную Вики...

Ральф *(входит с подносом)*. Да, да, Кэт. Тебе тоже пора переодеться. Вот-вот придет Уилсон.

Кэт *(встает)*. Ну, конечно. Как можно принимать визит вежливости такой персоны в таком платье! Это же помощник самого лорда-губернатора! *(Китсу.)* Прошу прощения, Ричард, но иногда приличия не позволяют хамелеону менять свой вид на глазах у всех... *(Смеется, уходит.)*

Ральф. Попробуйте лангуста. Соус приготовлен по моему рецепту.

Китс. Это для меня слишком изысканно. Маслины есть? Уксус? Немножко чесноку...

Ральф. Ты видишь, во что он превратился, Дэви? Его не отличишь от любого кипрского пьяницы... *(Китсу.)* Маслины есть. Уксус, конечно, тоже. О чесноке и не заикайся... Мы же все-таки не в казарме, дружище. *(Уходит.)*

Китс. Все хорошо! Выпьем, Дэви.

Дэви. Налей. Чуть-чуть. Ты же знаешь, я не пью.

Китс. Ладно. Все работа? *(Пьют.)* Хорошая у тебя работа, Дэви. Не то что моя.

Дэви. Ты думаешь, я не знаю, почему ты пьешь, Ричард?..

Китс. Да... Ты всегда меня понимал. Гораздо лучше, чем те, кто меня окружает. Странно!.. А ты знаешь? Вино на меня все-таки не действует. Огонь не гасят спиртом...

Дэви. В прошлом году в Лондоне ты говорил мне, что хочешь уйти из армии.

Китс. Каждый хочет избавиться от своей болезни. *(Пьет.)* Но иногда мне кажется, что я болен уже неизлечимо... Вот получу как-нибудь в горах пулю в лоб, тогда и вылечусь.

Дэви. Очень рано начинает думать о смерти человек нашего времени. Преступно рано...

Китс. Чем ты сейчас занят?

Дэви. Именно этим...

Китс. Этим? Человек устает... жить.

Дэви. Устает потому, что жизнь слишком коротка. Была бы она длиннее, он не уставал бы...

Китс. С каких пор ты стал софистом?

Дэви *(шагая по комнате, взволнованно жестикулируя)*. Это не софистика, Ричард. Вспомни наши экзамены в школе. За два часа нужно столько решить! Времени не хватает, поэтому утомляешься, нервничаешь, приходишь в отчаяние... Человек в среднем живет около пятидесяти лет. Вычти из них лет пятнадцать—двадцать: это годы, когда ты еще почти ничего не понимаешь. Что останется? Тридцать? За этот срок надо разрешить столько проблем и столько сделать! Человек бежит, спотыкается, изнемогает... А смерть стоит где-то над ним, как нетерпеливый экзаменатор, и держит в руках часы. «Пора, молодой человек, пора сдавать работу...» А он и правда еще молодой, он не прожил своего... Человек должен жить минимум двести лет! Кстати, это вполне возможно. Теоретически уже доказано, что это так. Вот смысл всей моей работы, Ричард.

Ральф *(входит)*. Твои маслины, Китс. Дэви! Твои любимые фишашки.

Джордж *(входит, хлопает в ладоши)*. Что я вижу? Вы уже начали! Дэви, и ты променял море на этот омут?

Ральф. Возьмите бокал, Джордж.

Джордж. Я сначала переоденусь. С минуты на минуту можно ждать Уилсона.

Ральф. Тогда быстрее!

Китс. В нашей компании только две женщины. Не надо переодеваться, Джордж. Еще одна юбка нам не помешает... *(Тянет его за короткую шотландскую юбочку.)*

Джордж. Ты ужасно опускаешься, Китс, когда напьешься...

Дэви. Я пойду. Мне действительно пора. Даже работая над проблемами, как пишут в статьях, общечеловеческими, нельзя все-таки лишаться своей, так сказать, природной английской точности...

Джордж. Возьми с собой солдата для охраны.

Дэви. Ладно, ладно...

Вики *(вбегает и останавливает Дэви)*. Вы забыли полотенце, сэр!

Дэви. А! Спасибо, Вики... *(Уходит.)*

Джордж. Я понимаю: плоские шутки Китса вынудили Дэви спастись бегством.

Ральф. Дэви почему-то вообще чувствует себя неважно на Кипре. Может быть, переутомление? Климат?

Китс. Дэви надо было родиться в другое время.

Вики *(Ральфу)*. На веранде все готово, сэр.

Слышен шум машины, подъехавшей к дому.

Ральф. Наверно, Уилсон. Посмотри, Вики.

Вики выбегает на веранду и тут же возвращается.

Вики. Это не... Это тот джентльмен... Не знаю его имени... Когда вы говорите о нем, вы всегда называете его Никс-молчальник...

Ральф. А! Человек, который только слушает? Мы в самом деле так называем его... *(Смеется. Строго Вики.)* В своем кругу. Для тебя он всегда господин Джонсон.

Вики. Слушаюсь, сэр.

В дверях появляется Никс Джонсон, человек с бледным морщинистым лицом, черными волосами, разделенными пробором. Он очень строго одет — как пастор. Скучный вид, мягкая бесшумная походка, скупые жесты. Но глаза очень живые. Он молча кланяется.

Ральф. Никс! Очень хорошо, старик, что ты нас навестил!

Джордж. Какой же он старик! Что вы! Он еще юноша, подающий надежды. Как это ты вспомнил о нас?

Китс. Он всегда о нас думает. Он не забывает о нас ни на минуту. Верно, Никс?

Никс. Служба...

Ральф. Ты словно знал, когда приехать! Мы ждем Уилсона.

Никс. Он уже здесь.

Слышен шум машины.

Джордж. Это он!

Ральф бежит на веранду. Все, кроме Кита, поднимаются и, вытянувшись, ждут. Входит Уилсон, пожилой человек с аристократическими манерами и властным голосом, который он все время старается смягчить.

Уилсон. Джентльмены! Очень рад вас видеть. Ральф! Как чувствуют себя будущая миссис Оуэнс и наша дорогая Глория?

Ральф. Они сейчас придут. Тут произошел один не особенно приятный инцидент, и Глория чуть-чуть расстроилась...

Джордж *(хочет перевести разговор)*. Но ее всегдашняя мигрень уже прошла. Все позади. Не стоит даже вспоминать об этом. *(Уилсону.)* Вы сами вели машину, сэр?

Уилсон. Какой инцидент, Ральф?

Ральф. Приходила старуха Кириякули. Мать.

Уилсон. О, все понятно... Эта несчастная женщина побывала уже везде. Кстати, вы знаете, что мне сегодня передал мой секретарь?

Никс *(подходит ближе)*. Интересно!

Уилсон. Кучу писем от местных жителей. Вообразите: все они, от стара до мала, требуют — требуют! — чтобы Кириякулис был освобожден. А вместо него предлагают расстрелять любого из них... Вот что может делать с людьми фанатизм!

По лестнице спускаются Глория и Кэт.

Глория. Уилсон! Дорогой Эдди! Мы так рады видеть вас у себя. Вы по-прежнему безупречно внимательны к вашим старым друзьям.

Уилсон. Уже тридцать пять лет я считаю себя верным другом семьи Паттерсонов. *(Целует руку Глории. Поворачивается к Кэт.)* Ты разрешишь своему престарелому поклоннику поцеловать тебя? А почему я не вижу Дэви?

Джордж. Он на море. Скоро вернется.

Уилсон. С месяц тому назад мне довелось встретить профессора Темпля. Он в восторге от Дэви. Назвал его завтрашной славой науки.

Если принять во внимание, что столь лестная характеристика исходит из уст такого строгого и крутого старика, как Темпл, она говорит о многом.

Ральф. Может быть, пройдем на веранду?

Глория. Ну конечно! Эдди, дорогой, стол накрыт на свежем воздухе. Мы помним, как вы любите природу!

Уилсон. Я тронут, дорогая Глория.

Все выходят на веранду.

Китс (*предлагает руку Джорджу*). Обоим наших дам сопровождают другие кавалеры. На мою долю остался только ты... Но держись чуть подале, а то как бы я не наступил тебе на шлейф...

Джордж. Отойди от меня! От тебя несет вином, проклятый пьяница! Как ты можешь фиглярничать здесь, перед этой вечной красотой! Посмотри лучше, какой закат угасает!..

Встала из мрака молодая, с перстами пурпурными Эос...

Звонок телефона. Джордж поднимает трубку.

Джордж. Хэлло! Да, да... Кто его просит? С поста? Это срочно? Сейчас позову. Ральф! К телефону.

Ральф (*входит, держа за руку Кэт*). Что случилось?

Джордж. Звонят со сторожевого поста. Какое-то срочное дело.

Ральф. Майор Оуэнс у телефона. Что?! Ты сошел с ума!.. Не может этого быть! Где... где были ваши глаза? (*Бросает трубку, смотрит невидящим взглядом.*) Кэт! Ричард! Киприоты схватили Дэви... Они увезли его... Схватили в нескольких шагах от дома...

Кэт чуть не вскрикнула, но Китс, стоящий рядом, закрыл ей рот ладонью.

Китс. Об этом пока не должна ничего знать Глория.

Джордж. Похитили? Дэви похитили?.. Дэви...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина вторая

Та же комната. Прошло два дня. Утро. Занавески на окнах еще не подняты. На цыпочках ходит Вики, вытирая пыль. Джордж, в темном костюме, шагает по комнате. Он заметно нервничает.

Джордж. Через двадцать минут после похищения Ральф приказал окружить каждый квартал. Вот уже два дня идут обыски. И никаких результатов...

Вики. Еще ничего не известно, сэр? Сколько человек напало на мистера Дэви?

Джордж. Это известно: трое. Но кто знает, сколько у них было сообщников? Может быть, все, кто находился на площади... Уличные торговцы, дети, игравшие на мостовой... Может быть, даже священник из соседней церкви. Все они здесь заодно. (*Бьют часы девять раз.*) Девять часов...

Вики. Сейчас уже больше, сэр. Эти часы отстают.

Джордж. Да. Это очень старые часы. Они сделаны в прошлом веке. Когда все было прочно. Когда просто не могло случиться то, что случилось с Дэви... Им уже сто лет. Но они, наверно, могут прожить еще сто...

Вики. Только люди пока не могут жить так долго... Когда я по ночам носила чай мистеру Дэви — он всегда засиживался допоздна, — мистер Дэви на время оставлял работу и рассказывал мне, рассказы-

вал... Я знаю теперь, почему мы всегда видим только одну половину Луны. И как началась жизнь на Земле... И как надо слушать музыку... И что такое микроскоп... И какие животные и птицы живут в жарких странах... И отчего люди болеют малярией...

Джордж. Ну и ну! Я вижу, Дэви был намерен сделать из тебя энциклопедиста... философа...

Вики. Энциклопедиста?

Джордж. Да. Ученого, который все знает.

Вики. Вы всегда шутите, сэр. Разве я могу быть ученым? Но узнать как можно больше — это ведь каждый хочет. Вот вы удивляетесь, сэр. Конечно, я совсем необразованная... Отец служил на корабле кочегаром... Мистер Дэви говорил со мной просто потому, что больше не с кем было говорить... В это время ведь вы все спали...

Джордж. Это по ночам он тебе рассказывал о микроскопе и тропических птицах?

Вики. Да, да. Когда все спали...

Джордж. Видишь ли, Вики... Я понимаю... Но больше ты никому не говори, что по ночам носила чай в комнату Дэви.

Вики. О сэр! Что вам пришло в голову? Не думайте так о мистере Дэви. Он... чистый, очень чистый человек! Мы, горничные, не ошибаемся в людях, сэр. Мы знаем их так же хорошо, как их чистое и грязное белье...

Джордж. Я же сказал, что я понимаю. Но все-таки я... по-отечески... не советую тебе никому об этом рассказывать. Никому!

По лестнице спускается Кэт. Она бледна, ненакрашена, ее движения утратили недавнюю грациозность и уверенность.

Кэт. Вики, принеси маме завтрак.

Вики. Сию минуту, мисс. *(Уходит.)*

Джордж. Она не спит?

Кэт. С вечера она почти не сомкнула глаз. Каждую минуту вскакивала с постели и смотрела, не пришел ли Дэви.

Джордж. Даже когда умер твой отец, Кэт, ей не было тяжело до такой степени. Я еще не видел ее в подобном состоянии.

Кэт. Отец прожил большую жизнь и умер на своей кровати. А Дэви... Если с Дэви что-нибудь случится, в этом виновата буду только я... Ах, дядя Джордж! Зачем я привезла его сюда?

Джордж. Ты же не знала... Ты же ничего не знала... Ты никак не могла думать, что здесь будет так опасно.

Входит запыленный, небритый Ральф. Бросает на кресло берет и плетель.

Ральф. Не смотри на меня так, Кэт... У меня нет ничего нового... *(Пауза.)* Доктор был?

Кэт. Что может сделать доктор? Сейчас для мамы существует одно лекарство — возвращение Дэви.

Джордж. Какое все-таки несчастье! И как только разрешили ему выйти без охраны? Я же сказал ему: «Возьми с собой солдата, Дэви».

Ральф. Дежурным офицером был Гарден. Он говорит, что и он якобы предлагал послать солдата, но Дэви отказался.

Джордж. По-видимому, так и было.

Ральф. Не верю! Каналья Гарден дрожит за свою шкуру и хочет свалить вину на других. А в случае с Дэви это очень нетрудно...

Кэт. Потому что Дэви не вернется и не разоблачит его ложь? Ты это хочешь сказать, Ральф?

Ральф. Нет, я не это имел в виду... Но ты ведь не ребенок, Кэт. И должна понять, насколько положение серьезно.

Кэт. Ты это пришел сказать?

Ральф (*громко*). Я двое суток на ногах. Я сам допросил всех, кто был схвачен во время облавы. Я внушал им понятие о честности словом и плеткой, если хочешь знать! (*Показывает на плеть, истерически кричит.*) Моя совесть чиста!.. (*Опускается в кресло.*) Я хочу спать... Мне надо поспать хотя бы час, иначе я не смогу работать...

Джордж. Да, да, Ральф... Не нужно нервничать. Успокойся и в самом деле отдохни!

Ральф. Если позвопит мой заместитель, разбудите меня. (*Уходит.*)

Джордж. Ральф делает все, что в его силах, Кэт. А ты еще огорчаешь его... (*Звонит телефон. Джордж берет трубку.*) Хэлло! Кто вам нужен? Да, это я. Да, да. Джордж Маклей. А! Да... слушаю вас. (*Лицо его становится серьезным и сосредоточенным.*) С вами встретиться? Могу... Конечно, могу. Сейчас иду. (*Кладет трубку.*) Кэт, я скоро вернусь. Подожди меня здесь. Что-то серьезное...

Кэт (*с внезапной надеждой*). Что-нибудь насчет Дэви? Почему вы так взволнованы, дядя Джордж?

Джордж. Пока ничего не знаю. Я все расскажу тебе. Но сначала надо узнать. (*Убегает.*)

Входит Вики.

Вики (*тревожно*). Госпожа опять встала. Но она даже не разрешила одеть ее.

Появляется Глория, сгорбленная, испречесанная. На ней белое ночное платье.

Глория. Опять приходила эта женщина, Кэт. Она стояла у моей кровати и смеялась. А как только я закричала, она исчезла.

Кэт. Это нервы, мама. (*Обнимает ее и мягко усаживает в кресло.*) Вики, принеси маме халат.

Глория. Я же говорю тебе, что видела ее. Она смеялась надо мной... Но ничего, ничего! Сегодня Ральф вернет мне моего Дэви.

Кэт. Да, конечно, мама. Для этого делается все, что возможно.

Глория. Ральф обещал мне. Он не придет домой без моего Дэви.

Кэт. Да, да, мама. Ступай отдохни. Это тебе так нужно. Как только Ральф придет, я сразу позову тебя.

Глория. Нет. Я хочу остаться здесь, чтобы первой обнять Дэви.

Кэт. Хорошо. Только пойдй наверх и оденься, мама. Причешись. Может быть, зайдет кто-нибудь из наших друзей!

Глория (*плача*). Пусть приходят! Пусть приходят все — и губернатор, и Уилсон, и все офицеры. Вся армия! Пусть все увидят, что со мной сделала их бездарность! Это они допустили, чтобы у меня украли сына!

Вики (*приносит халат*). Вам пора принимать лекарство, мадам.

Кэт. Иди. Я дам лекарство маме сама.

Вики уходит.

Глория. Дэви ни за что не хотел расставаться со своей лабораторией. А я ему говорила: «Поедем, мой мальчик, ты хоть немного отдохнешь от лондонских туманов!» И вот я сама... сама привезла его на этот остров! (*Взгляд ее падает на забытые Ральфом берет и плеть.*) Что это, Кэт?

Кэт (*растерянно*). Где, мама?

Глория. Это берет Ральфа. А в пепельнице его сигарета. Значит, Ральф уже был здесь... Он нарушил свое слово. Ральф принес плохие вести? Ральф курит, только когда он очень расстроен. Сигарета. Она погасла... Может быть, как же погасла и жизнь моего Дэви?.. А вы все молчите. Вы ничего не говорите мне. Вы скрываете от меня, вы прячетесь!.. (*Рыдает.*)

Кэт. Не нужно думать о самом плохом, мама. Ральф прибежал только на минутку. Он ищет, мама. Он все время ищет.

Глория (*падает в кресло, она недалеко от обморока*). Зачем вы стараетесь обмануть меня, как маленького ребенка? Не надо этого делать, Кэт! Я несчастная мать...

Кэт. Прими все-таки лекарство, мама. Оно поможет тебе успокоиться. (*Достает из шкафчика лекарство, на маленьком столике готовит дозу для приема. Она стоит спиной к двери на веранду и не видит, как с веранды в комнату входят Ламбрини Кирьякули и Джордж.*)

Глория. Я опять вижу эту женщину... Кэт! Кэт! Меня опять мучат галлюцинации...

Кэт (*оборачивается. Ложка дрожит в ее руке*). Что это значит, дядя Джордж?

Джордж. Эта женщина знает правду о Дэви. Она сама пришла все сказать.

Кэт. Позовите Ральфа! Скорее!

Джордж. Нет, нет... Ральф нам сейчас не поможет. Она пришла сама. Она не боится нас.

Глория. Ты знаешь, где мой сын? Он жив? Почему ты молчишь? Скажите же ей, чтобы она отвечала! Он жив?

Ламбрини. Я буду говорить. Но мы должны остаться с тобой вдвоем.

Кэт. Мама плохо себя чувствует. Поговорите с нами.

Ламбрини. Я хочу говорить с матерью. Ни ты, ни твой жених, ни его плеть, ни ваше золото не заставят меня сказать ни слова. Только две матери могут понять друг друга.

Джордж (*Кэт*). Пойдем. Мы от нее ничего не добьемся.

Кэт и Джордж идут к двери.

Ламбрини. Пока мы будем здесь, никто не должен сюда входить. Слышишь, девушка?

Кэт. Хорошо.

Кэт и Джордж уходят.

Глория (*встает, надевает халат*). Говори!

Ламбрини. Я хочу сказать тебе... (*Пауза*.) Если моего сына повесят, наши люди убьют твоего сына.

Глория. Убьют? Моего Дэви?!

Ламбрини. Если вы освободите моего сына, наши люди отпустят твоего сына.

Глория (*падает в кресло*). Значит, это ты подстроила западню...

Ламбрини. Мать может сделать для сына все.

Глория (*смотрит на нее с ненавистью*). И у тебя хватило наглости явиться в мой дом, чтобы диктовать мне условия? Тебе не страшно?

Ламбрини. Мать не боится ничего.

Глория. Посмотрим! Я заставлю тебя испугаться! Ты еще не знаешь, что тебя может ожидать! (*Громко*.) Ральф! Позовите Ральфа!

Ламбрини. Ты всегда успеешь позвать майора. Я ведь никуда не ухожу.

Глория. Ты скажешь, где мой сын! Мне или .. Ральфу! И без всяких условий! Я заставлю тебя! (*Яростно*.) Ральф вырвет у тебя правду вместе с твоим языком! Вот здесь! При мне! Сейчас!

Ламбрини. Вы терзаете мое тело уже целый месяц. Когда вы там, в тюрьме, пытаете моего сына, вы и мое тело рвете на куски. Я уже привыкла. Ты лучше сиди спокойно и слушай.

Г л о р и я. Мы будем говорить с тобой так, как я этого захочу! Ты в моих руках! Не забывай об этом!

Л а м б р и н и. Я пришла сама. Мне не о чем забывать. Я могла бы написать тебе письмо. Но решила, что лучше нам поговорить. Как матери с матерью.

Г л о р и я *(яростно)*. И теперь ты в моих руках!

Л а м б р и н и. Я в ваших руках с того самого дня, как вы схватили моего сына... Вчера я была в своем доме, сегодня — здесь, завтра, может быть, буду в тюрьме или в могиле — разве это для меня сейчас важно? Мне сейчас все плохо. Но и ты... Какое значение имеет то, что тебя охраняют часовые и колючая проволока? Тебе тоже плохо. Ты у нас в плену. Ты тоже в моих руках. У нас одинаковая судьба, английская мать! Ты стонешь. Я гляжу на твое лицо и вижу, как тебе больно. Вот такое оно было, когда ты рожала своего сына. Сейчас оно не лицемерит. Теперь мы можем начать наш разговор с тобой.

Пауза. Глубокая тишина.

Г л о р и я *(внезапно)*. Ты видела моего сына? Он жив? Вы с ним ничего не сделали?

Л а м б р и н и. Успокойся. Мы не избиваем людей плетью. Не отнимаем у них хлеб и воду. Не заставляем их спать на голом цементном полу.

Г л о р и я. Ты видела его? *(Ее лицо смягчается, гнев остывает. Она подносит к глазам платок.)*

Л а м б р и н и. Нет. Я не видела его. Но я могу сходить к нему, если это будет необходимо.

Г л о р и я. А ты можешь что-нибудь передать ему? Он с детства подвержен простуде, у него увеличены гланды... Вот этот джемпер... *(Она подходит к вешалке, проводит рукой по одежде сына.)* У него есть любимые вещи. Или какую-нибудь книгу, чтобы он не так тосковал?

Л а м б р и н и. Ради своего сына я могу сделать все. А ты ради своего сына можешь сходить к моему? Можешь передать ему одяло и несколько сигарет? Тебе позволят войти к нему в камеру?

Г л о р и я. До сих пор еще никто на этом острове не осмеливался в чем-то отказать мне. Не позволить мне что-нибудь может только моя собственная совесть.

Л а м б р и н и. А что она говорит тебе?

Г л о р и я. Я могу сказать только одно. Сначала отпустите моего сына. Это поможет мне хлопотать перед губернатором о помиловании. Но сначала отпустите моего сына.

Л а м б р и н и. Нет. Губернатор может отказать. Нет, английская мать, мы поменяем с тобой сына на сына.

Г л о р и я. Но это невозможно. Пойми же... Это дело государства. Как я могу уговорить целое государство? Наконец, совесть не позволит мне сделать это.

Л а м б р и н и. А самой приговорить своего сына к смерти совесть тебе позволяет?

Г л о р и я. Вы не можете его убить! Вы не посмеете! Ты же сама мать! Ты мать...

Л а м б р и н и. Когда вы убьете моего сына, я уже не буду матерью. Вместо меня ты увидишь раненую львицу.

Г л о р и я. Бог мой! Что же можно придумать? Поверь, я сделаю все, чтобы твоего сына помиловали. Но уступи же н ты. Отпустите сначала моего Дэви. Клянусь тебе, что губернатор очень высоко оценит твой поступок! Клянусь! Клянусь на евангелии! Клянусь... моим сыном!

Л а м б р и н и. Сына на сына. Это мое последнее слово.

Г л о р и я. Ты хочешь невозможного. Повторяю тебе: твой сын осужден на основании законов империи.

Л а м б р и н и. Наш закон — неподчинение вашим законам!

Г л о р и я. Может быть, ты хочешь, чтобы я признала этот твой закон?

Л а м б р и н и. Нет. Поэтому оставим законы в покое. Решим наше дело, как велит материнское сердце. Ему подчиняемся и я и ты. Сына на сына!

Г л о р и я (*сама с собой*). За что подвергаешь меня таким испытаниям, великий боже?

Л а м б р и н и. Решай. Я желаю добра тебе, потому что желаю добра себе. На войне несчастье одного — победа другого. Но в войне между нами двумя моя победа будет и твоей победой. А моя беда — и твоей бедой. Мы с тобой сейчас и враги и союзники.

Г л о р и я (*ходит в волнении. Про себя*). К кому пойти? К губернатору? Может быть, позвонить в Лондон? Надо посоветоваться с Уилсоном... Надо вырвать Дэви из их рук! Вырвать во что бы то ни стало! Все поймут меня. Все должны меня понять...

Л а м б р и н и. Когда мне прийти за ответом?

Г л о р и я. Завтра. Завтра вечером. Я поговорю...

Л а м б р и н и. Хорошо. Я пойду.

Г л о р и я. Но сегодня вечером ты должна сходить к нему. Возьми джемпер. Ты будешь у него сегодня?

Л а м б р и н и (*берет джемпер*). Не вздумай за мной следить. Ничего не выйдет. Вы можете меня схватить, мучить, можете даже убить. Но вы никогда не узнаете, где он.

Г л о р и я. Не говори так. Ты же сама сказала: мы теперь союзницы... (*Тяжело дыша, подходит к книжному шкафу, берет две книги.*) Передай ему эти две книги. (*Оглядывается вокруг.*) Что же еще?.. Что еще ему послать? Может быть, что-нибудь вкусное? А, вот это! (*Садится за пианино.*) Скажи ему, что я очень спокойна. Что я уверена в его возвращении. Что я помню и пою нашу песню... (*Поет.*)

...Мы всегда любили
Друг друга от души...

И что я смеюсь. Смеюсь над этим нелепым случаем. (*Внезапно захлебывается слезами, уронив голову на пианино.*)

Л а м б р и н и (*стоит над ней, положив руку на ее плечо*). Я скажу ему, что ты пела. А слезы твои я от него скрою. Не говори и ты моему сыну о моих слезах. Ведь ты тоже пойдешь сегодня в его камеру? Как обещала...

Г л о р и я. Я буду у него. Но поверит ли он, что я пришла от тебя?

Л а м б р и н и. Поверит. Когда ты тоже скажешь ему, что я пела песню. И скажешь, какую песню. (*Что-то вспоминает. Лицо ее светлеет.*) Его любимую. (*Напевает.*)

И если б когда-то осмелился я
Забуть на минуту, родная, —
Пусть крова и сна не найду никогда,
Пусть жажду мою не погасит вода...

Ее поют у нас и любимой девушке и родине. Поют всюду. Она такая же простая, как трава, что растет и в долинах и на высоких горных хребтах.

Пауза. Обе женщины задумались.

Г л о р и я. Да. Я все сделаю. И наши дети вернутся к нам.

Л а м б р и н и. Ты веришь? Поклянись мне.

Г л о р и я. Клянусь.

Л а м б р и н и. Не верю. Поклянись мне как мать.

Г л о р и я. Клянусь.

Л а м б р и н и (*торжественно продолжает клятву*). И если клятва моя ложна, пусть рубашка, которая на моем сыне, станет ему саваном!

Г л о р и я. Клянусь.

Л а м б р и н и (*продолжает*). И если я лгу, пусть солнце, звезды и луна отразятся в крови моего сына!

Г л о р и я. Клянусь.

Л а м б р и н и (*продолжает*). И пусть его смертное ложе украсят цветы, которые я принесла бы на его свадьбу!

Г л о р и я. Клянусь. Клянусь...

Л а м б р и н и. Дай мне твою руку. Мы ведь теперь союзницы. (*Идет к двери.*) Прощай!

Г л о р и я. Прощай.

Л а м б р и н и уходит. Г л о р и я одна в долгом безмолвии ходит по комнате.

Г л о р и я (*выпрямляется, решительная и сильная. Громко зовет*). Кэт! Ральф! Джордж! Скорее сюда! Скорее! Скорее! Вы мне нужны.

Картина третья

Та же комната. Прошел еще день. В комнате Джордж и Ральф.

Р а л ь ф. Ну что же мог поделывать лорд-губернатор при всем его уважении к фамилии Паттерсон!

Д ж о р д ж. На войне обменивают пленных.

Р а л ь ф. Воюют армия с армией. Мы же имеем дело не с солдатами, а с бандитами. Не может империя вступать в переговоры с людьми, стоящими вне закона.

Д ж о р д ж. Ты хочешь сказать, что... Дэви... все уже решено?

Р а л ь ф. Лорд-губернатор отказал наотрез. Ну, конечно, он очень сожалел об этом. У него были такие печальные глаза. Все мы, кто присутствовал на приеме, с трудом сдерживали слезы...

Д ж о р д ж. Вас было много там?

Р а л ь ф. Нет. Уилсон, Глория, Китс и я. Всего четыре человека. Но нам казалось, что в кабинете не хватает воздуха, словно там собрались тысячи людей.

Д ж о р д ж. С вами были тени Паттерсонов, оскорбленные тени.

Р а л ь ф. Глория рыдала и все просила, просила... Она даже пыталась стать на колени. Ужасная сцена! Гордое, царственное дерево, которым мы всегда любовались, вдруг надломилось на наших глазах.

Д ж о р д ж. Бедная мать! Несчастный Дэви!

Р а л ь ф. Казнь Кирьякулиса назначена на завтра.

Д ж о р д ж. О всевышний! Какое горе ниспослал ты на семью Паттерсонов! (*Пауза. Джордж прислушивается.*) Кажется, Глория перестала плакать?

Р а л ь ф. Наконец-то Уилсон чем-то, видимо, все-таки успокоил ее хоть немного. Только его она и впускает к себе. Его и Кэт.

Д ж о р д ж. Как ты думаешь, о чем он говорил с ней так долго?

Р а л ь ф. О чем говорят с матерью, теряющей сына? Как только удалось Уилсону найти слова утешения? Я бы не смог...

Д ж о р д ж. Так быстро и просто зачеркнули человеческую жизнь... жизнь нашего Дэви! А я не в силах ни кричать, ни даже понять все до конца... Меня словно сковала какая-то странная апатия.

Р а л ь ф. Такое чувство бывает, когда в грудь ударит пуля. Не можешь ни крикнуть, ни двинуться с места... И не ощущаешь боли! Боль приходит потом.

Слышен резкий скрежет тормозов.

Д ж о р д ж. Кто бы это?

Р а л ь ф. Китс. Только он так тормозит. Когда-нибудь сломает себе шею. Знаете, как вызывающе вел он себя на приеме? Слышали бы вы, как он кричал на губернатора, на Уилсона...

Д ж о р д ж. Этот Китс просто сумасшедший...

Р а л ь ф. К счастью, никто не принимает его чудачества всерьез.

К и т с (*входит, еле волооча ноги*). Ах, мерзавцы, мерзавцы! Погубили Дэви. Мерзавцы!

Д ж о р д ж. Он опять напился. Не заговаривай с ним. Молчи...

К и т с. Мерзавцы! Все вы... и губернатор, и Уилсон... и...

Д ж о р д ж. Что ты говоришь, опомнись! Уилсон здесь, наверху...

К и т с. А пусть слышит! Пусть он сойдет сюда, я ему влеплю это слово прямо в морду... Все они, вместе взятые, не стоят одного мизинца Дэви!

Р а л ь ф. Возьми себя в руки!

К и т с. Мерзавцы... Почему не соглашаетесь на обмен?! Это закон войны!

Р а л ь ф. Кирьякулис очень опасен. Здесь затронут престиж империи. Пойми это наконец!

К и т с. Брось! Вовсе не тут зарыта собака. Вы спекулянты! Вы хотите нагреть руки на деле Кирьякулиса. Биржа повышений по службе и благодарностей начальства. Губернатор уже получает поздравления. Вы даже смерть Дэви приспособите для своей спекуляции! Целитесь хапнуть еще больше: «...Видите, господа, какая важная птица был этот Кирьякулис? Видите, какие отчаянные меры предприняли его сообщники, чтобы спасти его? Но мы дали им достойный отпор. Мы не поддались, как нам ни было больно...» Ах, мерзавцы, мерзавцы!

Д ж о р д ж. Как тебе не стыдно клеветать на армию! Погубит тебя это вино, Ричард!

Р а л ь ф. Утихомирься, Китс. Не считаёшь благородное страдание своей монополией! Любой из нас готов бы отдать собственную жизнь за Дэви. А ты говоришь так, как будто бы мы не друзья с тобой, не коллеги, наконец...

К и т с. «Коллеги»... Одиночество — вот мой коллега! Вот мой товарищ... Одиночество и в казарме... и в городах, и в кабаках, и в публичных домах... и здесь, среди вас! (*Хватается за голову.*)

Д ж о р д ж. Прекрати это! Ты слышишь меня? Сюда идет Глория...

Опираясь на руку Вики, медленно спускается по лестнице Глория. Вид у нее печальный, но торжественный. За нею идет Уилсон.

Г л о р и я. Это тяжелый удар для сердца матери... Но ошибаются те, кто предполагает, что я могу забыть о достоинстве и чести фамилии! (*Выпрямляется.*) В роду Паттерсонов матери предпочитали видеть смерть своих сыновей, нежели унижение армии. (*Спокойно и надменно оглядывает всех.*) Уилсон! Здесь, в присутствии всех, прошу вас... Прошу передать лорду-губернатору, что он может исполнить свой долг.

В и к и (*среди мертвой тишины она внезапно раздражается рыданиями.*) О мадам! Как вы можете! Вы же сами убиваете мистера Дэви!.. Вы, его мать... О боже великий!

Г л о р и я. Верная моя Вики... Пойми, так нужно... Так нужно... (*Опирается на ее плечо.*) Имя Паттерсонов не может быть замарано.

(*Вики рыдает.*) Бедная девушка... Ей недоступно это. Ральф, помоги, ей плохо.

Ральф уводит Вики.

Вики. Не убивайте мистера Дэви! Не дайте его убить!

Глория. Извините нас за эту сцену, Уилсон. Девушка давно живет у нас. Но проникнуться духом семьи она не в силах. Не будьте строги к ней.

Уилсон. Я восхищен вами, Глория. Я преклоняюсь перед вами. Сегодня вписана еще одна страница в славную историю рода Паттерсонов...

Глория. Благодарю вас, друг мой. Но прежде чем вы уйдете, я хотела бы вас попросить... У меня есть всего два желания..

Уилсон. Почту их для себя законом.

Глория. Первое — не трогать мать того террориста, который завтра будет казнен.

Уилсон. Ценю ваши благородные чувства, Глория. Обещаю вам.

Глория. Вчера вечером я ходила в тюрьму и была в камере осужденного. Я хотела увидеть, за кого примет смерть мой сын. Признаюсь, его молодость и его доброе лицо обманули меня. Но когда вы здесь, наверху, объяснили мне, какой это опасный враг, я поняла... Надо пожертвовать всем, лишь бы уничтожить его...

Входит Ральф.

Джордж (*про себя*). Какую силу, какую твердость духа нашла вдруг в себе эта женщина... Паттерсоны всегда были такими!..

Китс (*про себя*). Уилсон загипнотизировал старуху. Это настоящий дьявол...

Глория. Я должна бы по долгу совести сама затянуть петлю на его шее. Но это — дело мужчин. Поэтому я хочу просить...

Уилсон. Ваше желание для нас свято, Глория...

Глория. Ральф станет мне сыном. Я хочу, чтобы он был во главе отряда, когда Кирьякулиса поведут на казнь. Пусть Ральф будет мстителем за смерть Дэви...

Китс (*про себя*). Которого все предали, даже родная мать!..

Уилсон. Майор Оуэнс?

Ральф. Я готов, сэ. (*Наклоняется и целует руку Глории. Глория кладет левую руку на его голову, словно благословляя.*)

Джордж. Только перо Киплинга могло бы передать величие этой минуты... (*Подносит платок к глазам.*)

Уилсон. Вечером я увижу лорда-губернатора. Я уверен, что и он и правительство оценят как должно ваш поступок! Я всегда гордился своей дружбой с вашей семьей. Сейчас я горд этим во много раз больше. (*Целует руку Глории. Идет к двери.*) Ральф, вечером я пришлю вам приказ с подписью лорда-губернатора. Джордж! Китс! Вы не проводите меня до резиденции губернатора?

Джордж. Конечно, конечно. Нам по пути.

Китс. А мне не по пути... Я пойду домой.

Уилсон и Джордж уходят. Уходит Китс.

Глория. Ральф, сядьте ко мне поближе. (*Садятся в кресла. Пауза.*) Все идет как нужно, Ральф, правда? (*Молчание.*) Паттерсоны всегда делают то, что нужно. Что вы скажете, Ральф?

Ральф. Мне очень трудно что-нибудь сказать. Я никогда не думал, что мне придется стать свидетелем такой трагедии.

Глория. В этой трагедии вы станете одним из главных действующих лиц.

Ральф. Конвоируя террориста до виселицы? Это не так уж много. Если бы я провозжал таких негодяев в петлю не по одному, а толпами, и того бы не хватало, чтобы отомстить за Дэви...

Глория. Надо всегда управлять своими нервами, Ральф. Посмотрите, как я спокойна. *(Внезапно звучит ее громкий саркастический смех.)* Как вы все были растроганы! И мой дорогой Уилсон!

Ральф *(смотрит на нее с испугом)*. Вам нехорошо?.. Позвать Кэт?.. *(Кричит.)* Кэт!.. Кэт!..

Глория. Нет, Ральф. Я не сошла с ума. Пока жив мой сын, мне еще нужен мой разум. А он будет жить, будет! Дэви будет жить, Ральф!.. Будет!.. Я еще не сказала своего последнего слова!..

Ральф. Я ничего не понимаю. Не понимаю...

Глория. Дэви вернется... вернется! Почему вы смотрите на меня с таким изумлением, Ральф?

Ральф. Что вы хотите сказать?.. Объясните мне, прошу вас...

Глория. О, это так просто, Ральф. Завтра, когда вы поведете приговоренного... вы дадите ему возможность... у-бе-жать!..

Ральф *(вздрагивает)*. Что-о?!

Глория *(тем же спокойным тоном)*. Да, Ральф. Вы станете главным героем этой трагедии!..

Ральф *(не может прийти в себя)*. Вы... вы это сами придумали? *(Поднимается с кресла.)* Только сумасшедший мог дать вам такой совет!

Глория. Мой разум ясен, как никогда, Ральф.

Ральф. Подождите... А до этой минуты?.. Вы играли?.. Это была комедия?..

Глория. Вы называете мою борьбу за жизнь Дэви комедией? Как вам заблагорассудится.

Ральф. В этой комедии участвовал и Уилсон?!

Глория. Да. У него роль простака. Ведь в каждой комедии есть такой персонаж... не видящий того, что видят другие.

Ральф. Не видящий? Или притворяющийся, что не видит?

Глория. Это другое амплуа. Поверьте мне, Ральф: Уилсон ни о чем не знает. И никто не знает... Все, кто так быстро согласился на смерть моего сына, окажутся в дураках. Об этом знаете только вы, Кэт и я... *(Наклоняется к нему.)* Ральф, дитя моего сердца! Вы должны спасти своего брата!..

Ральф. А что будет со мной? Трибунал?

Глория. Паттерсоны спасут вас.

Ральф. Когда придет в действие машина, остановить ее будет трудно!..

Глория. О какой машине вы говорите?

Ральф. Машина, у которой тысячи сцепленных деталей — зубцов, шестеренок, колесиков, приводных ремней, кнопок... Законы! Кодексы чести! Писаные и неписаные... Секретные отделы... десятки, сотни разных отделов, канцелярий, инстанций!.. Понятно ли вам, Глория, чего вы от меня требуете?!

Глория. Милый Ральф! Среди тех, кто создал эту машину и вдохнул в нее жизнь, были и Паттерсоны... Были среди них и предки моего отца, Китченеры... Я очень хорошо знаю устройство этой машины. Знаю, когда и как ее можно остановить, чтобы освободить человека, попавшего в ее лапы!..

Ральф. Вы же не смогли найти средство, чтобы спасти Дэви!

Глория. Как не смогла? Разве вы не сделаете того, о чем я вам сказала? Вы ведь сделаете это, Ральф!

Ральф. Я не подозревал такого вероломства, Глория!

Г л о р и я. Полезно иметь сильного союзника. Он есть у вас, теперь вы это видите. Ради близкого мне человека я способна на все. Вас я тоже считаю своим человеком, Ральф. Разве можно было бы доверить такое дело чужому?

Р а л ь ф. Лакей, которому доверяют секретное поручение, тоже свой человек. Но от этого он не перестает быть лакеем. *(Встает.)* Нет, Глория, я не намерен стать лакеем, жертвующим собой ради хозяина. Я люблю Кэт и вас, но выше всего для меня моя честь.

Г л о р и я. Ваша карьера, хотите вы сказать?

Кэт медленно спускается по лестнице, прислушиваясь к разговору.

Р а л ь ф. Моя честь!

Г л о р и я. Если вы откажетесь сделать то, о чем я говорю, вы убьете моего сына. Вы станете убийцей... Вы потеряете Кэт. Она не сможет выйти замуж за убийцу своего брата...

Кэт. Ральф не допустит, чтобы Дэви погиб. *(Подходит к Ральфу, обвиняет его.)* Ты ведь не дашь этому совершиться, Ральф? Ты завтра спасешь нашего Дэви?

Г л о р и я. Я исчерпала все свои доводы. *(Кэт.)* Теперь говори ты, Кэт. Посмотрим, может ли Ральф ради тебя стать настоящим мужчиной...

Кэт. Но это уже решено. Правда, Ральф?

Р а л ь ф. А потом?.. Ты согласишься разделить судьбу обесчестившего себя офицера?.. Что будешь ты говорить нашим детям, когда они спросят тебя об этом, Кэт?

Кэт. Ты все очень преувеличиваешь, дорогой.

Г л о р и я. Самое большее, что от вас потребуют,— это подать в отставку.

Р а л ь ф. А! Вы предусмотрели и такую деталь!

Кэт. Мы все равно ведь решили с тобой уехать отсюда...

Г л о р и я. В Австралии самая богатая плантация Паттерсонов. Она будет вашей, Ральф. А когда печальная история забудется, вы вернетесь.

Кэт. Видишь, милый?.. Мы уедем туда... А хочешь, куда-нибудь еще дальше?.. И я всегда буду рядом с тобой... Всегда и везде... Но если ты убьешь Дэви, ты убьешь и нашу любовь. Тогда нам не быть вместе уже никогда!.. *(Ральф молчит.)* Ты что же... разве ты не любишь меня?

Р а л ь ф. Люблю... Очень люблю, Кэт...

Кэт. Тогда спаси нашу любовь! Она может погибнуть сразу... Спаси Дэви... Есть только два пути. Один — твоя карьера, другой — наша любовь...

Р а л ь ф. Какие жестокие у тебя глаза. Я никогда не видел их такими.

Кэт. Я знаю, как тяжело тебе расстаться с чином майора... Но ведь моя любовь — это тоже высокий чин, Ральф... Потерять ее?.. Неужели это разжалование не пугает тебя?..

Р а л ь ф. Ты уверена, что мы не сможем быть вместе, Кэт, если...

Кэт *(холодно)*. Есть только два пути, Ральф. Выбирай!

Р а л ь ф *(идет к двери)*. Хорошо... Я подумаю... Я позволю тебе из канцелярии... Дайте мне подумать...

Кэт. Только два пути, Ральф.

Р а л ь ф *(с порога)*. А если я найду третий путь, Кэт?.. Должен же быть и третий путь!.. *(Уходит.)*

Кэт. Что он хочет этим сказать?

Г л о р и я. Не бойся. Ральф не склонен ни к сентиментальности, ни к неврастении. Кроме того, он очень любит себя. Такие люди не кончают самоубийством.

Кэт. Какой пытке мы его подвергли, мама!

Г л о р и я. К сожалению, другого способа спасти Дэви нет... Нельзя же скомпromетировать все командование, десятки офицеров, суд... Кто-то один должен взять на себя всю меру ответственности. Другого способа нет. *(Пауза.)* Я не вполне уверена, что Ральф не проболтается. Если он это имел в виду, говоря о третьем пути, он жестоко просчитается! Ему не поверит никто!..

К э т. Ты можешь так думать о Ральфе? Да он скорее умрет, чем скажет кому-нибудь хоть слово... Но я боюсь за него... Очень боюсь... Ты видела, какое у него было лицо, когда он уходил?

Г л о р и я. Не бойся.

К э т. А если все-таки что-нибудь случится?.. Что я тогда буду делать?.. Что я тогда буду делать, мама?..

Г л о р и я. Ну что ж! Я бы тогда на твоём месте тоже выбрала третий путь. Я бы просто не смогла любить мужчину, если он оказался тряпкой.

К э т. Нет! Завтра Ральф спасет нашего Дэви... Я уверена в нём. Он и не то еще сделает для меня... Завтра все будет уже позади.

Г л о р и я. Да, да... Завтра все будет позади.

К э т. *(внезапно мрачнеет.)* А вдруг он откажется?.. Вдруг откажется?

Г л о р и я. Не откажется. Он знает, что Паттерсоны не любят шутить... Поверь мне!

К э т. Боже! Хоть бы все кончилось хорошо... Как я буду любить его! Я буду ему самой верной, самой преданной женой! Сразу же после свадьбы, сразу, сейчас же, мы уедем... Я ни одного дня, ни одного часа не останусь на этом острове! Сейчас же после свадьбы!..

Г л о р и я. Свадьбы не будет, Кэт.

К э т. Что ты сказала, мама?.. Чего не будет?.. Что ты говоришь?!

Г л о р и я. Я говорю то, что завтра скажешь ты сама. Моя дочь не может стать женой разжалованного офицера. Да к тому же это раскрыло бы всю нашу игру... Неужели ты не понимаешь?

К э т. Мама! Как ты можешь, как ты смеешь говорить такие вещи?!

Г л о р и я. Я ничего не хочу от тебя скрыть, дитя мое! Я не хочу, чтобы ты потом всю жизнь упрекала меня же! Надо, чтобы ты узнала все... Ты должна принести эту маленькую жертву во имя спасения Дэви. Должна, моя девочка, как ни больно тебе...

К э т. Но еще вот-вот, недавно, здесь, ты сама советовала нам уехать в Австралию. Или и это была игра?! Я боюсь тебя... Я просто боюсь тебя, боюсь, мама!..

Г л о р и я. Ральф получит достаточно. Он будет доволен.

К э т. Но это низко! Подло! Я никогда не соглашусь на такое предательство!..

Г л о р и я. Низко и подло было бы запятнать свою фамилию, Кэт! Поколения настоящих мужчин создавали ее славу. И если ты пожертвуешь одним Ральфом, чтобы сохранить в чистоте их имена, ты совершишь подвиг, а не предательство.

К э т. Как искусно ты успокаиваешь свою совесть...

Г л о р и я. Когда человек поступает так, как нужно, совесть его спокойна.

К э т. Ну хорошо! Тогда и я поступлю так, как нужно!.. Я расскажу обо всем Ральфу. Пусть он сам решит, как нам быть.

Г л о р и я. Ты не сделаешь этого. Ты не сможешь обречь своего брата на гибель!

К э т. *(с ненавистью смотрит на мать.)* Может быть, я расскажу ему после того, как Дэви вернется. Но имей в виду: я сделаю то, что подскажет мне сердце. Я выйду замуж за Ральфа! Какие бы красивые слова ты ни говорила мне о чистоте нашей фамилии!..

Г л о р и я. Не торопись решать и перестань плакать. Выше голову, Кэт!. Я хочу рассказать тебе... Послушай... Когда аисты учат своих птенцов летать, они сталкивают их вниз... Слово в пропасть... Птенцы кричат от испуга, падают камнем... Но потом они раскрывают крылья и взлетают в небо. Для тебя наступил час боевого крещения, Кэт.

К э т. Крещения? Чтобы стать предательницей?

Г л о р и я. Чтобы понять неизбежность битвы за жизнь.

К э т. Я не оставлю Ральфа! Вот моя битва за жизнь...

Г л о р и я. Сейчас ты убеждена в том, что любишь его. Но я уже сказала: завтра ты его разлюбишь. Ты будешь любить его как человека, слепо принявшего твою власть над ним, но разве это любовь! Не такой мужчина тебе нужен, не от такого мужчины ты будешь рожать детей. Я знаю тебя слишком хорошо. Ты моя дочь. *(Подходит к ней ближе.)* Девочка моя!..

К э т. Оставь меня! Не подходи! О, как бы я хотела сейчас хоть на минуту стать вполне достойной тебя!.. Почувствовать в себе всю силу твоей крови... Стать воистину такой, как ты! Такой же бессердечной, такой же злой... Чтобы плюнуть тебе в лицо!

Г л о р и я. Кэт! Остановись! Очнись! Я хочу забыть то, что ты сейчас говорила... Перед тобой твоя мать, Кэт...

К э т. Я не знаю... Я ничего не знаю... Я сама не знаю, что я говорю... Прости меня, прости, мама...

Долгая пауза. Звонит телефон. Они не берут трубку. Телефон продолжает звонить. Наконец К э т поднимает трубку.

К э т. Хэлло! Ральф? Да, да. Я тебя слышу хорошо, Ральф. Да, да... Если бы можно было предпринять что-то другое? Что же это другое, Ральф? Что?! Я могу это сделать?! Ты разрешаешь мне это?! *(Она на минуту застывает, глядя куда-то перед собой, словно в пустоту.)* Это и есть твой третий путь! О, какой ты сильный, Ральф! Ты оказался именно таким, каким тебя хотела видеть моя мать... *(Кладет трубку.)*

Г л о р и я. Что он тебе сказал?

К э т. Он отказался... Напрасно ты обвиняла его в безволии, мама... Он достоин стать мужем представительницы славного рода Паттерсонов...

Г л о р и я *(смотрит на нее с тревогой)*. Отказался?! *(Яростно.)* Он предал Дэви?

К э т *(хохочет)*. Не пугайся. Он просто.. нашел третий путь... *(Хохочет все громче.)* О! Ральф не из робкого десятка... Он очень далеко пойдет!..

Г л о р и я. Над чем ты смеешься? Что тебе сказал Ральф?

К э т. Ничего особенного он не сказал. Просто он напомнил мне, что... что Китс не слишком сильно тяготеет к военной карьере... но зато очень сильно тяготеет ко мне... Что Китс и сам бы не прочь бросить службу в армии... И таким образом...

Г л о р и я. Что таким образом?.. Китс?.. Но ведь он же совсем чужой нам человек...

К э т. О! Китс когда-то был мне очень близок, мама... Очень близок...

Г л о р и я. Кэт!

К э т. Мама, я не хочу слышать ни единого слова... Дай мне самой сделать взмах крыльями!.. Дай мне доказать, что я твоя дочь. Что я по праву ношу фамилию Паттерсон. Я сегодня же увижу Китса. Я буду говорить с ним так убедительно... так убедительно *(кружится по комнате, подпрыгивая, хохоча)*... что он не откажется!

Г л о р и я. Кэт! Что с тобой?! Ты сошла с ума!

К э т. Ты меня сбросила в пропасть, и вот я летаю, мама! Летаю! Летаю!..

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Картина четвертая

Та же комната. Прошел еще день. Послеобеденный час. Китс сидит за столом, задумавшись. Пьет. Перед ним пустая бутылка. Вики приносит другую. Слышен колокольный звон, доносится шум толпы. Вики наливает вина в стакан, идет закрывать окно.

Китс. Не закрывай окно, Вики. Жара...

Вики. Мне приказала мисс Кэт. Шум очень беспокоит мадам.

Китс. Да... В городе сегодня довольно шумно. С утра стараются разогнать демонстрантов, а поделывать ничего не могут.

Вики. Господин Джордж сказал, что казнь отложили на сутки, она будет на рассвете. Он говорил так спокойно, словно не знает, что эта смерть означает и конец мистера Дэви. И госпожа спокойна... И Кэт... Только я одна плачу о нем в этом доме. У них нет сердца... Они не хотят ничего сделать для такого доброго мистера Дэви!

Китс. На войне добрые расплачиваются раньше всех. В обычной жизни то же самое, Вики. Такому человеку, как бы он ни был умен и даже вооружен, всегда не хватает главного оружия — подлости. Ему и сворачивают шею.

Вики. Позволю себе заметить, это не так, сэр... Вы сами столько раз были на войне, и все же вы остались живы. А разве кто-нибудь может сказать, что вы, простите меня, подлец, сэр?!

Китс. На прошлой неделе, когда я на веранде ушпнул тебя, ты была обо мне, кажется, другого мнения.

Вики. Но это же не настоящая подлость, сэр! Это, конечно, подлость. прошу прощения... Но она... не выходит, ну, что ли, за рамки...

Китс. За рамки чего?

Вики. Честности. Я так понимаю. Солдаты всегда дают волю рукам, сэр.

Китс. Значит, существуют подлецы в рамках честности! Гм... Годами я искал точного определения для собственной персоны, но не мог найти... Ты гений, Вики!

Вики. Вы смеетесь надо мной... Между прочим, так всегда смеются солдаты, когда им хочется плакать.

Китс. Откуда ты так хорошо знаешь солдат, Вики?

Вики. Ну, во-первых, рядом с нами казарма. А потом... мне кажется, горничная похожа на солдата: она служит, исполняет приказы, иногда презирает тех, кто их отдает, но подчиняется им. Совсем как солдат. Я так понимаю, сэр.

Китс. Да, Вики... Верно, дружище... Верно... коллега! Презирает, но подчиняется...

Вики. И так же, как солдат, она мечтает найти когда-нибудь командира, которому будет служить не по уставу, а по любви.

Китс. Ну, и что же, коллега, ты уже нашла себе такого командира?

Вики (*тихо*). Нашла... Но он ничего не знает об этом.

Кэт в черном платье медленно спускается по лестнице. Сейчас она выглядит старше своих лет.

Кэт. Вики! Закрой окно. И иди наверх. Тебя зовет мама.

Вики уходит.

Китс. Ты слышишь, что творится в городе? Светопреставление! Весь город вышел на улицы.

Кэт. И не знает, что человек, который спасет Кирьякулиса, здесь... (*Пауза.*) Ты не передумал?

Китс. О нет! Я так давно искал случая сделать хоть одно доброе дело, я этого так давно ждал, что отказаться от такой удачи было бы преступлением. Перед самим собой. *(Пьет.)* Между прочим, именно поэтому я нынешней ночью так рыцарски отказался принять от вас вознаграждение, мисс...

Кэт. Если ты считаешь себя рыцарем, ты не должен был бы вспоминать об этом.

Китс. Я объясняю не тебе, а себе... Я должен быть уверен, что поступил правильно. А знаешь, мне прямо-таки не верится, что я наконец расстаюсь с казармой!

Кэт. Ты напрасно пытаешься обмануть меня, Ричард. Я хорошо знаю, как это все не просто, и очень ценю то, что ты делаешь ради меня, ради своей любви ко мне.

Китс. Ты ошибаешься, Кэт. К сожалению, это нельзя расценивать как мой подарок тебе. Я, может быть, сделал бы это и ради тебя, если бы ты пришла и попросила об этом, как ты умела приходиться раньше, когда была моим богом. Но ты пришла ко мне торговаться, как девка... Не хитрость и грязь убедили меня. Меня убедила чистота...

Кэт. Чистота? Чья?

Китс. Чистота Дэви, который не знает, за что должен умереть. И чистота Кирьякулиса, который знает, за что умрет! Сегодня ночью все будет на своих местах. Я только немного изменю программу концерта.

Кэт. Что ты хочешь изменить?

Китс. Когда командование потребует от меня объяснений, я скажу не так, как мы с тобой условились, Кэт. Я не скажу, что Кирьякулис бежал. Я скажу, что сам отпустил его. Я хочу, чтобы меня судили не как неуклюжего простофилю, а как человека, принявшего решение.

Кэт. Но тогда тебя осудят как предателя...

Китс *(после паузы)*. Видишь ли, предать предателя я не считаю преступлением. Перед самим собой. Все те, кто будет судьями в трибунале, только и делали, что предавали меня. Это они заставили меня стрелять в тех, с кем я дрался бок о бок... Это они из меня, солдата, сделали жандарма. И они, и другие... и Ральф... и ты.

Кэт. Я всегда старалась понять тебя, Ричард... Я не виновата, что не смогла это сделать. Я думала, что ты любишь меня... И пришла сказать тебе...

Китс. Что бросишь Ральфа и придешь ко мне, если я спасу Дэви? Это? Сюжет из средневекового романа, Кэт.

Кэт. Если бы ты знал, как я тебя ненавижу сейчас!

Китс. Это очень лестно слышать. Значит, я в твоих глазах поднялся хотя бы на одну ступеньку. До вчерашнего дня ты меня только жалела.

Кэт. Скажи... скажи, что ты делаешь это ради меня, и тогда...

Китс. Что будет тогда?

Кэт. Ты поднимешься еще на одну ступеньку... Я уеду с тобой, Ричард! Вот увидишь, уеду...

Китс. Не увижу. Я тебя слишком хорошо знаю. Оставь меня, Кэт. Дай мне спокойно сделать то, что я считаю нужным, и хоть раз получить право уважать себя.

Кэт. Как ты изменился... Ты всегда был таким покорным, Ричард!

Китс. Я был покорен, как твоя колония, Кэт. Наконец-то я поднял голову! *(Пауза.)* Ты видишь теперь, как это страшно, когда поднимается колония?..

Кэт. Ты говоришь, совсем как эти киприоты.

Китс. Я говорю правду. Когда идешь на святое дело, нужно говорить только правду. *(Усмехается.)* Руки должны быть чистыми, когда идешь молиться!

Джордж (*входит запыхавшись. Голова у него забинтована*). Господи боже! Меня сейчас чуть не убили!

Кэт. Что случилось, дядя Джордж?

Джордж. Попади бутылка мне прямо в голову, я так и лег бы на месте. Спасибо, успел наклониться. Она только задела меня и разбилась вдребезги о стену. Что творится! Что творится! Разгонят толпу в одном конце города — собирается в другом... (*Пауза.*) Китс, со старухой я встретился! Все будет так, как договорились... Кирьякулиса ты отпустишь, когда будете переходить деревянный мост. Скажешь ему, что мать будет ждать его за городом, на третьем километре...

Кэт. А Дэви? Когда они отпустят Дэви?

Джордж. Завтра вечером.

Кэт. Вы уверены, что они не обманут?

Джордж. Они дали слово. Хочешь не хочешь, приходится верить. Поскольку обмен производится тайно и неофициально, ничего не поделаешь... Ох, дайте мне чего-нибудь выпить...

Китс. Я пошел.

Кэт. Ты ничего не хочешь сказать мне на прощание? Ты не хочешь поцеловать меня, Ричард?

Китс. С дурными привычками надо кончать сразу. Как с курением. Иначе от них никогда не избавишься. (*В дверях приостанавливается.*) Слышите? Колокола! Похоже, что они зовут меня. Я иду! Иду! До свидания, дружище. Прощай, Кэт. (*Уходит. Вскоре слышен шум отъезжающей машины.*)

Джордж. Уехал...

Кэт. Уехал...

• Появляется Глория. Она останавливается на верху лестницы.

Глория. Что с тобой, девочка?

Кэт. Ничего. Просто, когда аисты сбрасывают птенцов... в пропасть... они иногда разбиваются, мама...

Джордж (*удивленно смотрит на нее. Глории*). Я виделся со старухой, Глория.

Глория. Я слышала, как ты рассказывал об этом Китсу. Почему ты так запоздал? Боже мой! Ты ранен?

Джордж. Пустяки... А не опоздать было невозможно... Прежде всего, едва собрался я идти сюда, ко мне ни с того, ни с сего явился этот Никс-молчальник. Усадил меня играть в шахматы. Еле от него вырвался... Потом я напоролся на демонстрантов, когда они схватились с солдатами... Целое приключение!

Глория. Дорогой Джордж! У тебя золотое сердце...

Джордж (*смуценно*). Бедный родственник всегда богат... чувствами.

Глория. Мой скромный Джордж!.. На какой час назначена казнь?

Джордж. На четыре утра... Но уже сегодня вечером, вернее ночью, в одиннадцать часов, его повезут из тюрьмы. Это очень удобно для нас... Я советовал бы вам обоим пройти сейчас наверх, а я подожду здесь Ральфа.

Глория (*Кэт*). Пойдем, Кэт. Мы хорошо потрудились с тобой, дочка...

Кэт (*поднимаясь по лестнице*). Пойдем, мама. (*Джорджу.*) Когда придет Ральф, поднимитесь к нам.

Глория и Кэт уходят. Джордж облегченно вздыхает. Опускается в кресло, держась за голову, откидывается на спинку, вытягивает ноги. Потом встает, берет томик Кинглинга Читает, медленно шагая по комнате. Начинает размахивать рукой, как бы маршируя.

Джордж (*декламирует*).

День-ночь, день-ночь
Мы идем по Африке.
День-ночь, день-ночь —
Все по той же Африке...

Великий бог! Какой мощный ритм... Когда читаешь эти стихи, сожалешь, почему у тебя только две ноги. Рога должна отбивать этот чеканный шаг! (*Видит в дверях Никса.*) Никс?! Когда ты вошел? Что у тебя за привычка? Как будто ты подкрадываешься...

Никс. А я за тобой, старина. Прости, что так внезапно. Как насчет небольшой прогулки? В городе уже наведен порядок, вечер отличный, и у тебя, кажется, отличное настроение... Побродим, полюбуемся звездами! Знаешь, когда я смотрю на них здесь, как они зажигаются, мне всегда кажется, что распускаются первые почки на ветвях греческой ночи.

Джордж (*смотрит на него с удивлением и испугом*). Что с тобой происходит? С чего это ты стал вдруг таким разговорчивым?

Никс. Иногда приятно поговорить. Когда чувствуешь, что собеседник поймет тебя и ты понимаешь его. Мне это обычно предвещает удачу.

Джордж. Ты становишься другим, когда разговариваешь. Ха-ха-ха! В тебе появляется что-то страшноватое. Хорошо, что мне нечего тебя бояться: скоро я уже ухожу в отставку!

Никс. Страх за свою шкуру никогда не уходит в отставку.

Джордж. О, да ты философ!.. Как жаль, что ты мало разговариваешь в компании!

Никс. В компании мне больше нравится слушать. (*Берет книгу.*) И читать.

Джордж. Бессмертный Киплинг! Вот здесь... здесь... Вот эти строки...

Никс. День-ночь, день-ночь... (*Бросает книгу на кресло.*) Это старо... Меня интересует сегодняшний день... И сегодняшняя ночь! (*Подходит к Джорджу.*) В частности... твоя сегодняшняя встреча со старухой Кирьякули...

Джордж (*ошеломленно*). Что?! Что? (*Старается взять себя в руки.*) Ах, да... Но почему ты спрашиваешь? По долгу службы?

Никс. Да. Может быть, предъявить удостоверение?

Джордж. Зачем же! Какие глупости... Но ты мог бы пригласить меня для такой беседы в свой кабинет, в твою, так сказать, резиденцию... (*Деланно хохочет.*)

Никс. Моя резиденция всюду.

Джордж. Ну, тогда получай ответ... Зря старался! Просто Глория послала несчастной старухе небольшую сумму... Глория хочет быть великодушной...

Никс. Нет логики. Эти туземцы такие неблагодарные.

Джордж. Ты прав! Они не способны на ответное чувство. Именно неблагодарные!

Никс. Но в этот раз старуха совсем не казалась каменной... Правда, Джордж? Сегодня ночью ответные чувства восторжествуют...

Джордж. Я ничего не понимаю... Что ты хочешь сказать?.. Я просто не знаю, о чем ты говоришь!

Никс. Тебе и не обязательно знать, что Никс вот уже четвертые сутки не смыкает глаз... Но сегодня я буду вознагражден за это! Ты представляешь себе, что значит — поймать Китса? Капитана, действующего заодно с террористом!.. Что ты так остолбенел, Джордж?

Джордж. Ты дьявол... сущий дьявол...

Никс. Мне все известно, Джордж. Я не знаю только места, где Китс его отпустит. Место назовешь мне ты.

Джордж. Я не понимаю, о чем ты говоришь... Ничего не понимаю.

Никс. Ты же у меня в руках, Джордж. Ты знаешь, что такое — попасть в руки Никса? Ну? Ты мне поможешь?

Джордж (*превозмогая дрожь*). Я не советовал бы тебе ввязываться в это дело... Некоторые весьма высокопоставленные лица припомнят тебе это, если узнают, что ты так nepозволительно обошелся с Джорджем Маклеем...

Никс. Джордж! Через минуту будет уже поздно раскаиваться. Я имею право арестовать тебя и допрашивать в другом месте. И уж там не рассчитывай на почтительное обращение... Ну?..

Джордж. Нет, нет... Зачем же?.. Ты лишился рассудка, Никс...

Никс. Успокойся. Выпей воды. Нам приходится ограждать тех, кого ты называешь высокопоставленными лицами, от разного рода глупостей со стороны тех, кто стоит ниже. (*Пауза.*) Иногда и от их собственных глупостей. Ты помнишь, как Одиссея спасли веревки? Он сам попросил товарищей привязать его к мачте, чтобы не поддаться соблазнительному пению сирен. Такой знаток греческой поэзии, как ты, должен отлично помнить это место у Гомера.

Слышен клаксон машины.

Джордж. Кто-то приехал... Это Ральф!

Никс. Приведи себя в порядок. Успокойся же. Ральф не должен знать ничего. Он испортит все дело. Ни слова! Поздоровайся, и уйдем. Иначе... Тебе, наверно, приходилось слышать, как поступает Никс, когда ему не подчиняются?..

Джордж. Дьявол... Все пропало... все!..

Никс. Замолчи!

Входит Ральф.

Ральф. О! Здравствуй, Никс! Джордж! Где тебя ранили? Ну и катавасия... Ты угодил в самое пекло?

Джордж. В самое пекло...

Ральф. Форменный ад! Тысячи черномазых демонов избивали палками, камнями и бутылками моих солдат... Уф! (*Валится в кресло.*) Здесь так тихо. Тишина...

Джордж (*про себя*). Мертвая тишина... мертвая...

Ральф. Что ты сказал, Джордж?

Джордж. Ничего, ничего... Немного болит голова.

Никс. Я забираю его к себе. У меня есть одно снадобье, очень хорошо помогает от ушибов.

Ральф. Вы уже уходите?

Никс. Да. Мы хотели доиграть партию в шахматы. И вообще лучше оставить вас одних. Леди Паттерсон, наверно, неприятны посторонние голоса в такие минуты... А мы с Джорджем, когда сцепимся за шахматной доской, бываем шумны... Верно, Джордж?

Он откланяется Ральфу, берет под руку Джорджа, уводит его. Ральф подает свою фуражку вбсжавшей Вики, медленно поднимается по лестнице.

Вики. Вы не скажете, который час, сэр? Большие часы опять неверно ходят.

Ральф. Двадцать минут восьмого.

Вики. Да, очень отстали.

Ральф. Сегодня наши часы должны идти правильно. Особенно этой ночью. (*Уходит.*)

Вики переводит стрелку часов. Потом уходит и она. Темнеет. Вся сцена погружается в темноту. Громко бьют часы. Светящиеся стрелки быстро вращаются. Затем свет возникает снова. Часы показывают одиннадцать.

Ральф (*спускается по лестнице. Поднимает телефонную трубку*). Хэлло! Говорит майор Оуэнс. Дайте пятнадцатого... Хэлло! Дежурный офицер? Это вы, Джек?.. Переправили Кирьякулиса?.. Не слышу вас... Говорите яснее... Вытащите изо рта жвачку!.. Что?! Вернулись обратно?.. Почему?! (*Тревожно.*) Непонятно... Узнайте и сразу позвоните... Я буду ждать у телефона.

По лестнице спускаются Глория и Кэт. Они тоже с тревогой прислушиваются к разговору.

Глория. Что случилось, Ральф?

Ральф. Не знаю. Машины пол часа назад забрали Кирьякулиса и... вернулись обратно... С ним!

Глория (*со страхом*). Что бы это значило?

Ральф. Не верится, что сорвалось... Иногда просто какая-нибудь небрежность в оформлении документов заставляет прокурора отложить дело, и все начинается сначала...

Глория. Ральф! Я начинаю бояться...

Какая-то машина останавливается у дома.

Глория. Кто это?..

Кэт. Может быть, дядя Джордж. Он куда-то пропал...

Звонит телефон.

Ральф. Хэлло... Да, да... Что?! Арестовали Китса?! (*Бросает трубку.*) Все...

Глория. Когда?.. Где?.. Как они посмели?! Дэви, дитя мое! (*Падает в обморок.*)

Джордж (*входит, еле держась на ногах. Он постарел лет на десять*). Китс арестован. Все пропало, все... (*Видит Глорию.*) А!.. Она уже знает... (*Опускается на диван.*)

Кэт (*пытается привести мать в чувство*). Мама! Ральф, дай нашатырный спирт... Мама!.. Мама!.. Ты слышишь меня?.. (*Наклоняется над ней, плачет.*)

Ральф (*поднимает Кэт*). Дай я помогу... (*Кричит.*) Вики!

Вбегает Вики. Шум машины. Свет фар, ударив в окна, гаснет.

Уилсон (*входит. За ним следует спокойный, сдержанный, как обычно, Никс*). О, Глория плохо себя чувствует? Что случилось?

Все молчат. Глория открывает глаза. Кэт поддерживает ее голову.

Глория. Закружилась голова... Уилсон, вы?! Извините меня. Не могу подняться...

Уилсон. Что вы, что вы, Глория! Это я должен принести извинения. Я ворвался в такое неурочное время. Но это необходимо. Я должен вмешаться как можно быстрее. Надо пресечь досадные толки, пересуды... (*Пауза.*) Мне кажется, вы уже знаете об аресте Китса? И о бесчестном поступке, который он пытался совершить...

Глория (*без выражения*). Да, я узнала... только что...

Уилсон. Китс был другом вашей семьи. Могут найтись низкие люди, которые захотят бросить тень и на вас...

Глория. Какую тень, сэр?

Уилсон. Мне трудно даже произнести вслух это... Одним словом, надо всяческим недоброжелателям заткнуть рот. Они должны ясно почувствовать, что леди Паттерсон не может иметь... ничего общего с за-

мыслами Китса... Что она не может даже сочувствовать ему, когда он будет наказан.

Г л о р и я (*поднимается, холодно смотрит на него*). Сочувствовать офицеру, покрывшему себя позором?! Вы изменяете своему всегдашнему отношению к нашей семье, сэр!

У и л с о н. Благодарю вас. Ваш ответ исчерпывает все. Этого нам достаточно, чтобы любого клеветника поставить на место. Не так ли, мистер Никс?

Н и к с. Кто же осмелится, сэр!

Д ж о р д ж (*из своего угла*). Дьявол... истый дьявол...

У и л с о н. Майор Оуэнс!

Р а л ь ф. Слушаю, сэр!

У и л с о н. Приказываю вам возглавить отряд, который будет сопровождать Кирьякулиса к месту казни. Под вашу личную ответственность! Ровно через час все должно быть кончено. (*Откланивается.*) Спокойной ночи, Глория. Спокойной ночи, Кэт. Пойдемте, Никс.

У и л с о н выходит. За ним, поспешно схватив фуражку, не оглядываясь, выбегает Р а л ь ф. Никто не может вымолвить ни слова.

Г л о р и я (*спотыкаясь, делает несколько шагов, вперив взгляд в темноту*). Нет... У меня не может быть ничего общего с этим опозорившим себя офицером..., Леди Паттерсон не отвечает за Китса! И ни за кого не отвечает... ни за кого!.. Даже за собственного сына! Но у меня, кажется, нет сына? Он был... И нет дочери... Она была аистом и разби-лась... Слышите, что это гудит?..

Машины уезжают, на мгновение разорвав мрак на улице слепящим светом фар.

Г л о р и я. Это колеса и рычаги... огромной машины... Она работает... она пущена в ход... Ее создали Паттерсоны... Она хочет раздавить Дэви... и меня... и тебя... Слышите, как она стучит?.. Колеса и рычаги... Колеса и рычаги... Стучат... стучат... стучат... (*Дикий вскрик.*) А-а-а!.. Я остановлю ее!.. Остановлю!.. (*Выбегает на улицу.*)

К э т (*бежит за ней*). Мама!.. Мама!..

Д ж о р д ж (*дрожит в углу*). Все пропало, все пропало... Вики, дай мне воды... Воды!..

В и к и. Боже великий! Какая ужасная ночь...

Д ж о р д ж. Третий километр, Вики... Третий километр будет ждать напрасно... напрасно!

В и к и. Какой третий километр, сэр?. Кто кого будет ждать?

Д ж о р д ж. Там смерть Дэви... Она увидит, что мы ее обманули... Она пойдет и схватит Дэви... Дэви!

В и к и. Скажите же мне скорее... Умоляю вас!.. Какая смерть?.. О чем вы, сэр?.. (*С силой трясет его.*) Говорите же! Говорите!

Д ж о р д ж. Разве это поможет? Не поможет! Теперь уже никто и ничто не может остановить смерть... (*Падает без сил на диван.*)

Г л о р и я (*вбегает с улицы*). Я остановлю ее!.. Остановлю!..

Картина пятая

Комната в крестьянском доме. Две кровати, стол, очаг. Маленький цинковый умывальник. Окна занавешены плотными деревенскими циновками. Горит керосиновая лампа. У стола сидит Дэви, читает. В противоположном углу, на кровати, сидит Анастасис. Рядом с ним на стене висит автомат. Слышно, как переключаются петухи.

А н а с т а с и с (*напевает*).

...И если б когда-то осмелился я

Забыть на минуту, родная, тебя...

Я тебе не мешаю?

Дэви. Нисколько... Мне нравится слушать, как ты поешь.
Анастасис *(продолжает)*.

Пусть крова и сна не найду никогда,
Пусть жажду мою не погасит вода...

Дэви. Вот только душно... Может быть, откроем окно?

Анастасис. Можно снять циновку. Но тогда придется потушить лампу. В деревне знают, что хозяин ложится вместе с курами. Свет привлекает любопытство.

Дэви. А что будет, если станет известно, что все эти дни я прожил здесь?

Анастасис. Придут ваши солдаты и сожгут дом, а может быть, и всю деревню. Они не будут разбираться, кто прав, кто виноват.

Дэви. Это можно понять... Я не хочу оправдывать... я говорю, так сказать, как ученый. Война похожа на эпидемию: она косит всех, без разбора.

Анастасис. Эта эпидемия сразу прекратится, как только уйдет ваша армия. Мир — надежное лекарство. Все переменится. *(С тоской.)* Ты видел когда-нибудь, каким нежным становится человек, когда он стоит перед виноградной лозой или апельсиновым деревом в цвету? Как юноша перед своей любимой...

Дэви. Да... Ты уже изменился: когда ты бросился на меня в двух шагах от казармы, ты вовсе не был похож на мирного агронома. А сейчас похож... Пожалуй, даже на поэта. *(Пауза.)* И как только ты решился? Ты ведь знал, что тебя ожидало в случае малейшей, так сказать, неудачи...

Анастасис. Еще бы не знать.

Дэви. Мне интересно: и ты не боялся?

Анастасис. Когда знаешь, на что идешь, — не боишься.

Дэви. А как же ты заставлял себя не думать о смерти?

Анастасис. Я думал все время о жизни. О жизни Кирьякулиса.

Дэви. Мне очень хотелось бы увидеть его. Моя судьба так тесно связана с его судьбой.. Мы с ним, так сказать, как сиамские близнецы... в какой-то степени. А я никогда не видал его! *(Пауза.)* Что он за человек? Похож на тебя?

Анастасис. На войне все похожи друг на друга. Он моложе меня и в то же время старше. Люди любят жизнь, но за него не пожалели бы своей.

Дэви. А кто он?

Анастасис. Крестьянский парень. Но он командовал нашими отрядами. В общем, он гораздо нужнее людям, чем, например, я, хотя я могу считать себя ученым человеком.

Дэви. Но это неверно! Наука принадлежит, так сказать, вечности. А солдат — явление временное. Как и сама война. Ты же сам говорил... Ты понимаешь?

Анастасис. То, что ты говоришь, понять нетрудно. А согласиться с этим нельзя.

Дэви *(смеется)*. Теперь я тебя не очень понимаю!

Анастасис. А ты пойди скажи земле: «Вода, что поит твои корни, — явление временное. Она приходит и уходит...»

Дэви. Разве война питает корни жизни?

Анастасис. Эх, профессор... *(Пауза.)* Я говорю о такой войне, какую ведем мы. Ее плоды вечны... как сама жизнь! Хочешь, расскажу тебе одну легенду?

Дэви. О чем?

Анастасис. О жизни. Вот слушай... Однажды прекрасная наяда спасалась бегством от преследователей. Увидел это юноша пастух и бросился на помощь. Он спас наяду. Наяда решила вознаградить отважного юношу. Она подарила ему волшебный кувшин с волшебной водой и сказала: «Пока будет в этом кувшине хоть капля этой воды, ты не умрешь! Храни ее, и ты будешь жить вечно». Пастух бережно хранил подарок. Так было до той поры, когда пришла жестокая засуха. Все погибало от зноя: и деревья, и люди, и трава на пастбищах... И тогда пастух захотел сохранить хоть одно дерево для матери-земли. Он хотел хоть чем-нибудь помочь ей в ее страданиях. И вылил всю воду из кувшина, до последней капли, к подножию молодого деревца. И упал мертвым... Беда приходит и уходит. Вернулась жизнь на землю. И люди вспомнили о пастухе и сказали: мы должны поставить ему памятник. Они позвали ваятеля и сказали ему: «Сделай памятник этому человеку». Ваятель спросил: «Какой высоты должен я сделать памятник?» Люди сказали ему: «Смерть высоты этого дерева. Пастух спас его. Пусть будет памятник вровень с его вершиной». Ваятель принялся за работу. Он вырезал из камня прекрасный памятник и сам любовался созданием своих рук. Но когда он закончил свой труд и отложил резец в сторону, он увидел, что дерево поднялось уже выше. Значит, он не выполнил наказа, который ему дали люди. Он расколол памятник и снова принялся за работу. Но когда он закончил новый памятник, дерево успело вырасти еще выше. И он понял, что живое дерево будет всегда выше его творения. И ваятель позвал людей и сказал им: «Живое живет и растет, мертвый мрамор никогда не сможет стать вровень с ним. Пусть памятником герою и будет это живое дерево!» И люди согласились.

Дэви (*после паузы*). Это что, очень старинная легенда?

Анастасис. Она вечная.

Слышно пение петухов.

Дэви. Рассветает, наверно...

Анастасис. Это пока вторые петухи. Рассветает после третьих.

Дэви. Вот кончается и еще одна ночь... Да, на всю мою жизнь я запомню эти ночи... И эту комнату... и стол... И что-то еще!.. И что-то еще... Пять суток я здесь, и ты знаешь, мне как-то не приходила в голову мысль о смерти, хотя я и знал, все время знал, что могу умереть...

Анастасис. Ты веришь, что твои не оставят тебя в беде.

Дэви. Не только это... (*Пауза.*) Я смотрел на твои руки. Они были очень спокойны. Они спокойно носили воду, спокойно поправляли фитиль в лампе...

Анастасис. Руки человека всегда спокойны, когда они делают нужное дело. Они так же спокойны, когда держат автомат. Потому что и тогда они делают то, что нужно. Если бы ты мог взглянуть на весь Кипр, ты увидел бы, что и он спокоен, хотя его сотрясают бури: потому что он делает то, что сейчас нужно,— он борется.

Дэви. Трудно человеку всегда делать то, что нужно... А хочется думать (*улыбается*), что и ты нужен... И я хочу думать, что я нужен!.. (*Пение петухов.*) Слышишь? Третьи петухи... Почему наши не идут за мной? Пора.

Анастасис. Вот теперь рассветает. Можно открыть окно.

Анастасис задувает лампу, отодвигает циновку, раскрывает окно. В комнату проникает мягкий сумрак рассвета. В окно видны силуэты кипарисов, вонзившиеся в светящееся небо. Издали доносится шум просыпающегося моря.

Дэви (*потягивается*). Начинается день... и еще ни одной вести!

Анастасис. Если все обошлось благополучно, Кирьякулис должен быть уже в дороге.

Дэви. Солнце вышло из-за гор... Мистер Солнце! Не угодно ли вам осмотреть хорошенько дорогу от третьего километра до нас? Не увидите ли вы, где Кирьякулис, и не найдете ли способа, так сказать, известить нас об этом?..

Анастасис *(идет к умывальнику. Льет из кружки воду себе на голову. Умывается)*. Иди сюда, я и тебе полью... Нельзя встречать солнце неумытому. *(Улыбается)*. А тем более — разговаривать с ним...

Дэви *(передергивает плечами и фыркает под струей воды, которую льет на него Анастасис)*. Какая холодная! Это покрепче ледяного душа. Лей, лей! Что ты остановился?..

Анастасис *(замер на месте, прислушиваясь. Издали доносятся мерные удары колокола)*. Стой!.. Молчи... Слышишь?

Дэви. Что это?

Анастасис. Колокол... Колокол... Так звонят, когда кто-нибудь умер...

Оба стоят неподвижно, слушая. Слышен стук в калитку. Голос: «Анастасис! Анастасис!..»

Анастасис *(высовывается в окно)*. Кто там?

Голос: «Кирьякулиса убили... ночью... в центральной тюрьме...» С дороги доносятся голоса толпы, возгласы: «Убили Кирьякулиса!..», «Проклятые!..», «Убили Кирьякулиса!..»

Дэви. Нет... Не верю! Наши не могли так поступить... *(Падает на скамейку, опускает голову на стол)*. Нет... нет...

Анастасис. Замолчи... Ты слышишь: убили!.. Ты слышишь?.. *(Тяжело опускается на кровать. Снимает автомат, кладет его на колени, тяжело, неподвижным взглядом смотрит на Дэви)*.

Дэви. Нет! Не верю... не верю...

Шум голосов на улице усиливается. Слышится причитание, которое постепенно нарастает, переходит в хор женских голосов. Звуки плача заполняют всю сцену.

Хор плакальщиц.

...О Кипр, как можешь ты сиять красой своей лазури?..

В сердца людей спустился мрак и громы гневной бури!..

Рыдай над воином, рыдай, о колокол печальный!

Лети к сердцам людей, лети, напев наш погребальный!..

Входит Теофилис, статный, сухошавый старик, седоусый и седобородый. В руках у него маленькое, сделанное из глины кадило (фимьято): плоская, накрытая крышкой с отверстиями для дыма.

Теофилис. Погубили нашего Кирьякулиса, нашего богатыря, Анастасис...

Анастасис. Его мать здесь, с тобой? Где ты ее оставил?

Теофилис. Ее привели под руки двое наших парней. И еще одна женщина с ней. Я их оставил во дворе. Ламбрини слушает плакальщиц... Утешаться она будет здесь. Не вином... *(Смотрит на Дэви)*. Кровью утешаться будем на этих поминках. Мстить за Кирьякулиса буду я сам. Я первый его встретил, когда он пришел в наш отряд, я его и провожу. *(Он отворачивается, спина его вздрагивает от беззвучных рыданий. Он ставит фимьято на окно)*.

Анастасис. Не уберегли мы его... не уберегли...

Теофилис. Но кровь его мы вернем. Так, как велит честь гор. Мать все плачет... Пусть выплачет все слезы. Чтобы они не мешали ей смотреть, как мы отомстим за ее сына.

Тихо входит Ламбрини.

Теофилис. Садись, Ламбрини. Сядь, отдохни немного. *(Придвигает ей скамью)*.

Л а м б р и н и. Если сын умирает, разве матери надо отдыхать?
Теофилис (*поворачивается к иконам*). Прими, господи, святую
душу мученика в царство твое небесное...

Л а м б р и н и. Не надо, Теофилис. Попроси лучше, чтобы господь
оставил ее на земле. Пусть она будет с нами...

Молчание. Слышны удары колокола и плач.

Х о р п л а к а л ь щ и ц.

Не для тебя небесный рай, тебе он будет тесен!
В душе народной жить тебе и в звуках наших песен...
Дела героев пусть живут, светлеют год от года!
Врагу проклятье лишь несут душа и песнь народа!..

Все молча слушают.

Дэви (*смотрит на Ламбрини со страхом*). Значит, он не пришел
к третьему километру?.. Не пришел?..

Л а м б р и н и. Мой сын идет сейчас уже по другой дороге.

Дэви. Я не в силах поверить этому... Не в силах! Так можно поте-
рять рассудок!

Л а м б р и н и. Мой сын не пришел к третьему километру. (*Пауза.*)
Туда пришла только женщина из вашего дома.

Дэви (*с надеждой*). Значит, все-таки кто-то пришел! Это была моя
мать?

Л а м б р и н и. Нет. Она не пришла сказать мне: «Я ничего не могла
сделать. Убей меня вместо моего сына».

Дэви. Сестра?

Л а м б р и н и. И сестра не пришла сказать: «Мы ничего не смогли
сделать для тебя. Убей меня вместо брата».

Дэви. Тогда кто же это был?

Л а м б р и н и. Та, что пришла к третьему километру, назвала себя
Вики. Она упала к моим ногам и сказала: «Убейте меня вместо него!»
(*Пауза.*) Кто тебе эта девушка?

Дэви. Вики? Никто! Это наша горничная... прислуга. Она слав-
ная девушка. Всегда была добра ко мне... Я иногда разговаривал с ней.
Дело в том, что она не получила образования и...

Л а м б р и н и. Эта девушка получила хорошее образование. Оно у нее
в сердце. (*Пауза.*) Анастасис, скажи, чтобы девушка вошла.

Дэви. Вики здесь? Вы привели ее сюда?

Л а м б р и н и. Привела. Пусть друзья моего сына выслушают ее.

Вики (*вбегает. На голове у нее черный платок, в руках пальто*
Дэви). Мистер Дэви!..

Дэви. Вики! (*Встает навстречу ей.*) Кто тебя послал?

Вики. Я сама пришла... чтобы вам сказать... Я все сейчас расскажу...
Я принесла вам пальто... (*Плачет. Дэви стоит ошеломленный.*)

Дэви. Вики... Вики... Спасибо за пальто, Вики... Спасибо тебе...
(*Пауза.*) Но сейчас ты должна вернуться домой... Я напишу письмо,
и ты его отнесешь... (*Пауза.*) Пальто отнеси тоже.

Вики. Нет, нет! Я не уйду от вас, мистер Дэви! Я никуда не пойду!

Дэви. Вики, прошу тебя... Ты меня всегда слушалась. Я хочу, чтобы
ты сейчас послушалась меня в последний раз. (*Всем.*) Вы должны вер-
нуть ее назад.

Вики. Нет, нет... Я не послушаюсь вас! Я уже не горничная ваша...
не прислуга...

Дэви. Я никогда, собственно говоря, и не думал о тебе так, Вики...
А теперь-то я понял, что ты мой самый большой друг...

Вики. Нет, нет... Я не могу и не хочу быть вашим другом... Друзья
бросают нас в трудную минуту...

Дэви. Хорошо, хорошо... *(Пауза.)* Ты для меня сейчас как сестра, Вики...

Вики. Нет! И сестра может забыть брата... Я ни друг вам, ни сестра... Я просто Вики, и я люблю вас! Очень люблю! Больше своей жизни... И я имею право не слушаться вас... Я хочу, чтобы вы жили... жили... больше ничего! *(Теофилису и Анастасису.)* Он должен жить! Чтобы делать людям добро... Мистер Дэви! Объясните же им, как много добра вы можете принести людям! Объясните так, как рассказывали мне... Вы думаете, я не понимала?... Я все, все поняла...

Дэви *(с глазами, полными слез)*. Вики, Вики! Почему другие не понимали меня так, как ты? Почему?

Вики. И Китс понимал вас... Китс... Если бы вы только знали!.. *(Ламбрини.)* Вы совершите большой грех, если убьете его. Я же не обманываю вас. *(Падает ей на грудь.)* Когда человек на пороге смерти и ему ничего не нужно для себя, разве он может солгать! *(Рыдает на плече Ламбри:и.)*

Ламбрини. Анастасис! Мой сын тоже пошел на смерть, и ему ничего не было нужно для себя... Он мог бы сказать так, как эта девушка.

Вики. Поверьте же мне! Поверьте! Я никогда не лгала, а сейчас совсем не могла бы солгать!

Все молчат. Слышны только хор плакальщиц и всхлипывания Вики.

Ламбрини. Анастасис!

Анастасис. Я слушаю тебя, Ламбрини.

Ламбрини. Решай.

Анастасис. Первым Теофилис. Он старше.

Ламбрини. Теофилис!

Теофилис. Я слушаю тебя, Ламбрини.

Ламбрини. Решай!

Теофилис. Ты первая. Ты сейчас старше всех. Ты выше всех... Ты мать...

Ламбрини. Скажите мне: если убьешь сегодняшний день, вчерашнему дню будет больно?

Теофилис. Закон мести гласит: убив сына, причинишь боль отцу. Убив любого, причинишь боль его роду.

Ламбрини. Что ты скажешь, Анастасис?

Анастасис. А если его род отказался от него?

Молчание. Сцена спять наполняется звуками плача.

Хор плакальщиц.

Рыдай над воином, рыдай, о колокол печальный!

Лети к сердцам людей, лети, напев наш погребальный!

Теофилис. Приказывай, Ламбрини. Кровь твоего сына можно смыть только кровью. Чужой кровью!

Анастасис. Чужой... Пять суток прожил я с этим человеком... Я понял — он не чужой... Мне кажется, что, если он умрет, наши враги не проиграют... а проиграем мы.

Ламбрини. Мы — это свобода, это мой сын, это будущее... Надо решать так, чтобы будущее выиграло.

Анастасис. Да, надо сделать так, чтобы будущее не потеряло ничего.

Ламбрини. Анастасис, мой сын, когда был жив, всегда соглашался с тобой... И теперь он будет с тобой согласен, потому что он и теперь живет. *(Теофилису.)* А ты что скажешь, Теофилис?

Теофилис. Твой сын живет в твоём сердце... Говори голосом сына.
Ламбрини. Да, я должна говорить голосом сына. *(Пауза.)* Анастасис... Теофилис... Мы не можем убить этого человека.

Анастасис. Не можем, Ламбрини.

Теофилис. Ты мать. Как ты прикажешь, так и будет!

Ламбрини идет к окну, берет фимьято, слушает плач хора.

Ламбрини *(решительно)*. Уведи их, Анастасис. Я хочу остаться одна. Вечером ты их проводишь. *(Вики.)* Я дарю ему жизнь. А твоя мне не нужна. Пусть он посвятит свою жизнь добрым делам... *(Пауза.)* Идите. Вы свободны.

Вики *(бросается к ней, целует ей руки)*. Спасибо... Спасибо...

Ламбрини *(отстраняя ее)*. Я сказала: идите. Мне надо развести огонь и сварить кутью. Я хочу остаться одна и поговорить со своим сыном...

Дэви. Я хочу верить, что мы когда-нибудь встретимся... Хочу верить... *(Надевает пальто. Проходя мимо Ламбрини, склоняет голову в поклоне. Уходит вместе с Вики и Анастасисом. Снова с улицы вливается в комнату плач.)*

Хор плакальщиц.

О Кипр, как можешь ты сиять красой своей лазури?..

В сердца людей спустился мрак и громы гневной бури!

Они врагу закроют путь к священному порогу

И светом молний озарят друзьям во тьме дорогу...

Ламбрини *(на коленях перед очагом)*. Сын мой! Сыночек!.. Мне кажется, я приняла правильное решение. Как ты думаешь?.. Теперь всю жизнь меня будет мучить это!.. И всегда я буду отвечать себе: я правильно поступила. Сделала то, что нужно... Но ты, сынок, знаешь, как страдают в этом мире люди, которые умеют делать то, что нужно... Очень страдают, сынок... Очень...

*Авторизованный перевод с греческого
Ю. Лукина и А. Столтидса.*



К. ВАНШЕНКИН

★

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

..*

Мир отрочества угловатого.
Полгода с лишним до войны.
Два наших парня из девятого
В девчонку были влюблены.

Любовь бывает не у всякого,
Но первая любовь — у всех.
И оба парня одинаково
Рассчитывали на успех.

Но тут запели трубы грозные,
Зовя сынов родной земли.
И встали мальчишки серьезные,
И в первый бой они ушли.

Она ждала их, красна девица,
Ждала двоих, не одного.
А каждый верил и надеялся,
А каждый думал, что его.

И каждый ждал: душой согреть его
Уже готовится она.
Но вышла девушка за третьего,
Едва окончилась война.

Косицы светлые острижены,
И от бывшего — ни следа...
Ах, если бы ребята выжили,
Все б это было не беда.

ЯБЛОКИ

Тишь. Но касается слуха
Странный, неведомый звук.
Яблоки падают глухо,
Время от времени, вдруг.

Ветви устали, ослабли.
Шлеп!.. И опять, погода.
Будто гигантские капли
Падают после дождя.

Стонут под грузом подпорки.
Завтра по первой росе
Яблок веселые горки
Вырастут возле шоссе.

То, что созрело, готово,
Надо отдать, чтоб опять
Новое веское слово
Новому лету сказать.

ВЕСЕННЯЯ ПРИРОДА

О первые весенние мазки,
Природы ученическая робость.
Разрозненные пробные листки,—
От пышных рощ их отделяет пропасть.

Удаче каждой радуется глаз.
Зацвел орешник — нет его дороже.
Казалось бы, уже в который раз,
И всякий год почти одно и то же.

Наверное, есть навык, мастерство —
В который раз кроит она и лепит.
Но мысль: «А вдруг не выйдет ничего?» —
В который раз ее ввергает в трепет.

СНЕГ

На землю белую идущий
Почти недвижную стеной,
Струится снег, все гуще, гуще,
И заслоняет свет дневной.

Совсем не чувствую движенья,
Так он медлительно течет.
Как видно, сила притяженья
Его к земле едва влечет.

За этой белой пеленою
Поселки скрыты и леса,
За этой белой тишиною
Гудки, звонки и голоса.

За этим занавесом белым
Вся в блеске солнечном зима.
За этим мысленным пределом
Лежит Вселенная сама.

Так пусть в ней будет все, как надо:
Прилеты птиц, разливы рек,
Громов июльских канонада,
Шумящий дождь, бесшумный снег.



НИКОЛАЙ ДУБОВ

★

ЖЕСТКАЯ ПРОБА

Повесть

1

После спектакля Наташа захотела пить. Около зеленой фанерной будки стояли ребята и ждали, когда освободятся кружки. В киоске было только пиво.

— Пошли в ресторан,— сказал Виктор Алексею.

— Из-за бутылки воды?

— Не только воды...

— А чего же еще? — сухо спросила Наташа и остановилась.

— Мороженое, например.— Виктор подмигнул Алексею.

У Алексея загорелись уши. Он переодевался второпях и не положил денег. Что-то есть, но, наверно, пустяки. В кармане три мятые бумажки, хорошо, если пятерки, а то, может, трешки или даже рубли...

В летнем ресторане недалеко от входа сидел Олег Витковский. Несмотря на духоту, он был в толстом, как одеяло, пушистом свитере. Витковский увидел их, замахал рукой.

— Приветик, детки! Давайте к нам, у нас весело.

На столе стояли пустые коньячные бутылки, пивные кружки. Сидящие за столом уставились на Наташу. Шея Алексея одеревенела.

— Ни за что! — тихо сказала Наташа.

— Другим разом! — Виктор помахал рукой.

Они протиснулись в угол террасы, где освобождался столик. Маленький плешивый официант в засаленной белой куртке, стоя к ним спиной, составил на поднос грязную посуду и ушел. Алексею показалось в нем что-то знакомым, но он не уловил что.

Наташа брезгливо завернула край скатерти на залитую столешницу, положила книжку.

— Может, все-таки трахнем, а? — Виктор наклонился над столом.— По маленькой?

— Мальчики, если вы будете пить, я сейчас же уйду.

— Чутошную...

— Без меня.

— О женщины! — Виктор трагически откинулся на спинку стула и тут же снова наклонился.— Ну а пиво? Мужчины мы или не мужчины?

— Пейте, если не можете без гадости.

— Абсолютно!

Алексей знал, что Виктор врет. Не так уж он любит пиво, а водку тем более. Просто считает — раз пришли в ресторан, надо пить, чтобы быть не хуже других.

— Знаешь, что я тебе скажу, Виктор...

Наташа осеклась — к ним пробирался Витковский. Он был пьян, толкал сидящих, хватался за спинки стульев. Следом шел длинноволосый парень в светлом костюме. Правую руку он держал в кармане, голову слегка наклонил и повернул так, будто косился на свою левую пятку. Длинные желто-рыжие волосы падали ему на лицо, он вздергивал голову, грива ложилась на место и тотчас снова падала. По этому дерганью Алексей узнал его.

— Привет! — сказал Витковский и с маху сел на стул. — Знакомьтесь. — Оглянулся, протянул руку к спутнику. — Мой друг. Мировой парень.

«Мировой парень» дернул головой, вынул руку из кармана и протянул Наташе.

— Юрий Алов. Привет, ребята. — Он старательно произносил каждую букву. — Разрешите присесть?

— Да садись, чего ты...

Витковский рванул от соседнего столика пустой стул, с грохотом подвинул. Алов откинулся на спинку, снова сунул руку в карман и стал там чем-то побрякивать — ключами или мелочью.

— Как вам понравился балет? — все так же выговаривая каждую букву, спросил Алов у Наташи.

— Очень! Очень понравился!

— А мне, знаете ли, не очень... Меня, собственно, пригласили посмотреть, чтобы написать рецензию. Но я, по-видимому, откажусь — ничего особенного.

— А вы...

— Я по профессии журналист... Правда, приходится иногда заниматься вопросами, которые, так-сказать, не в сфере моих интересов...

Он говорил медленно, отчетливо, побрякивал чем-то в кармане и лениво поглядывал из-под опущенных век. Глаза у него были тоже желтоватые, кошачьи.

— А с вами, молодой человек, мы, кажется, встречались? — обратился Алов к Алексею. — Это я о вашем общезжитии писал?

— О нашем, — хмуро ответил Алексей.

— Помню, помню... Потом мы еще давали «По следам наших выступлений». Как там теперь у вас дела?

— Нормально.

Виктор слушал с безразличным видом. Витковский все время порывался что-то сказать, но никак не мог собрать губы. Он сжимал, мял их горстью, но, как только убирал руку, лицо опять разъезжалось.

— Ребят, — проговорил он наконец, — пошли к нам. У нас там мировые ребята. Пошли — выпьем. Пошли?

— Тебе уже хватит. По завязку, — сказал Виктор.

— Кому? Мне? — Витковский обиделся.

— Что это вы читаете? — Алов взял книжку, полистал. — Завидую. Мне, к сожалению, читать уже некогда. Пройденный этап. Приходится самому писать.

Лежавший в книжке платок упал на землю. Наташа покраснела — сумочки у нее не было.

— Простите, пожалуйста, — отчетливо проговаривая все буквы, сказал Алов и подал платок.

Наташа затолкала его в манжет рукава и покраснела еще больше.

Витковскому снова удалось собрать губы.

— Нет, ты скажи, кому хватит? Мне, да?

Сидящие за соседними столиками начали оглядываться. Перехватив насмешливые взгляды, Наташа потупилась.

— Сейчас все будет в порядке,— сказал тихонько Алов и хлопнул Витковского по плечу.— Олег, ребята зовут. Пошли.

Витковский поднялся и, хватаясь за спинки стульев, побрел к своему столику.

— Рад был познакомиться. Надеюсь, знакомство наше продолжится. Привет! — сказал Алов и, оглядываясь на левую пятку, пошел следом. Алексей облегченно выдохнул воздух.

— Он в самом деле журналист? Настоящий? — спросила Наташа.

— В нашей многотиражке работает.

— А что он пишет?

— Он и про Лешку писал,— сказал Виктор.

— Правда? Почему ты не рассказывал?

— А! Чего там рассказывать,— сказал Алексей и пнул под столом Виктора.

Подошел плешивый официант, помахал над скатертью мятым полотенцем так, что все крошки остались на месте, вынул маленький блокнотик и, покатывая огрызок карандаша между указательным и большим пальцами, приготовился писать.

Ну, конечно, это он! Только вроде стал меньше ростом и как-то ссохся, что ли. Большой рот скорбно сжат, налитые когда-то щеки обвисли, как брыли у легавой собаки.

— Мороженое, сидро и две кружки пива,— сказал Виктор.

— Водочки не желаете?

— Нет.

Официант вздохнул, спрятал блокнотик и повернулся уходить.

— Дядя Троша! — негромко окликнул Алексей.

Официант оглянулся, недоуменно шевельнул бровями. Рот его дрогнул, в глазах что-то мелькнуло и тут же погасло.

— Не узнаешь?

— Лешка... Алексей! Господи!

Он по-бабьи всплеснул руками, затоптался на одном месте.

— Как же ты?... Господи бож-же мой... Да разве признаешь?

Неподалеку за столиком громко застучали по тарелке.

— Сию минуту! — откликнулся дядя Троша.— Бож-же ж ты мой...— повторил он, переступая с ноги на ногу.— Вот так встреча! Я сей минут, сей минут! — И засеменял к столику, за которым еще требовательнее застучали.

— Кто это? — спросил Виктор.

— Жаба. Дядька двоюродный.

— Тот самый? От которого убежал?

— Тот самый. Помнишь,— Алексей повернулся к Наташе,— я рассказывал, как он меня избил и я убежал?

Наташа кивнула.

— Сильно я его тогда боялся. И ненавидел. Ненавидел даже больше, чем боялся.

— Ты же маленький был.

— Маленький... Убежал в сорок восьмом, сейчас пятьдесят второй.

Почти пять лет.

Дядя Троша принес заказанное и остался стоять, разглядывая Алексея. Алексей полез в карман, но Виктор уже положил на стол двадцать пять рублей. Дядя Троша дал сдачу, поколебался и отсчитал мелочь тоже.

— Ты присядь, вон стул свободный.

— Не полагается нам. Ничего, я так... Убежал ты тогда. Обидел меня. Крепко обидел. Ну ничего, я зла не помню. Как же ты потом-то, а?

— Хорошие люди привезли сюда. Был в детдоме, в ремесленном, теперь работаю.

— Та-ак, определился, значит, к месту... Ничего, видно, живешь, неплохо.— Дядя Троша осторожно пощупал материал Алексева пиджака и вздохнул.— Хорошая вещь!.. Вон ты какой вымахал! В отца, значит, пошел..

— Наверно. А ты как живешь? Почему из Махинджаури уехал?

Лицо дяди Троши стало еще более скорбным.

— Выжили... Справедливость-то, ее днем с огнем не сыщешь! Был человек, а стал — видишь кем... Ни кола, ни двора. Теперь здесь вот — подай да прими... А годы уже не те. Не по годам бегать-то...

— А что тетя Лида?

— Нету тети Лиды! Нету. Померла. Два года как померла. Лечилась. А вот...— Дядя Троша горестно вздохнул и пожевал губами.— Живу в приймах, угол снимаю... Да... Старость не радость... Ты как, не женился? — Он покосился на Наташу.

— Нет.

— Это, конечно, успетсяя...

— Эй, старичок, давай сюда! — закричали за одним из столов.

— Сей минут!.. Ты бы зашел как-нибудь, а? Посидели бы, поговорили... Или свой адресок дай, сам приду. Я ведь не гордый. Не до гордости. А мы как-никак не чужие все-таки...

Алексей сказал адрес, дядя Троша убежал.

— Жалкий какой! — сказала Наташа.

Они допили пиво и ушли. Виктор долго шагал молча, что-то соображал, шевеля нависающими густыми бровями.

— А знаете, — сказал он наконец, — по-моему, это устарело — балет... То есть не вообще балет. Вообще-то это здорово. А вот, скажем, «Лебединое озеро». Сказка! Всякие там принцы, волшебники... Для дошкольников!

Наташа возмутилась. Ничего он не понимает! Сказка или не сказка, важно, чтобы было искусство. А сказка, если он хочет знать, — отражение жизни!

— Какая это жизнь! Надо, чтобы наша жизнь была. Почему можно из жизни всяких королей, а из обыкновенной нельзя? Об этом и газеты пишут.

— А что ты из обыкновенной жизни в балете покажешь? Как у станка стоишь?

— Или Маркина, например, — сказал Алексей.

— Кто это Маркин?

— Фрезеровщик у нас в цехе. Вон, Витькин учитель. Маленький такой, старичок уже, но ехидства в нем!.. Недавно на цеховом собрании председатель завкома доклад делал. Маркин всегда молчит, а тут вылез на трибуну. Налил себе воды из графина, выпил, будто второй доклад собрался делать, и говорит: «Вот тут докладчик долго объяснял, как завком о нас заботится и беспрестанно посылает рабочих на курорты. В порядке очереди. Очень распрекрасно! Вот я имею, к примеру, заболевание радикулитом, требуется мне для лечения курорт Цхалгубо. Я, конечно дело, состою в очереди, и очередь у меня трехсотая. А путевок бывает две штуки в год. Выходит, я на курорт через сто пятьдесят лет поеду? Покорно вас благодарю, товарищи!» И слез с трибуны... Хохоту было!

Они посмеялись. Виктор смеялся больше всех, потом сказал:

— Ну, Маркин — известный бузотер. Есть настоящие люди, передовики.

— Уж не ты ли?

- Хоть бы и я? А что?
- Ты же липовый передовик.
- То есть как? Я не работаю, да? Норму не перевыполняю?
- Ты пенки снимаешь.
- Это я-то?
- Ты-то!
- Мальчишки, не ссорьтесь! Ну что вы вдруг затеяли?
- Не вдруг. Я ему раньше говорил, — сказал Алексей.
- Это ты здесь храбрый! Ты там, в цехе, скажи!
- И скажу!
- Ну и говори!.. И иди ты знаешь куда... Ты... Ты просто завидуешь! — Виктор сунул сжатые кулаки в карманы и зашагал к углу.
- Витя! Витя! — позвала Наташа.
- Виктор поддал ногой камень, тот грохнул в ворота, за ними залаяла собака. Виктор, не оборачиваясь, свернул за угол.
- Зачем ты так?
- Ничего, подуется — перестанет.
- Да, он быстро остывает. Добрый.
- А я?
- Не знаю. Ты, может, еще добрей... Только сердитый.
- Вот так определила!
- Они засмеялись и забыли о ссоре, которых и раньше было несчетное число и которые забывались так же мгновенно, как забылась нынешняя.

2

- Алексей всегда старался не подходить к табельной доске в одиночку. Ему было неловко, как всегда, когда он не оправдывал чьих-либо надежд, оправдывать же надежды Голомозого Алексей не собирался. Голомозый, нежно поглаживая веснушчатую лысину, поздоровался первый.
- Что ж ты не показываешься? Разок пришел, и все. Или не понравилось?
- Нет.
- Что так?
- Василий Прохорович избавил Алексея от необходимости отвечать. Снимая табель, он спросил громко, чтобы слышали подходившие:
- Ну, святой, когда в рай собираешься?
- Голомозый улыбнулся осторожной злой улыбочкой.
- Это вы, горластые, наперед всех лезете. А мы — когда призовут...
- То-то! Рай раем, а за землю держисься? Смотри, призовут — кобелей прихвати, они и там сгодятся: ангелов гонять... Пошли, Алеха! Собаку у него отравили — мальчишек рвала, так он двух теперь завел, чтобы в сад не лазили...
- Дядя Вася, а если к тебе залезут?
- Ну, ко мне!.. Я в крайнем разе уши нарву. И мне, чай, можно: я святым не притворяюсь... Ты чего квелый? Гуляешь много?
- Да нет, не много.
- Будто я не знаю! У меня усы-то тоже не сразу седые выросли...
- Он свернул налево, к своему большому продольно-фрезерному, Алексей — к плите. Возле нее лежала груда чугунного литья, но ни чертежей, ни нарядов не было. Алексей прислушался — в главном пролете кричали.
- Скандалил Маркин. Сухонький, с морщинистым, перекошенным сейчас лицом, он размахивал перед носом мастера левой рукой со скрюченными пальцами и кричал. что это его не касается, его должны обеспечить деталями, а там пусть мастер и все начальники хоть пополам перервутся. Сопляков обеспечивают, а его что, хотят выжить, да? На пенсию

отправить?! Мастер поднимал руку, пытаясь вставить хотя бы слово, но сделать это не удавалось, он опускал руку и вздыхал.

— Дает жизни старик,— улыбаясь, сказал Виктор. Он уже зажимал оправкой стопку заготовок.

Все голоса и шумы внезапно исчезли, утонули в могучем реве третьего гудка. Алексей подошел к мастеру, потянул его за рукав, но тот, оглянувшись, досадливо отмахнулся. Чтобы не слоняться без дела, Алексей взял инструменты и пошел к точилу — подправить. Голомозый прошел мимо, сделал было шаг к нему, но Алексей отвернулся и включил мотор точила. Хватит, один раз попался...

Это случилось в первый месяц его работы в цехе. Месяц был трудный, и как раз тогда Алексей остался один. Виктор ушел в отпуск, повез мать и Милку к знакомым рыбакам на Кривую косу. Ребята в общезнании были малознакомые, из транспортного цеха, с ними Алексей еще не свыкся и боялся, что они, уже видавшие виды, поднимут его на смех. В цехе же он, вчерашний ремесленник, еще ни с кем не успел сойтись. Вот только Голомозый...

Голомозый всегда был приветлив, даже ласков. В дружбу он не лез — и какая могла быть у них дружба, если Алексей едва подбирался к восемнадцати, а Голомозый, должно быть, и забыл, когда на его голый, как абажур, голове было что-нибудь, кроме больших рыжеватых веснушек! Однако, проходя, он не упускал случая заговорить, деликатно посочувствовать.

К концу смены разламывало спину, ноги наливались тяжестью, тяжесть накапливалась и где-то внутри. Эту тяжесть нельзя было стряхнуть, ее не снимали ни сон, ни отдых, и Алексей все чаще со страхом думал — как же будет дальше?

Вот это и есть труд? И так будет всегда? Он вызывал в памяти все слова, которые слышал прежде о труде, аршинными буквами они кричали на него со стенных плакатов и транспарантов. Слова не помогали. Они существовали сами по себе, а он изо дня в день должен поднимать, ворошить чертово железо, стоять и стоять, стучать и стучать молотком по кернеру, и ничего в этом героического не было. Голомозый, когда Алексей сказал ему о своих сомнениях, скорбно вздохнул.

— Такие слова люди говорят в утешение. А суть в том, что человек обречен в поте лица добывать хлеб свой... Очень просто: надо жить, жить без денег нельзя, а тебе за твое стояние и стук платят деньги. Другим — за другое. И человек должен терпеть... Однако, если у тебя какая заминка, ты не стесняйся... Табельщик — человек маленький, но и от него кой-чего зависит. А я — всей душой... А как же? Волки и те в стаи сбиваются, подсобляют один одному. А мы ить не волки, помогать дружка дружке все одно, как брат брату,— это есть человеческое предназначение...

Особенно охотно Голомозый говорил о том, что жизнь человеческая — путь тернистый, много на нем всяких соблазнов и испытаний. В одиночку человеку их не преодолеть, не вынести. Один человек как колосок у дороги, и ветер его на все стороны клонит, и каждый проходный затопчет. А нива засеянная, она, как стена, стоит — колосок к колоску, под ветром клонится, да не ломится. Если, конечно, посев добрый и не засорен плевелами... Мимоходом спросил, не верует ли Горбачев в бога.

— В бога? Да кто в него сейчас верит?

— Если про церковь говорить, то немногие,— согласился Голомозый.— И что же удивительного? Душа человеческая жаждет познания истины, а в церкви какая может быть истина? Рясы, иконы, идолопоклон-

ство языческое... Театр, а не религия. Не просветляют разум, а затемняют его.

В другой раз Голомозый начал расспрашивать, как Алексею живется, что он делает в свободное время, не скучно ли в общежитии. Общежитие — голая комната, в которой стояли стол и шесть коек. В нем старались находиться как можно меньше: спали, ели из бумажек запасенные в «Гастрономе» или на базаре харчи и спешили уйти — в кино, в сад или просто так, «прошвырнуться», лишь бы не сидеть в осточертевших стенах. Иногда выпивали, но и это предпочитали делать в забегаловках, а если денег случалось больше — в пельменной на главной улице.

Голомозый сокрушенно кивал головой. Да-да, верно, верно. Молодежь не знает, чем себя занять. Хлеб засушенный ей обеспечен. А этого мало! Напитав тело, человек стремится напитать душу, а пищи духовной не находит, бродит в потемках грубых плотских развлечений. Однако, утоляя жажду телесную, нельзя утолить жажду духовную. И жажда эта иссушает человека, делает его черствым, равнодушным к ближнему. А ведь и марксистское учение говорит, что человек — существо общественное. Нельзя человеку в одиночестве бродить по земле. Жить нужно в братском единении, когда человек протягивает другому не только половину своей краюшки, но и душу свою. И есть люди, которые стремятся помочь другим, не таят души своей и сообща идут к светлому будущему... Если Горбачев хочет, он, Голомозый, может познакомить его с такими людьми. Они собираются вместе, беседуют, помогают друг другу и словом и делом. И пусть он не думает, что там одни старики. Там молодежь, которая устала бродить в потемках и приобщилась к свету. И они не только наставляют друг друга, но и развлекаются. Достойным образом. Поют, играют в разные игры...

— У вас кружок какой самодельный или что? — спросил Алексей. — В самодельность я не хочу — не умею.

— Не то чтобы кружок... Да что рассказывать? Приходи, сам посмотри, послушай. Делать тебе ничего не надо. Мы никого не принуждаем...

Ехать пришлось далеко, в самый конец Стрелки. Трамвай, как всегда в воскресенье, был забит. Не только мальчишки, но и взрослые цеплялись за рамы окон, гроздьями висели по обе стороны вагона. На предпоследней остановке все хлынуло налево, к пляжу, Алексей пошел направо по щербатой мостовой. В конце тупикового переулка возле ворот стоял Голомозый. Он обрадованно заулыбался, повел Алексея через сад к дому. Двор был огорожен невысоким аккуратным заборчиком. От сарая к ним бросился рыжий пес. Коротко подхваченная цепь рванула его обратно, пес запрокинулся набок, но сейчас же вскочил, яростно запрыгал на задних лапах. Он душил себя цепью, лаять уже не мог и только надсадно хрипел. В большой комнате, как в кинотеатре, были расставлены рядами стулья и скамейки, перед ними стоял маленький столик, у стены приткнулась коричневая штукавина, похожая на маленькое пианино.

— Устраивайся, — сказал Голомозый.

Алексей сел в угол, за маленькой шаткой этажеркой.

— Что это? — показал он глазами на коричневую штукавину.

— Фисгармония. Посиди немножко, я должен встретить...

Голомозый ушел. Впереди, ближе к окнам, сидели несколько девушек, они тихо и серьезно перешептывались. У противоположной стены стоял здоровенный, выше Алексея, парень. Он старался смотреть прямо перед собой, но то и дело скашивал большие синеватые белки на девушек и моргал белыми телячьими ресницами. Старушка в кружевной на-

кидке склонилась над маленькой книжечкой, беззвучно шевеля губами, читала. Такую же книжечку держал в руках наголо обритый мужчина в чесучовом пиджаке.

В комнату тихонько и осторожно, будто к покойнику, входили новые люди, скрипя стульями, рассаживались. Последним вместе с Голомозым пришел розовощекий мужчина с подстриженной черной бородой. Под приглаженными усами его влажно поблескивали толстые красные губы. Он двигался солидно, неторопливо, только глаза его, черные, маслянистые, зыркали по-цыгански горячо и быстро.

Голомозый и чернобородый прошли к столу.

— Братья и сестры,— сказал Голомозый.— Начнем наше собрание. Слово сегодня произнесет присланный к нам из Таганрога брат Павел...

Чернобородый открыл обернутую газетой толстую квадратную книжку, зыркнул по лицам слушателей.

— Собеседование наше посвятим ныне речению Екклезиаста, глава четвертая, стихи девятый, десятый и двенадцатый.

Он далеко, как все дальнзоркие, отставил книгу и медленно торжественно прочитал:

— «Двоим лучше, чем одному; потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их:

ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его.

И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него: и нитка, втрое скрученная, не скоро порвется».

Брат Павел отложил книгу и строго посмотрел на слушателей.

— Что означают слова эти? К чему призывают они нас? Какие выводы должен сделать из них каждый? Двойко их значение, глубокий смысл. Помогать ближнему в труде и беде его — нет дела более похвального. Но беды телесные — не самые страшные. Страшнее беды духовные, слепота безверия. Люди, бредущие по терниям житейским, ранят стопы свои, но, озаренные светочем веры и знания, они видят цель и смысл жизни. Это придает им сил и бодрости, твердости духовной и телесной. Они, счастливые, не должны забывать о ближнем, идущем рядом с ними, но не знающем, куда идти. Как бы ни было их, заблудших, много, каждый остается один, ибо с ними и в них нету бога...

Брат Павел говорил легко и бойко, слова сыпались из его красногубого рта гладкие и круглые, как колочки. Все внимательно слушали. Бритый сосед Алексея открытым ртом ловил слова проповедника, растроганно сопел и хлюпал носом.

Алексей, пригнувшись, почти спрятался за этажеркой. Уши его горели. Он порывался встать и уйти, но боялся, что все обернутся на его шаги, и продолжал сидеть.

Вот так влип! Если ребята узнают — засмеют! Бог, вера, Христос... Это было такое древнее, призрачное и никчемное, что о них никто никогда не говорил всерьез. И невсерьез тоже. Они просто не существовали. Их не было. И все это знали. И вот, оказывается, есть какие-то книги про этого бога, и люди, которые их читают и уговаривают друг друга, что надо верить и ждать, когда он снова придет на землю...

Красногубый брат Павел все так же стрелял глазами и бойко сыпал круглые слова. По этим словам получалось, что церковь стала на службу богатым и эксплуататорам, а истинная вера не знает никакого чиновничества, в ней нет ни священников, ни первосвященников, и это правильно, потому что отец Иисуса был пролетарием, имел специальность плотника, а сам Христос никаким имуществом не обзаводился, разоблачал богатых и заботился о бедных... Потом он говорил об усмирении

гордыни, о том, что каждый должен в этом смысле тренироваться, не брезговать ближним и, чтобы воспитывать в себе смирение, полезно чаще проделывать обряд омовения.

Голомозый и его жена принесли несколько тазиков, разномастных мисок и полотенца. Брат Павел сел, разулся. Голомозый вымыл ему ноги. Потом сел Голомозый, и ноги ему вымыл брат Павел. То же самое проделали еще несколько человек. Тазики и полотенца унесли.

— А теперь споем, братья и сестры, наш псалом,— сказал брат Павел.

Старушка в накидке села к фисгармонии, начала по очереди, будто ехала на велосипеде, нажимать педали вниз, а руки положила на клавиши. Фисгармония громко задышала, из нее потянулись тягучие гнусавые звуки. Все запели. Пели в один тон и тоже почему-то гнусаво. Алексей плохо понимал слова нудной песни, понял только, что в ней поется о том, как Христос снова придет на землю и установится его тысячелетнее царство. Парень с телячьими ресницами пел фальцетом, все время сбивался с тона, но не умолкал и особенно старательно выводил припев:

Как прекра-асно, как прекрасно
будет там, будет там!.

Алексей отодвинул стул и, не таясь, вышел. Желтый кобель, увидев его, вскочил на дыбы и, полузадушенный цепью, захрипел. Алексей поискал, чем бы в него пульнуть, но на чисто подметенном дворе не было ни камня, ни палки.

3

Алексей надеялся, что никто не узнает о его посещении сектантов. Оказалось, его видели.

Напротив плиты, через пролет, стоял большой продольно-фрезерный станок. В смене Алексея на нем работал Василий Прохорович Губин. При Семькине, опекавшем Алексея на первых порах, Василий Прохорович частенько подходил к плите, умащивался на высоком, в полроста, узком табурете и, поглядывая на свой станок, неторопливо беседовал. После перевода Семькина в другую смену он подходить перестал. Однако в понедельник, на другой день после молитвенного собрания у Голомозого, он включил самоход, подошел, сел на табурет и долго молча смотрел, как Алексей работает.

— Привыкаешь?

Алексей хотел было небрежно сказать, что привыкать нечего, он же проходил практику и все такое, но вместо этого вздохнул и сказал:

— Трудно...

Василий Прохорович как будто даже обрадовался.

— Очень хорошо!

— Что ж хорошего, если трудно?

— А как же? Работать — это тебе не фигели-мигели... Думаешь, зря слова из одного корня, что труд, что трудно?

— И всегда так будет?

— Привыкнешь — полегче станет, а совсем легко не будет, нет. Легкая жизнь только у жуликов... покуда не прищемят. Ну, а которые дураки, те утешаются — на небе, мол, легко будет.

Алексей почувствовал, что краснеет, наклонился над чертежом.

— Ты, видать, тоже собрался на небо тропку топтать?

— С чего вы взяли?

— А у соседа моего вчера что делал? Мне все видать. И как голоса, богу своему жалятся — слышно.

— Голомозый заманил. Я не знал, что они там молиться будут.

— А чего ж еще штундам делать?

— Каким штундам?

— Ну, штундисты, баптисты всякие... Теперь бога-то, как штаны, каждый по-своему кроит. Собираются по квартирам и молятся. Думают, без попов до бога дорога ближе. А что с попами, что без них, все одно вокруг себя крутятся. И ты туда же?

— Я в бога не верю.

— Ну и правильно. Бог, он кому нужен? Кому прятаться надо. Голомозым, например, без бога никак. Бог им вместо забора, они за ним свою двуличность прячут. Взять того же Голомозого. Вон какую домину выстроил! Сад, огород. Думаешь, на зарплату? Зарплата ему — для прикрытия, баба его за яблоки на базаре в одно лето столько насшибает, что ему и в пять лет не набрать. Его послушать, так он вроде последнюю рубашку отдаст, а ребяенок падалицу поднимет — он из ружья бы палил, кабы не боялся, что засудят. И выходит, все его божественные слова — враки...

К Голомозому Алексей больше не ходил и от разговоров с ним уклонялся, а Василий Прохорович, как прежде, при Семькине, частенько стал подходить к плите покалякать и незаметно превратился для Алексея в дядю Васю. Почти все его разговоры были монологами. Взмоштившись на табурет и поглядывая на станок, он неторопливо излагал свою точку зрения на какой-либо предмет — а своя точка зрения была у него на все предметы — и вовсе не требовал участия Алексея в разговоре: сам задавал вопросы и сам отвечал на них, выдвигал возражения и тут же их разбивал. Болтовня старика не мешала. Алексей вчитывался в чертежи, ставил и снимал детали, а дядя Вася говорил и говорил. Больше всего он любил распространяться о месте и значении рабочего в жизни и о жизни вообще.

— Жить — это не просто! — говорил он. — Да... Тут тебе и сверху печет, и сбоку продувает, и сзади подталкивает. Или по лбу огорошит. А ты сумей не сбиться, линию найти... Ты свою нашел?

— Не знаю. Наверно, нет.

— Как так?

— Я сталеваром хотел быть. А вот...

— Значит, мало хотел.

...Нет, он очень хотел, а не получилось. И не только у него. Вот были они все вместе, мечтали, спорили, надеялись. И ничего не получилось. Мечты не сбылись, надежды не оправдались. Витька хотел стать капитаном и не стал: умер отец, пришлось идти на завод учеником, теперь фрезеровщик. Яша Брук поехал в Киев, в политехнический. Не приняли. Теперь, кажется, в городской библиотеке работает, и то вроде без зарплат, а так чего-то подбрасывают... А Наташу приняли. Уж лучше бы наоборот: приняли бы Яшу, а ее — нет. Тогда ей не нужно было бы ехать в Ростов...

А он сам? Собирался стать сталеваром, и ничего не вышло... Ему сказали, что группа сталеваров укомплектована и нужно идти в слесари.

Он тогда побежал к Еременко, доказывал, что ему обязательно нужно в сталевары, что он хочет, у него призвание... Еременко долго слушал, вытирал платком лоб и вдруг сказал:

— А я люблю черешню.

Лешка открыл рот.

— Нет, не есть... Есть я ее, конечно, тоже люблю. А еще больше — сажать и выхаживать. По моему рассуждению, это самое что ни на есть красивое дерево на земле. Весной, как зацветет, это ж разве дерево? Невеста! Мне, может, хотелось бы садик иметь и хлопотать в нем. А я вот сижу тут, тебя, дурачка, слушаю да еще уговаривать должен. Думаешь,

мне это очень нравится? Ты погоди губы надувать! Ты, голубчик, пойми: мы пошли тебе навстречу, приняли раньше, чем положено, поскольку ты сирота, воспитанник детского дома. А ты кобенишься. Подумай сам, чего выйдет, если каждый будет вроде тебя: того не хочу, а желаю этого? Таким манером все наше государство вместе с нами вверх тормашками полетит... Правильно я говорю?

Что Лешка мог возразить? Что государство никуда не пойдет, если он, Алексей Горбачев, станет сталеваром? Или пускай оно идет, куда хочет, а он хочет в мартеновский? И потом уже, когда Еременко сам позвал его и предложил «взять курс на разметку, поскольку есть такая наметка», Лешка даже не возражал. Если не в сталевары, какая разница, кем быть?..

Еременко — молодец, своих ребят не забывал и, как любил повторять, доводил «до ума». Каждый раз, когда группа заканчивала учебу и практику, ребята получали разряды и были оформлены, Еременко в первый день их самостоятельной работы сам приводил всю группу строем в цех и сдавал начальнику с рук на руки. «Чтобы чувствовали! — говорил он. — Не с ветру пришли, а трудовые резервы...» Может, хотел он поторжественнее обставить вступление ребят в коллектив, чтобы запомнили на всю жизнь и гордились, а может, просто тщеславно показывал свой «товар лицом»... В Лешкиной группе торжества не получилось. В цехе только что сменили начальника, Витковский, за какие-то грехи или упущения переведенный из главных механиков, рвал и метал. Он исподлобья посмотрел на выстроившихся в центральном пролете ремесленников и отрывисто спросил:

— Что за пацаны? Зачем?

Еременко, улыбаясь и, как всегда, вытирая пот, сказал, что это не пацаны, а станочники, новое пополнение.

— У меня станков с сосками нет! Мне с них работу спрашивать или на горшок сажать? Ты кого привел?

Ребята в группе, кроме Лешки, которого в то время погнало в рост, подобрались на редкость малорослые. Еременко перестал улыбаться, побагровел и вдруг — чего никогда с ним не бывало — закричал:

— У тебя что здесь, цирк? Борцы, гладиаторы тебе нужны?

Витковский ушел в контору, Еременко бросился следом. Ребята, встревоженные такой встречей, против обыкновения не расползались в разные стороны присесть, облокотиться, а так и стояли тесной группкой, ждали. Наконец Еременко вышел из конторы, не глядя, похлопал кого-то из ребят по плечу:

— Все в порядке, голубчики, давайте по местам... Но в случае чего — враз ко мне!..

В ожидании «случая» он несколько раз приходил в цех, проверял, не затирают ли его питомцев, не придираются ли попусту, но ремесленников не затирали, попусту не придирались.

Так без всяких торжеств и речей они и начали: приходили по гудку, снимали табель и шли к станкам, Алексей — к разметочной плите.

В газетах и книжках он читал о ребятах, как они, окончив школу или ремесленное, идут на завод, как поначалу немножко там ошибаются, портят что-нибудь или бедокурят — проедают, например, зарплату на конфеты, — а потом очень быстро исправляются, становятся передовыми, гордыми, счастливыми.

Алексей проверял себя, но у него ничего похожего не получалось. Конфет он не любил и зарплату не проедал, пока ничего не портил, но ни счастья, ни гордости не испытывал. К концу смены болели ноги, еще раньше начинало ломить поясницу, непрерывно нужно было ворочать, двигать тяжелые отливки и поковки, в цехе душно, от испарины тело все

время кажется грязным, руки стали шершавыми от клеевой краски, окалины и формовочного песка. И постоянно приходилось ругаться с мастером: то нет наряда, то наряд есть, а нет чертежа, а то и ни того, ни другого. Или с Маркиным. Очки мало помогают ему, видит он плохо и чуть что кричит, будто ему нарочно размечают так, что ничего не видно... И каждый день одно и то же. Вставать по гудку в шесть, всухомятку что-то жевать, бежать к автобусу, который отвезет на завод, долго идти пешком к цеху и в холод, и в дождь, и в зной. И никакого счастья, ничего героического в этом не было. Особенно трудно было в самом начале, когда учителя его перевели в другую смену и Алексей впервые остался один у плиты.

Семькин давно уже не помогал, не проверял размеченные Алексеем заготовки, но он стоял рядом, в любую минуту мог посоветовать, помочь или вступить, если что-нибудь оказалось бы не так и пришлось отвечать за ошибку, недогляд или даже брак. Его сорок лет, седьмой разряд и спокойная уверенность были опорой и заслоном от любых неожиданностей и осложнений.

И вдруг опоры и заслона не стало. Рано или поздно это должно было произойти. Алексей был к тому готов, но когда это случилось, оказалось, что он совершенно не готов и случилось все слишком рано. Он стоял у плиты и всем телом ощущал направленные на него выжидательные и настороженные взгляды из всех пролетов, от всех станков. От этих взглядов у него деревенели шея и спина, сводило руки. Он поднимал голову, оглядывался — никто на него не смотрел. На минуту напряжение ослабевало, потом появлялось снова. Он проверял сделанное дважды, трижды и, так как очень боялся ошибиться и напутать, путал, ошибался и начинал сначала. Все, что он знал и умел, вдруг оборачивалось незнанием и неумением...

— А почему хотел быть сталеваром? — допытывался дядя Вася. — На портретах красоваться? Специальность у тебя не громкая, однако гордая, без нее все другие ни тпру, ни ну... У нас завели моду: об одних кричат, про других молчат. А генералы в рабочем деле нужны, как собаке хвост спереди... Важно не кем быть, а каким быть! Да. Каждый в своем деле может быть как бог Саваоф.

— Так уж и бог!

— А ты думал? И Карл Маркс говорил: рабочий — это демиург, что по-древнему означает бог-творец. Ты Маркса читал?

— Нет. Нам про него рассказывали...

— Рассказывали... Все-то вы понаслышке, как дрозды, с чужого голоса. До всего, брат, надо своим умом доходить. А то сегодня тебе про одно скажут — белое, ты поверишь, завтра про то же самое, что оно черное. И ты снова поверишь?

— Нет.

— Поверишь! За душой-то у тебя только и того, что тебе в уши надули... А надуть чего хочешь можно. Или еще хуже — и тому и другому верить перестанешь. А это уж последнее дело, когда человек ни во что не верит. Это как дерьмо в проруби: ни взлететь, ни утонуть... А когда до всего своим умом дошел — тут уж тебя никто не собьет. Вот, к примеру, я. «Капитал» я, конечно, не осилил — образования не хватило, а другие книжки читал. Рабочему книжки эти нужны, чтобы он гордость свою понимал.

— Для утешения?

— Утешение только дуракам помогает. А умным понимать надо.

Рассуждения дяди Васи не вызывали такого раздражения, как покусывающие речи Голомозого, но и помогали так же мало. Помогла привычка. Чем больше втягивался, привыкал Алексей, тем меньше уставал.

Однако творцом, демиургом, как говорил дядя Вася, он себя не чувствовал. Он размечал детали, части каких-то станков, машин, и они бесследно исчезали. Делал он все больше и лучше, но все сделанное уходило из поля зрения, и ему казалось, что вся его работа — только видимость, никаких результатов и следов после нее не остается.

Иначе было с долбежным станком, стоявшим у начала главного пролета. Его разобрали для капитального ремонта. Мастер, которого за склонность к спешке и страху перед начальством называли в цехе Ефимом Паникой, почти все время стоял над душой, торопил, подгонял, и, должно быть, поэтому Алексею запомнились детали долбежного, которые он размечал. Приходя в цех, уходя из него, Алексей видел, как возле оголенной станины накапливалось все больше готовых деталей, как слесари подгоняли их, шабрили рабочие плоскости и начали собирать. Это уже была не видимость, а настоящая большая и нужная вещь. Алексею нравилось наблюдать, как станок рождается заново, и если выдавалась свободная минута, подходил, смотрел, как его собирают. Сборку закончили, станок опробовали, на нем снова начал работать прежний его хозяин, старый долбежник. Произошло это без всякого шума и торжеств, но у Алексея целый день было радостное настроение. Его станок работал! Ну, не его, конечно, одного, но он ведь тоже делал, тоже помогал, и без его, Алексея, помощи он был бы, наверно, не таким, каким-то другим, а этот был своим... И каждый раз, приходя в цех, Алексей посматривал на его зеленую станину, сверкающие плоскости, рукоятки. «Работаешь, старик? Давай, давай!..»

Алексей даже огорчился, когда у старого долбежника появился ученик: невысокий коренастый парень в солдатской гимнастерке. Лицо у него было широкоскулое, с маленькими раскосыми глазами, на верхней губе росли редкие черные волоски. Это был комсорг цеха, звали его Федор Копейка. То, что он комсорг, ничего не меняло — мог запороть станок за милую душу, как и всякий... Комсорг учился старательно, потел от усердия, вместе с потом размазывал по лицу масло и ходил поэтому всегда замурзанный, но станок не запарывал.

Потом Алексей довелось размечать цилиндр, золотники и несколько дышел для заводской кукушки — маленького, без тендера, паровозика. Это был 9П-782. Алексея и теперь потянуло проследить, куда ушли размеченные им части. После работы он бегал на сборку и смотрел. Паровозик отремонтировали. Деловито сопя и звонко покрикивая, он опять начал снова по гигантскому заводскому двору, то толкая перед собой огромные, пышущие зноем ковши с расплавленным чугуном от домны к мартеновскому, то увлакаивая в отвал ковши со шлаком. Кургузый паровозик этот казался Алексею необыкновенно красивым, а пронзительный свисток его — самым звонким и приятным. Каждый раз, увидев 9П-782, Алексей провожал его взглядом и, даже не видя, узнавал по свистку. Это тоже был его крестник.

У мостового крана, ходившего над главным пролетом механического полетели зубья ведущей шестерни. Новую шестерню для крана размечал Алексей. И потом каждый раз, когда кран двигался над головой, Алексею в рокоте его слышался голос нового крестника.

Таких крестников становилось все больше и больше. Они не были живыми и вместе с тем как бы жили: двигали, двигались сами, работали... Проходя по двору, он слышал звонкий голос «своей» кукушки, у самого входа в цех стоял коренастый, чем-то похожий на нового хозяина Федора Копейку долбежный, брызгал малиновыми искрами шлифовальный, рокотал мостовой кран, торопливо, будто запыхавшись, перечечно-строгальный выговаривал «вжик, вжик»...

Алексей и теперь не чувствовал себя творцом, он сам, один, не сде-

лал ни одной вещи, ни одного станка или машины. Его работа растворялась в работе других, ее заканчивали люди, которых он даже не знал. Но сделанное им направляло, определяло всю дальнейшую работу, ее конечный результат.

Плита стояла посреди цеха. Краны, вагонетки, а иногда и просто руки чернорабочих в заскорузлых рваных рукавицах несли к ней все, что поступало в цех: шершавые иссера-черные чугунные и стальные отливки, тускло поблескивающие бронзовые, сизо-красные, в осыпающейся окалине поковки. Отсюда, исчерченные по меловой, сразу берущейся ржавчиной краске, они растекались по станкам. Их обтачивали, строгали, долбили, сверлили, фрезеровали, шлифовали. Они возвращались вновь на плиту, снова исчерченные, простроченные кернерами уходили к станкам, их снова шлифовали, фрезеровали, сверлили, долбили, строгали, растачивали.

Все, что делал, подготавливал и выпускал цех, проходило через плиту. От всех станков, из всех пролетов, отделов к ней тянулись, на ней скапливались, сталкивались, боролись, побеждали или отступали и уступали интересы и устремления сотен, тысяч людей. В цех со всех сторон наплывали требования других цехов, отделов заводоуправления, конструкторского бюро, БРИЗа, главного механика, энергетика, главного инженера, технолога... Случалось, приходили заказы, требования от других заводов, из порта, паровозного депо, трамвайного, или поступал, как сейчас, большой заказ... И всё — то еле слышно, в шелесте бумаг, то в пронзительном трезвоне телефонов, то в вежливых и язвительных спорах планерок и заседаний, то в ругани во все горло на месте, в цехе, — собиралось, сгущалось и раздражалось над чугунной разметочной плитой, строго поблескивающей недавно простроганным зеркалом.

Теперь Алексей не жалел, что не стал сталеваром. Профессия разметчика действительно была не громкая. Она была строгая. Здесь ничего нельзя было делать «шалаяй-валяй», надеяться, что кто-то «подрубают», «подчистит». Малейшая ошибка разметчика вела за собой вереницу чужих ошибок, делала бессмысленной, бесплодной работу множества других людей. У Алексея исподволь выработалась жесткая мера всего, что делал он сам, а потом и того, что делали другие. Ошибка и фальшь могли означать только одно — брак. И так во всем... Незаметно для него жесткая мера распространялась на все, что говорил и делал он сам, другие люди. Что, кроме вреда и ошибок, могла принести фальшь во всем остальном?.. И как нельзя было сделать правильно разметку, не прочитав весь чертеж, не поняв устройства и назначения узла, так нельзя было и распределить свое отношение к людям, не разобравшись во всем до конца, не решив, кто они и что они.

В течение дня Алексей не раз вспоминал вчерашнюю стычку с Виктором. Он не сомневался в своей правоте, но этого было мало. Он подошел к Губину.

— Дядя Вася, а как по-твоему, Гуцин — передовик?

Василий Прохорович посмотрел на Алексея поверх очков.

— Дружок твой? Прыщ он... на причинном месте, твой Гуцин!

Смена кончилась. Алексей поспешно убрал инструменты и зашел за Виктором. Виктор был занят. Растопырив треногу штатива посреди пролета, фотограф наводил аппарат на Виктора. Тот опирался рукой на горку готовых деталей и изо всех сил старался выглядеть солидным. Виктора еще ни разу не фотографировали для «Доски почета», и, как он ни тужился, как ни хмурился, толстые губы его расплзались в улыбке. Мимо шли рабочие, оглядывались, ребята помолже приостанавливались, посмеивались.

— Витька, подбери губу — в аппарат не влезет!

— Это тебя к ордену или сразу в лауреаты?

Виктор надулся, но тут же заулыбался снова.

— Прошу не мешать, — строго сказал фотограф. — Товарищ Гушин, не отвлекайтесь, смотрите сюда.

Фотограф поднял палец, Виктор послушно устоял на него.

— Ты скоро? — спросил Алексей.

Виктор сделал гримасу, показывая, что не знает.

— Товарищи, так же нельзя работать! — рассердился фотограф. — Ну вот — кадр пропал... Давайте еще раз. Смотрите сюда... Теперь становитесь к станку.

Виктор перешел к станку, фотограф взял штатив и начал выбирать для него место. Алексей махнул Виктору рукой и ушел. Времени было в обрез, чтобы доехать, переодеться и успеть к Наташе.

Успеть не удалось. На скамейке возле входа в общежитие сидел дядя Троша. Увидев Алексея, он вскочил, зашпешил ему навстречу.

— А я уж тут сижу-сижу, думаю, придет ли, нет ли?

— Мне уходить надо.

— Да ведь я на минутку, не задержу, нет, нет... — Он суетливо сел рядом, снизу вверх заглядывая Алексею в лицо.

— Ну пошли.

— Погоди, давай вот сюда в сторону отойдем... Понимаешь, беда у меня...

Алексей усмехнулся.

— Нет, нет, так все в порядке... С квартирой! Я снимал там у одной боковушку, вроде чуланчика... А к ней сын приехал с семьей. Куча детей. Ну, она меня и... Что ж, говорит, ты жить будешь, а детишек я на улице класть должна?

— Так куда я тебя? В общежитие посторонним нельзя.

— Сам-то я ничего, перебьюсь, приткнусь где-нибудь. А вот вещички не знаю, куда девать. Люди кругом незнакомые. Оставишь, а потом... У меня и вещей-то всего ничего — чемоданишко с бараклом. А пропадет — жалко! Как-никак последнее... — Губы дяди Троши задрожали.

Алексей молча смотрел на него. Когда-то он мечтал поскорее вырасти, снова встретить дядю Трошу и отомстить ненавистной Жабе за все — за поруганную память отца, за унижение, за побои, за жизнь, которая была бы непоправимо загублена, если бы не чужие люди. Теперь не было ни ненависти, ни желания мстить. Мордатый, самодовольный и страшный дядя Троша превратился в плюгавого сморчка и не вызывал ничего, кроме брезгливой жалости.

— Приноси ко мне свой чемодан, места не пролежит.

— Вот... Вот уж спасибо! — Дядя Троша просиял. — Выручил ты меня — прямо не знаю как... Можно сейчас? Я в один момент... А?

— Давай, только скорей. Пока переоденусь.

— Сей миьут, сей минут!

Дядя Троша засеменял по тротуару. Алексей умылся, переоделся. Дядя Троши не было. Алексей вышел на улицу, посмотрел в ту сторону, куда убежал старик. Его не было. Алексей вернулся в комнату, посмотрел на часы. Наташа уже одета, ждет. Алексей снова выбежал на улицу. Никого. И ребят из комнаты нет. Он побежал отыскивать тетю Дашу, чтобы предупредить о чемодане. Тетя Даша куда-то запропастилась. Алексей решил плюнуть на все и уходить, но в дверях столкнулся с дядей Трошей. Пыхтя и задыхаясь, он тащил большой фанерный баул.

— Опоздаю я из-за тебя, — сердито сказал Алексей.

— Да ведь не молоденький! И так еле дух перевожу...

Алексей поднял потертый исцарапанный баул.

— Получше не мог купить?

— А на какие шиши? По барину и говядина...

Алексей затолкал баул под свою койку.

— Ну все, пошли.

— Как? Вот тут и оставишь?

— А где же еще?

— Да ведь ты здесь не один...

— Никто не тронет.

— Мало ли... Береженого, говорят, и бог бережет...

— Чего ты боишься? У тебя там ценное что?

— Какие у меня ценности!.. Барахлишко всякое — старые кальсоны да рубашки, на них никто не позарится... А документы? Да! Вот документы у меня там... Все справки: где работал, что, как... Барахло и пропадет — не жалко, а документы, сам понимаешь...

— Что ж мне его, с собой таскать? У нас вон все лежит, ничего не пропадает.

— Может, камера есть? Хранения...

— Какая, к черту, камера?! — Алексей посмотрел на часы, выхватил из-под койки чемодан. — На! И цацкайся с ним сам... Нekoгда мне! Понимаешь?

Лицо дяди Троши выразило такой испуг, огорчение и растерянность, что Алексей еще раз чертыхнулся и побежал отыскивать тетю Дашу. Она уже сидела на своем всегдашнем месте в коридоре, между окном и бачком для воды.

— Тетя Даша, закройте чемодан!

— А сам не можешь?

— Да нет, в кладовку... Это не мой, я потом расскажу.

Тетя Даша выбрала из связки ключ, со вздохом поднялась и, шаркая опухшими ногами, с трудом понесла свое рыхлое изработанное тело к темной кладовой в конце коридора. Алексей помчался за баулом. Дядя Троша семенял рядом, на ходу проверяя замок. Висячий замочек был новенький, отменно прочный. Алексей сунул баул в угол.

— Ну все!

— А квитанцию?

— Какую еще квитанцию?

— Хоть какой-нибудь документик!.. Принято, мол, на хранение. Порядок такой... — Дядя Троша, заискивающе, жалко улыбаясь, смотрел то на Алексея, то на уборщицу.

Проклиная дядю Трошу, баул и все на свете, Алексей сунул в руки тете Даше карандаш, клочок бумаги и тут же пожалел об этом: писала тетя Даша еще медленнее, чем ходила. Первое слово «адин» благополучно разместилось, но второе поехало вверх, и бумага кончилась прежде, чем слово. Получилось — «чима». Тетя Даша подумала, решила, что этого достаточно, и старательно вывела подпись с маленькой буквы — «зуева».

— Вот. — Она полюбовалась своей работой и улыбнулась. — На. Прямо как в банке.

Алексей выхватил квитанцию, сунул дяде Троше и, убегая, прокричал:

— Приходи в другой раз!.. Пока!

Дядя Троша вслед ему угодливо закивал.

Наташи дома не было. Мать, которой Алексей еще с мальчишества стеснялся и побаивался, насмешливо сказала, что кавалерам опаздывать не полагается, к Наташе пришла подруга, они ушли к кому-то, а потом, может быть, пойдут в театр. Алексей, не найдя, что сказать, покраснел и ушел.

Устали оба — и Виктор и Алов. Они сидели битых два часа, но дальше первой странички не пошли.

Сначала было легко: родился там-то, тогда-то, отец — партработник... Последнее время был секретарем горкома. Первым секретарем. Мать? Обыкновенно — домашняя хозяйка. Есть еще младшая сестра Людмила. Перешла в четвертый. Когда пошел работать? Когда кончил семь классов, умер отец... Вот тогда и пошел. Подробнее? Что ж тут подробнее? Обыкновенно...

Рассказывать об этом не хотелось.

Поход начался так хорошо. У Витьки так здорово все получалось. Никто лучше его не мог стоять на руле.

К Бердянку подошли утром. Море успокоилось после шторма, ребята отоспались, отдохнули, и теперь их распирала гордость. Штормяга был что надо, а они, как настоящие моряки, выдержали курс, и никаких гвоздей...

Отмытый штормовыми ливнями город пламенел черепицей, слепил белизной домов. Деревья сушили на легком ветерке помолодевшую зелень, в лужах плыли подрумяненные купы облаков. Мостовая причальной стенки шаталась и дергалась, как пьяная. Ребята с хохотом следили друг за другом, за своими ногами — они перестали повиноваться. За четверо суток тело приноровилось к зыбкой шаткости палубы, втянулось в непрерывную качку, и теперь, хотя под ногами была надежно неподвижная земля, тело продолжало раскачиваться, ноги искали опоры там, где ее не было, и натывались на нее, когда она не была нужна. Весело горланя, ребята вдребезги разбивали заглядевшиеся на себя в лужах облака и заново учились ходить по твердой земле.

Петр Петрович ушел к капитану порта. Вернулся он скоро, неожиданно строгий и хмурый.

— Все ко мне! — резко скомандовал он.

Ребята стихли, подбежали.

— Мне нужно отлучиться. Заместителем назначаю Семена Горина. Готовить завтрак, раздать. С корабля не отлучаться, не купаться. Ясно? Гушин пойдет со мной.

Витька готовно зашагал рядом. Зайдя за штабеля пустых селедочных бочек, Петр Петрович остановился, положил руку на Витькино плечо.

— Такое дело, Гушин... Ты показал себя как настоящий моряк. Как мужчина. Понятно?.. Так вот. Мужчиной надо быть всегда...

— А что? Что такое? — нетерпеливо спросил Витька.

— Такое дело... Беда, брат, случилась. Умер отец... Твой отец.

Витька поднял широко открытые глаза на Петра Петровича.

— Вот... — Петр Петрович вынул из кармана кителя бумажку, протянул Витьке. — Телеграмма.

Витька прочитал: «Капитану порта Бердянска Срочно передать командиру учебного бота «Моряк» Ввиду смерти отца немедленно любыми средствами отправить домой учмора Гушина Похороны седьмого четырнадцать часов Начводстанции ДОСААФ Лужин».

Горло Витьки что-то перехватило и туго сжало. Он отвернулся и ткнулся лицом в дырку бочки.

— Ну, ну... — сказал Петр Петрович. Голос его звучал глухо, как через вату. — Держись. Мужчина должен держаться — вот! — Большой волосатый кулак его сжался так, что побелели косточки.

Витька посмотрел на кулак и кивнул.

— Ага.

— Сейчас десять. На автобус ты еще вполне успеешь...

Горло было по-прежнему чем-то зажато, и не проходила странная глухота. Ломовик беззвучно шлепал широкими, как тарелки, копытами по камням, железные прутья на подводе тряслись беззвучно, и даже мотоцикл, обдавший их сизым дымом, шелестел еле слышно.

На автобусной станции было пусто, окошко кассира закрыто. Петр Петрович распахнул дверь к диспетчеру. Тот зубами вытаскивал резиновую пробку из бутылки с молоком. Увидев вошедших, диспетчер выплюнул пробку и сердито сказал:

— Русским языком написано: «Сегодня рейсы отменяются».

— Почему?

— Грязь.

— Тут, понимаете, срочный случай...

— При чем тут случай? Одна вышла и за городом на пузо села. Теперь жди, когда из МТС трактор пришлют...

— Когда же пойдут?

— А я знаю? Когда дорога протряхнет... Не раньше как через сутки. Дождь вон какой лил. Теперь не грейдер, а... водохранилище, матери его черт!

— Понимаете, у парня отец умер...

Диспетчер посмотрел на Виктора, помолчал.

— Что ж я, автобус по воздуху пошлю?.. А вы вот что: попробуйте на аэродром. Только навряд и там... — Он с сомнением покачал головой.

В комнате дежурного по аэродрому, несмотря на распахнутые окна, плавал синий дым. Четыре летчика весело смеялись. Трое были в кителях, четвертый — в шлеме и комбинезоне.

— Сюда нельзя! — сказал летчик, сидевший за столом.

— Нужно срочно отправить одного пассажира, — сказал Петр Петрович, — вот этого.

— Какие пассажиры! — Дежурный засмеялся. — Мы тут скоро во долазами заделаемся.

Петр Петрович протянул дежурному телеграмму. Тот прочитал и перестал улыбаться.

— Сами видите — ни взлететь, ни сесть. Ну, отсюда вытолкнем, а там не примут. Почта и та лежит. Вон пилот — с утра дожидается.

— Как же быть?

Дежурный пожал плечами.

— Может, к вечеру.

— Придется ждать, — сказал Петр Петрович, когда они вышли. — Одна надежда на самолет. А пока нужно сходить на «Моряк», все ли там в порядке. Пошли?

Витька представил, как все ребята начнут спрашивать, смотреть на него, и покачал головой.

— Я лучше тут...

Петр Петрович внимательно посмотрел, кивнул.

— Добро. Я скоро обернусь.

Огромное поле аэродрома зияло широкими лужами. Возле домика дежурного, будто куры у запертого курятника, сгрудилась стайка грязно-зеленых и серебристых «кукурузников». Полосатая «колбаса» на шесте то надувалась, как маленький дирижабль, то мешком опадала вниз.

Витька никогда не видел самолетов вблизи. Он сделал несколько шагов к «кукурузникам» и вернулся. Разглядывать самолеты перехотелось. Он сел на скамейку возле домика. Маленькие черные муравьи суетились возле дырочки в земле, стараясь протолкнуть в нее серый комочек, раз в пять больший, чем любой из них. Витька вяло удивился, почему он

так все отчетливо видит, будто и самолеты, и полосатая «колбаса», и муравьи, и все-все вырезано и раскрашено яркими детскими карандашами. Только все какое-то стало неслышное. Или у него уши вдруг испортились? Он потрогал уши. Нормальные. Может, потому, что так болит голова. Он наклонился и, скорчившись, прилег. Край земли у самого горизонта стал приподниматься, полез вверх...

Он вскочил, едва не свалившись со скамейки. К домику приближался пилот в комбинезоне. Тот самый, что сидел у дежурного. Только теперь он шлем держал в руках, и волосы у него длинные. Выходит, он — женщина? Женщина-пилот внимательно посмотрела на Витьку и ушла в домик. Над морем набухали облака, подножие их у горизонта темнело синеватой изгарью. Полосатая «колбаса» уже не опадала пустым мешком, а моталась под окрепшим ветром. А Петра Петровича все нет...

Петр Петрович пришел. На плече у него болтался Витькин рюкзак.

— Ну как? — спросил он, положил рюкзак на скамейку. — Поешь, там ребята положили... А я узнаю.

Вернувшись, он присел рядом, озабоченно посмотрел на небо.

— Билет дали. На всякий случай. Говорят, попробуют.

Они сидели молча и ждали. Из домика, натягивая шлем, вышла женщина-пилот. Дежурный с порога прокричал:

— Так не забудь, Маруся, в клеточку! В универмаге недавно были... Зайди обязательно!

— Ладно, — отозвалась Маруся.

Она подошла к стоящему с краю серебристому «кукурузнику», стянула с мотора брезентовый чехол. Двое парней в засаленных комбинезонах взялись за концы крыльев и легко, как послушную лошадку под уздцы, откатали самолет. Маруся влезла в переднюю кабину, подняла руку. Один из парней покачал пропеллер, резко крутнул его. «Пах, пах...» — выстрелил мотор и ровно затарахтел. Пропеллер исчез, вместо него заструился зыбкий прозрачный круг. Потом мотор заглох, пропеллер снова появился, покачался и застыл. Маруся вылезла, открыла дверцу второй кабины. Парень принес и бросил в нее брезентовый мешок. Маруся обернулась к Витьке:

— Давай!

Витька подхватил рюкзак. Петр Петрович помог расправить ляжки, протянул руку.

— Ну, Виктор, вот твой билет. Будь здоров. И держись!

Сгорбившись, держась за ляжки рюкзака, Витька пошел к самолету. Маруся опустила подножку у дверцы кабины.

— Влезай. В случае чего — он лежит бумажный мешок...

Витька кивнул, хотя и не понял, зачем ему бумажный мешок. Петр Петрович, стоя в отдалении, махал рукой. Маруся закрыла дверцу. В полукруглый прозрачный колпак над головой были видны только небо в наплывающих тучах, мотающаяся на ветру «колбаса» и крыша домика. За стеклом, отделяющим место пилота, появилось лицо Маруси, она кивнула ему и отвернулась. Мотор снова затарахтел, самолет дернулся, стал раскачиваться и подпрыгивать. Качка незаметно кончилась, мотор загудел тише, ровнее, и в колпаке показалась земля. Она накренилась набок, словно собиралась опрокинуться. На краю поля возле домика стояли игрушечные самолеты. Поодаль Витька различил крохотную фигурку Петра Петровича.

Витька привстал. Фигурка уменьшалась, убегала в сторону, назад. И Витька вдруг понял, что уходил, исчезал не только необыкновенный и неподражаемый Петр Петрович. Вместе с ним уходило, исчезало все, что было до нынешнего утра, — «Моряк» и его дружная команда, твердая вера в свое обязательное капитанство, уходило все безоблачное, ра-

достное, безвозвратно уходило детство. А впереди... То, что предстояло ему, то, что было там, дома, и теперь стремительно надвигалось на него, как мрачные тучи, плывущие с моря, это было так страшно и невыносимо; что Витька вдруг припал к брезентовому мешку с почтой и заплакал отчаянными, последними и безутешными слезами детства.

Слезы иссякли. Витька сел на место. Самолет все время встряхивало, валило со стороны на сторону. Иногда сиденье проваливалось под ним, падало вниз. Витька обмирал и упирался в стенки узкой кабины, словно это могло удержать от падения. Самолет не падал. Через секунду его поддавало снизу, будто он наткнулся на твердый уступ, взбирался на него и, раскачиваясь, летел дальше. Время от времени Витька замечал обращенное к нему лицо пилота. Маруся ободряюще кивала, но лицо ее оставалось суровым и напряженным. Тучи с моря наплывали все ближе, наливались синеватой чернотой. Черноту прорезал спящий зигзаг, и тотчас огненные хлысты один за другим принялись полосовать набухшие громады. Они сверкали вдоль, поперек, падали в море, взрывались внутри туч, и те вспыхивали жутким багровым отсветом. Самолет, как бы испугавшись, тарахтел тише и прижимался к земле. Прямо под хлипкими крыльями мелькали растрепанные ветром макушки тополей, крыши, наперегонки уносились назад разномастные полосы посевов, змеиные извивы балок. Волоча за собой темноту, тучи надвигались вкруговую, внизу осталась только небольшая полоса, на которой можно было различить деревья, дома, петляющую нитку дороги. Самолет наткнулся на что-то, подскочил, снова ударился и, подпрыгивая, покатился по земле. Из-под колес взлетели косые фонтаны воды, захлестали по нижним крыльям.

Самолет остановился, мотор взревел и заглох. Маруся открыла дверцу, Витька взял рюкзак, прыгнул на землю. Большак был изрыт колдобинами, до краев налитыми грязевой жижей. Липучая, как тесто, земля на обочине хватала за ноги, толстенными лепешками нарастала на башмаках. Дождь пузырил поверхность луж, потом припустил, зачастил монотонно и устойчиво.

Свет горел только на кухне. Витька осторожно стукнул в окно. За стеклом мелькнуло исплаканное лицо Соны. Всплеснув руками, она бросилась открывать.

— Ой, Витя, Витя! — горестно прошептала она. — Такая беда...

— Кто там? — прозвучал в темной прихожей чужой осипший голос, большое рыхлое тело прижалось к нему и забилося в рыданиях. — Ох, Витя, Витенька... Нету, нету его, нашего голубчика!..

Соня зажгла свет. Витька придерживал трясущиеся плечи матери и тихо повторял:

— Мам, ну, мам...

— Ой, лишенько! Да будет уже вам... — емшалась Соня. — Вы поглядите, он же мокрехонек, нитки сухой нет... Еще простудится да заболает... Выпей молока горяченького... И говорить ничего не говори! Пей, и все...

Витька через силу пил молоко. Мать, привалившись головой к стене, закрыла глаза. Опасливо поглядывая на нее, Соня торопливо шептала:

— В одночасье! Хоть бы хворал или что... Сидел на службе в кабинете. Вошли, а он уж и не дышит... Ох, горе горькое! А на похоронах что народу было! Идут и идут! И все венки и флаги... Два оркестра на переменуку...

Витька поднял на нее глаза. Какие оркестры? Какая теперь разница, сколько было оркестров...

— Где Милка?

— Я ее к соседям отвела. К Ломановым. Чего ей душу надрывать?! И так уж...

Из-под сомкнутых век матери непрерывно текли слезы. Витька отставил стакан.

— Мама, тебе нужно лечь!

— Разве я засну?

— Заснешь не заснешь, а лечь нужно... Пойдем!

Пустая столовая, где еще стоял длинный стол, застланный красным, была затоптана, усыпана сосновой хвоей. Не раздеваясь, мать прилегла в спальную на кровать.

В кабинете все осталось, как было. Витька осторожно потрогал стол, письменный прибор. Все это было его. Все осталось, а его уже нет. Больше никогда он не войдет в эту комнату, не будет кричать в трубку, что «поставит вопрос на бюро», не сядет за этот стол и не спросит у Витьки: «Ну, архаровец, чем живешь, о чем думаешь?..»

Не стало его, Витька остался, но странным образом все, чем жил и о чем думал Витька до сих пор, ушло вместе с ним. Теперь нужно жить как-то иначе, думать о другом. Как и о чем?..

Витька сел в кресло, переплетя пальцы рук, оперся локтями о стол. По оконному стеклу торопливо, как слезы, текли дождевые капли.

— Вот так... вот так он всегда сидел!..— услышал Витька прерывистый, задышающийся голос.

Мать стояла в дверях, держась за притолоку, слезы лились по ее щекам. Витька вскочил.

— Не могу я там...— виновато сказала мать.— Я тут посижу немножко...

Витька уложил ее на диван, принес подушку. Мать покорно, как маленькая, подчинялась. Витька погасил свет, сам прикорнул у нее в ногах.

Утром пошли на кладбище. Могильный холмик был завален венками. Они лежали в несколько слоев, друг на друге, часть съехала на соседние холмики. Дождь размыл краску надписей, забрызгал глинистыми шлепками цветы и ленты. Охряными змейками от осевшей могилы расплзались потоки жидкой глины. Мать рухнула на колени, припала к могиле. Витька больше не плакал. Он стоял рядом и смотрел, как сотрясаются от рыданий плечи матери.

— Ну, хватит, мама,— насупив брови, сказал он.— Пойдем!

Он очистил от глины запачканное платье ее, взял под руку, увел.

Вечером, когда Витька разбирал бумаги, пришел директор Орджоникидзестали Шершнев. Высокий, всегда сутулящийся, он теперь показался сгорбившимся. Морщины вокруг плотно сжатых губ прорезались еще резче. Он коротко поздоровался, присел к столу. Шершнев был другом отца, но в дом приходил редко. Зачем пришел теперь? Сочувствовать? Насупившись, Витька ждал. Шершнев долго молчал.

— Я пришел не утешать,— сказал он.— Утешить в таком горе нельзя... Как думаете жить дальше?

Мать заплакала.

— Какая теперь жизнь? Нету теперь у нас жизни..

— А дети?— сурово спросил Шершнев.

Мать пересилила себя, прерывисто вздыхая, проговорила:

— Как-нибудь... Он все говорил: «Я двужильный, меня надолго хватит...» А вот...

Шершнев переждал, пока мать успокоится.

— Пенсию вам дадут.

— Что ж пенсия? Разве проживешь? Союю отпустить придется. Работать пойду.

— Кем?

— Когда-то была воспитательницей в детском садике...
 — Ну, это, мама, чепуха!— решительно сказал Витька.— Ты лучше дома. Я сам пойду работать!
 Шершневу искоса посмотрел на него.
 — А что?— загорячился Витька.
 — Куда ты пойдешь, ты же маленький!— сказала мать.
 — Никакой я не маленький! Отцу, когда начал работать, сколько было? Пятнадцать! И мне скоро будет пятнадцать... И я вон какой здоровый, сильнее всех в классе!
 — Да,— покивал Шершневу,— Иван Петрович начал, как и я, в пятнадцать. А семнадцати в армию ушел, добровольцем.
 — Вот!— торжествуя, сказал Витька.— А в девятнадцать он уже директором был!— И потряс в воздухе затертой бумажкой. Эту бумажку он только что нашел.

«30/IX 1921 г.

Екатеринославский Губсовнархоз
 Отдел Металла
 Заводу бывш. «Старр»

Настоящим Отдел Металла командирует к Вам на основании командировки Губпарткома за № 6317 тов. И. П. Гушина в качестве практика заведующего заводом, причем разрешается предоставить тов. Гушину 2-недельный отпуск, ссылаясь на постановление ЦК КП(б) У. Завгубметалла».

— Директором он долго не был,— сказал Шершневу, возвращая бумажку,— ушел снова в армию, в бронечасть, а потом — на рабфак.
 — Все равно! А начал когда? Вот и я начну...
 — А учиться?
 — Буду и учиться! Что я — один? Есть же вечерние школы, ребята там учатся и работают. Пойду учеником, и все. Я быстро научусь, у меня к технике способности.
 — Каким учеником?
 — Отец сначала кем был, фрезеровщиком? Вот и я буду! Таким, как он.
 — Таким, как он, стать трудно,— сказал Шершневу.
 — Стану!

Мать с сомнением качала головой, Шершневу молча раздумывал.
 — Подумайте,— сказал он наконец.— Может, он и прав. Все равно ему надо на ноги становиться, и раньше, пожалуй, лучше.

Витька настоял на своем. После смерти отца само собой получилось так, что во всем главном решал теперь Витька. Мать по-прежнему указывала ему, что надеть, когда есть, как себя держать, но ничего серьезного без него не предпринимала, обо всем советовалась. Витька незаметно перестал быть Витькой и стал Виктором — главой семьи, кормильцем. Как он был горд, как счастлива была мать, как хвасталась перед соседками, когда он принес свою первую, не ученическую уже, а настоящую рабочую зарплату...

Разве можно все это рассказать? И зачем это знать Алову? Он же будет писать про производственное, а все это — семейное, его, Виктора, личное, никому до этого нет дела.

Алов обгорелой спичкой чистил огромный, в сантиметр, ноготь на левом мизинце и морщился.

— Ну, молодой человек,— сказал он.— Так дело не пойдет. Мне нужны подробности. Факты и самые мелкие фактики.

— Зачем?

— Видишь ли, молодой человек...— со вкусом повторил Алов. Он любил, когда можно было, обращаться к людям снисходительно. Снисходительность к другим возвышала.— Видишь ли, молодой человек, я собираюсь написать о тебе не статью, а брошюру. Может, даже книжку. Но для этого мне нужны всевозможные факты. Без этого нельзя творчески проникнуть в материал... Давай так: ты день-два подумай, а потом мы снова встретимся. Только пока об этом не трепаться! Понятно?

Виктор думал, будет заметка в газете, а оказывается — целая книжка! Это похлеще любой «доски» и всяких там фотографий. У них в цехе... Да что там в цехе? На всем заводе ни про кого нет книжки. А про него будет!

Всю дорогу домой он старался держаться солидно, но губы его расползались в улыбке. Жалко, нельзя рассказать... Нет, Лешке можно, он не разболтает. Виктор хотел забежать в общежитие, но вспомнил: Алексей, конечно, ушел к Наташе, и теперь их не найдешь...

В цех утром он не шел, а летел. У входа в пролет Виктор не удержался, оглянулся на доску, где вывешивались приказы и всякие объявления. Вчера здесь повесили «молнию»: печатными буквами было написано, что «Фрезеровщик В. Гушин выполнил 220 процентов сменного задания. Берите пример с передовиков производства!» «Молния» была на месте. Только с ней что-то произошло. Виктор не сразу понял, подошел ближе. Наискось через весь текст черным по красному было написано одно слово — «Липа». Виктор растерянно оглянулся, заметил обращенные к нему взгляды, улыбки. Он вспыхнул и побежал по пролету. Алексей уже был у плиты, рассматривал чертеж. Виктор подбежал...

— Понимаешь... Ты же видел «молнию» про меня, вчера повесили?... Так какой-то гад написал на ней «Липа»!

Алексей поднял голову и спокойно сказал:

— Это я.

— Ты-ы?!— протянул Виктор и отступил.— Ну ладно! Попомнишь!

5

Как только люди начинают мудрить и выдумывать, обязательно получается какая-нибудь чепуха. И пусть бы еще была польза. Наоборот! Им же всегда хуже. А все равно мудрят, крутят и крутят. Прямо набиваются на неприятности. Вот и Лешка. Все ему нужно рассуждать, обсуждать: то не так, это не эдак.. Он да еще Кирка. Та тоже воображала. Вот и навоображала на свою голову...

Кира Виктору нравилась. Он даже объяснялся ей в любви, когда учились в седьмом. Ничего из этого не вышло, да и что, собственно, должно было выйти? Они ведь были пацанами... А потом она стала еще красивее. И Виктор влюбился еще больше. Тем более, что она была не ломака, как другие, а прямо, можно сказать, «свой парень». Виктор и думал, что все будет просто, без фокусов. Особенно когда они были в Найденовке. Поехали вчетвером: Кира, Наташа, Лешка и он, Виктор. Они так и дружили вчетвером, хотя Виктор уже давно работал на заводе. Наташа заканчивала девятый, а Лешка и Кира кончали ремесленное.

Второго мая они собирались с утра пойти в городской сад, но Кира вдруг сказала:

— Нет, знаете что? Давайте поедem в Найденовку. Вот куда мы ездили с Костей Павловым, когда были маленькими. Это всегда очень интересно, когда станешь взрослой, поехать туда, где была маленькой... Помните, как тогда хорошо было?

— Такая ты сильно взрослая стала,— усмехнулся Лешка.

— Ну уж и не маленькая!

Они бы обязательно заспорили и поссорились — они всегда спорят и ссорятся, как только встретятся,— но Наташа сказала, почему в самом деле не съездить, и Виктор тоже сказал, что это будет здорово.

В Найденовку интереснее было поехать на лодке, как и тогда, первый раз, но лодку достать не удалось, и они поехали рабочим поездом. Поселок был такой, как и прежде, но причал неузнаваемо переменялся. Старый, должно быть, разбило штормом, новый уходил дальше в море, распростерся вширь и закрыл место, где они когда-то жгли костер и ночевали. Зажигать снова костер и ночевать они не собирались, но им стало немного грустно — воспоминание о той ночи было приятным, а люди и время поторопились уничтожить все, что о ней напоминало... Они постояли на конце причала. Виктор отколупнул с резиновой ленты транспортера несколько ссохшихся тюлек и бросил в воду — пускай другие рыбы кормятся. Тюльки остались на поверхности, ни одна рыбешка к ним не подплыла. Ветер трепал над запертым правлением уже надорванный флаг, в поселке орали громкоговорители. Делать здесь было нечего, и они пошли обратно, к разъезду. Кира, как и все поначалу, притихла, потом снова развеселилась.

— Вон какая чудная балочка! Пойдемте посмотрим. Ну что в городе делать? Успеем еще.

Изгиб балки, зарастающей кустарником, почти вплотную подходил к дороге, потом круто отворачивал и терялся в степи. Внизу было знойно и тихо, ветер сюда не достигал и лишь на краю оврага раскачивал бурые прошлогодние будылья чертополоха и гнал по небу взбитую пену облаков.

Среди кустов открылась маленькая лужайка. Девушки сели, Лешка лег на спину и заложил руки под голову.

— Странно как,— сказала Наташа,— вот мы были в Найденовке не так уж давно, правда? А кажется, что уже прошло много-много лет, и будто это даже не я, а какая-то другая девочка была там, и похожая и совсем не похожая...

— Конечно, другая,— сказал Лешка,— все были другие.

— Почему? Только что стала больше, выросла?

— Обновилась. Как икона,— сказал Виктор.— Была некрасивая, а стала ничего себе...

— Придумал!

— Это не я придумал — ученые. Говорят, у человека каждые четыре года весь организм обновляется. Вместо старых появляются новые клетки. Все меняется. И мускулы, и мозг, и кожа.

— Это только змеи меняют кожу. И ящерицы.

— Нашли о чем говорить!— сказала Кира.— Пойдемте лучше пощем родничок — пить хочется. В таких балках всегда есть роднички. Вода в них холодная и вкусная — прямо ужас... А ну давайте, кто скорее найдет!

Кира вскочила и побежала по дну балки. Виктор тоже поднялся и побежал.

— Догоняйте!— крикнула Кира.

Пестрое, в цветочках, платье ее уже скрылось за кустами. Витька оглянулся — Лешка и Наташа остались на месте. Догнать Киру оказалось трудно. Платье ее, словно дразня, то появлялось, то скрывалось за кустами. Разбежавшись, Виктор почти наткнулся на нее. Кира, запыхавшись, остановилась и, откинув голову, дышала открытым ртом. Лицо ее раскраснелось, платье на груди поднималось и опадало, поднималось

и опадало... Виктору вдруг стало жарко. Он стоял на месте и смотрел на Киру, а сердце стучало все сильнее, будто он продолжал бежать все быстрее и быстрее. Сейчас... Вот сейчас может быть... Нет, будет! Как с Нюсей...

...Нюся — продавщица газированной воды на углу их улицы. Сколько ей лет, Виктор не знал. Это было неважно. Она была молодой и удивительно красивой. В нее Виктор тоже влюблен. Уже давно. У нее пухлые губы, коротенький носик. Когда она смеялась — а смеялась она непрерывно, — носик забавно морщился, в уголках губ появлялись и исчезали маленькие пузырьки. Глаза у нее были как чернослив. Они тоже всегда смеялись. Когда она смотрела, Виктор обмирал и тут же его обдавало жаром. Должно быть, поэтому он непрерывно пил у нее воду. Каждый раз с двойным сиропом. Его тошнило от приторной пахучей сладости, но он пил и пил. Живот вздувался, как барабан, в небо стреляло газовой отрыжкой, но он без конца сновал по улице, подходил к киоску и просил воды. С двойным сиропом. Брать дешевле он стеснялся. Сдачу он тоже стеснялся брать, делал вид, что забывает, но Нюся, смеясь, окликала его и отсчитывала мокрые медяшки. В смехе ее не было пренебрежения. Виктору даже казалось, что она смотрит на него по-особенному и как бы чего-то ждет. Он вовсе не был трусом, но никак не решался сказать ей то, что хотел. Сказала она сама. Однажды, подавая стакан, она сказала:

— Сто пятьдесят седьмой.

— Что? — Виктор не понял.

— Стакан, — засмеялась Нюся. — Вы заболесте и умрете. Или просто лопнете. Зачем изводить столько денег на воду? Лучше пригласили бы меня в кино...

В фойе кинотеатра Виктор молчал и все время озирался — почему-то он боялся встретить знакомых. Знакомых не было, но с облегчением вздохнул Виктор только тогда, когда они сели на место и погас свет.

Виктор сидел лицом к экрану, но видел и чувствовал только одно — Нюся рядом. В ушах и в висках гулко бухало, пульс бился даже в пальцах, плечи сводило от старания держаться свободно. Он слегка двинулся и почувствовал ее плечо. Оно не отстранилось. Он подался чуть влево, и ее плечо слегка качнулось в его сторону. Он пошевелил затекшими пальцами и почувствовал ее руку, подвинул руку влево, ее рука податливо устремилась навстречу. Пальцы их сплелись. Крепко. Очень крепко. Так, оцепенев, они просидели весь сеанс.

Домой они шли рука об руку, пальцы их были так же крепко сплетены. Дом прятался в глубине сада. На полдороге, под развесистой яблоней, стояла скамья. Не произнеся ни слова, они остановились, потом сели. Потом... Потом необыкновенно быстро произошло то, о чем, подмигивая и посмеиваясь, говорили между собой ребята. Виктор не мог поднять глаза и посмотреть на нее. Это было невыносимо, стоять вот так и не знать, что делать, как уйти и куда деваться от стыда. Нюся приподняла его подбородок и провела рукой по щеке, заглядывая ему в глаза.

— Ты ж меня не любишь...

— Нет, почему... — невнятно пробормотал Виктор, стараясь не смотреть на нее.

Три дня Виктор делал большой крюк — уходил и приходил с другого конца улицы, лишь бы не видеть Нюсю. Ему казалось, что они никогда не смогут посмотреть друг другу в глаза. Оказалось, могут. Нюся встретила его как ни в чем не бывало, так же морщила носик, смеясь, и по-особенному смотрела своими черносливами. Вскоре они снова

пошли в кино. Нюся не затевала никаких объяснений, не «переживала» и ничего не требовала. Все было легко и просто. Значит, так и должно быть...

Виктор шагнул вперед. Кира, прикусив губу, смотрела за его спину, гуда, откуда прибежали.

— А они? — спросила она.

— Остались. Никак не наговорятся.

Стук в ухах стал оглушительным. Виктор сделал еще шаг и поцеловал ее прямо в чуть приоткрытый рот. Кира отшатнулась, удивленно и обиженно уставилась на него.

— Ты с ума сошел! Что это за новости?

— Да брось, чего там... — пробормотал Виктор и обнял ее.

Кира уперлась ему в грудь острыми локтями, потом высвободила руку, коротко и резко ударила кулаком снизу в подбородок. От боли и неожиданности Виктор разжал руки, не удержался и с маху плюхнулся на землю.

— Психованная! Чего ж ты дерешься?..

Кира не ответила, быстро пошла обратно. Виктор поднялся и, потирая ноющий подбородок, зашагал следом. Скажет или не скажет? Мало того, что треснула, еще и просмеет...

Наташа сидела все так же, обхватив колени руками, Лешка полулежал, опершись на локоть, и смотрел на нее.

— Нашли воду? — спросила Наташа и, не ожидая ответа, снова повернулась к Лешке. То, о чем они говорили, было важнее. — Нет, дело не в том, герой или не герой. Понимаешь? Герой — это... ну вот сделал что-то, какой-то поступок, очень хороший. И люди говорят — герой. Но ведь нельзя подряд, непрерывно! Ну, пять, ну, десять подвигов... Ведь героический поступок — это как всплеск. Всегда очень коротко, быстро. А потом? Ведь вся жизнь — длинная. И, конечно, герой — это хорошо, но не у всех такие случаи бывают, чтобы стать героем, правда? И, помимо, самое важное, как ты живешь всегда, какой ты изо дня в день. Вот о чем надо думать!

— А чего тут думать? — сказал Виктор. — Живи, работай, и все.

— Как «живи»?

— Как все!

— А все одинаковые? Все хорошие? — спросил Лешка.

— Ну, не все. Люди разные.

— А ты какой?

— А ты не знаешь, да? Чего вы тут мудрите?

— Мы не мудрим. А человек должен знать, какой он, зачем, иметь перед собой цель.

— Цель у всех одинаковая — строить коммунизм.

— Это вообще. А твоя?

— И моя тоже. Работаю? Работаю. И неплохо. Значит, тоже участвую. Что еще надо?

— У тебя нет воображения, — сказала Наташа.

— У меня? Да я такое могу выдумать, что вам и не снилось...

— Верно, ты выдумщик. А воображение — совсем другое. Понимашь? Это мысль деловая, мысль, которая работает во всех направлениях, но с определенной целью. Да, именно с целью! Вот мы с Лешей и говорим, что человек должен всегда думать: что и зачем? Почему так, а не иначе? Человек должен обо всем думать и за все отвечать.

— Это не я фантазер, а вы! Я должен за свою работу отвечать. Поставят на другую — там буду. А сейчас я что, за мастера, за начальника цеха должен? Может, за директора? Или еще за кого?

— За всех.

— Вот вы и отвечайте. Больно много на себя берете. Что они, меньше нас знают?

— Больше. Но они не знают чего-то, что знаем мы. Или узнаем.

— Что вы там можете знать? Поменьше надо воображать о себе и не корчить из себя каких-то цац...— Виктор опасливо покосился на Киру. Она сидела, опустив голову и покусывая травинку.— Жить надо просто. Без выдумок...

— Ну да, пусть за тебя думают, за тебя решают? А ты идешь, куда толкнут, делаешь, как скажут? Так живут овцы.

Виктор хотел сказать что-нибудь резкое, но ничего не придумал и очень обиделся.

— Ладно, посмотрим, кто из нас окажется овцой...

— Поедемте домой,— внезапно сказала Кира, поднялась и, не оглядываясь, начала взбираться по склону.

Они поднялись и тоже пошли. Сначала Виктор, потом Наташа и Лешка. Так и шли всю дорогу до разъезда. Кира раза два оглянулась, потом ускорила шаг и намного опередила всех. Виктор не знал, как подступиться теперь к Кире, и не хотел догонять. Присоединиться к Наташе и Лешке, которые шли не торопясь и о чем-то опять оживленно говорили, тоже не хотелось.

В вагоне Наташа и Лешка сели у столика, Кира стала у открытого окна напротив. Виктор обошел полупустой вагон, постоял на площадке, потом вернулся. Он заметил, как Кира оглянулась на сидящих в купе и тут же отвернулась. Ветер трепал ее кудряшки, пузырями надувал короткие рукава платья. Виктору было стыдно перед ней, он хотел как-то загладить происшедшее, но не знал, что нужно сказать или сделать. Он подошел и стал рядом. Кира не оглянулась. Пристально, не моргая, она смотрела куда-то вверх редких кустов, туда, где яркая зелень степи обрезала голубую стену неба. Внезапно Виктор заметил, что из широко открытых глаз ее выкатываются и медленно ползут по щекам слезы. Она не вытирала их и, только когда слеза стекала к углу рта, подхватывала ее кончиком языка. Виктор покосился на сидящих за столиком, заслонил Киру плечом и сказал:

— Ну чего ты... Слышь, Кира, ты не сердись... Я не хотел, понимаешь. Так получилось... Не обижайся, ладно? Ты не думай...

Кира оглянулась, не сразу поняв, о чем он говорит, губы ее досадливо дрогнули.

— Господи, да отстань ты! Очень ты нужен — думать про тебя...

— Нечего тогда и реветь,— обиженно сказал Виктор.

После этого как-то так получилось, что гуляли они уже только втроем — Кира больше не приходила. Виктор не чувствовал никакой утраты, так было даже лучше — воспоминание о происшедшем в балке появлялось все реже, но оставалось неприятным. Теперь в нем появился другой оттенок — неприязненно он думал не о себе, а о Кире. Также, подумаешь, сокровище, недотрога. Просто ломака, и больше ничего...

Потом он узнал, что за ней ухаживает слесарь из ремонтного и вскоре после этого, что она выходит замуж. На свадьбе Виктор не был. Может, его и позвали бы, но в это время он получил отпуск и увез Милку и мать на Кривую косу — отдохнуть и как следует покупаться. Лешка тоже не был на свадьбе — не пошел, а может, и не позвали. Весть о замужестве Киры Виктор принял совершенно равнодушно, и сам удивился. Он же был в нее влюблен! Теперь какой-то чужой парень стал ей мужем, а ему все равно. Ни ревности, ничего. Может, он и не был в нее влюблен? Наверно, это было просто так, детское увлечение... С тех пор Виктор ни разу не видел Киру и лишь изредка о ней

говорила что-нибудь Наташа: получили комнату, маленькую и в коммунальной квартире, но ничего... У нее будет ребенок... Так скоро? Почему скоро? Нормально...

Потом как-то Наташа сказала, что, кажется, Кира не очень счастлива, может даже просто несчастна.

Виктор не стал допытываться и не почувствовал сострадания. Иначе и не могло быть. Слишком много о себе воображала, ждала неизвестно чего. А жить надо просто...

6

Он, Виктор, жил просто, именно так, как надо. Делал все, что надо, и не мудрил, не произносил всяких слов. Как будто слова что-то меняют. Надо дело делать, а не болтать. Человека проверяют по делам, а не по словам. И если его проверять по делам, в конце концов получается неплохо, не хуже, чем у других... Вот умер отец. Другой бы на месте Виктора раскид, спрятался за спину матери — ты, мол, вкальвай, а мне учиться надо, родители должны обеспечить... А он сразу решил сам идти работать. Мать больна, да и пожилая уже — что она заработает? И Милка растет, ей учиться надо. Решил, и точка. Поставил перед собой цель и добился. Через полгода получить третий разряд — это не каждый сумеет. Он сумел. И в цехе себя поставил, то есть сумел оправдать. Ну, Маркин, конечно, работает лучше... Да нет, он просто опытнее. Так он уже сколько лет по седьмому, за станком состарился. Ничего, Виктор и Маркина догонит. Пятый разряд не сегодня-завтра получит. А потом...

Что произойдет потом, он еще не решил. Каждый раз ему представлялась другая картина. То, например, в цех приходит заказ. Какой-нибудь изобретатель придумал необыкновенно важную и сложную машину. Отлили детали, прислали в цех и тут — стоп! Никто не знает, как их обрабатывать. Собирается все начальство: и цеховое, и главный технолог, и главный инженер. Крутят и так и сяк — ничего не получается. Маркин отказывается наотрез — нельзя, он не умеет. Губин тоже. Про молодых и говорить нечего — никто не берется. А заказ срочный, особо важный... И когда все уже впадают в окончательную панику, у него, у Виктора, мелькает мысль... Какая именно, сейчас не важно. Важно, что она мелькнет. Он приходит и небрежно говорит:

— Разрешите, я попробую.

Все удивленно тарашат глаза, машут руками. Куда? Не справишься! Инженеры не знают, а он берется...

И ребята отговаривают:

— Брось это дело, гробанешь! Чего тебе ввязываться? Пускай сами думают, им за это деньги платят.

Но Виктор небрежно и независимо говорит:

— Минуточку! Минуточку!..

Самую сложную деталь подают ему на станок. Он ее ставит по-особому... Ну, там оправки, подкладки всякие... Словом, пристраивает и включает станок. Вокруг стоит все начальство и смотрит. Никто не верит, и все думают, что он заперет. А он работает как ни в чем не бывало и ни на кого даже не оглядывается. И вот у него начинает получаться — всем уже видно, все переговариваются между собой, приходят люди из других пролетов, целая толпа вокруг станка, все ахают и удивляются. А он спокойненько работает. Потом выключает станок и говорит:

— Прощу!

И тут все кидаются мерить, проверять, но ни к чему не могут подкочкаться. Все начинают жать ему руки, поздравлять, говорить, как он вы-

ручил, буквально спас завод, что с сегодняшнего дня он гордость завода, о нем сообщат в главк, в министерство...

Или, например, он придумает... ну, скажем, новую фрезу. Совсем новую, какую до сих пор никто придумать не мог. Чем она будет отличаться? Ну, это потом, когда придумает, так уж придумает... Важно не какая она, а то, что с ней производительность сразу подскочит на триста процентов. Или даже на пятьсот! Сначала он у себя попробует, а когда все откроют рты, он скрывать не станет — пожалуйста, пользуйтесь. И все в цехе перейдут на его фрезу. А потом другие заводы. По всему Союзу на всех заводах будет только его фреза. Фреза Гущина. Узнают за границей. И там тоже будут ее применять, называть фрезой Гущина и думать, что он инженер-механик, а он просто фрезеровщик... Нет, к тому времени он уже будет не фрезеровщиком, а инженером. Специалистом по станкам. И на других станках он тоже что-нибудь рационализирует...

Или, например, он придумает какой-нибудь новый способ обработки металла. Не то что там по очереди точить, фрезеровать, строгать, а сразу... Ну, не важно как. Важно, что закладываешь болванку — и через какое-то время готовая вещь! Это же полная революция в технике! Не надо разных станков, специальностей. Миллионы, миллиарды рублей экономии, производительность подскочит прямо на тысячи процентов. Он станет таким авторитетом, что без него никто шагу не ступит, даже профессора, академики...

Иногда его заносило в сторону, и он думал не о производственных успехах, а театральных. Больше года он участвовал в драмкружке при Дворце культуры металлургов и уже несколько раз выступал на сцене. Роли были не бог весть какие: то солдата без слов, то перепоясанного пулеметными лентами матроса, который, потрясая деревянным маузером, бежал через сцену и кричал: «Даешь!» Тут, конечно, не развернешься. Но кружок готовил «Любовь Яровую», и там Виктор мог бы показать класс. Поручик Яровой ему не нравился, для себя он облюбывал роль Шванди. Поручили ее не Виктору, а технику Кожухову, получалось у него, по правде сказать, неплохо и заменять его не собирались. Но Виктору представлялось, что вдруг перед самой премьерой (бывает же так!) Кожухов заболел. Не опасно, конечно, но серьезно, а главное — надолго. Все в панике, режиссер в отчаянии — срывается премьера на Октябрьские праздники. И тогда Виктор скромно, но уверенно говорит:

— Разрешите, я сыграю. Роль у меня отработана. Готовил просто так, для себя. Если хотите, могу сейчас врезать пару монологов...

Он врезает всего один, и все видят — вот он, настоящий Швандя! Куда Кожухову! Идет спектакль, театр гремит. Виктора вызывают двенадцать раз. Ребята все — наповал, девушки на улицах провожают его взглядами, краснеют и вздыхают. Спектакль везут на смотр самодеятельности в Киев, потом в Москву. И там к нему приходят представители из Малого театра или МХАТа и говорят: «Виктор Иванович, вы самородок. Вам нечего делать в самодеятельном кружке, вы законченный артист. Мы будем счастливы видеть вас на подмостках нашего театра».

И потом... Потом начиналось такое, что в голове Виктора все путалось и плыло в каком-то хороводе зеркал, сверканий и восторгов.

Картины возникали сами по себе, одна приятнее другой, и в каждой Виктор был красивый, ловкий, находчивый и вместе с тем сдержанный, тонкий, как заграничный дипломат из кинокартины. Причины и поводов для будущих успехов могло быть множество. Какие — не имело существенного значения. Как только Виктор пытался определить, что именно

он делает, откроет, изобретет, все становилось зыбким, неопределенным и улетучивалось, как след дыхания на стекле. Зато все, что должно последовать дальше, было очень отчетливым и ярким. И он перепрыгивал через неясные пока причины и поводы к радужным следствиям. Представлять их себе было необыкновенно приятно, и он без удержу взлетал к сияющим вершинам близких успехов.

В том, что они недалеки, Виктор не сомневался. Однако время шло, но они не приближались. Кожухов был здоров как бык и болеть не собирался — кроме драмкружка, он занимался в секции тяжелоатлетов, — никто не изобретал невиданной сложности станков, а какой должна быть фреза Гушина или новый способ обработки металла — оставалось неясным. И получалось как бы, что Наташа была права, сказав, что у него нет воображения, он просто фантазер и мечтатель...

Оказалось, что это замечание задело его больше, чем сравнение с овцой. «Овца» — ругательство, а замечание Наташи — определение характера. С этим определением он категорически, абсолютно не согласен. Виктор был убежден, что человек он деловой и дельный, а вовсе не мечтатель.

Хуже всего, что поговорить об этом было не с кем. Не с Наташей же! Алешка, тот молча будет слушать, потом усмехнется и скажет что-нибудь не очень приятное. Мать? Она и без того убеждена, что ее Витя самый способный, самый лучший, самый-рассамый...

Оставалась Нюся. Но с ней вообще нельзя говорить. Она оказалась дурой. Просто набитой дурой. Болтает всегда такую чепуху, что уши вянут. И занимают ее одни пустяки: кто за кем ухаживает, кто женился, кто развелся, из-за чего поссорились, как мирились. Нельзя сказать, что она не интересуется делами Виктора. Когда он говорит о своих делах, она молчит и слушает. А когда он заговаривает о своих планах и о том, что будет, когда они исполнятся, она начинает прижиматься и громко дышать. И тогда уже не до разговоров... Она его, конечно, любит, даже восхищается им, но восхищение свое проявляет всегда одним способом. Похоже, что только этот способ восхищаться ей и доступен.

Очень хорошо, что ее киоск перевезли на другую улицу, а то соседи обязательно бы заметили и догадались. Может, уже заметили? А то с чего бы мать вдруг заговорила о Девушках:

— Почему это, Витя, к тебе, кроме Алеши, никто не приходит? Неужели у тебя нет знакомой девушки?

— А что? — настороженно спросил Виктор.

— Ну так... Привел бы в дом, познакомились. Лучше ведь сидеть и разговаривать в уютной обстановке, чем бродить по улицам или стоять в подворотнях. Ты не стесняйся. Я даже прошу тебя. Так и вам будет лучше и мне спокойнее.

«Чего бы мы тут делали? — подумал Виктор. — Много с ней наговоришь, как же...» И ничего не ответил матери.

Этот вопрос был ясен. Неясным оставалось, каким образом Виктор докажет свою принадлежность к разряду дельных и деловых людей, а не фантазеров и выдумщиков. Как он ни старался, как ни экономил время, выше ста двух — ста трех процентов плана подняться не удавалось. Попытки изобрести какие-нибудь приспособления, которые могли повысить производительность, ни к чему не привели. Мысли привычно сворачивали с неподатливого предмета размышлений на гладкую плоскость возможных результатов в будущем и без задержки скользили по ней бог знает куда...

Когда Ефим Паника передал, что председатель цехкома Иванычев хочет с ним говорить, Виктор отнесся к этому без всякого интереса — опять будет мораль читать.

Появился Иванычев недавно, в цехе показывался редко — больше сидел в конторке и разбирал какие-то протоколы или инструкции, напечатанные на папиросной бумаге. Однако за работу принялся энергично. До него собрания проводились редко и как бы на бегу, теперь они стали частыми и затяжными, как осенние дожди. И на каждом собрании Иванычев произносил речь.

Иванычев отложил бумажки и поднял голову. Голова у него была маленькая, волосы росли на ней чуть ли не от бровей. К собеседнику он поворачивался всем телом, и тогда под гимнастеркой, схваченной широким ремнем, колыхался большой тугий живот.

— Такое дело, товарищ Гушин... Ты давай садись. Помимо мероприятий общего порядка, для дальнейшего развития соцсоревнования мы решили применить конкретный, так сказать, индивидуальный подход... В чем дело, товарищ Гушин? Я, кажется, ничего смешного не сказал...

— Нет, это я так, — пряча ухмылку, сказал Виктор. Он вспомнил, как Иванычев применил индивидуальный подход к Губину.

Однажды Ефим Паника долго кричал над Губиным о срочном заказе, прорыве и сознательности. Кричал он, обращаясь к спине Василия Прохоровича; — старик упорно смотрел на фрезу и к мастеру не поворачивался. Потом ему, видимо, надоело, он обернулся и сказал:

— Станок не конь, я на нем скачки устраивать не буду. Понял? И иди отсюда, не мешай работать!

Ефим Паника убежал, но скоро вернулся с Иванычевым. Иванычев подошел к Губину, подождал, пока тот обернется.

— Привет, товарищ Губин. Жалуются, понимаете, на вас... Как же это?

— Может, еще кого приведете? — спросил Василий Прохорович. — Давайте уже всех кряду.

— Нехорошо получается, товарищ Губин. Все стараются повышать темпы, дать как больше продукции... А у вас что же получается? Выходит, вы против?

— Мне стараться некогда, я работаю.

— Работать можно по-разному. Можно форсировать.

— А ты знаешь, сколько этому станку лет? Он старше нас с тобой.

— Не играет значения. Когда перед нами стоит задача...

Василий Прохорович смотрел на него поверх очков и шевелил губами, что-то говоря про себя, потом сказал вслух:

— Ломать станки перед нами задачу не ставили. Раз ты этого не понимаешь, ты ко мне не ходи и не агитируй. Ты еще сопли по земле волочил, а я уж у станка стоял. А коли ты... — Он внезапно покраснел и закричал: — А коли ты больше моего знаешь — на, показывай! — Он выключил станок и, схватив концы, начал с остервенением вытирать руки. — Давай свои темпы!

— Это... это демагогия, товарищ Губин! — сказал Иванычев и отступил на шаг. Шея его начала багроветь. — Я о вас поставлю вопрос.

— Ты его тут ставь! — тыча пальцем в станок, сказал Губин.

— Не беспокойтесь, я поставлю где следуе!

— А там хоть ставь, хоть клади...

На собрании, когда Иванычев начал говорить о несознательном, недостойном поведении некоторых рабочих, о нежелании, например, фрезеровщика Губина применять форсированный режим, повышать темп, начальник цеха Витковский поморщился и сказал:

— Это вы оставьте. Станок — рухлядь и держится только потому, что в хороших руках. Какие там режимы на нем показывать — развалится!

Так ничем все и кончилось.

— Ты эти смешки брось, ничего смешного. Ты договор на соцсоревнование подписывал?

Договор со своим сменщиком Виктор подписывал каждый квартал. Первый раз они обязались дать сто двадать процентов и с трудом дотянули до ста. Их нарисовали в стенгазете сидящими на черепахе, и с тех пор они аккуратно подписывали одни и те же обязательства: дать не меньше ста процентов плана, не опаздывать, экономить рабочее время и инструмент, нести общественные нагрузки.

— Так вот, товарищ Гушин, показатели у тебя, прямо скажем, не ахти. Верно я говорю? Ты, так сказать, типичный середняк, а мог бы быть передовиком. Есть у тебя такое желание?

— Есть,— пожал плечами Виктор.— Так что ж я могу сделать? Не получается.

— Должно получаться! Я с тобой буду говорить откровенно. Народ в цехе разный. Есть, конечно, и опытные, заслуженные кадры. Им везде, как говорится, почет, но ведь старики! Не сегодня-завтра заболит или уйдет на пенсию. Мы на них ставку делать не можем, надо готовить им смену, молодые кадры, перспективные. Понятно? Вот мы считаем, что ты мог бы стать одним, так сказать, из лучших, передовиком, чтобы служить примером, подтягивать, вести за собой остальных. Как ты чувствуешь, потянешь это дело?

Виктор, не зная, что ответить, пожал плечами.

— До сих пор ты шел так себе... А почему? Не видел перспективы. Вот мы тебе даем перспективу. Только надо взяться за дело по-настоящему. С огоньком, душу вложить. Понимаешь? Ну, а мы со своей стороны поддержим, постараемся создать условия...

Первое время никаких разительных перемен не произошло. Правда, теперь Виктору не приходилось простаивать в ожидании нарядов или деталей, но детали шли в обработку самые разнородные, без конца приходилось менять фрезы, оправки, и как он ни старался, больше ста пяти не вытягивал. Но когда поступил серийный заказ, положение изменилось. На обработку к Виктору шли все время одни и те же запчасти, он приловчился, набил руку, а потом, по совету технолога, в особую оправку стал зажимать по десятку деталей и фрезеровать сразу весь комплект. Экономия времени была огромной, выработка подскочила до ста пятидесяти, потом до двухсот процентов. Это вызвало нарекания и даже скандалы. Особенно скандалил Маркин, учитель Виктора. Большинство фрезеровщиков получало запчасти вразброд, несерийно, им по-прежнему приходилось тратить время на смену фрез и оправок. Стало быть, они делали меньше и меньше зарабатывали. Виктор чувствовал себя неловко. Получалось, что он на каком-то особом положении, и некоторые ему говорили в глаза, что он «на чужом горбу в рай лезет».

Иванычев развеял все сомнения.

— Кто это говорит? Отсталые элементы. Ты что, плохо, недобросовестно работаешь? Хорошо работаешь! А как мы можем поощрить хорошего работника? Дать ему возможность развернуться, показать, что он может. Подумай сам, что получится, если мы будем тебе давать несерийные детали. Ты будешь работать, как все. Остальные от этого выиграют? Нет. А производительность упадет — стало быть, цех меньше сделает, государство меньше получит. Кому это выгодно? Только врагам нашим. Дело ведь не в том, кто делает, а в том, чтобы сделано было больше. Ты можешь больше — ты это уже доказал! Вот почему мы — учти: в интересах государства! — идем тебе навстречу, создаем условия. Потому что ты оправдаешь. И, кроме того, есть пример, образец, на ко-

торый должны равняться остальные. А разговорчики эти... Ты нам скажи, кто их ведет, мы быстро призовем к порядку.

Виктор ни на кого не ябедничал, но внимания на «разговорчики» больше не обращал. Что бы там ни говорили, не на себя же он работает и не сам себя выдвигает. Что он, ловчил, хитрил, просился на «Доску почета» или в «молнию»? Значит, заслужил.

То, что Лешка был на стороне всяких шептунов, его не трогало. У того вообще всегда свое мнение, всегда что-нибудь выдумывает. Но одно дело разговор, другое — пачкотня на «молнии». Это он нарочно выставил его на посмеище. Виктор видел, как смеялись проходившие мимо, смеялись над ним... И это друг называется! Исподтишка, из-за угла... Это хуже, чем подножка. Это просто подлость, и больше ничего! И уж теперь он с ним цацкаться не будет. Сам набился — не жалуйся...

У двери в конторку он остановился. Все-таки получалось как-то не очень... Лучший друг... Нет, дело даже не в том, что друг и что лучший. За всю жизнь он еще ни на кого не жаловался, не ябедничал. Если нужно было, он давал сдачи. В открытую. Били его, бил он. А сейчас он прятался за чужую спину и выставлял чужой кулак. Большой и сильный... Чепуха! Что они, на кулачки дерутся, что ли? Иванович говорил, что дело не в личности, а в пользе государства. И тут не важно, Виктор или не Виктор, друг или не друг. Надо стать выше личных отношений. Быть принципиальным. А быть принципиальным — значит не считаться с личностью. Подумаешь! Каждый будет делать, что ему захочется, и нужно молчать! А сам Лешка такой уж безупречный? Он же сдуру, от недопонимания. Так вот ему и вправят мозги... чтобы допонял раз и навсегда!

7

Иванович всегда держался солидно, ходил, заложив руки за спину и разворачивая носки наружу. Теперь он забыл о солидных повадках. «Молния» лежала перед ним на столе. Иванович тыкал пальцем в черную надпись и кричал на всю конторку:

— Это что такое? Что такое, я тебя спрашиваю? Кто это сделал?

Ефим Паника исподлобья посматривал на Алексея. Все сидящие в конторке подняли головы и прислушивались. Пускай слушают.

— Я.

— Он даже не стыдится признаваться!

— Так это же правда.

— Что правда?

— Правда, что написал я. И написал правду.

— То есть как это правду?! Что же, Гушин не передовик? Он не перевыполнил норму?

— Перевыполнил. А передовик — никакой. Потому я и написал.

— Да ты кто такой? Цехком? Начальник цеха? Треугольник, общественность считают, что Гушин передовик, а он, понимаете, нет! Ты что, личные счета сводишь?

— Никакие не счета. Он мой друг.

— Хорош друг! Я бы такого друга... Ну, его дело. А вот с общественной точки это тебе так не пройдет! Тут тебе не детский сад, а цех, производство. Мы не покладая рук бьемся, чтобы повисить производительность, поощряем передовиков, а ты передовиков чернить будешь? Дискредитировать? Знаешь, чем это пахнет?.. Постой, может, тебя кто подучил? Подсказал?

— Никто не подучивал, я сам. Раз он не передовик...

— Да ты кто такой, чтобы решать, передовик он или не передовик?

Сам без году неделя на заводе, а туда же — рассуждает... Ты тут хозяин? Кто твое мнение спрашивает?

— Не один я, так многие думают.

— Уже подговорил, работку ведешь? Организуешь общественное мнение?

— Ничего я не организую. Спросите кого хотите.

— Спросим! И спросим с тебя, а не с кого-нибудь. Узнаешь, как выступать против общественности, против лучших людей...

— В чем дело? — подойдя, спросил Витковский.

— Вот, Владимир Семенович, полюбуйте! Мы вчера повесили «молнию» о фрезеровщике Гушине. А этот, понимаете, вон что наделал! Цех выдвигает человека, поощряет, а он, понимаете, не согласен. И даже не скрывает, сознается!

Витковский был встревожен и раздражен. Только что закончилась планерка. Август подходил к концу, а программа явно заваливалась. И теперь уже никакие штурмы не помогут. Черт его знает, литье шлут все в раковинах, не литье, а кудрявые бараны. Поковки в трещинах... Холодняк куют, что ли, прохвосты? Обнаруживается все у него, в механическом, и виноват оказывается он...

Неприятный разговор назревал давно, но Витковский не думал, что он будет настолько неприятным. Шершнеф, как всегда, начал с доменного, мартеновского и проката. Начальник рельсобалочного — неважный тип этот Ребров! — пожаловался на механический: задерживают детали рольганга, нельзя закончить ремонт... Шершнеф вызвал Витковского, спросил, когда сдадут детали. Он заверил, что сегодня к вечеру сдает, как положено по плану, и думал, что на этот раз обошлось. Однако Шершнеф не перешел к транспортному. Глухо покашляв в микрофон, он жестко сказал:

— Кстати, Витковский, мне давно не нравится ваша сводка. Вы намерены выполнять план? Раньше вы жаловались на несерийность. Теперь у вас идет заказ сплошь серийный. Долго вы еще будете раскачиваться? Я вас предупреждаю...

— Да ведь, Михаил Харитонович...

— Причин для невыполнения нет. Оправдания меня не интересуют. Оправдывайтесь дома, например, перед женой.

— Михаил Харитонович!

В трубке резко шелкнуло. Отключил... Вот черт горбатый! Ребров и Яворский небось радуются, хохочут... И почему он про жену? Просто так, к слову, или что-нибудь знает? Эта дурища грозилась идти в партком жаловаться. Может, уже наболтала? С нее станется. Такое наплетет, потом и не распутаешь... Что этот длинный парень натворил?.. Надо ее как-то успокоить. Разнежится, сама расскажет. Вообще надо домом заняться, неладно действительно. И сыном надо заняться. Вчера опять пьяный пришел. Где он только деньги берет? Ходит в каких-то пестрых бабьих кофтах. Надо с ним поостроже, распустили... Вообще молодежь распустилась. Вот и этот тоже...

— В общем, давайте так, — прервал Витковский председателя цехкома, — напишите докладную, я ему влеплю выговор по приказу за хулиганство. Нечего с ними цацкаться, распустились... Иди работай!

Алексей не был ни подавлен, ни испуган. Что бы там Иванычев ни кричал, прав он, а не Иванычев. И Витковский просто грозитя. Никакого приказа не будет, они же должны понимать.

Приказ появился перед обедом. Ефим Паника принес вкладыш для срочной разметки, в сердцах швырнул на плиту наряд.

— Допрыгался? — сказал он. — Я тебе сколько раз говорил: не зарывайся! Вот и пожалуйста, схлопотал выговор...

Никогда ничего подобного он не говорил, но теперь ему казалось, что он предупреждал, предостерегал Горбачева и все случилось так потому, что Горбачев его не послушался.

Алексей, не ответив, пошел к доске приказов. На узком листке бумаги на машинке было отпечатано:

«За хулиганский поступок, направленный на дискредитацию передовиков производства, разметчику А. Горбачеву объявить в ы г о в о р.

Начальник цеха В. Витковский».

— Окрестили? — раздалось у Алексея над ухом.

Из-за его спины читал приказ токарь Гладышев. Алексей поспешил уйти.

О приказе сразу все узнали. Первым подошел Василий Прохорович.

— За что это тебя?

— За правду! Написал на «молнии», что Витька Гушин — липовый передовик, вот и... А что, разве не правда?

Василий Прохорович подергал ус.

— Правда-то правда... Только один на ней верхом, другой норovit под ней ползком. Каждый хочет ее по-своему взнуздать и в свою сторону повернуть...

— Что ж, правда — кобыла, по-вашему, ее в любую сторону можно повернуть?

— Кобыла не кобыла, а... Сколько людей — столько судей, судит каждый по-своему. Что человеку выгодно, удобно, то ему и правда.

— Так ведь есть общая для всех, настоящая?

— Есть! Обязательно есть! Только и на нее каждый из своего закута смотрит. Ну, и каждому кажется, что из его закута она виднее, правильнее. А повытаскивать из закутов не просто. Люди там испокон веков обживаются. Слова всякие сколько ни говори — не поможет. А вот когда сама жизнь вытолкнет — другое дело... Тут она, вся правда, и обнаружится.

— Она не обнаружится, если ничего не делать.

— Делать надо, а в одиночку наскакивать не следует. Только лоб расшибешь, вроде как ты...

— Я не расшиб.

— Шишку, однако, тебе поставили. Изрядную.

Туманные разглагольствования Василия Прохоровича ничем не могли помочь. Не помогли и другие разговоры. Подходили многие. Одни возмущались и сочувствовали, другие посмеивались и советовали: «Плюнь! Что тебе, больше всех надо? Пускай выпендривается...»

В обеденный перерыв, когда Алексей сидел в скверике возле цеха, к нему подошел Голомозый, потоптался, сел рядом.

— Слышал я, как давеча на тебя кричали... И приказ этот...

— Ну и что?

— Несправедливо! — вздохнул Голомозый. — Обидели тебя. Ни за что обидели. Вот такая она и вся жизнь: обидой питаешься, обидой укрываешься. А почему? Суeta одолевает человека. Вот революцию сделали, все стали равны. И правильно! Все равны перед лицом господа...

— Революцию не для бога делали.

— Да уж конечно! Вот я и говорю: стали все люди равные. Ну и хорошо бы! Живите в мире и согласии, каждому его доля, равная. И достатка, и всего... А потом начали людей выделять. А выделять — значит отделять, значит разделять...

— Как это отделять-разделять?

— А вот: делить на лучших и худших. Одни, мол, передовые, другие — рядовые. Отсюда у одних зависть...

— Я никому не завидую. Пускай он будет лучший, только по-настоящему, по правде!

— Кто знает, что лучше и что хуже? У кого есть мера, чтобы человек мерить?.. Ты вот откачнулся от нас, не вдумался. А напрасно! Душа твоя, я вижу, ищет справедливости. Только ищешь не там... Мы ведь тоже взыскуем равенства и всеобщего братства. И мы говорим: господь бог сделал всех равными и суетно стремление возвысить себя над ближними твоими. Для нас ни передовых, ни отстающих, ни лучших, ни худших... Наша правда в смирении! Сегодня я смиренно омываю стопы твои, завтра — ты мои...

— Такой правды в бане еще больше. Там ноги лучше отмоешь.

— Ты в насмешку не переводи. В баню мы все ходим. Дело в символе, в высоком смысле.

— На кой пес мне символы? Правда нужна! И тут! А не на небе...

— Вот это верно! — сказал Федор Копейка. Подходя к скамье, он слышал последние слова.— Тем более, что неба как такового нету. Ну-ка, подвинься малость... Ученые говорят, за стратосферой вообще уже ничего нет. Безвоздушное пространство. И абсолютный ноль температуры — минус двести семьдесят три градуса. Холодно для рая, по-моему, а?

Голомозый поджал губы, поднялся и ушел. Копейка проводил его взглядом.

— Чего он тут пел?

— Сочувствие выражал.

— И как, помогло?

— А сочувствие помогает?

— Как кому. Некоторые любят.

— Ну а я — нет. Не нуждаюсь.

— Тем лучше. А то я тоже не умею сочувствовать. А поговорить мне с тобой надо. Не возражаешь? Закуривай... И не курил никогда? Молодец. Я вот тоже все собираюсь бросить, да пока не получается. Некоторые конфетки сосут, чтобы отвыкнуть. По-моему, чепуха. Вместо одной соски другую. Как маленькие. Да после конфеты-то еще больше курить хочется...

— Ты со мной насчет курения говорить хочешь? Так я уже сказал — не курю. Давай лучше без подходов.

— Вон ты какой... ерепенистый. Ладно, давай без подходов. Ты это почему сделал, с «молнией»?

— Потому что все молчат. Все знают, что липа, а молчат.

— Так. А ты один храбрый? Ну а дальше? Какой толк от этого?

— А мне никакого толку не нужно. Сказал правду, и все. Пусть знает.

— Кто?

— Витька. Виктор Гущин.

— Так это ты только для него? Сказал бы ему, и дело с концом, если дело только в нем.

— Не только. Пусть все знают. А ему я говорил. Обозлился, и больше ничего.

— Теперь ты обозлился из-за приказа. Верно?

— А что мне этот приказ?

— Да как ни говори, приятно мало.

— Ну и пускай!

— Ладно, отложим это пока... А почему ты не комсомолец?

— Так...-- Алексей пожал плечами.

- И не учишься, наверное?
— Нет, учусь. В вечерней школе.
— Это хорошо. Ну, все-таки надо вращаться среди молодежи, в колллективе.
— А где я еще вращаюсь?
— Ты в семье живешь или в общежитии?
— В общежитии. Кончал ремесленное. Из детдома. Еще вопросы будут? А то сейчас гудок.
— Чего ж ты в пузырь лезешь, чужак? С тобой по-хорошему. Мне интересно, вот я и спрашиваю... Добре, сейчас и в самом деле гудок. Но мы еще с тобой поговорим. Ладно? Ну, будь!

8

Федор Копейка был недоволен собой. Разговор с Горбачевым не получился, и виноват был в этом один Копейка. Не сумел найти подход. Вместо разговора по душам получился допрос, и парень озлился. Можно, конечно, отмахнуться — хулиган есть хулиган, и нечего искать к нему какие-то подходы. Но это не в характере Копейки — он упрям. Кое-кто считал его тугодумом, но в нем не было медлительности тупицы, с трудом ковыляющего от мысли к мысли, которыми не слишком перенаселена его черепная коробка. Федор считал, что всякое серьезное дело «трэба розжуваты». «Розжував» однажды и что-либо решив, он уже не отступал и не перерешал заново. Упрямо сцепив зубы, так что нижняя челюсть выступала вперед, он долбил в одну точку, пока не добивался, не настаивал на своем. Так было в детстве с мальчишками-сверстниками, так было в школе в единоборстве с геометрией и тригонометрией, дававшимися с трудом, так было в армии.

Школу Копейка кончил поздно, в институт не попал, и его взяли в армию. Война была позади, на долю Копейки и его сверстников достались не подвиги, а только чужие рассказы о них и — изо дня в день — боевая и политическая подготовка. Воевать Федору все-таки пришлось, но только с самим собой. Обязательной частью боевой подготовки была подготовка физическая. Не слабый от рождения, но без какой бы то ни было тренировки — в школе, как и многие, он уваливал от уроков физкультуры, — он не мог выполнить простейших упражнений. Над ним посмеивались, выговаривали, потом наказывали. Федор, сцепив зубы, начал тренироваться. Он падал и расшибался, бегал, пока не начинал задыхаться, без конца возился с гантелями и наконец достиг желаемого: прыгал, несмотря на малый рост, не хуже длинноногих, стал штангистом, а в походе по выносливости не уступал самым крепким здоровякам. Усердная служба, покладистый характер и упорство, с каким он добивался цели, выделили Копейку среди других, и его избрали секретарем комсомольской организации. К концу срока службы перед ним открывалась перспектива, против которой он ничего не имел: остаться на сверхсрочную, пойти в военную школу, стать офицером, профессиональным военным. Письмо из дому заставило отказаться от этих планов.

Отец его работал в порту грузчиком. «Бабкок-вилькоксы», «моррисы», а потом и отечественные «кировцы» изменили работу грузчиков. Им уже не нужно было на хребтине таскать кули, бочки и ящики из трюма на стенку и со стенки в трюм — теперь это делали краны. Но осталась нелегкая работа размещения грузов в трюмах, подтаскивание их к люкам при выгрузке. Старый пароход, застигнутый штормом в море, не выдержал жестокой трепки, швы начали расходиться, и в трюмы хлынула вода. Кое-как пароход доплелся до порта. Срочно нужно было спасти груз от окончательной порчи, а пароход — от затопления. Вместе с другими

грузчиками-добровольцами Игнат Копейка шесть часов работал, стоя по колено в ледяной воде. Грузчики костерили в гроб и в душу начальство и капитана, раздолбанное железное корыто, которому давно пора утонуть, шторм и свою работу, но не уходили. Ругательства перекатывались, грохотали в трюме, как обвал, заглушая гром лебедок и кранов. Но грузчики не уходили и лишь время от времени согревались чаркой перазбавленного спирта, который нашелся у потерявшего голову старпома. Позже Игнат незесело шутил, что спирту скалдырник старпом пожалел, и потому помог он только до половины. Игнат не простудился, не схватил даже насморка, но ноги отказали начисто, скрученные жестоким ревматизмом. Обезноженный Игнат долго лежал в больнице, кое-как стал ходить, но о возвращении на работу нечего было и думать; его перевели на инвалидность. Получив об этом письмо от отца, а потом — вдогонку — более подробное от соседей, Федор махнул рукой на мечты о военной школе. Матери Федор почти не помнил, она умерла давно, жили они вдвоем с отцом, и оставить батю одного, больного и беспомощного, было невозможно. Демобилизовавшись, Федор вернулся домой.

С помощью палки батя кое-как мог передвигаться по комнате, по двору, на большее сил не хватало. Соседка прибирала за стариком, стирала, готовила пищу. Сам он целыми днями сидел зимой у печки, а летом, не снимая валенок, во дворе на солнышке и читал. Смолоду было не до чтения, за прошедшие пятьдесят пять лет он не прочитал и двух десятков книг и теперь жадно наверстывал упущенное. Вынужденное безделье и одиночество заставили его взяться за валявшуюся на нижней полке этажерки толстую книгу — «Былое и думы» Герцена. Поначалу, одолев с трудом четыре-пять страниц, он уставал и начинал дремать. Потом втянулся и дремать над книжкой перестал. Закончив книгу, он долго думал, признался сам себе, что больше половины не понял, и начал читать сначала.

Федор поблагодарил соседку за все, договорился, чтобы она стирала на них обоих, а все остальное он будет делать теперь сам. Никаких накоплений ни у отца, ни у сына не было, сидеть сложа руки не приходилось. Специальности Федор не имел, а таланту в обращении с ручным пулеметом применения «на гражданке» не предвиделось. В горьком комсомоле ему посоветовали идти на курсы, но Федору терять время на учебу не приходилось — деньги были на исходе. Тогда ему предложили идти техсекретарем заводского комитета комсомола на «Орджоникидзесталь». Комсомольскую работу он знает и вполне справится. Федор согласился.

Работа действительно была знакомой, с комсоргом ЦК ВЛКСМ отношения сразу наладились. Комсорг не ограничивал его обязанности только учетом, сбором взносов и содержанием в порядке бумаг, а давал и другие поручения: что-либо выяснить в цехе, согласовать, помочь провести занятия, а то и собрание. Особенно часто его посылали в механический цех, где комсорг был слабенький. Федор охотно и добросовестно выполнял все поручения, с удовольствием вел работу в механическом.

Отцу не понравилась работа, выбранная сыном.

— Тебе мешки таскать, а не бумажками шелестеть

— Ты, батя, не понимаешь...

— Побольше твоего понимаю! Что это за работа для мужика? Вон Александр Иванович Герцен, тот говорит...

Теперь у старика Копейки всегда было в запасе подходящее изречение Герцена. Федор отмахнулся и забыл о недовольстве отца, однако потом оказалось, что первую тень сомнения в правильности выбранного пути заронил он.

Федор работал в полную силу, не щадил ни времени, ни себя. Но мало-

помалу у него появилось неясное ощущение неловкости, словно он делал что-то не так или не сделал того, что должен был сделать. Как он ни раздумывал, ни вины, ни упущения в работе и поведении своем не отыскал. Понимание пришло после незначительного происшествия в марте-новском цехе. Придя к Сергею Ломанову поговорить о деле, Федор угадал не вовремя. Бригада приготовилась выпускать плавку, гигантский ковш был уже подставлен под желоб, желобщик пикой пробивал летку. Сергей стоял сбоку и наблюдал. Обливающийся потом желобщик, тяжело хакая, бил изо всех сил. Летка не поддавалась. Наружный слой глины отлетел, дальше виднелась раскаленная раскрасна масса. Пика выскользнула из рук желобщика, ее подхватил другой подручный, оттолкнул желобщика, начал долбить сам. Федор подошел к Ломанову, но тот в это время ринулся к желобу.

— Уйди, не путайся под ногами! — зло ощерился он и, тут же забыв о Федоре, закричал: — Отставить! Приварилась... Прожигай!

Подручные подтащили баллон с кислородом, резиновый шланг с насаженной на конец железной трубой. Кислород зашипел, посыпались искры, от летки заклебился багровый дым, прорвалась сверкающая струйка, и наконец тяжким потоком хлынула слепящая жидкая сталь. Сергей минуты две наблюдал, потом подошел к Федору и, вытирая полой спецовки залитое потом лицо, виновато сказал:

— Слышь, Федя, ты не обижайся! Сам понимаешь — под горячую руку... Тут выпускать надо, перестопт, а летка приварилась.

— А я не обижаюсь, я понимаю.

Федор действительно не обиделся. И даже задумался над этим только потом, позже. А начав думать, Федор додумывал все до конца. Он сидел один в помещении комитета комсомола, комсорга вызвали в горком. Все сводки были собраны и отправлены, протоколы в порядке, ведомость по взносам сдана, все поручения на сегодня выполнены. Перед концом рабочего дня здесь было тихо, только иногда еле заметно дрожал пол и звенели стекла: по заводскому двору у самого забора проходил железнодорожный состав. Наохлившись, Федор сидел за столом, сосредоточенно думал, машинально расписывался на стекле — «Ф. Коп» — и выводил мудреные вензеля.

До сих пор он был убежден, что дела, которыми он занимается, очень важны. С этими делами он ходил в цехи к ребятам. Они были заняты другим делом, отрывались от него неохотно, иногда даже срывались, как Сережа Ломанов. Комсомольскими делами они занимались после работы или в обеденный перерыв, если оставалось время после обеда, комсомольские дела у них были на втором плане, а на первом — работа... Нет, неверно! Работа была главным и основным в их комсомольстве. Федор сам и все комсомольские работники всегда говорили: первый и главный долг комсомольца — быть передовиком на производстве... Ну вот: они на производстве, а он только около, рядом. Он только ходит и уговаривает их быть передовиками. А они и без его уговоров работают дай бог! Они ведь такие же комсомольцы, как и он. Зачем тогда он? Он же, как шкив холостого хода, крутится, шумит, а толку никакого...

Нет, в армии было совсем иначе... Во-первых, он был там такой же, как все. На равных. Во-вторых, секретарем его выбрали на третьем году службы, когда он знал не меньше других, а умел больше многих. Там он всегда говорил о том, что хорошо знал. Говоря, он зажигался сам и зажигал других, будил энтузиазм и вел за собой.

Здесь он тоже, проводя собрание или занятие, призывал и пытался зажечь, но иногда при этом почему-то появлялась неловкость. Теперь ему стало понятно почему. Здесь его призывы не были нужны: все шло и так, а горели без его помощи. Они уже знали то, что Федор еще только

собирался им сказать, но сверх того они знали и умели то, чего Федор не знал и не умел и лишь мог говорить об этом в о о б щ е, вокруг да около. И получалось, что он вовсе не возглавлял и не вел, они шли сами, а он только пытался забежать вперед, путался у них под ногами и производил пустопорожний словесный шум. Зная наперед все, что мог им сказать Федор, они вежливо слушали и снисходительно терпели, так как надо, чтобы кто-то делал то, что делал он, раз существует такая должность...

Почему то, чем он занят, считается должностью?! Ну хорошо, по должности он технический работник. Однако техническая работа не главное, он ведет ее аккуратно, но она отнимает не так уж много времени, и по существу он ведет работу совсем другую. Но разве разговаривать с ребятами, советовать им, заседать, произносить речи — это должность? Это не могло, не должно быть должностью, службой! Ведь пребывание в комсомоле не служба, ведь он вступил в комсомол потому, что он хочет отстаивать идеи, выполнять программу! Он только призывает работать с энтузиазмом, а работают другие, не он. Выходит, энтузиазм превратился для него в профессию, в службу. Да кому его энтузиазм нужен? У них своего хватает! Вон у Сережи Ломанова на десятках таких, как он, хватит... Всё! Точка.

Придя к таким мало приятным для себя выводам, Федор Копейка решил действовать немедленно и, как только комсорг вернулся из горкома, сказал, что ему нужно поговорить. О работе.

— Давай, Федя, давай,— сказал комсорг.— Что-нибудь не ясно? Сейчас уточним.

— Наоборот — ясно. Я хочу перейти на завод. Начать работать по настоящему.

— А сейчас ты не работаешь?

— Это видимость, а не работа.

— Что значит видимость?!

Федор выложил все свои соображения начистоту. По мере того как он говорил, лицо комсорга становилось все более хмурым и отчужденным.

— Ну, знаешь, Копейка,— сказал он,— я тебе со всей прямоотой скажу: мне твои рассуждения не нравятся. Нездоровые у тебя настроения! И рассуждения твои демагогические, подрывные. Ты что же, выступаешь против руководства?

— Я не против руководства, я только считаю, что руководить — это не значит речи произносить.

— А кто говорит, что нужно руководить вообще? Надо конкретно вникать, разбираться в вопросах, обобщать опыт. А я еще тебя считал перспективным работником. Вот, думал, растет будущий комсомольский вожак. Я даже тебя собирался рекомендовать... Ну, теперь уж нет!

— Я считаю...

— Что ты там считаешь, маловажно. Важно, что ты тут наговорил. Мы с такими настроениями мириться не можем. Имей в виду, я о них поставлю вопрос на бюро.

Федор пошел к парторгу завода Латышеву.

— Что-то ты, Копейка, мудришь,— сказал Латышев, выслушав его.— Что же, нам всем бросить работу, на которую нас поставила партия, и идти в цех, к станкам?

— Я не про вас — вы другое дело. Вы раньше кем были? Вальцовщиком. И когда вы говорите «мы — рабочий класс» — это одно. Вы на это право имеете. А я? Кончил десятилетку, служил в армии, теперь здесь служу... Вот комсорг говорит, «была у тебя перспектива». Какая?

Стать комсомольским работником. Так я же служащий, а не работник! А что же это такое — быть служащим в комсомоле?!

— Погоди, это формальная сторона дела. Ты в армии был секретарем комсомольской организации, у тебя есть опыт. А на заводе много совсем зеленой молодежи...

— Так дело же не в возрасте, важно, кто я! Ведь какой-нибудь сморкатый ремесленник и тот солиднее: у него специальность в руках, он делает, а я только говорю...

— Словом, заел комплекс неполноценности...

— Как это?

— Ну, что ли, болезненное ощущение, сознание того, что ты хуже, менее ценен, чем другие. Что ж, право руководить действительно надо заработать. Ладно, отпустим тебя в цех, приобретай квалификацию. Но имей в виду: от комсомольской работы не освободим. Наоборот, подбавим!

— А я и не отказываюсь.

Так Федор Копейка появился в механическом цехе в качестве ученика долбежника.

Отец обрадовался:

— Вот это правильно! Портфель таскать и дурак может...

Когда Федор после первого дня работы у станка пришел домой неизмеримо замасленный, старик настоял, чтобы он умывался не под краном, а во дворе.

— Что тут за умывание для рабочего человека? Ему простор нужен!

Федор понимал: отцу хотелось, чтобы все соседи видели, что его сын стал не кем-нибудь, а «настоящим рабочим человеком». Старик сам сливал ему. Он с трудом нагибался, черпая кружкой из ведра, и старался затянуть церемонию. Когда сели обедать, отец достал из-за шкафчика бутылку водки и торжественно поставил на стол. Водку он купил на «свои», пенсионные, сам ходил за ней в «Гастроном» чуть не два часа, после чего весь день кряхтел и отлеживался.

— Ну, сынок, с началом тебя!

Покончив с борщом, Федор подмигнул отцу.

— Как, батя, повторим?

— Повторить бы тебе ложкой по лбу! — рассердился старик. — Только-только нос в масле запачкал, а туда же — в бутылки заглядывать!

Еще стопку Игнат сыну налил, но остальное прикончил сам, так как был убежден, что тому еще праздновать особенно нечего и праздник сегодня не у него, а у самого Игната.

В цехе Федора встретили с усмешливой настороженностью: посмотрим, посмотрим, что у тебя получится. Время от времени ребята поддразнивали:

— Ну как? Это тебе не речуги толкать... А?

Взмыленный, потный от старания, но счастливый Федор отшучивался. Потом все прекратилось, он стал своим.

Оказалось, это не главное. Главное состояло в том, чтобы не только стать похожим, таким, как все, своим, а стать нужным. Не только вообще и сообща, а каждому. На собрании просто. Собирались парни и девушки, все они были ребята. Всех занимали одни вопросы, заботили одни заботы. Они сообща думали, решали, делали. Здесь — Федор это знал и чувствовал — он был на месте и необходим. Но мероприятия кончались, кончалось то, что свело их вместе, и каждый становился сам по себе. Помимо общего, у каждого было свое. Это «свое» влияло, не могло не влиять на отношение каждого к общему, на все поведение, на жизнь каждого. А в чем оно и какое? Федор не знал или знал плохо. Хорошо

он знал только то, что в этом «своем» он был им не нужен. Они с легкостью и даже с удовольствием обходились без него.

Со сверстниками Федору было легко. Федор знал о них все или почти все. Знал, о чем они думают, чего хотят, о чем мечтают. И они знали все о Федоре, и им не приходилось искать никаких подходов, общий язык. Он и так был у них один.

Однако, кроме сверстников, было много ребят моложе и становилось все больше. И с ними было трудно. У них были другие судьбы и в чем-то другой склад характеров. Небольшая разница в возрасте то и дело оказывалась непреодолимым препятствием, и разговор «по душам» не получался. Душу они держали на застегках. Черт его знает, получалось, что эти сопляки сдержаннее и строже, чем Федор и его сверстники. Нет, не в смысле дисциплины — дисциплина у них еще аховая. А в смысле слов и чувств. Те, что постарше, нараспашку: что думают, то и говорят. И работают на всю катушку, и веселятся на всю катушку, и все в них открыто. Эти, положим, тоже работают неплохо. Но скупы на слова. Словно они стыдятся. Стыдятся слов и стесняются проявления чувств. И уж к ним не разгонишься: «Ну, как жизнь?» Отвечают «нормально» и смотрят на тебя, как на дурака. А чуть что — взъерошиваются, как Горбачев, и тогда уже слова не выжмешь.

Вот и Горбачев... Насчет хулиганства — конечно, глупости. Парень дисциплинированный, выдержанный. Однако штуку отколол хулиганскую. О чем-то он же думал, когда делал. А что он думал? Под черепок к нему не влезешь, а знать это надо. Иначе опять может отколоть... Или вообще свернуть черт знает куда. Вон баптист около него трется... Может, его влияние? Не похоже, сам его отшил. А что же тогда? Ревность? Зависть? Ерунда... А что же?

Может, Федор вообще взялся не за свое дело, слишком в себя поверил? Какой он руководитель, если не умеет подойти к обыкновенному парню?.. Стоп! Что значит «обыкновенный»? Такой, как все? Все такие, как все, и все разные. Каждый по-своему. Если все будут для тебя на одно лицо, вот тогда ты действительно балаболка, а не руководитель. Человек отлично чувствует и понимает, как на него смотрят: как на человека или как на руководимую единицу. Никому не хочется быть единицей. Их нет. Руководить — не значит решать задачки по арифметике: складывать или умножать... Ты должен стать им полезным и, значит, нужным. Трудно? Очень! И не вздумай снисходить, корчить из себя благодетеля, спасителя. Им не нужны подачки, они не беднее тебя. Как только ты начнешь смотреть сверху вниз — конец. Ты кончился как руководитель и как товарищ. Останется только должность. От должности ты отказался. Уж не собираешься ли снова ухватиться за нее? То-то...

Ну ладно, задача ясна. Не ясно пока только, как ее решить... Вот черт, опять арифметика! Отвыкай. отвыкай от мертвых, казенных слов. В чем-то этот Горбачев запутался. Надо понять, в чем и помочь выпутаться. Сразу трудно, парень ершистый. Ты, положим, тоже не больно гладкий да ласковый... А у него жизнь, похоже, была потруднее. Вот и учти, не лезь нахрапом...

(Окончание следует)



И. ФРЕНКЕЛЬ

★

ЧЕРВОНЫЙ КУТОК

В воскресенье — веселье в червоном кутке.
Только вечер настанет — начнется кино.
Приделась, умылась, с деньгами в руке
вышла из дому дочь рыбака Арфано.
Только вышла — навстречу ей пыльный норд-ост,
белый штапель бесстыдно задрал в темноте.
Не беда! Кто увидит тебя, кроме звезд?
А ведь звездам не стать привыкать к нагоде.

Чертов ветер, бродяга одесских степей,
как его ни закуй — он сорвется с цепей;
он течет, как поток, сквозь червоный куток,
там пригубив веселья здоровый глоток.
До чего же крепка и в кости широка
эта смуглая девушка, дочь рыбака!
Вот идет, а норд-оста крутая река
обдает ее музыкой издалека.

А в червоном кутке, а в червоном кутке
все гремит, все кипит, как вода в котелке,
и опасно трещат половицы кутка
под ногой моряка, под ногой рыбака.
Нежный вальс превращало в сплошную грозу
звуковой установкой на полном газу.
Нежный вальс, иерихонской пропетый трубой,
раскаленные лбы омывал, как прибор.

А потом на экране был киножурнал:
экскаватор огромную гору жевал,
узкоглазый казах покорял целину,
межпланетный снаряд улетал на Луну.

Стрекотал аппарат, оживлял полотно.
Было жарко в червоном кутке и темно,
и сержант-пограничник кому-то шептал,
что он сам из Рязани, что любит давно.
Он на фильме одиннадцать раз побывал,
не взглянув на экран, объясненья давал,
слишком шумно дышал и соседям мешал
— Отчепитесь,— шипела ему Арфано...

В черном бархате ночь над червоным кутком.
Ветра нет. Пахнет степь молодым полынком.
Дышит море невидимой дальней водой.
Так и будет молчать до зари золотой...

Выключается ток. Смолк червоный куток.
Скоро-скоро огнем разгорится восток
и не станет ночных неразгаданных тайн —
по колено в пшенице проснется комбайн,
и наладит шаланду рыбаки Арфано.

...Спит червоный куток. Спи, червоный куток!
Вейся, рваный и белый от солнца флажок!



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ *

11

Мне довелось повидать различные эмиграции — левые и правые, богатые и нищие, уверенные в себе и растерянные; видел я и русских, и немцев, и испанцев, и французов. Одни эмигранты вздыхали о прошлом, другие жили будущим. Но есть нечто общее между эмигрантами различных толков, различных национальностей, различных эпох: отталкивание от чужбины, где они очутились не по своей воле, обостренная тоска по родине, потребность жить в тесном кругу соотечественников и вытекающие отсюда неизбежные распри.

Старый большевик А. С. Шаповалов попал в эмиграцию после революции 1905 года; он рассказывает, как возмущались его товарищи бельгийскими нравами: «Ну ее к черту, эту Бельгию с ее хваленой свободой!.. Оказывается, что здесь не смей после десяти часов вечера в своей же комнате ни ходить в сапогах, ни петь, ни кричать». Задолго до этого Герцен, описывая эмиграцию в Лондоне, говорил, что «француз не может примириться с «рабством», по которому трактиры закрыты в воскресенье».

Взрослые растения трудно пересаживать, они болеют, часто гибнут. Теперь у нас применяется зимняя пересадка: дерево выкапывают, когда оно в летаргии. Весной оно возвращается к жизни на новом месте. Хороший метод, особенно потому, что у дерева нет памяти...

Я помню Мигеля Унамуну в Париже — он был эмигрантом во времена Примо де Ривера; он сидел в кафе «Ротонда» и вырезывал из бумаги драконов и быков; потом к его столику присаживались испанцы, и Унамуну говорил им, что во Франции нет, не было, да и никогда не будет Рыцаря печального образа. (Он сам походил на Дон-Кихота.) Помню Эрнста Толлера в Лондоне, задыхающегося от туманов и лицемерия; он не выдержал жизни в изгнании и покопчил с собой. Жан-Ришар Блок годы войны провел в Москве; человек большой воли, он старался не выдать своей тоски, но когда он говорил о Франции, его печальные глаза становились еще печальнее; на стене комнаты в гостинице «Националь» висела голубая бумажка — обертка давно выкуренных французских сигарет. Пабло Неруда сидел в комнате пражской гостиницы, большой и неподвижный, похожий на бога древних ацтеков; но стоило ему заговорить о раковинах на тихоокеанском побережье, как его лицо оживлялось; он с негодованием рассказывал о проделках чилийского диктатора — с негодованием и в то же время с нежностью: как-никак диктатор был чилийцем. В 1946 году, находясь в Париже, я пошел про-

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 8 с. г.

ведать А. М. Ремизова, тяжело больного, сгорбленного в три погибели. Он был одинок, жил в нищете и в томлении. Почему он очутился в эмиграции? Вряд ли он сам смог бы это объяснить. Он говорил, что во сне видит всегда Россию, давних друзей, Петербург студенческих лет. А в комнате висели русские картинки, русские зверушки и конечно же русские чертяки.

В 1932 году я писал про белых эмигрантов: «Вокруг них жизнь, к которой они, по существу, никак не причастны. Они живут в Париже, как в чердачной конуре роскошной гостиницы. Разучившись говорить по-русски, они не овладели французским языком. Они плачут, когда смотрят в маленьком русском театре «Дети Ванюшина». Они мурлычат песенки Вертинского. Они ходят на вечера различных «землячеств». Они не могут расстаться даже со старым календарем и встречают Новый год 13 января. В одной русской квартире я видел самовар, воду для него нагревали на газовой плитке».

Все отличало дореволюционную эмиграцию от белой. Русские беженцы, добравшиеся после революции до Парижа, поселились в буржуазных кварталах — в Пасси, в Отэй; а революционная эмиграция жила на другом конце города, в рабочих районах Гобелен, Итали, Монруж. Белые пооткрывали рестораны «Боярский теремок» или «Тройка»; одни были владельцами трактиров, другие подавали кушанья, третьи танцевали лезгинку или камаринскую, чтобы позабавить французов. А эмигранты-революционеры ходили на собрания французских рабочих; эсеры спорили с эсдеками, «отзовисты» — со сторонниками Ленина. Разные люди — разная и жизнь...

Если я заговорил о некоторых чувствах, присущих всем людям, оказавшимся поневоле на чужбине, то только для того, чтобы объяснить мое душевное состояние, когда в январе 1909 года я наконец-то снял меблированную комнату на улице Данфер-Рошера, разложил привезенные с собой книги, купил спиртовку, чайник и понял, что в этом городе я надолго. Конечно, Париж меня восхищал, но я сердился на себя: нечем восхищаться!.. Я уже не был ребенком, меня пересадили без кома земли, и я болел. Турист может восторгаться невиданной им природой, чужими нравами, он ведь приехал для того, чтобы смотреть; а эмигрант и восторгаясь отворачивается. Здесь нет весны, думал я в тоске. Разве французы могут понять, как идет лед, как выставляют двойные рамы, как первые подснежники пробивают ледяную кору? В Париже и зимой зеленела трава. Зимы вообще не было, и я печально вспоминал сугробы Зачатьевского переулка, Надю, облачко возле ее губ, тепло руки в муфте. Бог ты мой, сколько во Франции цветов! Ползли по стенам душистые глицинии, в каждом палисаднике были чудесные розы. Но, глядя на лужайки Медона или Кламара, я огорчался: где же цветы? Как молитву, я повторял: мать-и-мачеха, иван-да-марья, купальница, львиный зев...

Французы мне казались чересчур вежливыми, неискренними, расчетливыми. Здесь никто не вздумает раскрыть душу случайному попутчику, никто не заглянет на огонек; пьют все, но никто не запьет с тоски на неделю, не пропьет последней рубашки. Наверно, никто и не повесится...

Повесился Виталий. Говорили, что он запутался, залез в долги, выдавал чужие стихи за свои; мне он часто говорил, что ему «тошно» в Париже. Я бывал у Тамары Надольской, худой девушки с глазами лунатика. Мы говорили о России, о больших чувствах, о цели жизни. Жила она в мансарде; в оконце был виден огромный чужой город. Она повторяла, что все в жизни оказалось не таким, как она думала. Она выбросилась из оконца на мостовую. Таню Рашевскую я знал еще в Москве,

она была сестрой моего школьного товарища Васи; сидела в тюрьме, уехала в Париж, поступила на медицинский факультет, вышла замуж за красивого румына, потом отравилась. На похороны приехала ее мать из Москвы; уломали попа; дали всем свечи, дьякон пел: «И презревши все прегрешения...»

Иногда я ходил на доклады — их называли «рефератами». Мы собирались в большом зале на авеню де Шуази; зал был похож на сарай; зимой его отапливали посетители. А. В. Луначарский рассказывал о скульпторе Родене. А. М. Коллонтай обличала буржуазную мораль. Порой врывались анархисты, начиналась потасовка.

(Когда я начал писать стихи, А. В. Луначарский меня приободрил, говорил мне, что можно быть революционером и любить поэзию. Анатолий Васильевич был для меня мостом — он связывал мое отрочество с повыми мечтами. Можно увидеть в воспоминаниях о нем: «огромная эрудиция», «всесторонняя культура». Меня поражало другое: он не был поэтом, его увлекала политическая деятельность, но в нем жила необычайная любовь к искусству, он как будто был неизменно настроен для восприятия тех неуловимых волн, которые проходят мимо ушей многих. Впоследствии, изредка с ним встречаясь, я пытался спорить: его оценки мне были чужды. Но он был далек от желания навязать свои восприятия другим. Октябрьская революция поставила его на пост народного комиссара просвещения, и, слов нет, он был добрым пастырем. «Десятки раз я заявлял, что Комиссариат просвещения должен быть беспристрастен в своем отношении к отдельным направлениям художественной жизни. Что касается вопросов формы — вкус народного комиссара и всех представителей власти не должен идти в расчет. Предоставить вольное развитие всем художественным лицам и группам. Не позволить одному направлению затирать другое, вооружившись либо приобретенной традиционной славой, либо модным успехом». Обидно, что различные люди, приставленные к искусству или им интересующиеся, очень редко вспоминали эти разумные слова. В 1933 году Луначарского назначили послом в Мадрид. Он приехал в Париж и слег. Я пришел к нему в гостилицу. Он понимал, что смерть близка, и говорил об этом. Жена попыталась отвлечь его, но он спокойно ответил: «Смерть — серьезное дело, это входит в жизнь. Нужно уметь умереть достойно...» Помолчав, он добавил: «Вот искусство может научить и этому...»)

Денег у меня было мало, и я считал, что тратиться на обед не стоит: можно выпить кофе с молоком у цинковой стойки бара с пятью рогаликами. Все же иногда я шел в русскую столовку: не голод меня гнал гуда — ностальгия. Помню две столовки: эсеровскую на улице Гласьер (ее называли так потому, что эсеры, родственники владельцев фирмы «Чай Высоцкого», жертвовали деньги на пропитание эмигрантов) и беспартийную на улице Паскаля. В обеих было дешево, грязно, невкусно и тесно. Официант кричал повару: «Эн борщ и биточки авэк каша́». Рыжая эсерка истерически повторяла, что, если ей не дадут боевого задания, она покончит с собой. Большевик Гриша негодовал: проходя мимо кафе «Даркур», он увидел там Мартова — вот как разлагаются оппортунисты!..

Иногда устраивались балы; сбор шел на пропаганду в России. Приглашали французских актеров; бойко торговал буфет; многие быстро напивались и нестройно пели хором: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя почка черна...» Здесь же сводились счета: эмиграция была крохотным островком, на нем жили и в тесноте и в обиде.

Еще в тюрьме я понял, что ничего не знаю. Я записался вольнослушателем в Высшую школу социальных наук. Лекции мне казались

бледными, малосодержательными, но я аккуратно все записывал в тетрадку. Вскоре я заметил, что из книг могу почерпнуть куда больше, чем из лекций: снова начались годы жадного чтения.

Книги я брал в Тургеневской библиотеке. Ее судьба драматична. В 1875 году в Париже состоялось «Литературно-музыкальное утро» с участием Тургенева, Глеба Успенского, Полины Вярдо, поэта Курочкина. И. С. Тургенев распространял билеты, указывая: «Вырученные деньги будут употреблены на основание русской читальни для недостаточных студентов». Писатель пожертвовал библиотеке книги, некоторые со своими пометками на полях. Два поколения революционной эмиграции пользовались книгами «тургеневки» и обогащали ее библиографическими редкостями. После революции библиотека продолжала существовать; только читатели изменились. В начале второй мировой войны русские писатели-эмигранты передали свои архивы на хранение Тургеневской библиотеке. Один из ближайших сподвижников Гитлера, балтийский немец Розенберг, который считался ценителем «россики», вывез Тургеневскую библиотеку в Германию. В 1945 году, перед самым концом войны, незнакомый офицер принес мне мое письмо, посланное в 1913 году М. О. Цетлину (поэту Амари). Офицер рассказал, что на одной немецкой станции он видел распотрошенные ящики: русские книги, рукописи, письма валялись на земле; он подобрал несколько писем Горького и, случайно заметив на истлевшем листке мою подпись, решил доставить мне удовольствие. Таков конец Тургеневской библиотеки.

Порой я заглядывал в партийную библиотеку на авеню де Гобелен — там можно было встретить знакомых. В полутемном сарае, среди паутины, газет и примятых шляп, люди подолгу спорили, не обращая внимания на Мирона, который негодовал: «Товарищи, ведь здесь библиотека!..» Иногда появлялся новичок из Петербурга или Москвы; его закидывали вопросами. Вести были невеселыми: реакция в России росла; охранка усердствовала — «провал» следовал за «провалом». Говорили много про Азефа. Конечно, я никогда не соглашался с эсерами; но меня пленяла романтика — Каляев, Сазонов, — и вдруг выяснилось, что какой-то толстый противный субъект решал судьбы и революционеров и царских министров...

На партийных собраниях продолжались бесконечные дискуссии. Недавно я прочитал в воспоминаниях С. Гопнер, что Ленин говорил о бесплодности эмигрантских дискуссий, где спорят люди, давно выбравшие свою позицию. Я сердился на себя: почему в Москве дискуссии меня увлекали, а здесь, где столько опытных партийных работников, я сижу и скачаю? Я стал реже ходить на собрания.

Попробовал я пойти на митинг французских социалистов. Выступал Жорес; он изумительно говорил, мне показалось, что я слышу нечто новое (потом я понял, что дело было в таланте оратора). Он говорил, что труд, братство, гуманизм сильнее корысти правящего класса; потрясал руками, в негодовании отстегнул крахмальный воротничок. В зале было нестерпимо жарко. После Жореса детский хор исполнил песню о страданиях чахоточного юноши, который не увидит восхода солнца. Потом потная толстая певица пела скабрзные куплеты про корсет, который она потеряла в кабинете министра. Все развеселились. На эстраду вышли музыканты; поспешно отодвигали скамейки — начинался бал. Восемнадцатилетний русский юноша не танцевал, он грустно шагал по старым парижским улицам и думал: гуманизм, пролетариат — и вдруг корсет!..

Париж мне нравился, но я не знал, как к нему подойти. Я пошел на выставку и ужаснулся. О живописи я не имел никакого представления; в моей московской комнате на стене висели открытки «Какой простор!»

и «Остров мертвых». Я думал, что картины должны быть со сложным сюжетом, а здесь художники изображали дом, дерево, того хуже — яблочки.

В театре «Французской комедии» знаменитый актер Муне-Сюлли играл царя Эдипа. Я признавал только Художественный театр: мне казалось, что на сцене все должно быть как в жизни. Муне-Сюлли стоял неподвижно на месте, потом он сделал несколько шагов, снова остановился и зарычал, как раненый лев: «О, как темна наша жизнь!..» Несколько лет спустя я понял, что он был большим актером, но в то время я не знал, что такое искусство, и не выдержал — громко рассмеялся. Сидел я на галерке среди подлинных театралов и не успел опомниться, как оказался на улице с помятыми боками.

По ночам я писал длинные письма в Москву; отвечали мне коротко: я выпал из игры, стал чужим. Несколько позднее, когда я возомнил себя поэтом, в ученических бледных стихах я признавался: «Как я грущу по русским зимам, каким навек недостижимым мне кажется и первый снег, и санок окрыленный бег!..», «Как радостна весна родная, и в небе мутном облака, и эта взбухшая, большая, оковы рвущая река!..», «И столько близкого и милого в словах Арбат, Дорогомилково...» Обращаясь к России, я говорил: «Если я когда-нибудь увижу снова две сосны и надпись «Вержболово». мутный, ласковый весенний день, талый снег и горечь деревень... я пойму, как пред Тобой я ниц и мал, как себя я в эти годы потерял...» Стихи плохие, неловко их переносывать, но они довольно точно выражают душевное состояние тех лет.

Я вспомнил сейчас 1949 год, когда некоторые меня называли «космополитом». Действительно, лучшую мишень трудно было найти: помимо всего прочего, я долго прожил в Париже — и по нужде и по доброй воле. Тогда многие любили говорить о «беспачпортных бродягах», справка о прописке казалась чуть ли не решающей. А ведь чувство родины особенно обостряется на чужбине; да и видишь многое лучше. Гейне создал «Зимнюю сказку» в Париже; там же Тургенев писал «Отцы и дети»; над «Мертвыми душами» Гоголь работал в Риме; Тютчев писал о России в Мюнхене, Ромен Роллан о Франции — в Швейцарии, Ибсен о Норвегии — в Германии, Стриндберг о Швеции — во Франции; «Дело Артамоновых» написано в Италии; и так далее...

Помню слова, однажды оброненные: Эренбургу пора понять, что он ест русский хлеб, а не парижские каштаны... В Париже, когда мне приходилось трудно, я действительно покупал на улице у продыmlенного оверньяка горячие каштаны; стоили они всего два су, согревали иззябшие руки и обманчиво насыщали. Я ел каштаны и думал о России — не о ее калачах...

Стихи я начал писать весной 1909 года неожиданно для самого себя: я еще ходил на политические рефераты и слушал лекции в Высшей школе социальных наук.

На собрании группы содействия РСДРП я познакомился с Лизой. Она приехала из Петербурга и училась в Сорбонне медицине. Лиза страстно любила поэзию; она мне читала стихи Бальмонта, Брюсова, Блока. Я подтрунивал над Надеей Львовою, когда она говорила, что Блок — большой поэт. Лизе я не смел противоречить. Возвращаясь от нее домой, я бормотал: «Замолкает светлый ветер, наступает серый вечер...» Почему ветер светлый? Этого я не мог себе объяснить, но чувствовал, что он действительно светлый. Я начал брать в «тургеневку» стихи современных поэтов и вдруг понял, что стихами можно сказать то,

чего не скажешь прозой. А мне нужно было сказать Лизе очень многое...

День и ночь напролет я писал первое стихотворение; оказался, это очень трудно. Я знал, что по-французски у меня бедный словарь; но ведь стихи я писал по-русски, а все время чувствовал — до чего мало у меня слов! Наконец я решился показать стихи Лизе; боясь сурового приговора, я сказал, что это сочинения моего приятеля. Лиза оказалась строгим критиком: мой приятель не умеет писать, стихи подражательные, одно под Бальмонта, другое под Лермонтова, третье под Надсона; словом, приятелю нужно много работать...

Я порвал все написанное и решил больше к стихам не возвращаться — буду революционером, может быть журналистом или выберу другую профессию, поэзия не для меня. Легко было решить, а вот выполнить решение я не смог. Я вдруг почувствовал, что стихи поселились во мне, их не выгонишь, и я продолжал писать. Лизе я снова показал стихи только месяца два спустя. Она сказала: «Твой приятель теперь пишет лучше...» Мы заговорили о другом, и вдруг, как бы невзначай, она сказала: «Знаешь, одно твоё стихотворение мне понравилось...» Оказалось, что маскировку она разгадала сразу.

Я жил возле зоопарка. По ночам кричали моржи. Я до утра писал стихи, плохие, подражательные, но я был счастлив — мне казалось, что я нашёл свой путь.

Лиза уехала на каникулы в Петербург. Неожиданно пришла от неё телеграмма: журнал «Северные зори» взял одно мое стихотворение. Я был вне себя от радости: значит, я действительно поэт!

Я осмелел и послал стихи в журнал «Аполлон». Вскоре пришел ответ от редактора, художественного критика С. К. Маковского. Он справедливо ругал мои стихи, но в конце письма говорил уже не о слабых виршах, а о человеке — предлагал мне выбрать другую профессию, заняться, например, коммерцией. «Аполлон» был для меня верховным судом. Месяц я ничего не писал: если Маковский советует мне стать лавочником, то это неспроста — значит, я самозванец.

Лизе удалось меня успокоить, приободрить, и я вернулся к стихам.

Я не расставался с мыслью уехать в Россию и отдаться там нелегальной работе. Я заговорил об этом с одним из ближайших соратников Ленина, он ответил, что понимает мои чувства, но будет куда лучше, если я в Париже наберусь знаний, — партии нужны и литераторы (не знаю, читал ли он мои стишки, но, разумеется, слышал, что я увлекся стихотворством).

Наконец один товарищ предложил мне поехать в Вену — впоследствии меня, может быть, используют для переброски литературы в Россию. Когда-нибудь расскажу о кратковременном пребывании в Вене, которое меня окончательно сбilo с толку. Я вернулся в Париж опустошенным: понял, что начинается новая глава моей жизни.

Я сидел на скамье бульвара с Лизой, рассказывал о поездке в Вену, о том, как невыносимо жить, когда нет ясной цели. Лиза говорила о другом. Это была очень печальная встреча. Лиза подарила мне книгу, на первой странице она написала, что нужно опоясать сердце железными обручами, как бочку. Я подумал: где мне взять эти обручи? Дома я раскрыл книгу: стихи Брюсова. «Мне сладки все мечты, мне дороги все речи, и всем богам я посвящаю стих». Все во мне сопротивлялось этим словам: я еще помнил собрания на Татарском кладбище, тюремные ночи, признания, клятвы. Мечта мечте рознь. Да и какой может быть

у человека бог, если богов много? Главное — как жить, когда больше ни во что не веришь?..

Я писал о своем отчаянии, о том, что прежде у меня была жизнь и что теперь ее нет, писал о красных знаменах, о трубачах без труб, о чуждости и жестокости Парижа, о любви. Это была дурная лирика. (У нас теперь слово «лирика», как и многие другие, приобрело новое значение: редакторы, критики, заведующие отделами поэзии, словом не стихотворцы, а стиховеды и стихоеды, называют «лирикой» любовные стихи, как будто «Когда для смертного угаснет шумный день...» или «Молчи, скрывайся и тай...» — не лирические произведения.)

Летом 1910 года я поехал в Брюгге. Меня поразило этот город — он действительно был мертвым. Стояли огромные церкви, ратуша, башни, особняки, а жили в городе монашенки и обнищавшие мечтатели. Теперь Брюгге изменился: он живет ордами туристов и похож на переполненный до отказа музей. А когда я его увидел впервые, ничто не тревожило ни сонных лебедей, ни отражения тополей в каналах, ни монашенок (теперь и монашенки побойчели — зазывают туристов, продают кружева своей работы). Впервые я смотрел на живопись, не довольствуясь сюжетом картины: меня поразили мадонны Мемлинга бледными лицами, бескровными губами, ощущением чистоты, отрешенности. Я чувствовал, что мир художника был замкнутым, углубленным, полным человеческих тайн. Я еще не знал ни старой поэзии, ни архитектуры Шартра; но далекое прошлое показалось мне восхитительным; в Брюгге я написал полсотни стихотворений о красоте исчезнувшего мира, о рыцарях и прекрасных дамах, о Марии Стюарт, об Изабелле Оранской, о мадоннах Мемлинга, о брюггских монахинях-бегинках. Русский юноша девятнадцати лет, жадно мечтавший о будущем, оторванный от всего, что было его жизнью, решил, что поэзия — костюмированный бал: «В одежде гордого сеньора на сцену выхода я ждал, но по ошибке режиссера на пять столетий опоздал». Мне действительно тогда казалось, что я создан скорее для крестовых походов, нежели для Высшей школы социальных наук. Стихи получились изысканные; мне теперь неловко их перечитывать, но писал я их искренне.

Один из приятелей, которому мои стихи понравились, сказал: «В России их вряд ли напечатают — там в каждой редакции свои поэты, но почему тебе не издать книжку в Париже? Это стоит недорого...» Я пошел в русскую типографию на улице Фран-Буржуа. К моему удивлению, хозяин типографии не заинтересовался содержанием книги; хотя он был бундовцем, мои стихи, обращенные к папе Иннокентию VI, его не смутили; он сосчитал строки и сказал, что двести экземпляров обойдутся в полтораста франков. Я поспешно возразил: зачем двести? Я — начинающий автор, с меня хватит и сотни. Типограф объяснил, что самое дорогое — набор, но согласился скинуть двадцать пять франков.

Я получал от родителей пятьдесят рублей в месяц — сто тридцать три франка. На беду проект издания сборника стихов совпал с некоторыми событиями в моей жизни. Мне пришлось окончательно отказаться от обедов и сократить число поглощаемых у стойки рогаликов — к Кате я приходил почти всегда с букетиком. Я все же оглаживал франки на типографию. Сборник «Стихи» вышел в конце 1910 года. Несколько месяцев спустя у меня родилась дочь.

Пятьдесят экземпляров я сдал на комиссию в русский магазин; другие постепенно отправлял различным поэтам в Россию — марки стоили дорого. Вообще расходы были значительными, а приход ничтожным — продано было всего шестнадцать экземпляров.

Летом 1911 года я получил первый гонорар — шесть рублей за напечатанные в петербургском журнале два стихотворения. Это было неслыханной удачей, и мы с Катей чудесно пообедали.

Я ждал, что скажут о моей книге поэты в России. Мать очень за меня волновалась: я не учился, не выбрал себе никакой серьезной профессии и вдруг начал писать стихи. Да и стихи странные: почему ее сын пишет о богоматери, о крестовых походах, о древних соборах? Но ей, разумеется, хотелось, чтобы кто-нибудь меня похвалил. Прежде, чем я, она прочитала в «Русских ведомостях» статью Брюсова и послала мне поздравительную телеграмму. Разбирая книги начинающих поэтов, Брюсов выделил «Вечерний альбом» Марины Цветаевой и мой сборник: «Обещает выработаться в хорошего поэта И. Эренбург». Я обрадовался и в то же время огорчился — стихи, вошедшие в сборник, мне перестали нравиться.

Вскоре я уже не мог без презрительной усмешки вспоминать первую книгу. Я попытался стать холодным, рассудительным — подражал Брюсову. Но от таких стихов мне самому было скучно, и я начал мечтать о лиричности, обратился к своему недавнему прошлому. «Мне никто не скажет за уроком «слушай», мне никто не скажет за обедом «кушай», и никто не назовет меня Илюшей, и никто не сможет приласкать, как ласкала маленького мать» или «Как скучно в одиночке, вечер длинный, а книги нет. Но я — мужчина и мне семнадцать лет». Книга называлась «Одуванчики». Едва она успела дойти до моих московских друзей, как я понял, что не вылез из стилизации, только вместо картонных лат взял напрокат в костюмерной гимназическую форму.

Впервые я напал на томик Верлена; его певческий дар, его печальная и нелепая судьба меня взволновали. В кафе «Вашетт» на бульваре Сен-Мишель официант с благоговением показал мне продавленный диван: «Здесь всегда сидел господин Верлен...» Я писал о «бедном Лелиане» (так называли Верлена в старости): «За своим абсентом, молча, темной ночью он досиживал до утренней звезды, и торчали в беспорядке клочья перепутанной и грязной бороды...» Снова получались чужие стихи: я сам не слышал в них своего голоса.

Я прочитал книгу поэта Франсиса Жамма; он писал о деревенской жизни, о деревьях, о маленьких пиренейских осликах, о теплоте человеческого тела. Его католицизм был свободен и от аскетизма и от ханжества: он хотел, например, войти в рай вместе с осликами. Я перевел его стихи и начал ему подражать: пантеизм показался мне выходом. Я вырос в городе, но с отроческих лет всегда томился в лабиринте улиц, чувствовал себя свободным только с глазу на глаз с природой. На короткий срок меня прельстила философия Жамма — он оправдывал и голубя и коршуна. (Я говорю сейчас о птицах, а не о классах общества.) Меня давно мучила мысль: откуда приходит зло? Дуализм мне представлялся отвратительным; я по-прежнему ненавидел буржуазию, но я уже знал, что не все вопросы будут разрешены обобщением средств производства. Я ухватился за бога деревьев и ослов. Франсис Жамм разрешил мне приехать к нему; жил он в Ортезе, около испанской границы. У него была уютная борода и ласковый голос; принял он меня по-отечески, попросил почитать стихи по-русски, угостил домашней наливкой и посоветовал в Париже встретиться с начинающим писателем — его зовут Франсуа Мориак. Я ждал наставлений, а Жамм показал себя снисходительным, радушным. Он мне понравился, но я понял, что он не Франциск Ассизский и не отец Зосима, а только поэт и добрый человек; уехал я от него с пустым сердцем.

Я посвятил Жамму сборничек стихов «Детское»; вспоминал день, проведенный в Ортезе: «Зимнее солнце сквозь окна светит; на полу

играют ваши дсти. У камня старая собака, греясь, спит и громко дышит. В камне трещат словые шишки. Вы говорите, а я слушаю и думаю — откуда в вас столько покоя, думаю о том, что меня ждет дорога угрюмая, вокзал и пропахший дымом поезд...» Так вспоминают не об учителе жизни, а о милом дядюшке в деревне...

Вскоре мне опротивело играть в ребячество. Я начал подражать Гийому Аполлинеру. (Конечно, когда я кому-либо подражал, я этого не видел, мне неизменно казалось, что в прошлом году я действительно подражал такому-то, а вот теперь нашел свой голос.)

Издredка мои стихи печатали «Новый журнал для всех», «Русское богатство», «Жизнь для всех», «Русская мысль». Я получил короткое, но сердечное письмо от В. Г. Короленко. Весь мой архив пропал. Я нашел в книге писем Короленко письма к А. Г. Горнфельду; Владимир Галактионович писал весной 1913 года о двух моих стихотворениях: «Помоему, очень хороши и ко времени первые строчки: «Значит, снова мечты о России лишь напрасно приснившийся сон. Значит, снова — дороги чужие... И по ним я иди обречен».

В Париже открылась типография Рираховского, еврея с роскошной черной бородой. Типография помещалась на бульваре Сен-Жак в маленькой лавчонке. У наборных касс стояли Рираховский и двое наборщиков; один был большевиком, другой — меньшевиком; они набирали афиши эмигрантских рефератов и спорили, кто может с большим правом называться социал-демократом после раскола партии. Рираховский был человеком с юмором и нежадным. Кто мог бы мне отпустить что-либо в кредит? Я ходил в рваных ботинках, брюки внизу закапчивались бахромой; был я бледен, худ, и глаза частенько блестели от голода. У Рираховского было доброе сердце, он печатал мои стихи и терпеливо ждал, когда я принесу ему двадцать или тридцать франков. Он говорил, что стихи у меня плохие, куда хуже, чем в «Чтеце-декламаторе», но даже плохие стихи выглядят лучше на бумаге верже. Я с ним соглашался и чуть ли не каждый год издавал очередной сборничек на бумаге верже в ста экземплярах. Книга «Будни» продавалась в Москве, в книжном магазине Вольфа, и, насколько я помню, разошлось около сорока экземпляров.

Я менее всего склонен теперь попытаться оправдать или приукрасить мое прошлое. Но вот сушая правда: я не мечтал о славе. Конечно, мне хотелось, чтобы мои стихи похвалил один из тех поэтов, которые мне нравились; но еще важнее было прочитать кому-нибудь только что написанное. В Париже существовал эмигрантский литературный кружок; людей, ставших потом знаменитыми, в нем не было; помню поэтов М. Герасимова (потом он был в группе «Кузница»), Оскара Лешинского (он сыграл крупную роль в годы гражданской войны и геройски погиб в Дагестане; в Париже он был эстетом, выпустил книгу «Серебряный пепел», в ней были стихи «Нас принимают все за португальцев, мы говорим на русском языке, я видел раз пять тонких-тонких пальцев у проститутки в этом кабаке»); среди прозаиков были А. И. Окулов, человек одаренный и непутевый, много в те годы пивший (он тоже стал известен во время гражданской войны, сражался, в Сибири был членом Реввоенсовета, писал рассказы, а погиб позднее — в конце тридцатых годов), П. Ширяев, С. Шимкевич. Иногда на собрания кружка приходил А. В. Луначарский. Иногда навещали нас скульпторы Архипенко, Цадкин, художники Штеренберг, Лебедев, Федер, Ларионов, Гончарова. (Лавид Петрович Штеренберг был политическим эмигрантом. Одно время я снимал комнату в предместье Парижа — в Медоне; рядом жил Штеренберг. Он бедствовал, но каждый день я видел его с мольбертом и с ящиком — он шел писать пейзажи. Этот очень скромный и тихий че-

ловец в самое громкое время был облечен большой ответственностью: Луначарский поручил ему организовать отдел изобразительного искусства. Давид Петрович никого не угнетал, не обижал. Маяковский на книге, ему подаренной, надписал: «Дорогому товарищу без кавычек Давиду Петровичу Штеренбергу Маяковский нежно». За Штеренбергом был один грех: он был хорошим художником и любил живопись; в тридцатые годы его причислили к «формалистам». Помню статью одного критика, который возмущался тем, что Штеренберг для натюрморта выбрал селедку; критик узрел в этом желание очернить современность... Давид Петрович умер в 1948 году, а в 1960 была устроена небольшая выставка его работ — все увидели, каким он был чистым, лиричным и тонким живописцем. А в моих воспоминаниях он остался застенчивым бедным юношей в Медоне: мечты о революции, голод, живопись...)

Я уже начинал приобщаться к искусству, разговаривал не только о «свободном стихе», но и о холстах «диких» (так называли Матисса, Марке, Брака, Руо) или о монументальной скульптуре Майоля.

Несколько раз я был у К. Д. Бальмонта; о нем расскажу впоследствии; расскажу также о писателях, подолгу живших в Париже, — о А. Н. Толстом, М. А. Волошине. Теперь упомяну только о приезде в Париж Ф. К. Сологуба. Был объявлен литературный вечер. Сологуб долго рассказывал собравшимся, главным образом студентам, что Дульцинея отлична от Альдонсы. Он походил скорее на директора гимназии, нежели на поэта. Иногда в его глазах мелькала невеселая улыбка. Я понимал, что передо мной автор «Мелкого беса». Но откуда он брал музыку, простые, резавшие сердце слова, песни, родившие его с Верленом? Стихи он читал своеобразно — как будто раскладывал слова по отделениям большого ящика: «Конь — офицера — вражеских сил — прямо на сердце — прямо на сердце — ступил...» В последний раз я его видел в московском Доме печати в 1920 году. Некоторые из выступавших говорили, что индивидуализм отжил свой век. Федор Кузьмич кивал головой — явно соглашался. В заключительном слове он только добавил, что коллектив должен состоять из единиц, а не из нулей, ибо если прибавить к нулю нуль, то получится не коллектив, а нуль. Сологуб в Париже меня любезно принял, выслушал мои стихи, говорил о музыке, о тайне и снова о Дульцинее. А я тогда писал не о Дульцинее, но о мусорщиках, о грязи и смраде парижских улиц. После этого я написал стихи. «...Я читаю, и светает, в четком свете странно видеть рядом на стене уж живого Сологуба (на портрете) — средних лет, с бородкой и в пенсне...»

Вместе с Оскаром Лещинским я издавал художественно-литературный журнал «Гелиос». Мы быстро погорели. Позднее появился поэт Валя Немиров; он приехал из Ростова, у него были деньги. Он обожал спокойствие, был очень близоруким, говорил, что ему нравится одно местечко в Швейцарии (не помню какое), где всегда можно зажечь на улице сигарету, не прикрывая ладонью спички. Я ему не перечил; мы выпустили два номера журнала «Вечера», посвященного поэзии; там я мог печатать стихи, прославлявшие надвигающуюся бурю.

Из дому я получал теперь деньги нерегулярно; жил беспорядочно и на редкость скверно. Эмилио Серени говорил мне, что его покойная жена, по происхождению русская, рассказывала: «Эренбург спал в молодости, покрывшись газетами». В маленькой мастерской, которую я снимал на улице Кампань-Премьер, стоял матрац на ножках, другой мебели у меня не было. Не было и печки. Один шведский художник как-то выбил оконные стекла: рвался к небу. Поверх тонкого одеяла и художого пальто я клал газеты. Утром я забирался в кафе и там просиживал до вечера, читал, писал — кафе отапливали. Когда я проходил мимо ресто-

ранов, меня мутило от запаха готовящейся пищи: порой по три-четыре дня я ничего не ел. Когда приходил чек из Москвы, я быстро проедал деньги с приятелями, которые тоже жили впроголодь.

Помню удивительную ночь незадолго до войны. Заказные письма из России приносили под вечер; деньги присылали чеком на «Лионский кредит». Я перевел для какого-то журнала рассказ Анри де Ренье; мне прислали десять рублей. Банк был уже закрыт. Нестерпимо хотелось есть. Мы пошли в маленький ресторан «Свидание извозчиков», напротив вокзала Монпарнас: он был открыт круглые сутки. Я позвал двух приятелей. Названия блюд были написаны мелом на черной доске, и мы успели все испробовать — ведь нужно было досидеть до утра, когда я мог получить деньги в банке (приятели должны были остаться в ресторане как заложники). Мы давно уже поужинали, подремали, позавтракали, пообедали; в шесть часов утра мы начали вторично завтракать, считая, что наступил новый день. Это была чудесная ночь!

Я много переводил, но переводил стихи, а их чрезвычайно редко печатали. Переводил я и современных французских поэтов, и фэблию XIII века, баллады Франсуа Вийона, сонеты Ронсара, проклятия Д'Обинье; научился читать по-испански, перевел отрывки из «романсеро», произведения протоиерея из Ита, Хорхе Манрике, святого Хуана, Кеведо. Это было страстью, но не профессией.

Я стал гидом. Графиня Панина организовала экскурсии народных учителей за границу; стоили поездки недорого и давали возможность учителям, работавшим, как тогда говорили, «в медвежьих углах», повидать Италию или Францию. В летние месяцы я подрабатывал: показывал учителям Версаль. Нужно было в точности знать имена сотни скульпторов или художников, авторов больших батальных полотен, вспомнить мифологию, объяснять аллегорическое значение различных фонтанов. В общем, это было нетрудно. Куда труднее было присматривать за ватагой людей, впервые оказавшихся за границей. Некоторые женщины старались убежать в модные лавки — хотя бы посмотреть на наряды. Среди мужчин попадались и такие, которые мечтали о ночных притонах, покупали непристойные открытки. Я считал туристов при спуске в метро, считал при выходе из метро, часто одного или двоих не хватало. Учитель из Кобеляк попросил меня запереть его на ночь в гостинице: он познакомился с какой-то французенкой, если он еще раз ее увидит, то не вернется домой, а у него жена, дети, служба. Я его запер.

Работал я также с индивидуальными туристами; это было противно: почти все требовали, чтобы я по ночам водил их в притоны. Когда я отказывался, меня ругали дураком, ханжой, даже сыщиком, недодавали отработанного. Помню одного коммерсанта; у него был в Риге магазин санитарных принадлежностей. Когда мы с ним договаривались, он подозрительно спрашивал, знаю ли я все стили; вынул карточку какой-то дамы с высокой прической, шелкнул ее: «Недурна?» Оказалось, дама — его невеста, у нее в Риге доходный дом, и она обожает искусство, знает все стили, высмеивает невежественного жениха. Я получал в день пять франков и еду. Но владелец санитарного магазина меня извел; возле обыкновенного дома конца прошлого века он спрашивал: «Какой это стиль?» Вначале я честно отвечал: «Никакой». Но он сердился, говорил, что в Вене платил гиду меньше, чем мне, и тот знал все стили. Я испугался, что лишусь пяти франков, и начал фантазировать: «Барокко... ампир... чистая готика...» Он все записывал в книжечку. В ресторане я должен был переводить ему меню, он долго размышлял, что вкуснее, заказывал, а потом выбирал для меня самое дешевое: картошку или макароны.

Годы и годы я ходил по улицам Парижа, оборванный, голодный, с южной окраины на северную; шел и шевелил губами — сочинял стихи. Мне казалось, что я стал поэтом случайно: встретился с молоденькой девушкой Лизой, ставшей потом поэтессой, «серапноповой сестрой» — Е. Г. Полонской. Начало выглядит именно так; но оказалось, что никакой случайности не было, — стихи стали моей жизнью.

В 1916 году в Москве вышла моя книга «Стихи о канунах»; книга изуродована цензурой — почти на каждой странице вместо строк точки. Это первая книга, в которой я говорил своим собственным голосом. Я писал о войне: «Над подушкой картинку повесили, повесили лихого солдата, повесили, чтобы мальчику было весело, чтобы мальчик не плакал, когда вода в умывальнике капает. Казак улыбается лихо, на казаке папаха, казак прошил своей шикой другого, чужого солдата, и красная краска падает на пол...» Писал о казни Пугачева: «Прорастут, прорастут твои рваные рученьки и покроется земля злаками горючими...» Писал о себе и о 1916 году, который называл «буйным кануном».

Брюсов говорил об этой книге в «Русских ведомостях»: «...Видно, что для И. Эренбурга стихи — не забава и, конечно, не ремесло, но дело жизни... Нет поэтому у И. Эренбурга гладких стишков на темы, издавна признанные «поэтическими», нет переизвещенных общепризнанных образцов поэзии и нет той ложной красноты и того дешевого мастерства, которые так легко приобретаются в наши дни широко разработанной техники стихотворства (вернее сказать, все это встречалось в первых книгах И. Эренбурга, но постепенно он сумел преодолеть соблазн поверхностного успеха)... Основной грех всего творчества И. Эренбурга составляет его подчиненность теориям. Редко он отдается искусству непосредственно; чаще насилует вдохновение ради своего понимания поэзии. Сознательно избегая трафаретной красноты, И. Эренбург впадает в противоположную крайность, и его стихи незвучны, не напевны, а предпочтением поэта к отдаленнейшим ассонансам, вместо рифмы, лишает их последней прикрасы... Всего более привлекают внимание И. Эренбурга гнойники верхов современной культуры. Выследить все позорное и низменное, что таится под блеском современной европейской утонченности, — вот задача, которую (сознательно или бессознательно) ставит себе молодой поэт. И он, с решимостью хирурга, вскрывающего злокачественный нарыв, обнажает в своих — не поющих — стихах и тайные порывы собственной души, в которых не каждый решится сознаться, и все то низменное и постыдное, что скрыто под мишурой нашей благовоспитанности и культурности».

Мне передали копию черновика письма Брюсова ко мне, написанного тогда же. Валерий Яковлевич, сообщая, что отправил в газету рецензию, добавлял: «...Я искренне люблю Вас, т. е. как поэта, ибо как человека не знаю. Это, однако, не значит, что я люблю Ваши стихи. Напротив. Говорю это откровенно по тому самому, что люблю в Вас поэта... Мой вывод — тот, который применим ко всем «избранным», т. е. людям, предназначенным к поэзии: «Работайте!» Без работы не бывает Пушкиных, Гете, даже Верленов (ибо первую половину жизни будущий рацше Lelian работал много, очень много), а ведь ниже Верлена Вы быть не захотите, да и не стоит. Не соблазнят же Вас лавры какого-нибудь prince de poètes, вроде Поля Фора!.. И личная просьба, не пренебрегайте музыкой стиха. Вы на футуристов не смотрите. Вся сущность поэзии — в сочетании звуков...» Письмо кончалось дружескими словами: «А потому обнимаю Вас через тысячи верст...»

Я ответил Брюсову (это было летом 1916 года): «Ваше ласковое письмо меня очень тронуло. Спасибо! Я вообще не избалован откликами на мои стихи, Ваши же слова были мне особенно ценны. Я внимательно

прочел статью Вашу и письмо. Много хотел бы сказать в ответ, но я не умею писать письма... Я не подчиняю свою поэзию никаким «теориям», наоборот, я чересчур несдержан. Дефекты и свинства моих стихов — мои. То, что Вам кажется отвратительным, отталкивающим, — я чувствую, как свое, подлинное, а значит, не красивое, не безобразное, а просто должное. Пишу я без рифм и «размеров» не «по пониманию поэзии», а лишь потому, что богатые рифмы или классический стих угнетают мой слух... Я не склонен к поэзии настроений и оттенков, меня более влечет общее, «монументальное», мне всегда хочется вскрыть вещь, показать... что в ней главного. Вот почему в современном искусстве я больше всего люблю кубизм. Вы говорите мне «о сладких звуках и молитвах». Но ведь не все сладкие звуки — молитвы, вернее, все молитвы — богам, но не все — богу... Это может быть очень узко, но не потому, что у меня узкое понимание поэзии, а потому, что я — человек узкий. Вот все самое главное, что мне хотелось сказать Вам. Между нами стена — не только тысячи верст!.. Называя сборник «Канунами», кроме общего значения, я имел в виду свое частное. Это лишь мои кануны...»

Брюсов был прав, говоря, что мне хотелось показать язвы общества. Пять лет спустя я написал сатирический роман «Хулио Хуренито». Но со стихами я не мог, да и не могу расстаться. Правда, бывали долгие перерывы, когда я не писал стихов (с 1924 года по 1937), но всегда я повторял стихи любимых поэтов, как заклинания, без поэзии не прожил дня. Я говорил в «Книге для взрослых»: «Иногда я все же завидую поэтам. Мы едва вытаскиваем ноги из трясины. Их походка похожа на прыжки, показанные замедленной проекцией, — они плывут в воздухе. Я заметил, что, читая стихи, они судорожно выбрасывают руки: это жесты пловца. Их тротуары не ниже второго этажа. Для нас запятые — мясо, страсть, глубина; они обходятся даже без точек. Ритм стихов переходит в ритм времени, и поэтам куда легче понять язык будущего». Эти размышления относятся к началу 1936 года. Вскоре началась испанская война. Я писал статьи, листовки, заметки, написал даже повесть, но неожиданно, как некогда, начал шевелить губами и сочинять стихи — не потому, что хотел увидеть будущее, а потому, что нужно было сказать о настоящем.

Многие из моих прошлых мыслей мне теперь представляются неправильными, глупыми, смешными. А вот то, почему я начал писать стихи, мне кажется правильным и теперь. Восемнадцатилетний юноша понял, что стихами можно сказать то, чего не скажешь прозой. Эту мысль разделяет старый литератор, который пишет книгу воспоминаний.

13

Один критик писал, что в моем романе «Падение Парижа» много действующих лиц, но нет героя; по-моему, герой романа — Париж. Эту книгу я написал в пятьдесят лет; я больше не был ни хулителем, ни проповедником; та узость, о которой я писал В. Я. Брюсову, с годами сгладилась — оценки пятидесятилетнего человека напоминают разношенную обувь.

А в годы, когда я складывался, мне было трудно рассуждать о Париже; я его и страстно любил и не менее страстно ненавидел: «Тебя, Париж, я жду ночами, как сутенер приходишь ты...» Я перестал ходить на лекции: школой оказался Париж, школой хорошей, но суровой; я его часто проклинал — не потому, что моя жизнь была трудна, а потому, что Париж заставлял меня понять трудность жизни.

Казалось бы, после тихой дореволюционной Москвы, ее деревянных домишек, извозчиков, самоваров, купческого пудового сна Париж дол-

жен был поразить меня своей современностью, дерзостью, новшествами. Да, конечно, тут было много автомобилей, они с трудом пробирались по узким средневековым улицам. Газеты часто называли Париж «городом-светочем». Большие Бульвары действительно были освещены куда ярче, чем Тверская или Кузнецкий мост; но в домах еще редко можно было увидеть электрическое освещение, пожалуй реже, чем в Москве. Лачуги «зоны» — полосы возле бывших укреплений города — казались мне неправдоподобными. Часто я приходил ночью на улицу Муфтар, по ней сползали огромные жирные крысы. Эйфелева башня еще порождала споры — еще жили современники и единомышленники Мопассана, считавшие, что она изуродовала город. Молодым художникам она нравилась. Сама башня была в возрасте девушки на выданье; никто не мог предположить, что она окажется полезной для радио и телевидения. Телефонов было мало, зато процветала пневматическая почта. Никогда раньше я не видел столько старых домов, пепельных, морщинистых, пятнистых! Я еще не знал, что стоит дому продержаться в Париже тридцать — сорок лет, как он приобретает внешность памятника старины; все дома казались мне древними, а древность открывалась передо мной, подобная новому, неизвестному миру.

Я бродил в темную улицу, как в джунгли. В Москве, глядя на кремлевские соборы, я никогда не задумывался над их красотой: они были вне моей жизни, никак не соответствовали ни «явкам», ни крыльям горьковского буревестника. В гимназии я нехотя зубрил имена удельных князей, считал, что это абстракция, как теоремы или как урок латыни: «много есть имен на is—masculini generis». А в Париже прошлое казалось настоящим; даже названия улиц были загадочными — «улица Королевы Бланш», «улица Кота-рыболова», «улица Дыбы»; Катя жила на «улице Деревянного меча». Я часто заходил в дом, где скрывался некогда Марат. Среди автомобилей пробиралось стадо коз, и пастух здесь же доил упрямую козу.

Я бродил по набережным Сены, рылся в ящиках со старыми книгами. Букинисты казались еще более древними, чем томики в кожаных или пергаментных переплетах. Там я иногда встречал пожилого человека, похожего на букиниста; он брал в руки книгу, как садовод грушу, — страстно и в то же время деловито; это был Анатоль Франс. (Я никогда его не встречал впоследствии; был на похоронах в 1924 году, когда за гробом старого эпикурейца и коммуниста шли сенаторы и рабочие, академики и подростки. В 1946 году внук Анатоля Франса водил меня по дому писателя в Ля Башелльер возле Тура — я увидел, что эпикуреец был не книжником, не эстетом, а живым человеком: дом был загроможден не коллекциями, а теми обломками, которые оставляют после себя годы жизни, путешествия, страсти, встречи. На полке, наверно, стояли и те книги, которые Анатоль Франс при мне покупал на набережной Сены.)

Как-то среди старых псалтырей и пасторалей я напал на «Эдду» Баратынского. На титульном листе было написано «Просперу Меримэ, переводчику нашего великого Пушкина. Евгений Боратынский». Я заплатил за книгу шесть су и тут же начал ее читать. Сена уныло шевелила своей чешуей; на барже спал раскормленный кот. Напротив была мертвецкая, под утро туда приезжали закутившие парижане — разглядывали трупы самоубийц. Собор Нотр-Дам в сизо-лиловом тумане казался каменной рошей. Баратынский писал: «Пришлец исполнен смутной думы: не мира ль давнего лежат пред ним развалины угрюмы?» Развалины, кстати сказать, иногда весьма долговечны: афинский Акрополь пережил не только духовно, но и материально жилища различных людей, которые в течение двадцати пяти веков его старательно разрушали.

В Париже прошлое сливается с настоящим. Это удивительный город — он не строился по плану, а рос, как лес. Стена аварийного дома, где ютятся горемыки, испачканная непристойными надписями, любовными признаниями, предвыборной руганью, имеет все права претендовать на благоговение прохожих, на покровительство государства.

Мне трудно было понять, где вчерашний день и где завтрашний: у Парижа свой календарь. Говоря о социальной революции, Жорес ссылался на античные мифы, он вопил и жестикулировал, как Мунс-Сюлли в роли Эдипа. В церквах я часто видел студентов — медиков, физиков, — они смачивали лоб святой водой и, когда раздавался звонок, дружно становились на колени. Поэт Шарль Пеги писал о Жанне д'Арк и считался католиком. Мне нравились его стихи: он повторял сто раз одно и то же и каждый раз отступал от прежнего, его ритм напоминал бег охотничьей собаки, которая идет туда же, что и ее хозяин, но все время петляет. Мне привелось однажды с ним беседовать в редакции «Кайе де ля кэнзэн». Я думал, что он будет говорить о религии, о Бергсоне, о мессианстве, но он заговорил о России: «Я немного знаю ваших писателей. Может быть, русские первые низвергнут власть денег...»

Я прочитал стихи Франсуа Вийона; он жил в XV веке, был вором и разбойником: «От жажды умираю над ручьем, смеюсь сквозь слезы и тружусь играя, куда бы ни пошел, везде мой дом, чужбина мне — страна моя родная. Я знаю все, я ничего не знаю...» Перед этим я переводил стихи Малларме, который считался одним из зачинателей новой поэзии. Я понял, что Франсуа Вийон мне куда ближе, чем автор «Послеобеденного отдыха фавна». Я читал и перечитывал «Красное и черное»; трудно было представить себе, что этому роману уже восемьдесят лет. Кругом меня говорили, что писатель, раскрывающий современность, — это Андре Жид; я раздобыл его роман «Узкая дверь». Мне показалось, что эта книга написана в XVIII веке, и я усмехнулся, думая, что автор ее жив, — я его видел в театре «Вье коломбье».

Все казалось непредвиденным, и все было возможным. Я шел по площади Клиши и сочинял стихи, когда вдруг площадь заполнилась толпой. Люди кричали, они хотели прорвать цепи полицейских и пройти к испанскому посольству: протестовали против казни анархиста Ферреро. Раздался выстрел, сразу выросли баррикады; опрокинули омнибусы, повалили фонари. Бушевали фонтаны горящего газа. Я нетвердо знал, кем был Ферреро и почему его казнили; но я кричал вместе со всеми. Казалось, это революция. Несколько часов спустя на площади Клиши люди преспокойно пили кофе или пиво.

Париж тогда называли «столицей мира», и правда, в нем жили представители сотни различных стран. Индийцы в тюрбанах обличали лицемерие английских либералов. Македонцы устраивали шумливые митинги. Китайские студенты праздновали объявление республики. Выходили газеты польские и португальские, финские и арабские, еврейские и чешские. Парижане аплодировали «Священной весне» Стравинского, итальянскому футуристу Маринетти, Иде Рубинштейн, которая поставила мистерию Д'Аннунцио. «Столица мира» была в то же время глубокой провинцией. Париж распадался на кварталы; в каждом из них была своя главная улица с магазинами, с маленькими театрами, с танцужками. Все знали друг друга, судачили на улицах, рассказывали сплетни о булочнице, о любовнице Жака, о том, что жена Жана наставила ему рога.

Можно было ходить в любом наряде, делать все, что угодно. Ежегодно весной устраивался бал учеников Художественной академии: по улицам шествовали голые студенты и натурщицы; на самых скромных были трусики. Однажды испанский художник возле кафе «Ротонда» разделся

догола; полицейский лениво его спросил: «Тебе, старина, не холодно?..» Дважды в год — на масляной и посередине великого поста — устраивали карнавал; проезжали колесницы с ряжеными; люди гуляли в нелепых масках и кидали в лицо встречным конфетти; проводили также белых волов, получивших призы, в ресторанах висели плакаты: «Завтра наши уважаемые посетители смогут получить бифштексы из мяса лауреата». На всех скамейках, под каштанами или под платанами, влюбленные сосредоточенно целовались; никто им не мешал. А. И. Окулов однажды, после дюжины рюмок коньяку, взобрался на карету и стал объяснять прохожим, что скоро всех министров повесят на фонарях; некоторые слушали, но, конечно, никто не поверил. Я жил не только без паспорта, но и без удостоверения личности. Когда в банке у меня попросили документ, я пошел в префектуру, мне сказали, чтобы я привел в качестве свидетелей двух французов. Я торопился получить деньги и умолил пойти со мной владельца булочной, где я покупал хлеб, и полузнакомаго художника, который сидел с утра в кафе и пил ром. Разумеется, они ничего про меня не знали, но согласились расписаться. Чиновник выдал мне удостоверение, в котором торжественно подтверждалось, что такой-то заявил такое-то; этого было достаточно не только для служащего банка, но и для полицейских, некогда устраивавших облавы на бандитов. В кабаре пели куплеты: президент республики — рогоносец, министр юстиции печист на руку, министр народного просвещения бегаёт за девчонками и пишет им цидульки с ошибками. Гюстав Эрве в газете «Социальная война» призывал к истреблению буржуазии; певец Монтегюс прославлял солдат 17-го полка, которые отказались стрелять в демонстрантов. В пять часов утра в маленькие лавчонки привозили тюки газет; газеты складывали; они лежали на улице; прохожие клали медяки на тарелочку. Газет было не менее двадцати — всех направлений. Журналисты обливали друг друга помоями; потом они встречались в одном из кафе на улице Круассан и вместе попивали аперитивы.

В кафе ходили для того, чтобы встретить знакомых, поговорить о политике, посудачить, посплетничать. У людей различных профессий были свои кафе: у адвокатов, у скототорговцев, у художников, у жоксёв, у актеров, у ювелиров, у стряпчих, у сенаторов, у сутенеров, у писателей, у скорняков. В кафе, куда приходили сторонники Жореса, не заглядывали сторонники Гада. Были кафе, где собирались шахматисты, там разыгрывались исторические партии между Ласкером и Капабланкой.

Я ходил в кафе «Клозери де лиля» — по-русски это означает «Сиреневый хутор»; никакой сирени там не было; зато можно было, заказав стакан кофе, попросить бумаги и писать пять-шесть часов (бумага отпускалась бесплатно). По вторникам в «Клозери де лиля» приходили французские писатели, главным образом поэты; спорили о пользе или вреде «паучьей поэзии», изобретенной Рене Гилем, восхищались фантазией Сен-Поль-Ру, ругали издателя «Меркюр де Франс». Однажды были устроены выборы: на трои «принца поэзии» посадили Поля Фора, красного, черного как смола автора многих тысяч баллад, полувеселых, полугрустных.

Можно было подумать, что в Париже все ходят вверх ногами, а у парижан был всковой, крепко налаженный быт. Когда человеку сдавали квартиру, консьержка спрашивала, имеется ли у нового квартиранта зеркальный шкаф; кровать, стол, стул нельзя было описать; вот если не будет вовремя внесена квартирная плата, то опишут зеркальный шкаф. На похоронах мужчины шли впереди, за ними следовали женщины. Кладбища походили на макет города: там были свои улицы. На могилах зажиточных людей значилось: «Вечная собственность»; это

не было проницей — могилы бедняков через двадцать лет перскапывали. После похорон все отправлялись в один из трактиров возле кладбища, пили белое вино и закусывали сыром. Вечером пили не кофе, а различные настои — липовый цвет, ромашку, мяту, вербену. Влюбленные оживленно обсуждали, какой настой полезнее: ему требовался мочегонный, а ей — облегчающий пищеварение. На уличных скамейках сидели старухи в тапочках и вязали. В десять часов вечера запирались двери домов; когда квартирант звонил, сонная консьержка дергала шнур и дверь открывалась, нужно было громко сказать свое имя, чтобы не забрался чужой; выходя из дому, будили консьержку зычным криком: «Пожалуйста, шнур!» Возле Сены сидели рыболовы и тшетно ожидали, когда же клюнет воображаемый пескарь. Иногда газеты сообщали, что завтра на заре приговоренный к казни будет гильотинирован; возле тюремных ворот собирались зеваки, глазели на палача, на осужденного, потом на отрезанную голову.

Я читал книги Леона Блуа; он называл себя католиком, но ненавидел богатых святош и лицемеров в митрах; его книги были теми прокламациями, которые должны печататься в аду для ниспровержениярая. Я читал также Монтэня и Рембо, Достоевского и Гийома Аполлинера. Я мечтал то о революции, то о светопреставлении. Ничего не происходило. (Потом люди уверяли, что тот, кто не жил в эти предвоенные годы, не знает, что такое сладость жизни. Я сладости не чувствовал.) Когда я спрашивал французов, что же будет дальше, они отвечали — одни удовлетворенно, другие со вздохом, — что Франция пережила четыре революции и что у нее иммунитет.

Искусство все более и более притягивало меня к себе. Стихи заменяли не только бифштексы, но и ту «общую идею», о которой тосковал герой «Скучной истории», а с ним заодно Чехов. Нет, тоска оставалась, в искусстве я искал не успокоения, а испуленных чувств. Я подружился с художниками, начал посещать выставки. Ежемесячно поэты и художники оглашали различные художественные манифесты, низвергали всё и всех, но всё и все оставались на месте.

В детстве мы играли в игру: «да» и «нет» не говорите, «белого» и «черного» не называйте; кто по ошибке произносил запрещенное слово, платил фант. Порой мне казалось, что Париж играет в эту игру. Теперь я думаю, что, может быть, несправедливо то поносил, то благословлял Париж. Молодости присущи требовательность, беспокойство. Жермонтов написал: «А он, мятежный, ищет бури, как будто в бурях есть покой!», — когда ему было восемнадцать лет. Кто знает, окажись я в Смоленске, не пережил ли бы я такого же смятения? Может быть, на два-три года позднее; может быть, не в столь острой форме... Что касается игры в «да» и «нет» не говорите, то она относится к природе искусства. А в Париже с искусством не разминешься...

Париж многому меня научил, он раздвинул стены моего мира. Часто этому городу приписывают веселье; по-моему, Париж умеет грустно улыбаться — таковы его дома, таковы его поэты, таковы и глаза его девушек; это умение быть радостным в печали, печальным в радости порой его окрыляет, порой подрезает его крылья. Впрочем, об этом мне придется не раз говорить, когда я перейду к событиям последующих десятилетий; тогда я подобных выводов не делал.

Париж меня учил, обогатил, разорял, ставил на ноги и сбивал с ног. Все это в порядке вещей: когда человек что-то приобретает, он одновременно что-то теряет — идешь вперед и навеки расстаешься с теми радостями и бедами, которые еще вчера были твоей жизнью.

С Бальмонтом мне не повезло. Когда я начал писать стихи, его книги мне казались откровением; я мечтал когда-нибудь увидеть человека, написавшего «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце». Познакомился я с Константином Дмитриевичем два года спустя; многое в его стихах мне уже казалось смешным — я боготворил Блока, читал Анненского, Сологуба, Гумилева, Мандельштама. Бальмонт вовремя увидел солнце, а я опоздал на Бальмонта.

Я познакомился с Константином Дмитриевичем в 1911 году; ему тогда было сорок четыре года. Я знал, что он живет в Париже, и, разумеется, послал ему мою первую книгу. Бальмонт был человеком чувств, жизнь его изобиловала случайностями, порой драматическими. Он, например, дважды оказывался эмигрантом; если применять обычные этикетки, в первый раз красным, во второй — белым. После разгрома революции 1905 года Бальмонт возмутился расправами, свистом нагаек, виселицами; он издал за границей «Песни мстителя» — книгу с весьма благородными чувствами и с весьма плохими стихами. Он называл Николая Второго «кровавым палачом». Хотя книга была на редкость слабой, царь рассердился, и Бальмонту пришлось перейти на положение эмигранта. Только в 1913 году великий князь Константин (посредственный стихотворец, подписывавшийся К. Р.) выпросил у Николая амнистию Бальмонту.

Константин Дмитриевич жил на улице Пасси (впоследствии в этом районе обосновалась белая эмиграция). У него часто бывали гости — и русские парижане, и приезжие из России, и французы. Он пригласил меня. В тот вечер я был единственным гостем. Жена Константина Дмитриевича, высокая, красивая женщина, меня приняла сердечно, я сразу перестал стесняться, забыл, что передо мной знаменитый поэт. Никуда я в гости не ходил, бывал только в кафе или у художников в нетопленных грязных мастерских, а здесь я попал в русский дом, теплый, светлый; меня напоили чаем; маленькая дочка Константина Дмитриевича, Ниника, шалила. Все было чудесно и обыденно. Все, кроме внешности хозяина: Бальмонт был необычаен.

Парижан трудно удивить, но я не раз видел, как на Бальмонта оглядывались, когда он проходил по бульвару Сен-Жермен. В Москве в 1918 году люди хмуро шли с кошелками, некоторые тащили салазки; было холодно, голодно, и все же прохожие дивились: посередине мостовой шествовал рыжий чудак, с головой, поднятой к серому небу.

В молодости Бальмонт пытался кончить жизнь самоубийством — выбросился из окна; он повредил себе ногу и всю жизнь слегка прихрамывал; шагал он быстро, и казалось, что скачет птица, привыкшая скорее летать, чем ходить.

У него было лицо то чрезвычайно бледное, то цвета меди, зеленые глаза, рыжая борода, рыжие волосы, которые кудрями спадали на спину. Среди экскурсантов, приезжавших в Париж, которых я обслуживал, был один священник: заметив, что кто-то при виде его засмеялся, он стал стыдливо прятать свои волосы под шляпу, закалывая их шпильками. А Бальмонт кудрями гордился. Он походил на тропическую птицу, случайно залетевшую не на ту широту.

Он вежливо предложил мне почитать стихи, говорил «хорошо... хорошо» — вероятно, хотел приласкать молодого автора. Потом он встал и начал читать свои произведения. Стихи на меня не произвели впечатления — начиналась эпоха его поэтического заката, — но я был поражен голосом, вдохновенным и высокомерным: он читал, как шаман, знающий, что его слова имеют силу если не над злым духом, то над бед-

ными кочевниками. Он свободно говорил на многих языках, на всех с акцентом — не с русским, а с бальмонттовским; особенно своеобразно он произносил звук «н» — не то по-французски, не то по-польски. В стихах было много рифм с длинными «н» — «священный», «вдохновенный», «презренный», — и он их тянул с явным удовольствием.

Иногда он звал меня к себе; я встречал у него московских меценатов, французских переводчиков, восторженных поклонниц.

В Париж приехал из Одессы молодой поэт Марк Талов, говорил, что ему пришлось оставить родину, что у него там невеста; он бедствовал; читал свои стихи; помню две строчки: «Велико мое одиночество, нет у меня ни имени, ни отчества». Мы посмеивались, когда он повторял нам, что невеста ждет его возвращения. (Он вернулся в Одессу двадцать лет спустя, и невеста действительно его ждала.) Талову очень хотелось прочитать свои стихи Бальмонту; я его взял с собой, но он от смущения сбился и вместо стула сел на горячую печку. Все рассмеялись, а Бальмонт принялся хвалить стихи, которых он не услышал.

Бальмонт то молчал, рассеянно глядя по сторонам, то оживлялся, рассказывал про Египет, Мексику, Испанию. Все страны в его рассказах выглядели фантастическими; он изъездил, кажется, весь мир, но увидел при этом только одну страну, которой нет на карте, я назову ее Бальмонтней.

Чехов о нем написал: «Он хорошо и выразительно говорит, только когда бывает выпивши». Я часто встречал Константина Дмитриевича в кафе. После двух-трех рюмок коньяку он действительно становился прекрасным рассказчиком; я видел то чопорных пансионных хозяек Оксфорда, то колдуна с Явы, то Валерия Яковлевича Брюсова, увлекавшегося магией. Неизменно Бальмонт повторял какой-то старинный грузинский заговор, где речь шла о черном цветке. Унять Бальмонта было невозможно. Он кричал своей спутнице: «Я хочу уйти в ночь! Елена, не противоборствуй!» Было в его облике нечто величественное и жалкое, высокомерное и ребячливое.

Его сравнивали с Верленом: алкоголь, музыка, детскость. Но Бальмонт в отличие от «бедного Лелиана» был человеком высокообразованным; он прочитал множество книг. Он переводил поэзию различных эпох, различных стран: Шелли и Кальдерона, Руставели и Уитмена, Лепарди и Словацкого, Блека и Гейне, Эдгара По и Уайльда. Старые песни Египта и стихи Поля Фора в переводе Бальмонта звучали одинаково. Как в любовных стихах он восхищался не женщинами, которым посвящал стихи, а своим чувством, так, переводя других поэтов, он упивался тембром своего голоса.

Он любил грандиозное: горные вершины, пропасти, океан. Художник Брак как-то сказал, что нужно уметь линейкой проверять вдохновение; Бальмонту такие слова показались бы мешанством — он жил оптом. Он писал стихи с быстротой стенографистки. Он посвящал одну и ту же книгу целой веренице лиц от «брата моих мечтаний, поэта и волхва, Валерия Брюсова» до «Люси Савицкой, с душою вольной и прозрачной, как лесной ручей». Вот любовные стихи в книге «Будем, как солнце»; одно следует за другим, и все с именными посвящениями: «Бэле», «мисс Нэти», «Н. К. Мазинг», «графине Е. В. Крейц», «княжне М. С. Урусовой», «Н...», «Р...», «Уличной испанке», «Марии Финн», «О. Н. Миткевич», «Дагни Кристенсен», «Люсе»...

В 1917—1918 годах я несколько раз встречал его в Москве. Он оставался верен себе. Революция его сердила своей настойчивостью: он не хотел, чтобы история вмешивалась в его жизнь. Не раз он страстно влюблялся и остывал, писал об этом в стихах. Он думал, что так же

легко может распроститься с эпохой: «Этим летом я Россию разлюбил...» Однажды я прочитал ему мои стихи: о казни Пугачева, о расплате. Константин Дмитриевич сначала недовольно морщился, потом написал в моей записной книжке: «Я слышал варварскую речь, молитву-крик и песню в лице стона. Но не хочу тебя предостеречь. Ты хочешь срыва? Мощь сладка уклону. Будь варваром. Когда царит пожар, лишь варвар юн и смел. Неправ лишь тот, кто стар». Внизу дата — 28 декабря 1917 года. Потом он уехал в Париж и там решил, что прав только он. Его политические стихи с проклятиями революции столь же беспомощны, как «Песни мстителя». Он снова оказался эмигрантом, но уже не на несколько лет, а пожизненно; бедствовал; припадки запоя учащались.

В 1934 году я его встретил на бульваре Монпарнас. Он шел один, постаревший, в протертом пальто; по-прежнему висели длинные кудри, но уже не рыжие, а белые. Он узнал меня, поздоровался. «А мне говорили, что вы в России...» Я ответил, что недавно вернулся из Москвы. Он оживился: «Скажите, меня там помнят, читают?» Мне стало жаль его, я солгал: «Конечно, помнят». Он улыбнулся и пошел дальше с высоко поднятой головой, бедный низложенный король.

Большая Советская Энциклопедия посвящает «поэту-декаденту» двадцать строк — столько же, сколько Бенедиктову, но за последним признаются некоторые достоинства, за Бальмонтом — никаких. Молодые советские читатели вряд ли знают, что существовал такой поэт; а в начале XX века нельзя было найти студента, не знакомого. Если не со стихами, то по меньшей мере со славой Бальмонта. А. Волынский писал в 1902 году: «Бальмонт пользуется, с теми или иными оговорками, всеобщим признанием; несмотря на непопулярность в России декадентской поэзии, публика ловит и повторяет нежные, легкие звуки его поэтических струн». Для символистов он был учителем, мастером: им зачитывались в школьные годы Блок и Андрей Белый. Брюсов, подводя итоги взлетам и падениям Бальмонта, говорил: «Бальмонт показал нам, как глубоко может лирика вскрывать тайны человеческой души». Поэзию Бальмонта ценили и писатели, далекие от символистов, например Бунин. Трудно представить себе человека, более чуждого несдержанной, подчас великолепной, подчас ходульной поэзии Бальмонта, чем Чехов, но Антон Павлович писал «поэту-декаденту»: «Вы знаете, я люблю Ваш талант и каждая Ваша книжка доставляет мне немало удовольствия и волнения. Это, быть может, оттого, что я консерватор». Горький восторженно отзывался о Бальмонте, советовал редакторам журналов печатать его стихи. Я помню, с каким восхищением читал вслух стихи Бальмонта А. В. Луначарский. О Бальмонте писали сотни исследований, его книги ежегодно перенздавались; на его лекции нельзя было достать билета. Стоило поэту показаться в театре или даже на улице, как его окружали неистовые поклонницы. Неужели все это было психозом, самообманом и признание Горьким или Брюсовым таланта Бальмонта можно объяснить тем, что читающая Россия разделяла его «стремление укрыться от действительности» и его восторг перед «варварством», как утверждает статья в энциклопедии?

Я вспомнил Бенедиктова не только потому, что он был знаменит и быстро подвергся общему забвению. Можно сказать, что в своих неудачных произведениях Бальмонт напоминает Бенедиктова — крикливостью, безвкусицей. Бальмонт мог, например, написать: «Хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать!..» (М. А. Волошин уверял, что одна акушерка ему прислала «Ответ Бальмонту», в котором были строки: «Хочу быть твердой, хочу быть гордой, хочу мужчин к себе не подпускать...»)

Да, у Бальмонта много дурных стихов; он писал очень много и все написанное печатал. Но из тридцати его книг можно составить одну хорошую — это все же не Бенедиктов. Да и кому правилась Бенедиктов? Невзыскательным женам городничих. А Бальмонт многое изменил в русской поэзии; достаточно перечитать такие его стихотворения, как «Я изысканность русской медлительной речи...» или «Есть в русской природе усталая нежность...» Судьба к нему была на редкость несправедлива: им восхищались, а потом мстили ему за то, что он восхищал. Утверждая себя как мятежника, как выразителя современности, Бальмонт был не только эгоцентриком, он был потрясающим анахронизмом. Он вошел в литературу с XX веком. Уже сновали по улицам машины, уже росли корпуса заводов, уже шли грандиозные социальные битвы, а Бальмонт оставался трубадуром XIV века, на котором был смешон современный пиджак.

Когда футуристы пришли на литературный вечер и начали громить устаревшего Бальмонта, Константин Дмитриевич, откинув голову назад, прочитал свое старое стихотворение: «Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды, слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет...» Приближалась величайшая буря, а запоздавший трубадур обращался к первому порыву ветра с наивной просьбой — быть зефиром. Он столько книг прочитал и все-таки не понял, что древних идолов не только быстро раздевают, их преспокойно жгут. Пожалуй, в этом был еще больший анахронизм, чем в локонах и в позе веласкесовского идалго.

Оставался длинный и неласковый закат — запустение, одиночество, нужда, душевное заболевание. Умер он в 1942 году.

15

В молодости мне удалось дважды побывать в Италии. Денег у меня было мало; я почевал и на постоянных дворах и в подозрительных притонах; ел в харчевнях макароны — миска стоила два сольди и обманчиво насыщала на несколько часов; когда не хватало денег на поезд, отправлялся в путь пешком; месяцы в Италии я вспоминаю как самые счастливые. Там я понял, что искусство не прихоть, не украшение, не праздничные даты календаря, что с ним можно жить в одной комнате, как с любимым человеком. Каждый юноша, впервые влюбляясь, думает, что он открывает неведомый дотоле мир. Так было у меня с Италией: издавна чужестранные писатели, попадая в эту страну, были по-новому счастливы, по-новому ощущали близость искусства — от Стендаля до Блока, от Гёте до нашего современника В. Некрасова. (Правда, Хемингуэй именно в Италии узнал меру человеческого горя, но было это в годы войны, а война — повсюду война.)

Для меня Италия была и раем и школьной скамьей. В 1909 году я глядел на холсты Ван-Гога, Гогена, Матисса с недоверием, почти с испугом, как теленок смотрит на поезд. Пять лет спустя я подружился с художниками — с Пикассо, Леже, Модильяни, Риверой; их работы помогали мне разобраться в клубке надежд и сомнений. Ключ к современному искусству я нашел в прошлом. Нельзя понять Модильяни без живописи Возрождения, как нельзя понять Блока без Пушкина. (Блока я понял раньше, чем Модильяни: Пушкина я знал с детства, а живописной азбуке меня никто не учил; мне говорили только, что Рафаэль величайший в мире художник и что картина «Не ждали» связана с революционной борьбой.)

Когда я пришел впервые в Лувр, я был дикарем; я хотел во что бы то ни стало увидеть таинственную улыбку Джоконды, а увидев ее, начал

гадать, что она означает; потом я вспомнил о Венере Милосской — необходимо ее поглядеть, ведь все говорят, что она идеал красоты, перед ней в умилении плакали Гейне и Глеб Успенский... Лувр был большим музеем в большом городе; я постоял, повздыхал и ушел. Маленькие музеи сонного пустого Брюгге стали для меня начальной школой; но по-настоящему я пристрастился к искусству в Италии.

Я не пишу сейчас книги о живописи, да и не пытаюсь в точности воспроизвести свои давние впечатления: очень трудно в вечер жизни припомнить, понять ее утро — меняется освещение, меняется и восприятие того, что видишь; ко многому, что когда-то мне нравилось, я теперь равнодушен, а с годами мне начало раскрываться то, мимо чего я в молодости проходил. В отличие от точных наук искусство мимо не поддается бесспорным оценкам.

В XVIII веке просвещенные ценители искусств считали готику уродливым варварством. Пушкин презрительно отозвался о поэзии Франсуа Вийона. Стендаль, признавая, что Джотто был ступенькой к Рафаэлю, все же находил его живопись беспомощной и уродливой. С тех пор оценки изменились: нам близко то, что проглядели лучшие умы конца XVIII и начала XIX века. Но, может быть, не стоит повторять их ошибки и одарять презрительными оценками те произведения искусства, которые нам чужды? Я расскажу о смене суждений одного человека только для того, чтобы напомнить, как относительны наши оценки.

В 1911 году меня покорили художники кватроченто и прежде всего Боттичелли. Бог ты мой, сколько часов я простоял перед «Рождением Венеры» и «Весной»! Фрески Рафаэля мне казались скучными; Джотто напоминал иконы. Женщины Боттичелли не были грубыми, толстыми, розовыми, как на картинах венецианцев; не были бесплотными и чересчур одухотворенными, как у Мемлинга или Ван-Эйка. Венера стыдливо, чуть печально глядела на мир; примерно так же я глядел на Венеру. Я увлекался книгой «Образы Италии». Муратов как будто заглянул мне в душу: он писал, что «Рождение Венеры» — величайшая картина в мире. Я пытаюсь теперь разобраться, чем меня подкупал Боттичелли. Вероятно, сочетанием жизненной радости с горечью, началом эпохи неверия, умением придать смятению гармонию.

Два года спустя, приехав во Флоренцию, я первым делом отправился на свидание с картинами Боттичелли и растерялся: конечно, они были прекрасны, но я ими любовался вчуже; они больше не соответствовали моему душевному состоянию. Мне уже не хотелось поэтизировать смуту; меня укачивало, и я хотел глядеть на неподвижный берег. Я с уважением думал о людях, исполненных веры, — и о Вале Неймарке, и о Франсисе Жамме. Я полюбил фра Беато: его живопись была действием, он не только писал Мадонну, он молился перед своим холстом. Меня привлекли Джотто, мастера Сьенны. Я писал: «Сьенцев пристальные взгляды, в церкви запаха воска и соборные фасады с мрамором в полосу»; перед моими глазами стояли «строгие задумчивые фрески первых флорентийских мастеров». Я снова попытался понять, почему славен Рафаэль, в чем притягательная сила Тинторетто, но это оставалось для меня запечатанной книгой.

Вскоре после этого я забыл о фра Беато. Я увидел удлинённые тела Греко, гигантов Микеланджело, трагические пейзажи Пуссена. Я узнал десятки различных музеев. Иногда судьба забрасывала меня в Италию. Происходили величайшие события, о которых можно написать сотни книг и то не про все расскажешь. В 1924 году я увидел Италию униженную, оскорбленную, возмущенную: когда я был в Риме, фашисты похитили Маттеотти. На площадях люди жгли фашистские газеты; мне каза-

лось, что это первые раскаты грома, они были последними... Иеремия в Сикстинской капелле горевал и пытался оправдать свое звание пророка.

Четверть века спустя я снова очутился в Италии. «Весна» Боттичелли показалась мне манерной и приторной. Я глядел с уважением на падуанские фрески Джотто, но не было во мне прежнего трепета. Зато на старости лет я впервые «открыл» Рафаэля (говорю о ватиканских станцах, «Сикстинская мадонна» и теперь оставляет меня равнодушным). Меня потрясли ясность, гармония «Афинской школы» и «Диспута о причащении»; трудно себе представить, что они созданы молодым человеком. Обычно художники формируются медленно, как деревья, да и век художника долог — Тициан дожил до девяноста девяти лет, Энгр — до восьмидесяти семи, Микеланджело, Клод Лоррен, Шарден, Гойя, Моне, Дега перевалили за восемьдесят. А Рафаэль умер, как умирают поэты, — тридцати семи лет — и, кажется, был самым умудренным. Сюжеты не увлекали его и не отталкивали; ему пришлось, например, изобразить церковный диспут о причащении; будучи человеком глубоко светским, он не мог воодушевиться сюжетом. Нас чрезвычайно мало интересуют теологические дискуссии XVI века, но мы стоим очарованные — нас поражает композиция Рафаэля. «Только то пригодно для описания, что останется интересным и после того, как история вынесет свой приговор», — говорил Стендаль. Что же «интересно» нам в «Диспуте о причащении»? Конечно, не предмет спора, да и не участники дискуссии. Композиция, рисунок, краски продолжают нас волновать четыреста лет спустя после того, как история вынесла свой приговор не только адептам различных форм причащения, но и верованиям, породившим эти обряды.

В Венеции я не мог уйти из длинного зала школы Сан-Рокко, где находятся холсты Тинторетто. Дело снова не в сюжетах — они те же, что на картинах множества других художников. Но Тинторетто, который видел, ощущал, понимал мир трагически, сумел это выразить; ему было достаточно пальцев ноги, складок бархата, сползающего вниз, облака, куски стены, чтобы рассказать миру то, о чем начал вскоре писать Шекспир. В картинах Тинторетто — все элементы современного искусства; и в школе Сан-Рокко особенно ясно понимаешь наивность апологетов абстрактной живописи, стремящихся найти более свободное, или, если угодно, более углубленное разрешение живописных проблем, чем то делали Тинторетто, Сурбаран или много позднее Сезанн. Тинторетто приходилось считаться с догмами католической церкви, с ханжеством и лицемерием венецианских дождей, со множеством, казалось бы, ненужных препятствий; а препятствия нужны большому художнику — это стартовая площадка, начало преодоления непреодолимого.

Я пересказал весьма спорные суждения юноши, человека сорока лет и мои теперешние, старческие, конечно, не потому, что они сами по себе представляют какой-либо интерес, да я и не историк искусств. Мне кажется, что любопытны не оценки, а их смена в течение одной человеческой жизни. Поэт Бальмонт наивно просил не торопиться с разоблачением вчерашних кумиров. Настоящие мастера не нуждаются в сострадании; но простой здравый смысл подсказывает некоторую осмотрительность: развенчанные идолы могут снова стать богами. Открытие в области наук опрокидывает теории предшественников: нельзя теперь изучать астрономию ни по Птолемею, ни по Пифагору; а скульптура древних греков представляется нам совершенной. Мне сейчас не по душе Боттичелли; несущественно, что я его любил в молодости, существенно то, что его, наверно, будет дубо любить если не наши внуки, то наши правнуки. Мне трудно сказать доброе слово о живописцах болонской школы — у меня

с ними свои счеты, хотя, конечно, это не их вина: болонская живопись на триста лет определила каноны того условного, эклектического искусства, которое, по недоразумению или по привычке, многие до сих пор называют реалистическим. (Брюсов писал в 1922 году: «Реализм, — беря слово не как философский термин, а в том смысле, как оно употребляется в области искусств, — ставит перед художником задачу: верно воспроизводить действительность. Но какой художник, где, когда, в какой стране, в какую эпоху задавался иной целью? Вся разница была лишь в том, что понимать под «действительностью»... Художники итальянской школы эпохи Возрождения и даже их предшественники «праерафаэлиты», те, которым так охотно противопоставляют жанровую живопись фламандцев и голландцев, мечтали ли изображать что-то, чуждое действительности?.. Чего добивались импрессионисты, которых винили в свое время критики, что они делают лишь пятна, совершенно не соответствующие действительности? Да именно того, чтобы при помощи этих пятен: вернее, точнее передать реальность, как она воспринимается нашими внешними чувствами, нашим зрением»). Стоит художнику вместо античных мифов или евангельских сцен изобразить событие, волнующее его современников, и придерживаться при письме условных канонов болонской школы, как его поздравляют: он — реалист. Но пройдет двадцать или сорок лет, исчезнут в мире последние эпигоны академического направления, и тогда наши внуки или правнуки смогут реабилитировать холсты Карраччи, Гвидо Рени, других болонцев. Искусство прошлого не только раскрывает нам глаза, оно раскрывается от жара наших глаз. Любовь потомков — вот неутомимый реставратор, который расчищает пожелтевшие холсты, возвращает им первоначальное сияние.

Мне остается добавить, что, когда я был в Италии осенью 1959 года, самое сильное впечатление на меня произвели этрусские саркофаги — исступленные мужчины и женщины, подымающиеся из каменных гробов. Я долго глядел на них во дворе небольшого музея в Таркинье, неподалеку от Рима. Теперь, когда я пишу эту книгу и пытаюсь оживить мое прошлое, друзей, большинство которых я пережил, я вижу перед собой мужчин и женщин, живших за двадцать пять веков до того, как я родился. Мне кажется, что я их знаю и понимаю, как моих современников.

В молодости я особенно нежно любил Флоренцию; ее сельский дух, сочетание скульптуры Донателло и крестьян в широких соломенных шляпах, керамики делла Роббиа и холмов вокруг города, садов, огородов, одиноких кипарисов, лавочек на Старом мосту, базаров, мутной реки, ясного неба и тени Данте, встретившего здесь свою Беатриче. Как все города, построенные в одну эпоху и, следовательно, гармоничные, Флоренция сразу понятна и мила. С годами я полюбил Рим. Эпохи в нем перемешаны; рядом античные развалины и новые кварталы, извивающиеся статуи барокко и базилики первых христиан, высокое Возрождение и помпезные памятники конца XIX века; вначале этот беспорядок стесняет приезжего, но потом видишь, что века в Риме мирно сосуществуют. Рим прекрасен не только там, где его смотрят караваны туристов, — любая улица, любая стена ничем не примечательного дома радует глаз. Его гармония сложна: в ней цельность, доступная только большому художнику и большому народу.

До чего были неправы путешественники (среди них и великие, как Гёте), которые увидели в Италии только музей да еще бессмертную красоту природы! Все, что меня чаровало и чарует в Италии, тесно связано с людьми, — народы, конечно, меняются, но если есть возможность охватить века, спасти прошлое от забвения и непонимания, то это связано с гением народа, с некоторыми присущими ему чертами.

Я много лет прожил во Франции, научился понимать французов, о моей любви к ним говорить не приходится — она известна. Именно поэтому я решаю повторить слова Стендаля, который утверждал, что итальянцы проще, непосредственнее французов. Могло ли это не подкупить юношу, еще помнившего тепло душевных бесед где-нибудь на Кознихах, на Остоженке или на Арбате? Конечно, итальянцы, как и все люди, бывают разные: я не забываю ни про борьбу классов, ни про эпоху фашизма; и все же мне думается, что в характере итальянцев заложена доброта.

Я часто спрашивал себя, почему итальянские кинокартины последнего десятилетия так понравились разноязычным людям — «Похитители велосипедов», «Чудо в Милане», «Два гроша надежды», «Рим в одиннадцать часов», «Ночи Кабирии». Разумеется, они представляют значительное явление в развитии кино: но рядовых зрителей мало интересовал неореализм; вернее сказать, благодаря реалистическому, правдивому отображению действительности перед ними были настоящие, живые итальянцы, покоряли зрителей не художественные приемы, а черты национального характера: на экране разворачивалась тяжелая, порой безысходная жизнь, но повинны в страданиях людей были не злодеи, а обстоятельства, не душевное уродство того или иного персонажа, а уродство социальной системы.

В памяти миллионов моих соотечественников еще живы картины войны. Политическая карта мира изменилась; рассудок подсказывает, что нужно кое-что забыть, кое-чему научиться; но у сердца свои законы. В 1949 году один немец сказал мне, что ему понравился мой роман «Буря», особенно сцена боев под Ржевом. «Очень живо описано,— добавил он,— может быть, вы там были?» Когда я ответил утвердительно, он, обрадованный, воскликнул: «Я тоже там был!» — и протянул мне руку. Признаюсь, нелегко мне далось это рукопожатие. Я часто встречал итальянцев, которые с печалью говорили, что в годы войны они были в Донбассе; я мог с ними дружески разговаривать. Люди, побывавшие в оккупации, рассказывали мне об итальянцах без злобы; одна колхозница вспоминала: «Он хотел курицу взять, а совестно, ждал, когда я отворюсь, уж я сама ушла — пожалела его...»

Мне еще придется не раз в этой книге говорить об Италии и об итальянцах: о Модильяни, Итало Свейво, Бонтемпеалли, Карло Леви, Гуттузо, Моравиа; о Милане в годы фашизма; о бригаде «гарибальдийцев» в Испании; о борьбе за мир — о Ненни, Серени, Доннини, Ломбарди, Негарвилле; о встречах с крестьянами Фраскати; о беседах с католиками; о Ля Пира, Данило Дольчи. Иногда, пренебрегая хронологией, я забегаю вперед — хочется что-то додумать, досказать; это ведь не столько история моей жизни, сколько размышления, порождаемые воспоминаниями. Вернусь теперь к годам, предшествовавшим первой мировой войне.

Я не стараюсь взглянуть на прошлое сквозь розовые очки. Жизнь в Италии отнюдь не была идиллической: на каждом шагу я видел нищету. Буржуазия была чванливее и глупее французской. В кафе на Корсо можно было увидеть депутатов; они говорили, сговаривались, договаривались; стоял запах скверной парламентской кухни. Встречал я провинциальных эстетов, которые старались подражать парижским снобам; как всегда, ученики шли дальше учителей.

В Париже меня познакомили с поэтом Маринетти: он был очень самоуверен и столь же честолюбив; дал мне свою поэму «Мое сердце из красного сахара»: «Если вы ее переведете, вы откроете России поэта завтрашнего дня...» Я перевел отрывок и снабдил его маленьким предисловием: «Трудно любить стихи Маринетти. От него отталкивают внут-

решения пустота, особенно дурной вкус и склонность к декламации». Потом я был на литературном вечере — Маринетти прославлял футуризм, чудеса техники, завоевание мира. Когда впоследствии он примкнул к фашистам, это было логично: он не приспособился, он и прежде мечтал о насилии; за красным леденцом последовала кровь...

Во Флоренции однажды я встретил тридцатилетнего Джованни Папини; незадолго до того вышла его нашумевшая автобиография «Конченный человек». Мы сидели в маленькой траттории; молодые писатели спорили о футуристах, о «сумеречниках» (так называлась одна из литературных групп), о философии Кроче. Папини мне показался горьким, едким. Вдруг, растерянно улыбнувшись, он сказал: «А что ни говорите, главное, чтобы человек был счастлив, и таким счастьем, от которого счастливы другие...»

И где-то возле Лукки я уснул под деревом, усталый, голодный. Меня разбудили дети. Толстая черная крестьянка, мать детей, позвала меня в дом, поставила на стол миску с макаронами, бутылку вина, оплетенную соломой. Я жадно уплетал макароны, а хозяйка шила детское платьице и, поглядывая на меня, вздыхала. «У тебя есть мама?» — неожиданно спросила она. Я сказал, что моя мать далеко — в Москве. Тогда, не оставляя шитья, она запела грустную песенку. Я вышел из ее дома; ночь была южная, черная, и, как мириады звезд, кружились, метались светляки.

В Италии я поверил в возможность искусства и в возможность счастья. А начиналась эпоха, когда искусство казалось обреченным, счастье — невысказанным.

16

Я сидел в «Клозери де лиля» и переводил стихи французских поэтов — хотел составить антологию. Волошин меня представил Александру Мерсеро, который был поэтом малопримечательным, но обходительным человеком; он приносил мне книги и знакомил со своими более прославленными товарищами.

Крупный русский промышленник Н. П. Рябушинский в 1906 году решил издавать художественный журнал «Золотое руно»; текст должен был печататься по-русски и по-французски. Требовался стилист, способный выправлять переводы. Рябушинский не останавливался перед затратами и заказал настоящего французского поэта. Выполнить заказ оказалось нелегко: поэтам не улыбалось надолго покинуть Париж.

В предместье Парижа Кретей, в помещении бывшего аббатства, поселились несколько поэтов; они писали стихи, готовили себе еду и сами печатали свои произведения на ручном станке. Так родилась литературная группа «Аббатство»; многие из ее участников впоследствии стали знаменитыми: Дюамель, Жюль Ромен, Вильдрак. Всех этих поэтов объединяло стремление уйти от узкого индивидуализма, вдохновляться мыслями и чувствами, которые присущи всем. Были в «Аббатстве» и поэты, подававшие мало надежд, среди них Мерсеро; он соблазнился работой в «Золотом руне»: жизнь в поэтическом фаланстере была монотонной.

Мерсеро говорил, что Москва ему понравилась, но не любил вспоминать, что особенно понравилась ему одна москвичка, жена чиновника. Об этой странице его биографии мне рассказал Волошин. Французский поэт и жена московского чиновника были счастливы, но приближался час разлуки. Мерсеро недаром был поэтом, он предложил романтический план: «Ты убежишь со мной в Париж». Москвичка напомнила влюбленному фантазеру, что из России нельзя выехать без заграничного паспорта. У возлюбленной была сестра, очень невзрачная, на которую

Мерсеро не обращал внимания; но в трудную минуту она оказалась залогом счастья: «Женись на моей сестре, она получит заграничный паспорт и объедет, что уезжает с тобой в Париж. Я приду вас провожать, в последнюю минуту я войду в вагон, а сестра останется на перроне. Паспорт, конечно, будет у меня». Мерсеро план понравился; состоялась пышная свадьба. Возлюбленная, как было условлено, пришла на вокзал, но когда раздался третий звонок, она не двинулась с места и только помахала платочком; в купе сидела законная супруга. Мерсеро привез в «Аббатство» навязанную ему жену, которая, увидев своеобразный фаланстер, пришла в ужас: могла ли она подумать, что французские поэты живут хуже, чем московские приказчики! Начались пререкания, упреки, сцены; поэтам «Аббатства» больше было не до стихов. Они попросили Волошина объяснить с мадам Мерсеро, которая так и не научилась говорить по-французски. В итоге жена поэта поняла, что лучшей жизни ей не дожидаться, и уехала в Москву. Самой трогательной была небольшая деталь: рассказывая про дом коварной возлюбленной, Мерсеро восклицал: «У них подавали красную икру! Черную в России едят повсюду, но у них была красная, это были очень богатые люди...»

Россию в те годы французы знали мало. Видел я инсценировку «Братьев Карамазовых» в передовом театре. На сцене висел портрет царя, и проходившие, поворачиваясь к нему, крестились. Помню, как я познакомил А. Н. Толстого с одним молодым поэтом, посещавшим «Клозери де лиля»; поэт разговаривал с Алексеем Николаевичем благоговейно, а потом ляпнул: «Здесь, знаете, писали о вашей смерти, значит это была утка...» Алексей Николаевич захохотал особым, присущим только ему смехом, от которого содрогнулись и рюмки на столе и бедный поэт, едва пролепетавший: «Простите, я не догадался, что вы сын великого Толстого, я знаю, что его сын тоже великий писатель...» Алексей Николаевич писал, что, когда в 1916 году он приехал в Англию, какой-то англичанин сердечно приветствовал автора «Войны и мира». Критик газеты «Голуа» пришел к М. А. Волошину и сразу ошеломил его вопросом: «Вы, конечно, присутствовали на похоронах Достоевского, когда казаки били студентов. Нас интересуют подробности...» Максимилиан Александрович обожал разыгрывать людей и начал описывать «подробности»; критик в восторге исписал весь блокнот; наконец Волошин сказал: «Вот все, что я запомнил, — мне ведь тогда было четыре года от роду...»

Двадцать лет спустя я купил в Париже большую карту Европы; на севере Советского Союза вместо областей и городов значилось: «Самоеды». «Маленький словарь» Ларусса, выпущенный в 1946 году, давал сведения о Нессельроде, о Каткове, о путешественнике Чихачеве, но ничего не сообщал о таких малопримечательных людях, как Грибоедов, Некрасов, Чернышевский, Герцен, Сеченов, Павлов...

Впрочем, несправедливо говорить только о французах. Поскольку я вспоминаю о событиях скорее забавных, расскажу, как меня чествовали в английском Пэн-клубе. Было это в 1930 году. Я получил приглашение быть почетным гостем на очередном обеде Пэн-клуба; к письму был приложен длинный документ о желательности смокинга и допустимости черного пиджака. На обеде председательствовал знаменитый писатель Голсуорси; он меня тепло приветствовал, сказав, что английские писатели рады увидеть в своей среде крупного австрийского кинорежиссера, создавшего прекрасный фильм «Любовь Жанны Ней». (Фильм по моему роману действительно сделал австрийский режиссер Пабст.) Обеды не диспуты, и я пожал руку Голсуорси. Моей дамой оказалась старая, сильно декольтированная англичанка; она пыталась развлечь меня и долго говорила о романтичности старой Вены. Я почувствовал себя самозван-

цем и сказал, что я не австриец, а русский. Она сразу стала печальной, преисполненной сострадания, сказала, что очень любит Россию, страдает вместе со мной, спросила: «Но что сделали большевики с вашим бедным генералом?» (Боевые круги белой эмиграции жили бурно; один лидер ненавидел другого; как раз незадолго до описываемого мною обеда в Париже при таинственных обстоятельствах исчез генерал Кутепов.) Я спокойно ответил: «Разве вы не знаете? Они его съели». Дама выронила из рук нож и вилку: «Какой ужас! Но от них можно всего ожидать...»

Французы любят анекдот об англичанине, который, увидев в Кале рыжую женщину, потом написал, что все француженки рыжие. Я вспоминаю разговоры русских туристов, которым я показывал Версаль. Один учитель восхищался богатством французов — он увидел возле вокзала Сен-Лазар оборванца, который пил красное вино. «Дома расскажу — никто не поверит: босяк, нищий и преспокойно дует вино...» Учитель был из Самарской губернии; он так и не поверил, что вино во Франции дешевле минеральной воды. Другой турист, инспектор реального училища, наоборот, пришел к выводу, что французы нищенствуют; он говорил по-французски и в Версальском парке познакомился с преподавателем местного лицея; инспектор повторял: «Вот вам их культура, вот вам их богатство! Учитель лицея, и у него нет прислуги, жена сама готовит обед...» Один эмигрант, бывший семинарист, а впоследствии эсер, показал мне свою повесть: она была посвящена страданиям русского идеалиста, влюбившегося в безнравственную француженку; страниц сто автор посвятил рассуждениям о развращенности французов; основным аргументом было то, что французы целуются даже в ресторане. Напрасно я пытался объяснить ему, что такие поцелуи равносильны ласковому слову или взгляду, что они не мешают парочке преспокойно наслаждаться бараньим рагу или свиной с бобами; он упрямо отвечал: «Мне перед женой неловко — ведь у всех на глазах!.. Это, знаете, пардец!..»

Человеку трудно расшифровать быт чужой страны, даже если он к нему некоторое время присматривается; о туристе и говорить нечего. Сколько я читал вздора в газетах — и русских и французских, основанного все на той же развесистой клюкве, под которой сидел Дюма-отец!

Смеяться над Мерсеро не приходится: его ошибка глубоко человечна. Бывший семинарист, тот, что возмущался безнравственностью французов, наверно, расставаясь со своей супругой, целовал ее на вокзале; а ведь это показалось бы японцу бесстыдным и безнравственным. Вся беда в том, что люди считают свои обычаи или, как теперь говорят, свой «образ жизни» единственно правильным и осуждают если не вслух, то про себя все, что от него отклоняется.

Создаются представления о характере народа, построенные на случайных и поверхностных наблюдениях. Что знали даже начитанные французы накануне первой мировой войны о русских? Они видели богачей, кидавших деньги направо и налево, проводивших время в дорогих притонах Монмартра, проигрывавших за одну ночь в Монте-Карло имения, равные по площади французскому департаменту, то есть области. Во французский язык вошло слово «бояры» — так называли богатых русских. Начитанные французы увлекались Достоевским, из которого они почерпнули, что русский любит неожиданно убивать, презирать денежные обязательства, верить в бога и в черта, оплевывать то, во что он верит, и заодно самого себя, каяться в публичных местах, целуя при этом землю. Газеты сообщали о беспорядках в России, о террористических актах, о геронизме революционеров. Французы называли русских революционеров «нигилистами»; толковый словарь, изданный в 1946 году, то

есть тридцать лет спустя после Октябрьской революции, дает следующее объяснение слову «нигилизм»: «Доктрина, имеющая последователей в России, которая стремится к радикальному разрушению социального строя, не ставя перед собой цель заменить его какой-либо другой определенной системой». С точки зрения француза, подобная доктрина могла соблазнить только мистиков. Ко всему, француз узнавал, что «нигилисты» имеются даже среди «бояр»; это его окончательно убеждало в существовании какой-то особой «славянской души», этой «душой» он объяснял все последующие исторические события.

Мальчишкой я читал русские романы, в которых изображались немцы; одни были мечтателями, как тургеневский Лемм, другие — энергичными, ограниченными тружениками, как Штольц Гончарова. В дореволюционной России немцы считались людьми умеренными и добропорядочными. Недавно мне попала в руки книга В. Розанова, который описал Германию 1912 года — накануне первой мировой войны: «Честно пожать руку этих честных людей, этих добросовестных работников, значит сразу вырасти на несколько аршин вверх... Я бы не был испуган фактом войны с немцами. Очевидно, это не нервно-мстительный народ, который, победив, стал бы добивать... Немец «en passe» или протак в политике или просто у него нет аппетита — все съесть кругом. Вот отчего войны с Германией я не страшился бы. Но просто чрезвычайно приятно быть другом или приятелем этих добропорядочных людей... Я дал бы лишнее, и просто ради доброго характера. Уверен, что все потом вернулось бы сторицей. Я знаю, что это теперь не отвечает международному положению России, и говорю мысль свою почти украдкой, «в сторону», для будущего... Ну, а чтобы дать радость сорока миллионам столь порядочных людей, можно другим народам и потесниться, даже чуть-чуть кому-нибудь пострадать». С тех пор мы пережили две войны. Слова В. Розанова не умнес разговор Мерсеро о красной икре, но они не рассмежат никого.

А русский миф о французе, который «быстр, как взор, и пуст, как вздор», о его легкомыслии и опрометчивости, о его тщеславии и безответственности; миф о Париже, который называли «новым Вавилоном» и который слыл не только законодателем мод, но и питомником распутства! (Недаром моя мать боялась, что я пропаду в Париже, — это покоилось на общераспространенной легенде.) Как не походила на подобные описания страна, где я оказался, где семейственность была куда сильнее, чем в России, где люди дорожили вековыми навыками, порой и предрасудками, где в буржуазных квартирах были закрыты ставни, чтобы не выгорели обои, где боялись, как чумы, сквозняков, где ложились спать в десять и вставали с петухами, где в ночных кабаках редко можно было услышать французскую речь, где я мог сосчитать на пальцах знакомых, которые побывали за границей!

Теперь самолет в несколько часов пересекает Европу; за одну ночь можно долететь из Парижа в Америку или в Индию; а люди по-прежнему плохо знают друг друга. Их разделяют не мысли, а слова, не чувства, а формы выражения этих чувств: нравы, детали быта. Непонимание — вот тот бульон, в котором разводятся микробы национализма, расизма, ненависти: «Гляди, он живет не так, как ты, он ниже тебя и не хочет этого признать; он говорит, что он живет лучше тебя, что он выше тебя; если ты его не убьешь, он заставит тебя жить по-своему». Можно договориться о том, что дипломаты издавна называли «modus vivendi», — о временной передышке; но подлинное мирное сосуществование мне кажется невысказанным без взаимного понимания. Говорят, что наша планета давно обследована, что теперь очередь за Марсом или за Венерой. Да, картографам известны все возвышенности, все острова, все пустыни; но обыкновенно

венный человек еще очень мало знает, как живут его сверстники на давно открытом острове, в странах, давным-давно открытых, да и в странах, которые считали себя открывателями. Я говорю об этом, потому что изъездил Европу, побывал в Азии, в Америке и в итоге понял, до чего трудно разобратся в чужой жизни.

17

Приезжая в Париж, Максимилиан Александрович Волошин располагался в мастерской, которую ему предоставляла художница Е. С. Кругликова, в центре Монпарнаса, облюбованного художниками, на улице Буассонад. В мастерской висело изображение египетской царевны Таиах, под ним стоял низкий диван, на котором Макс (так его звали все на второй или третий день после знакомства) сидел, подобрав под себя ноги, курил в кадилнице какие-то восточные смолы, варил на спиртовке турецкий кофе, читал книги об искусстве Ассирии, о масонах или о кубизме, а также писал стихи и корреспонденции в московские газеты, посвященные выставкам и театральным премьерам. На двери мастерской он написал: «Когда стучитесь в дверь, объявляйте громоче, кто стучит»; впрочем, будучи человеком общительным, он не открывал двери только румынскому философу, который требовал, чтобы его труды были немедленно изданы в Петербурге и чтобы Волошин выдал ему авансом сто франков.

Андрей Белый в своих воспоминаниях говорит, что Волошин казался ему примерным парижанином — и по прекрасному знанию французской культуры и по своей внешности: борода, подстриженная лопатой, «ненашенская», цилиндр, манеры. Поскольку я познакомился с Максом в Париже, я никак не мог его принять за парижанина; мне он напоминал русского кучера, да и борода у него была скорее кучерская, чем радикал-социалистическая (накануне войны бороды в Париже начали исчезать, но их сохраняли солидные радикал-социалисты из уважения к традициям благородного XIX века). Правда, русские кучера не носили цилиндров, это был головной убор французских извозчиков, но на длинных густых волосах Макса цилиндр казался аксессуаром цирка.

В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским; он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах, о причудах Морозова или Рябушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах «Бубнового валета», об юродивых древней Руси. В Москве, по словам Андрея Белого, Макс блистал рассказами о бомбе, которую анархисты бросили в ресторан Файо, о красноречии Жореса, о богохульстве Реми де Гурмона, о видном математике Пуанкаре, о завтраке с молодым Ришпеню. У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил.

Дети играют в сотни замысловатых или простейших игр, это никого не удивляет; но некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют любовь к игре до поздних лет. Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного «зайчика». Пикассо обожает изображать клоуна, участвует в бое быков, как самодеятельный тореадор. Поэт Незвал всю жизнь составлял гороскопы. Бабель прятался от всех, и не потому, что ему могли помешать в его работе, а потому, что любил играть в прятки. Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малозвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор аптекарь Сиволапов, давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии; он играл, даже работая; есть у него статья «Аполлон и мышь», которую иначе, чем игрой, не назовешь. Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке,

и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов; мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины; а он играл, как малое дитя. Когда он шел, он слегка подпрыгивал; даже походка его выдавала — он подпрыгивал, в разговоре, в стихах, в жизни.

Ему удалось одурачить, или, как теперь говорят, разыграть, достаточно скептический литературный Петербург. Вдруг откуда-то появилась талантливая молодая поэтесса Черубина де Габриак. Ее стихи начали печататься в «Аполлоне». Никто ее не видел, она только писала письма редактору журнала С. К. Маковскому, который заочно в нее влюбился. Черубина сообщала, что по происхождению она испанка и воспитывалась в католическом монастыре. Стихи Черубины похвалил Брюсов. Все поэты-акмеисты мечтали ее встретить. Иногда она звонила Маковскому по телефону, у нее был мелодичный голос. Никто не подозревал, что никакой Черубины де Габриак нет, звонит по телефону маленькая поэтесса Дмитриева, она же переписывает стихи и письма; а пишет их Макс, который упоен своей выдумкой.

Чего он только не выдумывал! Каждый раз он приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что — это установил какой-то австралийский исследователь — яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара на улице Сэн он нашел один из тридцати сребреников, которые получил некогда Иуда. Писатель восемнадцатого века Казотт в 1778 году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не требовал, чтобы ему верили, — просто играл в интересную для него игру.

Он встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее; доказывал А. В. Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это — явление не только художественное, но и социальное; приветствовал самые крайние течения — футуристов, лучистов, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюбленным, ни действительно разгневанным (очень редко он сердился и тогда взвизгивал). Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов. Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрял. Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрезил ее. В трудное время гражданской войны он приютил у себя Майю, которая писала стихи по-французски, а потом стала женой Романа Роллана.

Ходил он в своеобразной одежде (цилиндр был скорее парадной вывеской, чем шляпой) — бархатные штаны, а в Коктебеле рубашонка, которую он пресерьезно именовал «хитоном». Над ним посмеивались; Саша Черный писал про «Вакса Калошина», но Макс не обижался. Был Макс подпрыгивающий, который рассказывал, что Эйфелева башня построена по рисунку древнего арабского геометра. Был и другой Макс — попроще, который жил в Коктебеле с матерью (ее называли Тра); в трудные годы этот второй Макс уплетал котелок каши. Всегда в его доме находили приют знакомые и полужнакомые люди; многим он в жизни помог.

Глаза у Макса были приветливые, но какие-то отдаленные. Многие его считали равнодушным, холодным: он глядел на жизнь заинтересо-

ванный, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его по-настоящему волновали, но он об этом не говорил; он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было.

Он был и художником: писал акварели — горы вокруг Коктебеля в условной манере «Мира искусства»; мог изготовить в один день пять акварелей. А любил он живопись, не похожую на ту, что делал. В стихах у него много увиденного, живописного; он верно подмечал: «В дождь Париж расцветает, точно серая роза»; или о том же Париже: «и пятна ржавые сбежавшей позолоты, и небо серое, и веток переплеты — чернильно-синие, как нити темных вен»; о Коктебеле: «Горелый, ржавый, бурый цвет трав, полосы нога и пятна желчи».

Вначале я относился к Волошину почтительно, как ученик к опытному мастеру. Потом я охладел к его поэзии; его статьи об эстетике мне начали казаться цирковыми фокусами: я искал правду, а он играл в детские игры, и это меня сердило.

Среди его игр была игра в антропософию. Андрей Белый долго верил в Штейнера, как старая католичка верит в римского папу. А Макс подпрыгивал. Он отправился в Дорнах, близ Базеля, где антропософы строили нечто вроде храма. Началась война; Дорнах был в нейтральной Швейцарии, возле эльзасской границы. Странтели «храма» (помню, в разговорах с Максом я всегда говорил «твое капище»), среди которых были Андрей Белый и Волошин, по ночам слышали артиллерийский бой. Вскоре Волошин приехал в Париж с книгой стихов, написанных в Дорнахе; книга называлась «*Appo mundi ardenti*». Стихи эти резко отличались от стихов, которые тогда писали другие поэты: Бальмонт потрясал оружием; Брюсов мечтал о Царьграде; Игорь Северянин кричал: «Я поведу вас на Берлин!» А Волошин, забыв свои детские игры, писал: «Не знать, не помнить и не видеть, застыть, как соль, уйти в снега! Дозволь не разлюбить врага и брата не возненавидеть», «В эти дни нет ни врага, ни брата: все во мне, и я во всех...»

Я тогда писал «Стихи о капюнах»: я не мог быть мудрым созерцателем, как Волошин, я проклинал, обличал, неистовствовал. Макс мои новые стихи поправил; он решил мне помочь и повел меня к Цетлиным.

Цетлины были одним из семейств, которым принадлежала чайная фирма Высоцкого. Как я писал, многие члены этой чайной династии были эсерами или сочувствовали эсерам (среди них известен Гоц). Михаил Осипович Цетлин не принимал участия в подпольной работе, но писал революционные стихи под псевдонимом Амари, что в переводе на русский язык означает «Мария» — так звали его жену. Это был тщедушный, хромой человек, утомленный неустанными денскими просьбами. Жена его была более деловой. Кроме Волошина, у Цетлина бывали художники Диего Ривера, Ларионов, Гончарова; бывал и Б. В. Савинков — разочарованный террорист, автор романа «Конь блед», вызвавшего газетную бурю; о нем мне еще предстоит рассказать. Сейчас я хочу остановиться на Цетлиных. Они иногда звали меня в гости; у них были горки со старинным фарфором, гравюры; а я мечтал о том, когда же рухнет мир лжи. В одной из поэм я описал вечер у Цетлиных, но благодушно назвал их Михеевыми, а Михаила Осиповича — Игорем Сергеевичем, чай я заменил спичками: «Он любит грустить вечерами. Вот вечер снова... Как у Лермонтова: «Отдохнешь и ты»... Хорошо быть садовником, ни о чем не думать, поливать цветы. Утром слушать, как поют птички, как шумит трава над прудом... У Игоря Сергеевича две фабрики спичечные и в бумагах миллион. У Игоря Сергеевича жена и дочка Исиди, он собирает гравюры, он поэт. Иногда он удивляется: в самом деле я живу или нет? Вечером у Михеевых

гости: теософ, кубист, просто шутник и председательница какого-то общества, кажется «Помощь ослепшим воинам». Игорь Сергеевич всем улыбается пристойно. «Да, покрепче». — «Еще стаканчик?» — «И Гоген недурен, но я видел Сезанчика...» — «Простите за нескромность — сколько он просит?» — «Десять, отдаст за восемь...» — «О, кубизм, монументальность!» — «Только, знаете, это наскучило...» — «А я, наоборот, люблю, когда вместо глаз этикие штучки...» — «Вы знакомы со значением зодиака? Я от Штейнера в экстазе...» — «Я познаю гóспода, поеду в Базель...» — «Если бы вы знали, как нуждается наше общество! Мы устроим концерт. Это ужасно — ослепнуть навек...» — «Новости? Нет. Только взяли Ловчен...» — «Надоело. Я не читаю газет...» — «Вот, вот, а вы слыхали анекдот?...» Гости говорят еще много — об ухе Ван-Гога, о поисках бога, об ослепших солдатах, о санитарных собаках, о мексиканских танцах и об ассонансах...» Наверно, я был несправедлив к Михаилу Осиповичу, но это диктовалось обстоятельствами: он был богатым, приветливым, слегка скучающим меценатом, а я — голодным поэтом.

Макс уговорил Цетлина дать деньги на эфемерное издательство «Зерна», которое выпустило сборник Волошина, «Стихи о канунах» и мои переводы Франсуа Вийона.

Цетлин писал поэму о декабристах, писал ее много лет. В зиму 1917—18 года в Москве Цетлины собирали у себя поэтов, кормили, поили; время было трудное, и приходили все — от Вячеслава Иванова до Маяковского. Когда я буду писать о Маяковском, я постараюсь рассказать об одном памятном вечере (о нем упоминают почти все биографы поэта) — Маяковский прочитал поэму «Человек». Михаилу Осиповичу нравились все: и Бальмонт, который импровизировал, сочинял сонеты — акростихи; и архинученый Вячеслав Иванов; и Маяковский, доказывавший, что фирме Высоцкого пришел конец; и полубезумный Велемир Хлебников с бледным доисторическим лицом, который то рассказывал о каком-то замерзшем солдате, то повторял, что отныне он, Велемир, — председатель земного шара, а когда ему надоедали литературные разговоры, отходил в сторону и садился на ковер; и Марина Цветаева, выступавшая тогда за царевну Софью против Петра. Вот только Осип Эмилиевич Мандельштам несколько озадачивал хозяина: приходя, он говорил: «Простите, я забыл дома бумажник, а у подъезда ждет извозчик...»

Цетлин не был убежден в конце фирмы Высоцкого, несмотря на то, что сочувствовал эсерам и ценил поэзию Маяковского. Дом Цетлина на Поварской захватили анархисты во главе с неким Львом Черным. Цетлины надеялись, что большевики выгонят анархистов и вернут дом владельцам. Анархистов действительно выгнали, но дома Цетлины не получили и решили уехать в Париж. Уехали они летом 1918 года вместе с Толстым (Алексей Николаевич довольно часто бывал у Цетлиных).

В Париже Цетлины давали деньги на журнал «Современные записки», некоторое время поддерживали Бунина и других писателей-эмигрантов. Потом они уехали в Америку; архив их пропал вместе с Тургенвской библиотекой.

Макс был в Коктебеле. Он не прославлял революцию и не проклинал ее. Он пытался многое понять. Он не цитировал больше ни Вилье де Лилль Адана, ни прорицания Казотта, а погрузился в русскую историю и в свои раздумья. Понять революцию он не смог, но в вопросах, которые он себе ставил, была несвойственная ему серьезность. Летом 1920 года, когда я был в Коктебеле, Макс показал себя мужественным: он спрятал на чердаке своего дома большевика-подпольщика, которого разыскивали врангелевцы.

Белые арестовали поэта Мандельштама — какая-то женщина заявила, будто он пытал ее в Одессе. Волошин поехал в Феодосию, добился приема у начальника белой разведки, которому сказал: «По характеру вашей работы вы не обязаны быть осведомленным о русской поэзии. Я приехал, чтобы заявить, что арестованный вами Осип Мандельштам — большой поэт». Он помог Мандельштаму, а потом и мне выбраться из врангелевского Крыма. Он делал это не потому, что проникся идеями революции, нет, но он был человеком смелым, любил поэзию, любил Россию — как его ни звали за границу и те же Цетлины и другие писатели, он остался в Коктебеле. Умер он в 1931 году.

Стихи его теперь мало известны, но его имя знают и писатели и люди, почему-либо связанные с литературным бытом: дача Макса вместе со вновь построенными флигелями — Дом творчества Литфонда. Возможно, что на этой даче какого-нибудь поэта осенило вдохновение, и Макс после смерти еще раз вывел в свет начинающего автора.

Иногда я спрашиваю себя, почему Волошин, который полжизни играл в детские, подчас нелепые игры, в годы испытаний оказался умнее, зрелее, да и человечнее многих своих сверстников-писателей? Может быть потому, что был по своей природе создан не для деятельности, а для созерцания, — такие натуры встречаются. Пока все кругом было спокойно, Макс разыгрывал мистерии и фарсы не столько для других, сколько для самого себя. Когда же приподнялся занавес над трагедией века — в лето 1914 года, — Волошин не попытался ни взобраться на сцену, ни вставить в чужой текст свою реплику. Он перестал дурачиться и попытался осознать то, чего не видел и не знал прежде. Воспоминания о нем то смешат знавших его, то трогают, но никогда не принижают, а это немало...

18

Если я скажу, что в 1911 году я познакомился с поэтом, мягкое, задумчивое лицо которого, волнистые, нежные волосы, рассеянные движения выдавали мечтательность натуры, что в нем минуты шумного веселья перебивались глубокой грустью, что в литературных кругах тогда говорили о его книжке, изданной «декадентским» издательством «Гриф», что Брюсов, всячески расхваливая «почти дебютанта», высказывал опасения, «сумеет ли он удержаться на раз достигнутой высоте и найти с нее пути вперед», вряд ли кто-нибудь догадается, о ком я говорю. И если я приведу некоторые строки, хорошо мне запомнившиеся, как, например: «Ты зачем зашумела, трава? Напугала ль тебя тетива? Перепелочья ль кровь горяча, что твоя закачалась парча?» — то разве что немногие любители поэзии или дотошные литературоведы поймут, что речь идет об А. Н. Толстом. А я хорошо помню такого Толстого...

В своей поздней автобиографии Алексей Николаевич писал о книге стихов «За синими реками»: «От нее я не отказываюсь и по сей день». Не только стихи 1911 года написаны рукой автора «Петра Первого», но и молодой поэт был уже тем самым Алексеем Николаевичем, которого многие помнят сильно пополневшим, полысевшим и, главное, научившимся одни свои черты скрывать, а другие нарочито подчеркивать. Стоит посмотреть опубликованные воспоминания людей, встречавшихся с Толстым в тридцатые годы, чтобы понять, о чем я говорю; эти воспоминания разнообразны по яркости происшествий, рассказов или шуток Толстого, но неизменно тот Алексей Николаевич, который со вкусом ест, вкусно рассказывает, вкусно смеется, а между двумя раскатами смеха говорит нечто весьма значительное, заслоняет ху-дожника.

Юрий Олеша рассказал о своей первой встрече с Толстым осенью 1918 года: «Развлекает себя, и друзей, он кого-то играет. Кого? Не Пьера ли Безухова? Может быть! А не показывает ли он нам, как должен выглядеть один из тех чудаков помещиков, о которых он пишет?» Нет, Алексей Николаевич очень часто играл (нужно признать — замечательно!) самого Алексея Николаевича — образ, созданный художником.

Когда я с ним познакомился, этот «почти дебютант» был уже известен: его рассказы о «чудаках» Заволжья сразу привлекли к нему внимание. В нем были все черты зрелого Толстого, но они еще не были оформившимися; лицо, которое впоследствии казалось созданным для рисовальщика, в молодости требовало палитры живописца. Это не обязательный закон природы: некоторые люди к вечеру жизни мягчеют, с годами сглаживается первоначальная резкость, прямолинейность, угловатость. Алексей Николаевич, напротив, был значительно мягче, если угодно, туманнее в молодости и, что наиболее существенно, не умел (или не хотел) ограждать свой внутренний мир от людей, с которыми сталкивался.

Не помню, кто меня привел к Толстому, кажется Волошин, а может быть, художник Досекин. Алексей Николаевич был в Париже в 1911 году, потом весной 1913-го; в один из этих приездов он и его жена, художница Софья Исааковна, жили в пансионе на улице д'Ассас. Рядом с пансионом находилось кафе «Клозери де лиля», где я сидел весь день и писал. Я познакомил Толстого с различными достопримечательностями заведения: с «принцем поэтов», с итальянскими футуристами, с норвежским художником Дириком. Во время первой мировой войны в Москве Алексей Николаевич написал очерк о Париже и там вспомнил «Клозери де лиля»: «На левом же берегу со всей французской страстью, мужеством и великолепием нищеты поэты, прозаики и журналисты отстаивали свободу творчества, независимость и в старом кабаке, под каштанами, у памятника маршалу Нею, венчали лаврами открывателей новых путей... В том кабаке, под каштанами, вы всегда встретите в вечерний час у окна высокого, седого человека, похожего на викинга, и седую даму, когда-то прекрасную. Это — норвежский художник и его жена. Они прожили двадцать лет в Париже, каждый день бывая под каштанами».

Он любил Париж и как-то сразу его увидел. «Париж, всегда занавешенный прозрачной, голубоватой дымкой, весь серый, однообразный, с домами, похожими один на другой, с мансардами, куполами церквей и триумфальными арками, перерезанный и охваченный, точно венком, зелеными бульварами...», «Весь день неустанно живет, грохочет, колыхается, по ночам заливается светом огромный город, но не утомление вы почувствуете, пробуждая по нему весь день, а спокойную, тихую грусть. Вы чувствуете, что здесь поняли смерть и любяг печальную красоту жизни...», «Стар, ужасно стар Париж. Особенно люблю его в сырые деньки. Бесчисленны очертания полукруглых графитовых крыш, оттуда в туманное небо смотрят мансардные окна. А выше — трубы, трубы, трубы, дымки. Туман прозрачен, весь город раскинут чашей, будто выстроен из голубых теней...»

За несколько месяцев до своей смерти Алексей Николаевич говорил мне, что, когда кончится война, он поедет на год в Париж, поселится где-нибудь на набережной Сены и будет писать роман; помню его слова: «Париж располагает к искусству...» Чудак, который, по словам Ю. К. Олеша, играл нелепого героя «Заволжья», никогда не чувствовал себя в Париже туристом: не осматривал, не восхищался, не отплевывался, а сразу начал жить в этом городе, бывал в нем порой очень печален, но и в печали этой счастлив. (Я не говорю о годах вынужденного пребывания в Париже, когда он неотвязно думал об оставленной им

России. Я уже писал, что у эмиграции свой климат. В письме к матери, когда Толстому было четырнадцать лет, он приводил старую народную песню: «Ох, хохо-хохоношки, скучно жить Афонюшке на родной сторопушке без родимой матушки». В Париже, оказавшись эмигрантом, он написал рассказ «Настроения Н. Н. Бурова» и эпиграфом поставил «Ох, хохо-хохоношки, скучно жить Афонюшке на чужой сторопушке». Лучше настроения человека, насильно оторванного от родной земли, пожалуй, не выразишь.)

Я хорошо знал того Толстого, которого написал П. П. Кончаловский, — лицо сливается с натюрмортом, человек с бытом. Но мне хочется рассказать о другом Толстом — преданном искусству. Его слова «Париж располагает к искусству» не были случайными. Как настоящий художник, он всегда был неуверен в себе, неудовлетворен, мучительно искал форму для выражения того, что хотел сказать. Он говорил об этом часто и в зрелом возрасте, в беседах с молодыми писателями старался пристрастить их к работе; он не находил нужным делиться со многими своей бедой, недовольством, мучительными часами, когда с удивлением и тревогой прочитывал написанное им накануне. Сколько раз он говорил мне: «Илья, понимаешь, — пишешь и кажется хорошо, а потом вижу пакость, понимаешь — пакость!..» В начале 1941 года вышла в новом издании его повесть «Эмигранты» (в первой редакции — «Черное золото»); вещь эта мне казалась неудавшейся, я о ней никогда с Толстым не говорил; он написал на книжке: «Ильс Эренбургу — глубоко несовершенную и приблизительную повесть. Но, друзья мой, важны конечные результаты жизни художника. Ты это понимаешь». Слово «приблизительно» он употреблял часто как осуждение: говорил о холсте, который ему чем-то не понравился, о строке стихотворения: «Это приблизительно...»

Он хотел было учиться живописи, но быстро это дело оставил. Когда мы познакомились, о картинах он говорил с увлечением; может быть, в этом сказывалось влияние Софьи Исааковны, которая была художницей; но Толстой обладал даром видеть природу, лица, вещи. Он водился с мастерами — краснодеревцами, литейщиками, переплетчиками, не только знавшими свое ремесло, но влюбленными в него, обладавшими фантазией. В своей автобиографии он рассказал, какое впечатление произвели на него в молодости стихи Анри де Ренье в переводе Волошина: «Меня поразила чеканка образов». Анри де Ренье не бог весть какой поэт, но писать он умел, и поразила сн Толстого именно мастерством.

Алексей Николаевич писал также, что в поисках народного характера речи он учился у А. М. Ремизова, Вячеслава Иванова, Волошина. Еще до этого — в ранней молодости — он попал в знаменитую «башню» Вячеслава Иванова. Волошин рассказал мне смешную историю, относящуюся к тому времени, когда Толстой пытался усвоить идеи и словарь символистов. В Берлине он встретил Андрея Белого, который что-то ему наговорил об антропософии. Белого вообще было трудно понять, а тем паче, когда он объяснял свою путаную веру. Вскоре после этого на «башне» зашел разговор о Блаватской, о Штейнере. Толстому захотелось показать, что он тоже не профан, и вдруг он выпалил: «Мне в Берлине говорили, будто теперь египтяне перевоплощаются...» Все засмеялись, а Толстой похолодел от ужаса. Много лет спустя я спросил Алексея Николаевича, не выдумал ли Макс историю с египтянами. Толстой рассмеялся: «Я, понимаешь, сел в лужу...»

Разговоры о перевоплощении, мистический анархизм, богоскательство, обреченность — все это никак не соответствовало натуре Толстого. Освоив несколько мастерство, натолкнувшись на свои темы, он рас-

стался с символистами (с Волошиным он продолжал дружить); высмеял «декадентов» в рассказах, потом в трилогии. Но вот я возвращался с ним из Харькова в Москву в декабре 1943 года. Поезда тогда шли очень медленно. Мы с А. Н. Толстым заняли одно купе; в других купе ехали К. Симонов, иностранные журналисты. Толстой почти всю дорогу вспоминал прошлое; кажется, он хотел в эти два дня проделать то, что я пытаюсь сделать теперь: задуматься над своим прошлым. Неожиданно для меня он с любовью, с уважением вспоминал поэтов-символистов, говорил, что многому у них научился; вспомнил и «башню»; потом вдруг рассердился, что теперь у молодых поэтов нет ни почтения к прошлому, ни понимания всей трудности искусства; сказал, чтобы в купе позвали К. Симонова, долго ему внушал: нужно входить в дом искусства благоговейно, как он когда-то подымался на «башню».

Потом он заговорил о Блоке. В романе «Сестры» есть поэт-декадент Бессонов; в нем многие увидели карикатурное изображение Блока. Толстой разъярился, что хотел высмеять «обезьян Блока». Но, слов нет, сам того не сознавая, он придал Бессонову некоторые черты Блока; в этом он мне признался; и я поверил, что сделал он это без умысла. Психология творчества, печальные истории, выпадавшие на долю разных писателей (достаточно вспомнить ссору Левитана с Чеховым после «Попрыгуньи»), показывают, что отдельные черты, поступки, словечки живого человека могут незаметно войти в тот сплав, который мы называем «персонажем романа»; и художник не дает себе отчета, где кончаются воспоминания, где начинается творчество. Мысль о том, что в Бессонове увидели некоторые черты Блока, была тяжела для Алексея Николаевича. Он мне рассказывал о встрече с Блоком во время войны, о том, что Блок был очень человечен; потом замолк, а к вечеру стал повторять отдельные строки блоковских стихов.

(Вот еще одно свидетельство — «Воспоминания» Бунина. В восьмидесяти два года Бунину захотелось очернить всех: Горького и А. Н. Толстого, Блока и Маяковского, Леонида Андреева и Сологуба, Бальмонта и Брюсова, Хлебникова и Пастернака, Андрея Белого и Цветаеву, Есенина и Бабеля, Волошина и Кузмину. Бунин вспоминает: «Московские писатели устроили собрание для чтения и разбора «Двенадцати», пошел и я на это собрание. Читал кто-то, не помню кто именно, сидевший рядом с Ильей Эренбургом и Толстым. И так как слава этого произведения, которое почему-то называли поэмой, очень быстро сделалась вполне неоспоримой, то, когда чтец кончил, воцарилось сперва благоговейное молчание, потом послышались негромкие восклицания: «Изумительно! Замечательно!» Бунин далее излагает свое выступление — он поносил «Двенадцать», называя поэму «дешевым, плоским трюком». «Вот тогда и затряс мне скандал Толстой; нужно было слышать, когда я кончил, каким петухом заорал он на меня...» Я вспоминаю тот вечер. Алексей Николаевич тогда во многом сомневался, по словам Бунина о поэзии Блока он назвал «кощунством».)

Стихи он часто вспоминал и всегда неожиданно — ю шагая по улице, то на дипломатическом приеме, то разговаривая о чем-то сугубо деловом, изумляя своего собеседника. Зимой 1917—18 года мы часто бывали у С. Г. Кара-Мурзы, верного и бескорыстного друга писателей; там мы ужинали, читали стихи, говорили о судьбе искусства. Возвращались мы поздно ночью ватагой. Кара-Мурза жил на Чистых Прудах, а мы — кто на Поварской, кто на Пречистенке, кто в переулках Арбата. Алексей Николаевич забавлял нас целеными анекдотами и вдруг оставался среди сугробов — вспоминал строку стихов то Есенина, то Н. В. Крандиевской, то Веры Инбер.

Летом 1940 года я вернулся из Парижа в Москву. Толстой позвонил: «Илья, приезжай ко мне на дачу», — дача у него была в Барвихе. (Перед этим мы долгие годы были в ссоре, даже не разговаривали друг с другом. Раз в Ленинграде в табачном магазине он меня увидел у прилавка и шепнул моей жене: «Скажите ему, что этот табак пакость. Вот какой нужно покупать...») Как я ни пытался, не могу вспомнить, почему мы поссорились. Я спросил жену Алексея Николаевича — может быть, он ей говорил о причине нашей ссоры. Людмила Ильинична ответила, что Толстой вряд ли сам помнил, что произошло. Пожалуй, это лучше всего говорит о характере наших отношений.) На даче Толстой поил меня бургундским: «А ты знаешь, что ты пьешь? Это ро-ма-нея!» Он расспрашивал о Франции; рассказ, конечно, был невеселым. Потом я читал стихи, написанные в Париже после прихода немцев. Одна строка остановила его внимание, он несколько раз повторил: «...Темное, как человек, искусство...»

Он был удивительным рассказчиком; тысячи людей помнят и теперь различные истории, которые он пронес через всю жизнь: о том, как в его детстве кухарка подала суп в ночном горшке, или о дьяконе, который загонял себе в рот бильярдные шары. Слушая его, можно было подумать, что он пишет легко, а писал он мучительно, иногда работал дни напролет, исправлял, писал заново, бывало — бросал начатое: «Пони-маешь, не получается. Пакость!..»

В молодости он увлекался интригой, действием, разворачивающимся неожиданно для читателя. Он иногда записывал, иногда просто запоминал историю, которую ему кто-либо рассказал; такие истории становились канвой рассказа. Вот происхождение рассказа «Миссионер» (в первоначальной редакции «И на старуху бывает проруха»). В Париже было немало случайных эмигрантов; таким был один сапожник, в 1905 году принявший участие в солдатском бунте. Звали его Осипов. Он женился на француженке, кое-как жил, но был он тем Афонюшкой, которому скучно на чужой стороншке; человек запил. Как-то ему стало не по себе: почему его сын католик? Он пошел в русскую церковь на улице Дарю, каялся, молил священника окрестить ребенка по-православному. Священник умилился, не только выполнил обряд, но дал Осипову двадцать франков. Осипов в бога не верил, ни в католического, ни в православного, а двадцать франков пропил. Месяц спустя, когда его взяла тоска, а денег на водку не было, он решил пойти к католическому священнику, рассказал, что православные его обманули, но он может «перегнать сына назад в католики». Я рассказал Алексею Николаевичу о сапожнике; он долго смеялся; что-то записал в книжку. Слово «перегнать», которое ему сразу понравилось, в рассказе осталось, но Толстой «переиграл» — герой рассказа уже не просто запойный горемыка, а ловкач, который «перегоняет» детей оптом и шантажирует автора повествования.

Алексей Николаевич неоднократно мне говорил, что порой его рассказы рождаются «черт знает от чего»: от истории, рассказанной кем-то десять лет назад, от смешного словечка. Я вспомнил наши почные прогулки в первую зиму после революции. Толстой уверял, что я должен доставить его до дому — на Молчановке, так как моего вида страшатся бандиты. (Не помню, как я был тогда одет, помню только, что Алексея Николаевича сместила высокая шапка, похожая на клобук. Несколько лет назад мне принесли копию фотографии: Алексей Николаевич и я, подписано рукой Толстого: «Тверской бульвар, июнь 1918». Алексей Николаевич в канотье, а на мне высочайшая шляпа мексиканского ковбоя.) Толстой прозвал меня «тухлым дьяволом». Вскоре он написал рассказ «Тухлый дьявол» о писателе-мистике и козле. Писатель на меня

не похож, да и шапка у него низенькая, круглая, а тухлый дьявол не писатель, но козел; все же рассказ родился в ту минуту, когда Толстой, посмотрев на меня, сказал: «Ты знаешь, Илья, кто ты? Тухлый дьявол. От тебя любой бандит убежит...»

Он работал не как архитектор, а скорее как скульптор: очень рано распрощался с планами романов или рассказов; часто, начиная, не видел дальнейшего; много раз говорил мне, что еще не знает судьбы героя, не знает даже, что приключится на следующей странице, — герои постепенно оживали, складывались, диктовали автору сюжетные линии. (Это относится к зрелому периоду Толстого.)

Есть писатели-мыслители; Алексей Николаевич был писателем-художником. Очень часто человеку мучительно хочется сделать именно то, что ему не свойственно. Я помню, как Алексей Николаевич в молодости долго сидел над книгой — хотел, даря ее, написать афоризм; ничего у него не выходило.

Он необычайно точно передавал то, что хотел, в образах, в повествовании, в картинах; а думать отвлеченно не мог: попытки вставить в рассказ или повесть нечто общее, декларативное заканчивались неудачей. Его нельзя было отделить от стихии искусства, как нельзя заставить рыбу жить вне воды. Его самые совершенные книги — «Заволжье», «Детство Никиты» и, конечно же, «Петр Первый» — внутренне свободны, писатель в них не подчинен интриге, он повествует; особенно он силен там, где его рассказ связан с корнями, будь то собственное детство или история России, в которой он себя чувствовал легко, уверенно, как в комнатах обжитого им дома.

В своих идеях он был представителем добротной русской интеллигенции. (Это не определение рода занятий, а историческое явление; недаром в западные языки вошло русское слово «интеллигенция» в отличие от имевшегося понятия «работников умственного труда».)

Расскажу о первом столкновении Толстого с расизмом — задолго до второй мировой войны. Напротив «Клозери де лиля» помещалась огромная танцулька «Бал Билье» (теперь это здание снесли). Толстые иногда туда ходили. Раз Софью Исааковну пригласил танцевать негр; она его представила мужу. Негр Алексею Николаевичу понравился и был приглашен на обед в пансион. Среди пансионеров имелся американец; увидев, что Толстые привели в столовую черного, он возмутился. Алексей Николаевич наивно стал объяснять американцу, что этот негр весьма образованный человек, даже произвел его в князья. Американец ничего не хотел слушать: «У нас такие князья чистят ботинки». Тогда Толстой рассердился и выбросил американца по лестнице со второго этажа вниз — при плаче хозяйки, но при одобрительных возгласах других пансионеров французов.

В 1917—1918 годы он был растерян, огорчен, иногда подавлен: не мог понять, что происходит; сидел в писательском кафе «Бом»; ходил на дежурства домового комитета; всех ругал и всех жалел, а главное — недоумевал. Иногда к нему приходил И. А. Бунин, умный, злой, и рассказывал умно, зло, но несправедливо; рассказывал, помню, как к нему пришел мужик — предупредить, что крестьяне решили сжечь его дом, а добро унести. Иван Алексеевич сказал ему: «Нехорошо», — тот ответил: «Да что тут хорошего... Побегу, а то без меня все заберут. Чай я не обсевок какой-нибудь!» Толстой невесело смеялся.

Часто бывала у него петербургская поэтесса Лиза Кузьмина-Караваева; она говорила о справедливости, о человеколюбии, о боге. Дальнейшая ее судьба необычна. Уехав в Париж, она родила дочку, а потом постриглась; в монашестве приняла имя Марии. Дочка подросла и стала

коммунисткой. Когда Толстой приехал в Париж, девушка попросила его помочь ей уехать в Советский Союз. Во время войны монахиня Марья стала одной из героинь Сопротивления. Немцы ее отправили в Равенсбрюк. Когда очередную партию заключенных вели в газовую камеру, мать Марья стала в колонну на место молоденькой советской девушки. В зиму, о которой я рассказываю, Лиза своим глубоким беспокойством заражала Толстого.

Он видел трусость обывателей, мелочность обид, смеялся над другими, а сам не знал, что ему делать. Как-то он показал мне медную дощечку на двери — «Гр. А. Н. Толстой» — и захохотал: «Для одних граф, для других гражданин», — смеялся он над собой.

«Мадам Кошке сказала, подавая блюдо индийскому принцу: «Вот дичь». Это он рассказывал, смеясь, за обедом. Потом, поговорив с молоденьким левым эсером, расстроился. Так рождался рассказ «Милосердия!»; Толстой впоследствии писал, что это была первая попытка высмеять либеральных интеллигентов; он не добавил, что умел смеяться и над своим смятением.

Весной 1921 года я приехал в Париж. Толстой позвал на меня гостей: Бушина, Тэффи, Зайцева. Толстой и Наталья Васильевна мне обрадовались. Бунин был непримирим, прервал мои рассказы о Москве заявлением, что он может теперь разговаривать только с людьми своего звания, и ушел. Тэффи пыталась шутить. Зайцев молчал. Алексей Николаевич был растерян: «Понимаешь, ничего нельзя понять...» Вскоре после этого французская полиция выслала меня из Парижа.

Потом я встретил Алексея Николаевича в Берлине: он уже знал, что скоро вернется в Россию. В статьях о нем пишут про смеловеховцев, про «постепенный подход» к идеям революции. Мне кажется, что дело было и проще и сложнее. Две страсти жили в этом человеке: любовь к своему народу и любовь к искусству. Он скорее почувствовал, чем логически понял, что писать вне России не сможет. А любовь к народу была такая, что он рассорился не только со своими друзьями, но и со многим в самом себе — поверил в народ и поверил, что все должно идти так, как пошло.

Двадцать лет спустя я часто встречался с ним в очень трудное время, когда мало было одного сознания, требовались любовь и вера. Говорили, будто от уныния его всегда ограждал прирожденный оптимизм; нет, и в 1913 году, и в 1918-м я видел Алексея Николаевича не только унылым, но порой отчаявшимся (это, конечно, не мешало ему шутить, смеяться, придумывать комические истории). А вот в грозное лето 1942 года он сохранял душевную бодрость: он твердо стоял на своей земле, был освобожден от того, что особенно претило его натуре, — от сомнений, от необходимости искать выход, от ощущения одиночества.

В декабре 1943 года мы были с ним в Харькове, на процессе военных преступников. Я не пошел на площадь, где должны были повесить осужденных. Толстой сказал, что должен присутствовать, не смеет от этого уклониться. Пришел он с казни мрачнее мрачного; долго молчал, а потом стал говорить. Что он говорил? Да то, что может сказать писатель; то самое, что до него говорили и Тургенев, и Гюго, и русский поэт К. Случевский...

В последние годы его тянуло к друзьям прошлого. Часто встречался он с Алексеем Алексеевичем Игнатьевым и его женой Натальей Владимировной. Об Игнатьеве я расскажу, когда дойдет дело до первой мировой войны. Толстой его любил: в чем-то у них были сходные пути — оба пришли к революции из другой, прежней России. Бывали у Толстого В. Г. Лидин, П. П. Кончаловский, доктор В. С. Галкин, С. М. Михоэлс.

Толстой ожесточенно работал над третьей частью «Петра Первого». Осенью 1944 года он был уже болен; я пришел к нему, он хмурился, старался шутить и вдруг как бы ожил — заговорил о своей работе: «Пятую главу кончил... Петр у меня опять живой...» Он боролся со смертью мужественно, и помогала ему не столько его живучесть, сколько страсть художника.

На Спиридоновке был прием в День Красной Армии. Все были в хорошем настроении: приближалась развязка. Вдруг по залам пронеслось: «Умер Толстой...» Мы знали, что он очень тяжело болен, и все же это показалось неслепостью — несправедливым, бессмысленным, ужасным.

Он мне как-то сказал: «Илья, ты должен быть мне признателен по гроб — я тебя научил курить трубку...» Я думаю о нем действительно с глубокой признательностью. Ничему он меня не научил — вот только что курить трубку... Был он на девять лет старше меня, но никогда я не воспринимал его как старшего. Он меня не учил, но радовал — своим искусством, своей душевной тонкостью, скрываемой часто веселой маской, своим аппетитом к жизни, верностью друзьям, народу, искусству. Он сформировался до революции и нашел в себе силы перешагнуть в другой век, был с Россией в 1941 году. Глядя на его большую, тяжелую голову, я всегда чувствовал: этот все помнит, но память его не придавила. Я ему признателен за то, что мы встретились в глухое, спокойное время, в 1911 году, и что я был у него на даче, когда он 10 января 1945 года, больной, справлял свой день рождения — за шесть недель до смерти; признателен за то, что в течение тридцати пяти лет я знал, что он живет, чертыхается, хохочет и шшет — с утра до ночи пишет, и так пишет, что читаешь, и дыхание захватывает от совершенства фразы.

19

Есть распространенный образ башни из слоновой кости, которую облюбовали поэты и художники, пожелавшие уйти от действительности. В этой башне я никогда не был и не знаю, существовала ли она. Не был я и в той «башне» (вернее, на чердаке), где жил поэт В. И. Иванов и куда ходил молодой Алексей Толстой. Нас было человек сто, поэтов и художников, которые ненавидели существующее общество; французы, русские, испанцы, итальянцы, люди других национальностей, все чрезвычайно бедные, плохо одетые, голодные, но упрямые в своем желании создать новое, настоящее искусство. Мы жили в душном, полутемном кафе, и оно никак не походило на башню из слоновой кости.

В конце 1924 года Маяковский писал: «Париж фиолетовый, Париж в анилине вставал за окном «Ротонды». Маяковский увидал «Ротонду», которую осматривали туристы, как достопримечательность; это уже было не паршивое, вонючее кафе, а памятник старины, отремонтированный, расширенный, заново выкрашенный. Иностранцы приходили и слушали объяснения гидов: «За этим столиком обычно сидели Гийом Аполлинер и Пикассо... Вот в том углу Модильяни рисовал присутствовавших и отдавал за рюмку коньяку рисунок...»

Теперь и туристгов водить некуда: вместо «Ротонды» построили киногатр. Только в киностудиях иногда восстанавливают бутафорскую «Ротонду»: изготавливают фильмы о бурной и загадочной жизни «последних представителей богемы». Картины получаются вздорные, даже не потому, что герои не напоминают прототипов, а потому, что у постановщиков нет ключа к тем мыслям и чувствам, которые воодушевляли посетителей «Ротонды».

Кафе напоминало сотни других. У цинковой стойки извозчики, шоферы такси, служащие пили кофе или аперитивы. Позади была темная комната, прокуренная раз и навсегда — двенадцать столиков. Вечером эта комната заполнялась; стоял крик: спорили о живописи, декламировали стихи, обсуждали, где достать пять франков, ссорились, мирились; кто-нибудь напивался, его вытаскивали. В два часа ночи «Ротонда» закрывалась на один час; иногда хозяин разрешал завсегдашним, если они вели себя пристойно, просидеть часок в темном пустом помещении — это было нарушением полицейских правил; в три часа кафе открывалось, и можно было продолжать невеселые разговоры.

Владелец кафе Либион не мог представить себе, что его имя попадет в историю живописи. Это был добродушный толстый кабатчик, который купил небольшое кафе; случайно «Ротонда» стала генеральным штабом разноязычных чудачков, или, как говорил Макс Волошин, «обормотов», поэтов и художников, из которых некоторые впоследствии стали знаменитыми. Будучи обыкновенным средним буржуа, Либион вначале косо поглядывал на весьма странных клиентов; кажется, он принимал нас за анархистов. Потом он к нам привык, даже полюбил нас. Кто-то сказал ему, что некоторые люди разбогатели на живописи: покупали за гроши картины у никому не известных художников, а двадцать лет спустя продавали их за большие деньги. Идея такого заработка не очень соблазняла Либиона; как-то он сказал мне, что не любит азартных игр, а покупать картины — это лотерея: хорошо, если из тысячи художников один выйдет в люди. Он предпочитал зарабатывать на напитках. Конечно, порой он брал рисунок Модильяни за десять франков — ведь блюдец гора, а у бедняги нет ни одного су... Иногда Либион давал пять франков поэту или художнику, сердито говорил: «Найди себе бабу, а то у тебя глаза сумасшедшие...» На его нижней губе неизменно красовался окурок погасшей сигареты. Ходил он по большей части без пиджака, но в жилетке.

Однажды, когда я сидел в «Ротонде», художница Мямлина попросила меня поддержать ее грудного ребенка — ей нужно купить напротив сигареты. Прошло полчаса, прошел час — Мямлиной не было. Младенец начал кричать. Подошел Либион, выслушал меня и явно не поверил: «Знаю я вас — изготавливаете ребят, а потом от них отрешиваетесь. Ладно, носи его ко мне — у меня там старая женщина, она тебе поможет. Хорош папаша!» Либион жил рядом с «Ротондой»; квартира была мешанской: красные портьеры, на стене красненький пейзаж. Никогда бы он не повесил у себя Модильяни или Суттина, боже упаси! Он привязался к своим клиентам, но не к их произведениям...

После Февральской революции в «Ротонду» как-то пришли русские солдаты из бригады, которую царское правительство направило на Западный фронт: им сказали, что здесь они смогут разыскать русских эмигрантов. Солдаты требовали, чтобы их отправили в Россию. Полиция начала придирается к Либиону; говорили, будто «Ротонда» — главная квартира революционеров; запретили посещение этого кафе военными; Либиону нанесли серьезные убытки; ко всему он испугался: время было скверное, Клемансо решил закрутить гайки покрепче, полиция бесчинствовала. Повздыхав, покряхтев, Либион продал «Ротонду» другому кабатчику, а сам купил небольшое кафе в спокойном месте — подальше от художников. Но тогда-то он понял, что обыкновенные посетители ему не интересны. Иногда он приходил в «Ротонду», садился в темный угол, заказывал кружку пива и тоскливо глядел по сторонам. Несколько лет спустя он умер; хоронить его пришли художники, поэты, некоторые люди стали к этому времени известны, и Либион, как многие его клиенты, узнал посмертную славу.

Мой первый роман начинается с точной справки: «Я сидел, как всегда, в кафе на бульваре Монпарнас перед пустой чашкой и ждал, что кто-нибудь освободит меня и заплатит шесть су терпеливому официанту». Затем я рассказываю, что в кафе вошел Хулио Хуренито, которого я принял за черта; это, конечно, вымысел. Я встретил в «Ротонде» людей, сыгравших крупную роль в моей жизни, но ни одного из них я не принял за черта — мы все тогда были и чертями и мучениками, которых черти жарят на сковородке. В театры мы ходили редко, не только потому, что у нас не было денег, — нам приходилось самим играть в длинной запутанной пьесе; не знаю, как ее назвать — фарсом, трагедией или цирковым обозрением; может быть, лучше всего к ней подойдет определение, придуманное Маяковским, — «мистерия-буфф».

Конечно, внешне «Ротонда» выглядела достаточно живописно: и смесь племен, и голод, и споры, и отверженность (признание современников пришло, как всегда, с опозданием). Именно эта живописность прельщает кинопостановщиков. Когда случайный посетитель, шофер или банковский служащий, выпив у стойки кофе с рюмочкой, заглядывал в мрачную комнату, он изумленно улыбался или, возмущенный, отворачивался: публика была необычной даже для привыкших ко всему парижан.

Поражала прежде всего пестрота типов, языков — не то павильон международной выставки, не то черновая репетиция предстоящих конгрессов мира. Многие имена я забыл, но некоторые помню; одни из них стали известны всем, другие померкли. Вот далеко не полный список. Французские поэты Гийом Аполлинер, Макс Жакоб, Блез Сандрар, Кокто, Сальмон, художники Леже, Вламинк, Андре Лот, Метценже, Глез, Карно, Рамэ, Шантал, критик Эли Фор; испанцы Пикассо, Хуан Грис, Мария Бланшар, журналист Корпус Барга; итальянцы Модильяни, Северини; мексиканцы Диего Ривера, Саррага; русские художники Шагал, Сутин, Ларионов, Гончарова, Штеренберг, Кремень, Федер, Фотинский, Маревна, Издебский, Дилевский, скульпторы Архипенко, Цадкин, Мещанинов, Индельбаум, Орлова; поляки Кислинг, Маркусси, Готтлиб, Зак, скульпторы Дуниковский, Липшиц; японцы Фужита и Кавашима; норвежский художник Пер Крог; датские скульпторы Якобсен и Фишер; болгарин Паскин. Вспомнить трудно — наверно, я привел одну десятую имен.

Внешность посетителей также должна была удивлять несведущих. Никто, например, не может достоверно описать, как был одет Модильяни; в хорошие периоды на нем была куртка из светлого бархата, на шее красный фуляр; когда же он долго пил, нищенствовал, хворал, он был обмотан в яркое тряпье. Японский художник Фужита прогуливался в дотомканом хитоне. Диего Ривера потрясал лепной мексиканской палкой. Его подруга, художница Маревна (Воробьева-Стебельская), любила пестро одеваться, голос у нее был громкий, пронзительный. Поэт Макс Жакоб жил в другом конце Парижа — на Монмартре; он приходил днем в вечернем костюме, блистала белоснежная манишка; в глазу всегда был монокль. Индеец с перьями на голове показывал всем свои пастели. Негритянка Айша, откидывая назад большую голову, покрытую черно-синими жесткими кудряшками, бурно хохотала, в полумраке сверкали ее зубы. Скульптор Цадкин появлялся в рабочей спецовке, его сопровождал огромный датский дог, славившийся крутым нравом. Натурщица Марго по привычке раздевалась; однажды она мне сказала, что ее мечта — стать королевой; я удивился, она объяснила: «Дурачок! Ведь королеву каждому хочется изнасиловать...» Неизменно в самом темном углу сидели Кремень и Сутин. У Сутина был вид перепуганный и сонный; казалось, что

его только что разбудили, он не успел помыться, побриться; у него были глаза затравленного зверя, может быть от голода. Никто на него не обращал внимания. Можно ли было себе представить, что о работах этого грядущего подростка, урженца местечка Смиловичи, будут мечтать музеи всего мира?..

Помню, как Давид Петрович Штеренберг привел в «Ротонду» А. В. Луначарского. Я сидел с ними за одним столиком. Луначарский хвалил рисунки Стейнлена, говорил, что Франц Штук — художник упадочный, но интересный. Я не соглашался, Стейнлен мне казался незначительным, а Штук — дурным и безвкусным декадентом, но мне было с Анатолием Васильевичем уютно: я почувствовал себя в Москве. Когда он ушел, Либион сказал мне: «Я не думал, что у тебя есть порядочные знакомства. Этот господин — твой земляк? Он может тебе помочь стать на ноги...»

Рассказывая о живописности посетителей «Ротонды», я должен признаться, что не отставал от других. Еще в период «Клозери де лиля» я выглядел несуразно. С. И. Толстая вспоминает, что Алексей Николаевич послал открытку в кафе, поставив вместо моей фамилии: «Au monsieur Paul coiffé» — «Плохо причесанному господину», — и открытку передал именно мне. А в «Ротонде» я совсем обосаялся. Волошин в газетной статье 1916 года описывал «болезненного, плохо выбритого человека с очень длинными и очень прямыми волосами, спадающими несуразными космами, в широкополой фетровой шляпе, стоящей торчком, как средневековый колпак, сгорбленного, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь». Макс уверял, что мое «появление в других кварталах Парижа вызывает смуту и волнение прохожих. Также впечатление должны были производить древние цинические философы на улицах Афин и христианские отшельники на улицах Александрии».

Завсегдаги «Ротонды» были неизвестны за ее пределами. Но Пикассо уже знали, о нем иногда писали в газетах; Либиону рассказали, что картины Пабло покупает «русский князь Шукэн» (Щукин), и он почтительно здоровался: «Добрый день, господин Пикассо!»

Пабло жил на Монмартре, потом перебрался на Монпарнас, снял мастерскую недалеко от «Ротонды». Я никогда не видал его пьяным. Он выглядел юношей; любил проказничать. Однажды он пришел с Диего, рассказал, что они исполнили серенаду под окнами Гийома Аполлинера: «Mère de Guillaume Apollinaire». В переводе это означает «мать Аполлинера», но по-французски звучит не вполне благозвучно. Порой заходил в «Ротонду» Аполлинер; я переводил его стихи, и он мне казался прекрасным, но чересчур гармоничным: для меня он был уже классиком. Он тоже любил шутить; предложил написать мистерию о змее, яблоке и Пикассо: Пабло, как суеверный испанец, не мог слышать слово «змея». Я говорил Ривере: «Аполлинер — это Гюго, Пушкин. Он пишет: «Сладкий Пан, любовь и Христос умерли. Кошки мяучат тоскливо. И я не в силах сдержать своих слез...» Диего отвечал: «Это потому, что Аполлинер — француз, то есть он поляк, но пишет по-французски...» Я не раз давал себе обет — не написать ни одной строки по-французски. А к стихам Аполлинера я, конечно, был несправедлив: он был человеком нового века, чуть припудренным серебряной пылью старых европейских дорог.

Жизнь в «Ротонде» была скорее однообразной; порой приключались события, о которых несколько дней говорили. Кислинг и Готтлиб дрались на дуэли, одним из секундантов был Диего; о дуэли пронюхали журналисты, и на один день все газеты занялись «Ротондой». Среди посетителей кафе было много скандинавов; Либион для них выписывал иностранные газеты. Шведы пили больше всех, это были идеальные клиенты. Помню,

рядом со мной сидел художник швед; он то и дело заказывал двойную порцию коньяка; на столике красовался столб блюдец. Коньяк не мешал шведу внимательно читать «Свенска дагблад»; газета закрывала его лицо. Вдруг газета упала — оказалось, что швед умер. Пришла полиция; мы молча отправились по домам. Однажды испанец, огромный детина, разъярился, схватил мраморный столик за ножку и начал им размахивать, кричал, что сейчас перебьет всех — ему опротивела жизнь. Мы отступили к стойке. У Либбона был твердый принцип: никогда не звать полицию. Испанец неожиданно улыбнулся, поставил столик на место и сказал: «А теперь можно выпить за жизнь номер два...»

При всем этом «Ротонда» была не притоном, а кафе; там владельцы картинных галерей назначали свидания художникам, ирландцы обсуждали, как им покончить с англичанами, шахматисты разыгрывали длинные партии. Среди последних помню Антонова-Овсенко; перед каждым ходом он приговаривал: «Нет, на этом вы меня не поймаете, я стреляный...»

В конце 1914 года из Италии приезжал в Париж брат Модильяни — социалист, депутат парламента. Джузеппе Модильяни был против вступления Италии в войну; в «Ротонде» он назначил свидание Ю. О. Мартову и П. Л. Лапинскому. Говорили, что он счел огорчился, увидав своего брата в безумном состоянии, и приписал это дурным знакомствам, «Ротонде».

Между тем «Ротонда» не могла никого лишить душевного спокойствия, она просто притягивала к себе людей, спокойствия лишенных. Журналисты не знали, о чем мы беседуем; порой они описывали драки, попойки, самоубийства. Дурная слава «Ротонды» росла. Во время войны я увидел за соседним столиком молодую скромную женщину, по ее виду было ясно, что она попала на Монпарнас случайно. Она робко заговорила со мной; оказалось, она модистка, приехала на один день в Париж из Пуатье и захотела познакомиться с жизнью художников. Я ей объяснил, что я не художник, а русский поэт. Это ей показалось еще более романтическим. Она меня проводила до гостиницы и попросила разрешения посмотреть, как я живу. Мои мысли были заняты художницей Шантал, и я сухо сказал, что должен работать. «Вы работайте, а я тихонько посижу...» Она ужаснулась беспорядку в моей комнате, все прибрала; достала из шкафа рваные носки, заштопала, пришила пуговицы к рубашкам и ушла довольная — познакомилась с бытом богемы. А я сидел в холодной комнате и сочинял стихи: «В колбасной дремали головы свиней, бледные, как дамы, из неподвижных глаз сочили унынье на заплаканный мрамор. Если хотите, я подарю вам фаршированного бора или бонбоньерку с видами Реймского собора...»

Я рассказываю о «Ротонде», и невольно вспоминаются анекдотические эпизоды; между тем все было куда печальней и куда серьезней. Модильяни по вечерам рисовал в кафе портреты, рисовал на почтовой бумаге, иногда двадцать рисунков подряд. Но ведь не поэтому он стал Модильяни. Работали мы не в «Ротонде», а в нетопленных мастерских, на чердаках, в грязных мебелирашках, именуемых гостиницами. Мы приходили в «Ротонду» потому, что нас влекло друг к другу. Не скандалы нас привлекали; мы даже не вдохновлялись смелыми эстетическими теориями; мы просто тянулись друг к другу: нас роднило ощущение общего неблагополучия.

Я напишу о Пикассо, Модильяни, Леже, Ривере. Сейчас мне хочется забежать вперед, понять, что тогда приключилось с нами и с тем искусством, которым мы жили.

Итальянские футуристы предлагали сжечь музеи. Модильяни отказался подписать их манифест, он не скрывал любви к старым мастерам

Тосканы. Пикассо с восхищением говорил то о Греко, то о Гойе, то о Веласкесе. Макс Жакоб мне читал стихи Рютбефа. Никто из нас не отрицал старого искусства; но часто мы мучительно думали, нужно ли теперь искусство, хотя без него не могли прожить и дня.

В «Ротонде» собирались не адепты определенного направления, не пропагандисты очередного «изма»; нет ничего общего между сухим и бескрасочным кубизмом, которым увлекался тогда Ривера, и лирической живописью Модильяни, между Леже и Сутиным. Потом искусствоведы придумали этикетку «Парижская школа»; пожалуй, вернее сказать — страшная школа жизни, а ее мы узнали в Париже.

Революция, которую произвели импрессионисты, а потом Сезанн, ограничивалась живописью. Манэ был в жизни не бунтовщиком, а светским человеком. Сезанн видел только природу, холст, краски. Когда во время дела Дрейфуса Франция кипела, он недоумевал, как может его былой товарищ Золя интересоваться подобными пустяками. Мятеж художников и связанных с ними поэтов в годы, предшествовавшие первой мировой войне, носил другой характер, он был направлен не только против эстетических канонов, но и против общества, в котором мы жили. «Ротонда» напоминала не вертеп, а сейсмическую станцию, где люди отмечают толчки, неощутимые для других. В общем, французская полиция уж не так ошибалась, считая «Ротонду» местом, опасным для общественного спокойствия.

Как то бывает всегда, одни из участников бунта потом отошли или в изменившейся обстановке потускнели, исчезли из виду, другие — Модильяни, Гийом Аполлинер — рано умерли, третьи пронесли исступление тех лет через всю свою жизнь, их биография шла в ногу с историей века.

Самое трудное для писателя — придумать заглавие книги; обычно заглавия или претенциозны или носят чересчур общий характер. Но заглавием «Стихи о канунах» я доволен куда больше, чем самими стихами. Годы, о которых я теперь пишу, были действительно канунами. О них многие говорят как об эпилоге. Есть белые ночи, когда трудно определить происхождение света, вызывающего волнение, беспокойство, мешающего уснуть, благоприятствующего влюбленным, — вечерняя это заря или утренняя? Смешение света в природе длится недолго — полчаса, час. А история не торопится. Я вырос в сочетании двойного света и прожил в нем всю жизнь — до старости...

20

Редко я беседовал с Модильяни без того, чтобы он не прочитал мне несколько терцин из «Божественной комедии»: Данте был его любимым поэтом. В «Стихах о канунах» есть стихотворение, помеченное апрелем 1915 года: «Ты сидел на низенькой лестнице, Модильяни, крики твои — буревестника... Масляный свет приспущенной лампы, жарких волос синева. И вдруг я услышал: грозного Данте загудели, расплескались темные слова...» Данте не только грозен; я вспоминаю строки из «Чистилища»: поэт и его спутник, поднявшись в гору, присели и тихо смотрят на пройденный путь. Мне хочется посидеть сейчас с живым Модильяни (с Моды — так называли его друзья). Из него сделали героя пошлого фильма, написали о нем несколько занимательных романов. Разве постановщик фильма мог спокойно посидеть на каменной ступеньке и задуматься над петлями чужой для него дороги?..

Так создавалась легенда о голодном, беспутном, вечно пьяном художнике, о последнем представителе богемы, который в редкие часы между

двумя попойками писал свеобразные портреты, умер в нищете, а после смерти стал знаменитым.

Все здесь правда, и все ложь. Правда, что Модильяни голодал, пил, глотал зернышки гашиша; но объяснялось это не любовью к распутству или к «искусственному раю». Ему вовсе не хотелось голодать, он ел всегда с аппетитом, он и не искал мученичества. Может быть, больше других он был создан для счастья. Он был привязан к сладкой итальянской речи, к мягкому пейзажу Тосканы, к искусству ее старых мастеров. Он не начал с гашиша... Конечно, он мог бы писать портреты, которые нравились бы и критикам и заказчикам; у него были бы деньги, хорошая мастерская, признание. Но Модильяни не умел ни лгать, ни приспосабливаться; все встречавшиеся с ним знают, что он был очень прямым и гордым.

Я видел его и в тяжелые дни и в дни просветов; видел спокойным, чрезвычайно вежливым, гладко выбритым, с бледным, чуть грубоватым лицом, с мягкими, ласковыми глазами; видел и неистового, обросшего черной щетиной — этот Модильяни пронзительно вскрикивал, как птица; может быть, как альбатрос; я ведь в стихах припомнил буревестника не ради аллегории.

(Модильяни любил стихотворение Бодлера об альбатросе, над которым потешаются матросы, — «крылатый путник жалок на земле...»)

Я сказал, что он был красив; женщины на него заглядывались; красота его мне всегда казалась итальянской. Он был, однако, сефардом — так называют потомков евреев, которые после изгнания из Испании поселились в Провансе, в Италии, на Балканах.

Как-то я зашел с Модильяни в кафе на бульваре Пастер; он перед этим работал, был спокоен. За соседним столиком почтенные люди играли в карты. Я переписывал стихи, которые мне показал Моди, и ничего не слышал. Вдруг Модильяни вскочил: «Заткни глотку! Я — еврей, и я могу с тобой поговорить. Понимаешь?..» Картежники молчали. Модильяни заплатил за кофе и громко сказал: «Жаль, что мы залезли в это кафе, сюда ходят свиньи...» Когда мы вышли, я спросил, что же говорили за соседним столиком. «То самое, — ответил Моди. — Обидно, что мажешь кистью, — ведь еще триста лет придется бить морду...»

Он мне рассказывал, что его дедушка был римлянином, хотел разводить лозу и купил маленький участок; но по закону евреев было запрещено владеть землей; рассердившись, дед перекочевал в Ливорно, где с давних пор проживало много еврейских семейств. Моди прочитал мне итальянские сонеты Иммануила Римского, еврейского поэта XIV столетия, — издевательские, горькие и полные в то же время восхищения жизнью. Модильяни мне рассказал, как некогда римляне праздновали карнавал: еврейская община обязана была поставлять еврея рысака, который раздевался догола и под улюлюканье веселящейся толпы, епископов, послов, дам трижды рысью обегал город. (Я тогда написал об этом поэму.)

Познакомился я с Модильяни в 1912 году; он уже был старым парижанином. При одной из первых встреч он нарисовал мой портрет; все нашли его очень похожим. Потом он часом меня рисовал; у меня была папка с его рисунками. (Летом 1917 года я с группой политических эмигрантов возвращался в Россию. В Англии нам объявили, что нельзя вывозить ни рукописей, ни рисунков, ни картин, ни даже книг. Я отобрал ценное, что у меня было, — натюрморт Пикассо, «Эдду» Баратынского с его надписью, рисунки Модильяни — и оставил чемоданчик на временное хранение посольству Временного правительства. Правительство действительно оказалось временным, а чемодан пропал навсегда.)

Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой — рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым, чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке (хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни) уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность.

Герой фильма и романов — это Модильяни в минуты отчаяния, безумия. Но ведь Модильяни не только был в «Ротонде», не только рисовал на бумаге, залитой кофе, он проводил дни, месяцы, годы перед мольбертом, писал маслом ню и портреты.

Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который так любил бы поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Леопарди, и Бодлера, и Рембо. Его холсты не случайные видения — это мир, осознанный художником, обладавшим необычайным сочетанием детскости и мудрости. Когда я говорю «детскость», я, конечно, не думаю об инфантильности, о естественном неумении или нарочитом примитивизме; под детскостью я понимаю свежесть восприятия, непосредственность, внутреннюю чистоту. Все его портреты похожи на модели — сужу по тем, которых я знал, — Зборовского, Пикассо, Диего Ривера, Макса Жакоба, английской писательницы Беатрис Хестингс, Сутина, поэта Франса Элленса, Дилевского, наконец, жены Модильяни. Он никогда не увлеклся аксессуарами или чем-либо внешним; его холсты раскрывают природу человека. Диего Ривера, например, грузен, почти дик; Сутин хранит трагическое выражение непонимания, постоянную тоску о самоубийстве. Но удивительно, что различные модели Модильяни схожи между собой; их объединяет не затверженная манера, не внешние приемы письма, а мироощущение художника. Зборовский, с его лицом доброй лохматой овчарки, растерянный Сутин, нежная Жанна в рубашке, девочка, старик, натурщица, какой-то усач — все они похожи на обиженных детей, хотя у некоторых детей бороды или седые волосы. Мне думается, что жизнь представлялась Модильяни огромным детским садом, устроенным очень злыми взрослыми.

Конечно, в легенде есть правда, и легко понять, что биография Модильяни может прельстить сценариста. Недавно я прочитал в газете, что небольшой портрет работы Модильяни был продан на аукционе в Америке за сто тысяч долларов. За всю свою жизнь Модильяни не израсходовал и четверти этой суммы. Сколько раз я видел, как старая Розали, владелица крохотной итальянской харчевни на улице Кампань Премьер, получала от Модильяни рисунок за кусок мяса или за порцию макарон; она не хотела брать, но он настаивал — он не нищий; и Розали, глядя на листочки бумаги, испещренные тонкими разорванными линиями, горестно вздыхала: «Бог ты мой...» Правда и то, что его не понимали даже просвещенные ценители живописи. Для тех, кому нравились импрессионисты, Модильяни был несносен равнодушием к свету, четкостью рисунка, произвольным искажением природы. Все говорили о кубизме; художники, порой одержимые идеей разрушения, были в то же время инженерами, архитекторами, конструкторами; для любителей кубистических полотен Модильяни был анахронизмом.

Биографы отмечают, что 1914 год был для Модильяни удачным: он нашел торговца картинами Зборовского, который сразу понял и полюбил его работы. Но Зборовский сам был неудачником: молодой польский поэт приехал в Париж, мечтал о рейсе на волшебную Цитеру и оказался на мели — перед чашкой кофе в «Ротонде». Денег у него не было; он

снял маленькую квартиру, жил с женой; Модильяни там часто работал. А Зборовский брал под мышку его холсты и с утра до ночи рыскал по Парижу, тщетно пытаясь соблазнить работами итальянского художника настоящих торговцев картинами.

Правда, наконец, то, что Модильяни порой овладевали беспокойство, ужас, гнев. Помню ночь в захлавленной мастерской; было много народу — и Диего Ривера, и Волошин, и натурщицы. Модильяни был очень возбужден. Его подруга Беатрис Хестингс говорила с резко выраженным английским акцентом: «Модильяни, не забывайте, что вы джентльмен, ваша мать — дама высшего общества...» Эти слова действовали на Модя, как заклинание; он долго сидел молча; потом не выдержал и начал ломать стену; расковырял штукатурку, пробовал вытащить кирпичи. Его пальцы были в крови, а в глазах было такое отчаяние, что я не выдержал и вышел на грязный двор, заваленный обломками скульптуры, битой посудой, пустыми ящиками.

В годы войны он часто приходил вечером в столовку, где ужинали художники; сидел на ступеньке внутренней лестницы; иногда декламировал Данте, иногда говорил о войне, о гибели цивилизации, о поэзии, обо всем, кроме живописи. Одно время он увлекался пророчествами французского медика, жившего в XVI веке, — Нострадамуса. Он уверял меня, что Нострадамус с точностью предугадал Французскую революцию, триумф и разгром Наполеона, конец папского государства, объединение Италии; приводил еще не осуществленные предсказания: «Вот мелочь — республика в Италии... А вот и поважнее — людей отправят в изгнание на острова, к власти придет жестокий властелин, посадят в тюрьму всех, кто не научится молчать, и людей начнут истреблять...» Вытаскивая из кармана растрепанную книжку, он начинал выкрикивать: «Нострадамус предвидел военную авиацию. Скоро всех людей, которые посмеют не вовремя улыбнуться или заплакать, пошлют на полюс — одних на Северный, других на Южный...»

Когда пришли первые известия о революции в России, Модя прибежал ко мне, обнял меня и начал восторженно клекотать (порой я не мог понять, что именно он говорит).

В «Ротонду» стала приходиться молоденькая девушка Жанна, похожая на школьницу; у нее были светлые глаза, светлые волосы, она робко поглядывала на художников. Говорили, что она учится живописи. Незадолго до моего отъезда в Россию я увидел на бульваре Вожирар Модильяни с Жанной. Они шли, взявшись за руки, и улыбались. Я подумал: наконец-то Модя нашел свое счастье...

Я приехал снова в Париж в мае 1921 года. Мне стали поспешно рассказывать все новости. «Как, ты не знаешь, что Модильяни умер?..» Я ничего не знал о друзьях по «Ротонде». Модя всегда кашлял, мерз; открылся процесс в легких; организм был истощен. Он умер в госпитале в начале 1920 года. Жанна на кладбище не было; когда друзья после похорон вернулись в «Ротонду», они узнали, что час назад Жанна выбросилась из окна. Осталась маленькая дочь Модя — тоже Жанна.

Вот и все. Похоронили Модильяни в складчину. Год спустя в Париже открылась выставка его работ. О нем писали книги; на его картинах навивались. Впрочем, это настолько обычная история, что о ней не стоит много говорить...

В различных музеях мира — в Нью-Йорке и в Стокгольме, в Париже и в Лондоне — я встречался с Модильяни. Он писал иногда ню, но большинство его работ — портреты. Он создал множество людей; их печаль, оцепенение, их затравленная нежность и обреченность потрясают посетителей музея.

Может быть, иной ревнитель реализма скажет, что Модильяни пренебрегал природой, что у женщин на его портретах чересчур длинные шеи или чересчур длинные руки. Как будто картина — это анатомический атлас! Разве мысли, чувства, страсти не меняют пропорций? Модильяни не был холодным наблюдателем; он не разглядывал людей со стороны, он с ними жил. Это портреты людей, которые любили, томилась, страдали; и даты — не только вехи пути художника, это вехи века: 1910—1920. Смешно говорить, что Модильяни не знал, сколько позвонков приходится на шею,— он этому учился много лет в художественных училищах Ливорно, Флоренции, Венеции. Он знал и другое: например, сколько лет в одном таком году, как 1914-й. И если менялись, казалось бы вековые, понятия человеческих ценностей, как мог художник не увидеть изменившимся лицо своей модели?

Холсты Модильяни о многом расскажут последующим поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за них! Пишут, пишут — «пил, буянил, умер»... Не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других; и если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо.

(Окончание следует)



М. СИМАШКО

★

ИСКУШЕНИЕ ФРАГИ

Повесть

В сентябре этого года исполняется 225 лет со дня рождения известного прогрессивного мыслителя XVIII века, великого туркменского поэта Махтумкули Фраги. Этот юбилей празднует вся многонациональная советская литература.

Махтумкули Фраги посвящается эта повесть.

Нет, он был совсем не такой... Голова повернута вполборота, сжатые губы... Да, он был горд, но никогда не держал так голову. Ведь он был очень умен.

А эта каменная властность в очертании губ... Он знал свою власть над людьми. Но это была не та власть, от которой так презрительно и брезгливо складываются губы.

И непреклонность — полная, не признающая возражений... Разве мог быть таким поэт, который всегда мучится, сомневается? А он был настоящим поэтом. Иначе не пели бы уже двести лет его песни.

В парке играют дети. Вокруг шумит яркий Ашхабад. А юноша в вышитой рубашке, по-видимому студент, уже добрых десять минут разглядывает памятник. В глазах — раздумье. Едва заметно пожав плечами, он отходит...

Таким был совсем другой человек. Это он держал так голову, слегка повернув ее на короткой шее. Самодовольно и пренебрежительно кривились его губы. Весь подобравшись, готовый вылезти не только из халата, а из своей шкуры, слушал его собеседник. А поэт сидел в стороне и в который уже раз приглядывался к знакомому лицу.

Как хорошо он знал и как ненавидел это гладкое лицо с сероватыми нетуркменскими глазами. Сколько раз он слышал властный голос, гулкий и сильный, как будто шел он из нутра хивинского карная. Сейчас он думал над тем, откуда берутся такие люди.

Поэт заметил, что губы его кривятся, как у хозяина дома. Он невольно повторял жесты, движения людей, когда хотел понять их. Думая за другого, он порой забывал о себе.

Но с Сеид-ханом это не получалось. Он мог в точности повторить каждое его движение, но что думал этот человек, не представлял себе. И не потому, что очень уж сложным был Сеид-хан. Его желания простые и ясны для каждого, как желания любого зверя, который хочет рвать зубами живое мясо. Просто они были совсем разные люди — поэт и правитель этого края.

Вот хозяин встал с подушки и выпрямился во весь свой маленький рост. У этого человека, одного имени которого боялись люди, были узкие плечи, непомерно большая голова и короткие ноги. Но держаться он старался прямо, и от этого зад его оттопыривался, как у маленькой обезьяны. У поэта мелькнула мысль, что во всем виноват низкий рост. Он не раз в жизни замечал, что люди маленького роста хотели казаться большими, страшными. От этого росли в них самолюбие, подозрительность, жестокость. В каждом встречном они видели врага, готового смеяться над их ничтожеством. Поэтому они зло мстили большим людям, старались унижить их... Но нет, все это не так просто. Сколько встречал поэт маленьких людей с большим сердцем!

Сеид-хан, прихрамывая, прошелся по ковру, потрогал дорогую афганскую саблю, которая по перенятому у арабов обычаю висела на стене. Как каждый трусливый в душе человек, он очень любил оружие. Вот и халат на нем всегда военный. А ведь человек этот никогда не сидел в боевом седле. Когда-то, лет двадцать назад, при осаде Исфaghана, он доставлял лошадей для разбойничьих отрядов Каджаров¹. С тех пор он считает себя военачальником — сердаром. И хромает он не от боевой раны. Кто знает, где прошла его юность, где подобрали его Каджары, когда еще только мечтали о шахском троне...

Сеид-хан вернулся и сел на подушку. Он старался не хромать и поэтому дергался при ходьбе, как парализованный. А в народе его так и называли Хромым. Правда, здесь, в городе, при разговорах друг с другом его еще звали Яшули — Глубокоуважаемый. Но какая нехорошая улыбка появлялась у людей, когда они применяли по отношению к этому человеку такое хорошее слово.

Кем стал бы Сеид-хан, если бы не нашли его Каджары? Поэт мог представить его мирабом, торговцем или просто погонщиком верблюдов. И был бы таким, как все мирабы, купцы или погонщики с их обычными человеческими слабостями. Может быть, труд поднял бы со дна его души и доброту и жалость к людям. Страшная власть над людьми, над их жизнью и смертью, детьми и имуществом сделала этого человека таким, каким стал Сеид-хан. И как быстро начинают верить ничтожные, злые люди, что они родились повелевать.

Гость Сеид-хана снова заговорил о своих делах, заглядывая, как большая голодная собака, в самые его глаза. Это был здоровый, сильный человек с красивым мужественным лицом. Когда на таких лицах видишь угодливость и раболепие, противно становится жить.

Там, в приморских аулах, которыми правил Мамед-сердар, много было людей, отравленных дьяволом власти. В глаза они льстили ему, но что ни день посылали доносчиков к Сеид-хану и самому шаху. Они съедали его заживо, как жадные гиены. Съедали точно так, как он сам съел своего предшественника. От Сеид-хана зависело, сколько еще времени ему быть правителем. Глядя по-собачьи в глаза Сеид-хана, Мамед-сердар старался угадать его решение.

Подходили новые люди. Одним Сеид-хан собственноручно бросал бархатные подушки, других приглашал сесть простым кивком головы.

Поэт хорошо знал всех их. Вот по правую руку Сеид-хана тяжело опустился на подушки Какабай-ага — гора разбухшего мяса. Это давний друг и, кажется, родственник Сеид-хана. За спиной его неслышно присел тощий Мухамед Порсы, его верный помощник. Время от времени он что-то шептал хозяину, и тот жмурился. Этого хитрого шакала ненавидели и боялись больше самого Какабая — правителя города и

¹ Каджары — шахская династия (XVIII—XX вв.).

окрестных аулов. Все знали, что Мухамед как хочет вертит своим заплавленным от обжорства ленивым хозяином.

Слева от Сеид-хана сидел Дурды-хан, свирепый властитель горного края. Маленький, злой, он чем-то был похож на Сеид-хана.

Уверенный в себе, прямо и важно сидел на подушках чернородый, узкоскулый Ходжамурад-ага. Сам Сеид-хан почтительно передавал ему пиалу с чаем. Небольшой род Ходжамурад не платил никаких налогов, не выставлял даже всадников для шахских набегов. Сам пророк Мухамед считался его основателем. И люди Ходжамурад во время кровавых войн ездили в Хиву, Бухару и Иран. Никто не смел поднять на них руку. Это был род святых ишанов и купцов.

Но поэт знал, что святой Ходжамурад-ага еще в молодости утопил в Атреке двоюродного брата, стоявшего на его пути к власти. А совсем недавно его поймали с чужой женой, и он откупился от мести жизнью невинного человека. Шепотом говорили об этом друг другу в городе.

В ряд сидели по степени своей власти над живыми людьми другие سردары и правители: Ходжагельды-хан, Кошут-ага, Сапарли-хан... Каждый из них готов был разорвать Сеид-хана, чтобы занять его место на красной бархатной подушке. Но все они сидели тихо, глядя ему в рот.

Тугие толстые животы, блестящие от терьяка глаза, дрожащие руки. В одно страшное оскаленное лицо сливались они в глазах поэта. О, как бы он рассказал о них в своих песнях! Как с разных сторон показал бы их людям! У поэта сжались кулаки и загорелись глаза.

Но вот плечи его снова согнулись, кулаки постепенно разжались. Пришедшие на ум слова сразу как-то потускнели и потеряли свое значение. Глаза его стали обычными, как у всех, сидящих на огромном гокленском ковре в доме Сеид-хана. Сейчас поэт уже не был тем глупцом, которому так много доставалось в молодости. Долгие годы гонений и скитаний сделали его мудрым. Что ж, таков мир, где сильный гнет слабого. Человек рождается для страданий. Так было и будет. Как он не мог понять такой простой мудрости жизни! Ведь многие его друзья поняли это уже в двадцать лет, другие к тридцати, а ему...

Ему скоро пятьдесят. И песни поэта давно полны тем, за что через много лет умные осторожные люди назовут его творчество «противоречивым».

Поэт снова обвел взглядом сидящих. Сейчас они уже не казались ему такими плохими. Видно, они лучше его понимают смысл жизни. Где-то в глубине души поэту было приятно, что его пригласили на совет правителей. Он быстро отогнал от себя эту мысль и с достоинством выпрямился. Тонкие губы наблюдавшего за ним Мухамеда скривились в нехорошей усмешке...

Хивинский хан обрушил свой гнев на йомудов¹. Так было всегда, когда они за воду не платили кровью. Йомуды снова не дали всадников для большой ханской войны на севере. Тогда хан закрыл каналы. Йомуды открыли воду силой, и хан наказал их. Все хивинское войско прошло по их землям, и сейчас живые бегут сюда. По дороге хивинцы напали и на балханских текё. Хан сказал, чтобы между Бешеной рекой — Джейхуном — и землями шаха не осталось ничего живого.

Это рассказывал Дурды-хан, и голос его был спокойным. Он понимал хана Хивы.

Как принять беглецов? Голодные и жадные, они ничего не принесут

¹ Йомуды, а также упоминаемые дальше гоклены, текё, салоры, човдуры — туркменские племена.

с собой. И, пройдя Черные Пески, останутся ли хивинские всадники на виду у Хоросана?

Каждый говорил, наклонив голову к Сеид-хану. Пусть идут на Мангышлак. Пропустить — пусть идут в земли курдов. А хан Хивы не посмеет тронуть людей, которые служат льву Ирана. Молчал лишь Дурды-хан. Поэт слышал, что в горах уже тайно перехвачены две сотни йомудских кибиток. Снова на невольничьих рынках Измира и Дамаска появятся бритые туркменские головы.

Жизнь темная, жуткая, и не видно в ней просвета. Аллах проклял эту землю. И поэту можно петь лишь о воле рока. Нечего волновать людей несбыточными мечтами. Все на свете преходяще. Рабом или шахом родится человек — его ждет могила. Она ждет и поэта. Все чаще думал он теперь о смерти, и губы его шептали красивые и безнадежные слова.

Такие слова из века в век повторяли здешние поэты. А когда им становилось невыносимо тяжело, они начинали петь о радости минуты, о счастье быть с любимой, пить запретное вино и погружаться в мрак пьяного небытия...

Сеид-хан по установившемуся обычаю выслушал всех. Потом принял решение. Да, пусть идут куда хотят. Не пускать йомудов в гокленские селения, под страхом смерти не давать им ни воды, ни лошадей. Объявить об этом во всех аулах. Пусть видит хан Хивы, что нет у нас с ними ничего общего.

Сеид-хан не успел закончить, как его перебили.

— О мудрый повелитель! — вскричал Караджа-шахир.

Поэт, уйдя в свои думы, не заметил его прихода. Круглый, гладкий, с жирным холеным лицом и черными глазами, Караджа-шахир был похож на бойкого преуспевающего купца из Тавриза. Он и занимался самой постыдной торговлей — торговлей словом. Поэт помнил его еще красивым мальчиком, который умел петь хорошие песни. Но Караджа-шахир еще в пятнадцать лет понял мудрость жизни, которую до седых волос в бороде не мог понять он. Сейчас у Караджа-шахира три дома в городе и добрых пять или шесть тысяч овец в горах. Правда, он совсем разучился владеть словом. Но зачем это ему: за кусок хлеба и крышу над головой сочиняют для него хорошие песни другие люди. И на советы правителей и вождей родов его зовут уже много лет. А поэта, чье слово знают в Хиве и в Багдаде, позвали только сейчас.

Почему же они наконец позвали его? Нет, неправда, он ведь, как и раньше, пишет прекрасные стихи. Но писать почему-то стало труднее, он долго не может найти слово, злится на себя, на всех. Все чаще он уже не ищет это слово, а пишет обычное.

Может быть, это старость. Но не такой уж он старый. Или... мешает, что он понял наконец простую мудрость жизни? Рано или поздно ее начинают понимать все, даже поэты... Почему же его стал звать Сеид-хан на свои советы?!

Ели плов из розового ханского риса. Потом слушали песни Караджа-шахира. В них было много одинаковых женщин с тугими толстыми ногами, розовым телом и длинными змеями-косами. Пел он, смачно причмокивая, как будто расхваливал этих женщин для продажи. У старого Хошгельды-хана изо рта капали слюны.

Сеид-хан на прощание милостиво пошутил с поэтом. И поэту снова стало приятно...

Он шел к своему дому и думал об этом. Да, ему стало приятно. Как все же слаб человек!

На улицах было людно. Город готовился к завтрашнему базару: ехали груженные арбы, гнали скот. У городского водоема дорогу поэту пересекла красивая армянка с кувшином на голове. Он посмотрел ей вслед и вздохнул. Раньше, видя красивую женщину, он расправлял плечи и ловил ее взгляд. Ему нравилась жизнь. Он считал, что аллах поступил мудро, создав ее такой. Теперь при виде молодой женщины он как-то сразу ощущал грузность своего тела, седину бороды и стыдился самого себя. В молодости он привык к быстрым женским взглядам, внезапно вспыхивающему румянцу на их лицах, ответным улыбкам...

Пройдя вверх по улице, поэт остановился передохнуть. Тяжело поднималась и опускалась грудь, сжималось и ныло сердце. Уже два или три года чувствовал он эту тупую боль в груди.

Жил он на окраине, в ауле, где всегда селились туркмены. Узкие, пыльные улицы города не нравились им. Там жили тюркские, иранские, армянские купцы, сборщики пошлин, писцы, менялы. Лишь совсем обедневшие или изгнанные из своих родов туркмены шли в город. Сдавленные высокими дувалами, оглушенные непривычным шумом и суетой, они быстро чахли, начинали кашлять кровью и умирали, тоскуя по тишине песков.

Зато здесь, на окраине, им было легче. Отсюда видны были голые красные горы, а через ущелья ветер приносил родные запахи емшана, горькой колючки и раскаленного песка. Да и дома здесь строились дальше друг от друга. Они были сделаны из вязкой каменной глины, с узкими щелями для света. Но возле каждого дома стояла крытая шерстью легкая кибитка. Огромные желтые собаки с квадратными мордами стерегли покой семьи.

Каждую осень кибитки разбирали, грузили на верблюдов. Уходили на север, в Черные Пески. Оставались лишь самые бедные в роду, кому не нужно было заботиться об овцах и верблюдах. Они уже навеки связали себя с землей и копались в ней, как черные жуки.

Таким был сосед поэта, Сахатдурды. Он и сейчас работал возле своего дома. Поэт остановился и долго смотрел на земледельца. Стоя по колено в воде, тот выбрасывал лопатой мокрую серую землю, перекрывая в нужных местах арык... Это был совсем другой мир, ничем не похожий на мир Сеид-хана. Сахатдурды нисколько не интересовало, кто будет правителем города: Какабай-ага или Сапаркули-хан, который хочет занять его место. Он знал только, что, когда едет правитель, лучше убираться с дороги.

Но при этом он родственно связан с Ходжамурад-ага. Ведь Сахатдурды тоже принадлежит к этому святому роду. Но он не купец и не ишан. У него нет даже лошади. Когда надо защищать интересы рода, ему дают коня богатые родственники. Но скоро сосед выбьется из беды. Сам Ходжамурад-ага берет его дочь в жены.

А вот и девочка. Ловкими движениями выгребает она горячую золу из тамдыра. Как красивы и быстры ее движения. Поэт и не заметил, как выросла дочь соседа. Она повернулась и глянула в его сторону такими глубокими черными глазами, что страшно смотреть в них. И какая-то неженская смелость в ее взгляде. Нет, не у газели такие глаза. У газели они красивые, но пугливые и бездумные.

Уже много лет самых красивых женщин забирал себе род Ходжамурад. И никогда еще ни одна женщина не ушла из этого святого рода.

Девушка прошла к дому, и он заметил на шее у нее кольцо из серебряной проволоки. Значит, она уже обручена. Никто, кроме Ходжамурад-ага, не станет теперь ее мужем...

Дома он сел за работу. Тонким подпилком резал он темноватый серебряный диск. Гулякя́, нагрудное украшение женщины, было почти готово. Причудливые разводы и узоры расходились от середины круга. Оставалось вытравить отверстия и вставить прозрачные багряные камушки, которые привозят купцы с берегов Кульзума — Красного моря.

Он был хорошим мастером по серебру, но не любил свою работу. Она требовала усидчивости и терпения, а он с детских лет был нетерпеливым. Но за песни и стихи, которые знали все, не платил никто. Один убыток приносили они поэту. Он был ученым муллой, познавшим свет духовной науки в знаменитом медресе Ширгази. Только молитвы о браке люди почему-то старались заказывать муллам, не сочинявшим стихов. Их молитвы казались вернее.

Немного поработав, поэт отложил гулякю в сторону и взялся за ножны от боевой сабли. Сверху донизу были они изрезаны чудесными узорами, перевитыми тонкими замысловатыми линиями. Они чем-то напоминали его стихи: такие же плавные, выразительные, полные глубокой внутренней силы. На стыках узоров сверкали дорогие камни, но не красные, а черные и синые. Это были ножны от его сабли, которая переходила из рода в род, пока не пришла к нему. Зачем ему сабля и ножны? Он вспомнил родовую заповедь. В бою эта священная сабля может стать на локоть длиннее, чтобы нанести последний удар врагу истинной веры. Кому он передаст ее, если в доме его не слышно детского крика?

Но это была работа для души. Очень уж не любил поэт работать на заказ. Поэтому он отложил в сторону гулякю и принялся вырезать узор на ножнах.

Равномерно и тихо двигался по послушному металлу подпилком. Мысли постепенно отвлеклись от всего, что его мучило.

Наступил час вечерней молитвы. Он долго бездумно стоял и не мог сосредоточиться. Губы его шептали принятое обращение к аллаху, а мысли не было. Снова тяжело ныло сердце...

Ночь он лежал с открытыми глазами и смотрел в откинутую дверь кибитки на небо. Как сложен мир, который казался ему раньше таким простым. И что такое мир? Он изменчив, как бегущая вода. Каждый видит его по-разному. У его соседа Сахатдурды один мир, у него самого — другой, у Сеид-хана — третий. Какой же из них настоящий, созданный аллахом? Он знал, что богохульствует, гнал от себя грешные мысли, но они приходили снова и не давали ему спать.

Никогда еще не чувствовал он себя таким слабым, жалким и беспомощным. Не было просвета в этой жизни. Волей аллаха послана она как испытание людям, и ей нужно покоряться.

На следующий день к нему в гости пришел Мухамед Порсы, помощник правителя города. Он ел мясо, аккуратно поддерживая его куском лепешки, и умно расхваливал поэта.

Они не любили друг друга. Мухамед сам когда-то пробовал стать шахиром. И как всякий неудачник, он жестоко ненавидел людей, которым дал аллах высокое искусство владеть словом. Ничего нет страшнее и мучительнее этой ненависти. Как змея, сосет она и гложет сердце завистника, и нет ей утления. А поэт просто не любил бездарных людей.

Сколько подлостей делал ему этот тощий желтолицый человек! Но вот сейчас он хвалил поэта, и тому это нравилось. Не таким уж ничтожным начинал казаться ему Мухамед. Поэт снова подумал о слабости человека.

Зачем все же пришел к нему этот хитрый Порсы? Прошло то счастливое время, когда поэт без разбора верил людям.

Мухамед издали подошел к делу. Он долго говорил о мудрости Сеид-хана, о его благородстве. Имея дар, он обязательно прославил бы его в стихах. Сеид-хан, конечно, оценил бы это. Он простил бы даже песни, приписываемые поэту. У кого не бывает заблуждений в молодости! Кстати, скоро Сеид-хан устраивает большой той. Если бы спели там хрощую песню, хозяин остался бы доволен.

Поэт вежливо поблагодарил гостя за совет. О, он понимал этого человека. Как хотелось ему, чтобы поэт при всех показал, что он ничем не лучше его самого!

И опять после ухода гостя тяжелой волной навалилась грусть. Не та прозрачная грусть, от которой сладко ноет сердце, а мутная, безысходная... Что же, Мухамед умнее его. Так же, как Караджа-шахир, он раньше и глубже понял смысл жизни. Не имеющий никаких достоинств, этот человек лучше устроил свою судьбу, чем он, владеющий высоким даром аллаха. И что такое ум? Самым умным человеком в этих краях считался когда-то его отец. Но поэт хорошо помнит шемахинского торговца Мустафу, который каждый раз обманывал отца в цене и локтях при покупке тканей. Кто же из них был умнее — невежественный Мустафа или его отец, постигший глубины науки ислама и обучавший других? Мустафа лишь усмехался про себя. Отца поэта, конечно, он твердо считал самым большим дураком в городе.

Но что же делать? Как он сможет написать что-нибудь доброе в честь Сеид-хана? Поэту сразу ярко представилось: он идет по улице, и люди смотрят ему в глаза. Горячей волной прилила кровь к лицу. И тут же увидел другие глаза: Какабай-ага, Сапаркули-хана, Мухамеда. Какое в них тайное самодовольное торжество! А какие разговоры пойдут по аулам — ведь той будет большим.

Нет, не напишет он! Пусть не думают, что у благородного волка выпали зубы! У него снова сжались кулаки. Он вскочил на ноги и заходил по мягкой кошме. В голове лихорадочно рождались гневные, едкие слова. Но поэт обманывал сам себя. В глубине души он уже знал, что напишет стихи к празднику Сеид-хана. Он знал это, как только заговорил Мухамед. Он стал ходить медленнее, остановился, постоял немного и сел.

Ночью он опять лежал с открытыми глазами и уже прямо думал о том, как писать. Не будет он, конечно, славить хана, валяясь в прахе у ног его, как Караджа-шахир. Просто он опишет охоту, умение хана терпеливо ждать в засаде хищного зверя, твердость его руки. Это не будет ложью. Говорят, Сеид-хан — хороший охотник...

Утром он выпил чаю, съел лепешку с виноградом и сел писать. Два раза откладывал он жесткий свиток и снова возвращался к нему. Потом дело пошло лучше. Он увлекся, как увлекался иногда обычной резьбой по серебру. Ровные красивые слова текли из-под белого пера и сами вели его. Так раньше не было. Он писал и одновременно как бы со стороны наблюдал за собой, за своими мыслями, ощущениями...

Все это было не так трудно, как казалось. Он перечитывал, и ему даже нравилось написанное. Промелькнула мысль: пускай Караджа-шахир попробует так написать.

Писал он весь следующий день. И увлекался все больше, не переставая холодно наблюдать за собой. Из всего написанного могла родиться мысль, что человек, умело и храбро убивающий зверя, такой же уверенной и мудрой рукой правит людьми. Он заколебался — развивать ли дальше эту мысль? Но скоро утешился: услышав его стихи, Сеид-хан сам захочет быть хорошим и добрым. Но все же поэт решил, что не прочтает хану последние стихи. Он напишет их просто так, на отдельном свитке.

Это случилось внезапно, как удар грома в горах. Был праздничный солнечный день. Спокойным, размеренным шагом шел поэт к дому Сеид-хана. В руках его был тугой свиток со стихами. А другой, поменьше, в котором славился хан — правитель людей, он спрятал под халатом. Но достать его можно было сразу.

И вдруг наступила тишина. Такая тишина, что перестало биться сердце. Поэт медленно повернулся и увидел их... Они ехали посередине улицы, ряд за рядом. Осторожно опускались в мягкую дорожную пыль конские копыта. И на каждой лошади, по одному и по двое, сидели мальчики без рук.

Это было до того противоестественно, что крик замер в горле. А они все ехали, безмолвные йомудские мальчики. Там, где у всех кончаются запястья, у них темнели кровью клочья ваты. Всадники хана Хивы обрубали им руки, чтобы никогда не смогли они держать кривые туркменские сабли.

Сколько их было: десять или сто?.. Кто мог бы пересчитать их! Ему казалось, что всем детям на земле отрубили руки и они едут сейчас перед ним по этой пыльной улице нескончаемыми рядами... Как всегда, высоко несли свои головы измученные до смерти благородные кони. А дети сидели на них тихо, с сухими, широко открытыми глазами.

Вел их высокий, совсем юный текинец. Он тихо ехал впереди на черном ахальском коне. Красный полосатый халат его сверху донизу вспороти страшные сабельные удары. Он весь был залит кровью, своей и чужой. В крови было лицо, и даже белый высокий тельпек был в красных пятнах. Но ехал он ровно и спокойно. Только горели черные его глаза.

Один из всего рода отбился он от хивинских всадников. На старом заброшенном колодце нашел умирающих детей, напоил, перевязал их раны и повел за собой. По дороге к ним пристало несколько уцелевших от хивинцев човдурских и текинских семей. Днем они лежали в горячей пыли барханов. Когда становилось темно, текинец по очереди усаживал мальчиков на коней. Ночь за ночью в призрачном свете луны двигались через Черные Пески скорбные молчаливые тени. И сейчас они пришли к людям...

Молча стояли люди вдоль дороги. И ни одна рука не притронулась к сердцу, чтобы произнести слова приглашения. Они знали, что значит нарушить приказ наместника Каджаров.

Вот дрогнул и зашатался конь, на котором сидел безрукий мальчик. Другие лошади остановились. Они беспокойно поводили ушами, не понимая, что происходит. Лошади не помнили случая, чтобы после тяжелой дороги в песках их не поили и не кормили в зеленых селениях. Лишь безрукие дети ничему не удивлялись и напряженно смотрели куда-то вдаль.

Как будто легкий ветер прошел по толпе. Сотни твердых мужских рук, не спросив разума, потянулись к падающему калекке-ребенку. Но тут же рванулись обратно: каждый вспомнил, что рядом, за спиной, стоят свои дети. Прямо перед людьми горячили свежих, сытых коней Сеид-хан и его гости. С праздничного тоя прискакали они сюда, прослышав об этих мальчиках. В высоких бархатных седлах сидели маленький Дурды-хан, налитый тяжелой кровью огромный Какабай, синегубый старый Хошгельды-хан...

Лошади постояли и медленно тронулись с места. В душной тишине едва слышно захлопали мягкие удары копыт по теплой пыли. Падающая лошадь последними отчаянными усилиями пыталась оторвать

колени от земли. Она билась на пыльной дороге, и в кротких, безумных глазах ее стояли слезы.

И вдруг прямо через дорогу прошел человек. Он подошел к лошади и снял с нее больного ребенка. Потом, не обращая внимания на Сеид-хана, повернулся и посмотрел на людей. И люди сразу бросились к детям. По двое, по трое они уводили их в разные стороны. Живое, яркое солнце светило над землей.

Сеид-хан молчал и только, сощурившись, смотрел на поэта. А поэт просто забыл про него. На руках у поэта, запрокинув голову, лежал больной ребенок. И что по сравнению с этим безруким мальчиком все остальное в мире!

Сеид-хан и его гости, не зная, что делать, не трогались с места. Лишь Дурды-хан не спускал с поэта глаз. Но он не смел ничего сделать. Когда последнего безрукого ребенка увели с дороги, Дурды-хан начал яростно хлестать камчой собственного коня. Он рвал страшными ударами гладкую лошадиную спину и не отпускал поводья. Обезумевший конь храпел и крутился на одном месте. Ключья кожи и кровь падали в мягкую пыль. Белая пена закипела на лошадиной морде.

Мальчик тихо плакал и метался в тяжелом сне. Но какой сон мог присниться ему страшнее жизни? Поэт не помнил, сколько времени сидел он вот так и молча смотрел на спящего ребенка. Неслышной тенью входила и выходила его жена — женщина с помутившимся разумом, она досталась ему после смерти старшего брата. Когда его любимую, его Менгли, отдали другому, он не представлял себе, что может быть на земле большее горе. Сколько жгучих стихов написал он об этом страшном горе! Но разве мог он себе представить тогда настоящее человеческое горе? То, что явилось сейчас к нему в дом с безруким йомудским мальчиком?

После многих лет скитаний он снова встретил Менгли. В груди шевельнулось что-то, заныло сладкой болью. Но не эта самая обычная женщина с узким лбом и широкими скулами была тому причиной. Просто он вспомнил молодость. А потом он каждый день встречал Менгли, и в груди его было пусто. Где-то в юности затерялась стройная темноглазая гокленка, единственная на свете...

А вот это горе не пройдет даже с его жизнью. Мальчик плакал и водил во сне руками. Ему казалось, что он хватает ими что-то.

Комок подкатил к самому горлу поэта. Он поднес руку к глазам и увидел, что они влажные. Но на этот раз поэт не вскочил с места и не сжал кулаки. Он медленно придвинул светильник и взял перо. Глухая ночь была вокруг. Прямо перед ним горел и метался на одеяле больной ребенок. А он писал, и казалось, само его сердце исходило словами. И он понял, что никогда еще не был откровеннее с аллахом.

Слезы и кровь текут по земле... И Фраги плачет вместе с вами, люди, то слезы Фраги и кровь Фраги. Потому что он — человек.

Он сам не заметил, откуда пришло это слово Фраги — Разлученный со счастьем. Но никаким другим не назовет он себя отныне. Ведь рядом был безрукий мальчик.

И Фраги не только плакал. В раскаленных словах обнажал он ужасы жизни. Поэт не мог больше с ними мириться.

Повеял утренний ветер. Ребенок успокоился и дышал ровнее. Откинув руку с пером, Фраги смотрел на пробуждающийся мир.

Что-то твердое давно уже давило ему в бок. Он сунул руку под халат и вытащил свиток со стихами в честь Сеид-хана. Какими маленькими и ничтожными показались ему сейчас мысли и сомнения, мучившие его в последние дни! Да, высокий дар аллаха для человека

одновременно и наказание. Как бы низко ни хотел он согнуть голову, талант выдаст его. Дар аллаха сильнее слабого человека. В этом проклятие таланта... И в чистое утро, сидя на простой белой кошке возле безрукого ребенка, Фраги всей душой возблагодарил аллаха за его наказание.

Дрожа и давясь, ел мальчик теплую лепешку из его рук. Он далеко вытягивал тонкую шею и старался откусить побольше. За дверью слышался стук копыт. Зарычала собака. Мальчик сжался. Фраги вышел и увидел молодого текинца. Он почему-то был уверен, что текинец придет к нему, и не удивился.

Сейчас, когда джигит обмыл свои раны, он казался совсем юным, почти мальчиком. Но он был громадного роста, могучий и статный. В спокойных сейчас глазах его чувствовались сила и решимость. Это был мужчина, настоящий юный батыр. Фраги протянул ему руку и пригласил в дом.

Они почти не говорили друг с другом в эту первую их встречу. Текинец сказал, что будет пока жить у одного знакомого их семьи. Молча пили чай. Потом Фраги взял свиток и начал читать то, что написал этой ночью. Только ему, юному батыру, и мог бы он сейчас читать свои стихи. Гость никак не выражал своего отношения к ним. Но Фраги верил его спокойным глазам. Люди с такими глазами понимают поэзию...

Когда гость уходил, мальчик вдруг всхлипнул и прижался головой к его халату. И то, что сейчас увидел Фраги в глазах молодого текинца, огромной радостью отозвалось в сердце. Значит, есть на земле большие, сильные люди, которые могут любить и жалеть!.. А ведь он уже перестал верить в людей.

А когда они вышли во двор, случилось то, что каждый миг случается на земле. Молодой джигит и дочь его соседа Сахатдурды увидели друг друга. Фраги почувствовал это сразу. Лишь на одно мгновение встретились они глазами: юный батыр и девушка. Но могучая таинственная сила сразу связала их. Разве не самим аллахом была предуготована их встреча!

Девушка только на мгновение взглянула на джигита и сразу же быстро отвернулась. Она продолжала ломать сухие ветки саксаула, но движения, поворот плеч, вся она стали совсем другими. В спокойных до сих пор глазах текинца застыло удивление. Даже рот был слегка по-мальчишески приоткрыт. Как всякая женщина, она была мудрее его и поняла все сразу. А он еще ничего не понял.

Текинец сел на коня и еще раз растерянно оглянулся. А она посмотрела на него лишь тогда, когда он поскакал по пыльной дороге...

Ему вдруг до боли в груди захотелось увидеть Менгли. Она вспомнилась ему такой, какой была в их первую встречу. Неужели этот больной ребенок разбудил дремавшую в нем жизнь?! Все сегодня было не так, как в последние годы.

Мальчик снова заснул. Фраги погладил его по голове и вышел. Он не знал точно, куда и зачем идет. Но мысль рисовала глухой темный дувал и узкую калитку: дом, где живет она уже много лет.

Люди и раньше почтительно здоровались с поэтом. Но сегодня Фраги, оторвавшись от своих дум, увидел в глазах людей что-то необычайное, давно забытое. Какое-то особенное уважение было в их приветствиях. Что же случилось? Или все просто кажется ему не таким, как всегда? И вдруг он все вспомнил: и падающего ребенка, и сощу-

ренные глаза Сеид-хана, и пену на губах Дурды-хана... До сих пор он и не думал о том, что сделал.

Несколько раз проходил он мимо калитки в дувале. Никто оттуда не выходил. Обругав самого себя, Фраги решительно повернулся и пошел домой.

Идя через город, он встретил Мухамеда Порсы. Тот сделал вид, что не заметил поэта. Лишь по тонким губам его скользнула улыбка. Так, наверно, улыбались бы змеи, если бы могли.

Святой Ходжамурад-ага стоял возле лавки, где продавались женские украшения. Он ответил на слова привета, но тут же холодно отвернулся. Это был совсем плохой знак. Ходжамурад-ага считал для себя обязательным вежливо улыбнуться каждому человеку.

Да, теперь его не оставят в покое. Они не посмотрят на то, что он мулла. Но Фраги почему-то совсем не боялся сейчас их гонений.

Когда он переходил мост над мутной речкой, сзади послышался лошадиный храп. Конь прижал его к перилам. Он должен был ухватиться за них, чтобы не упасть в воду. Прямо над собой он увидел бешеные глаза Дурды-хана. Маленький хан выругался и, чуть не задев его гибкой камчой, ускакал.

И тут Фраги испугался. Холодным потом залило спину. Но испугался не за себя. Ему вспомнились молодой текинец и девушка. Он вдруг ясно увидел весь ужас их положения. Гокленка и текинец, да еще из презренного рода бывших рабов. А она из самого рода Ходжамурад. И обручена! Ни на миг не появилась мысль у Фраги, что они могут забыть друг друга. Ведь он был поэт...

Текинец пришел на следующий день. Так же молча слушал он поэта.

И поэт забыл в эти дни обо всем на свете. Мальчик и стихи, которые он писал ночами, сидя возле него, были жизнью Фраги. Ребенок кричал по ночам.

Каждый вечер читал Фраги свои стихи юному батыру.

Вот лежат они, Черные Пески. Открытые всем ветрам, перемешанные с горькой солью, опаленные неистовым солнцем, как проклятие аллаха посланы они людям.

Самый несчастный народ на свете живет в этих песках. Рвут друг друга на части коварная Хива, хитрая Бухара и свирепый Иран. А самые страшные раны остаются на теле этого народа. За право пить воду его всадники идут впереди хивинских, бухарских и шахских отрядов. Чтобы не умереть от жажды, брат убивает брата. Текинцы, йомуды, гоклены, салоры на одном родном языке проклинают друг друга. И на том же языке плачут по мертвым сыновьям туркменские матери.

Не от ханов ждать спасения. Потерявшие облик человеческий, жадные и похотливые, они продадут отца за один милостивый кивок шаха или эмира. Слава тому батыру, который поднимет меч объединения!

Втянув голову в худенькие плечи, слушал стихи безрукий мальчик. Фраги увидел, что губы его повторяют слова. И в один из вечеров, когда они сидели так втроем, Фраги взял дутар, и мальчик тихо запел его песню.

Горло сжалось у обоих мужчин. Чистый, слабый голос ребенка пел горькие слова поэта. Казалось, сама эта бедная, измученная земля, такая неприветливая и родная, плачет в песне безрукого мальчика.

Но вот голос его стал крепнуть. В нем слышались железо и ярость мужественных стихов Фраги. И сабли сами вырывались из ножен, от грозного топота боевых коней сотрясались Черные Пески, мщение и смерть настигали врагов!

А жизнь шла путями, намеченными аллахом. Ночью, выйдя к арыку, Фраги увидел две тени.

Маленькая яркая луна лила свой чистый свет. В белой таинственной мгле лежала спокойная земля. Бесшумно переливалась вода в арыке. Для чего-то прекрасного создал аллах эту лунную тревожную тишину.

Не таясь в тени дерева, стояли и смотрели друг на друга текинец и девушка. Поэт знал, что они пришли сюда, не договариваясь. Ни одного слова в жизни не сказали еще они. Просто им нельзя было не встретиться.

Так и стояли они молча, боясь бога и всем своим существом благодаря его за дарованную жизнь. Какая молитва аллаха сильнее той, которую излучали их глаза?.. Было так тихо на земле, что он ясно слышал, как бьются их сердца. А может быть, это билось собственное сердце Фраги...

Кто имеет право мешать им? Поэт повернулся и медленно пошел к дому.

А днем он снова ходил у глухого дувала, и тревожной болью отдавался в сердце каждый стук калитки.

Фраги совсем забросил свое узорное серебро и только писал. И мальчик повторял во сне певучие слова.

В городе знакомые прятали глаза. А если останавливались для разговора, испуганно озирались по сторонам. Лишь простые люди окраины заходили сейчас в его дом.

Он снова пошел к арыку. Сидя на покато́м берегу, текинец держал руки девушки в своих и говорил прекрасные, волнующие слова. Сердце поэта дрогнуло. Эти слова шептал он своей Менгли. Юноша не знал, чьи это стихи. Все влюбленные уже много лет считали их своими.

Сейчас луну закрывали синие тучи. Когда она на миг показалась, девушка подняла кверху глаза. В лунном свете блеснула вокруг ее смуглой шеи тонкая белая полоса. Это было кольцо обручения...

Спать он не мог. Со своей вечной Менгли, с самой юностью виделся Фраги в эту ночь там, у арыка. Он снова переживал горечь разлуки, безумно ревновал ее к другому, сильному и богатому. Рыдания душили ему горло, как и тогда, перед вынужденной поездкой в Хиву. Лихорадочно вспоминая, повторял он забытые строки.

Нет, что-то не так сделали люди. Не рукою аллаха были написаны слова корана о женщине. Любовь, мир, жалость — все это олицетворено в ней богом. И пока будет она молчать в присутствии мужчины, не будет в мире добра и справедливости.

В этот раз он встретил Менгли. Она спокойно смотрела на него: обыкновенная, измученная заботами сорокалетняя женщина. Нос, рот с закушенным платком молчания, тяжелый боры́к на голове — все такое же, как у тысяч других.

Но что это? Увидев его глаза, юные глаза Фраги, она вздрогнула. Рука ее прижалась к сердцу. Знакомые припухлые губы выпустили платок. Широко открылись и чудесно заблестели большие глаза. Перед ним стояла его Менгли! Ничего, что возле дорожных глаз морщины, что щеки не горят молодым румянцем, что волосы стали серыми. Это была она. Они стояли и смотрели друг на друга, как двадцать пять лет назад. Потом, не сказав ничего, разошлись. Слова им были ни к чему.

Время бежало незаметно, как в юности. Фраги знал, что черные тучи сходятся над его головой, но не хотел думать об этом. Что для мира его маленькая судьба!

Он писал, читал написанное, слушал, как наливается оно живой болью и слезами в голосе маленького безрукого певца. Ему казалось, что они вечно знали друг друга: поэт, мальчик и батыр. Мальчик как-то вытянулся за эти дни, печать глубокого страдания сделала его старше. А батыр, большой и сильный, был спокоен. Но кто лучше Фраги знал, что скрывается под этим спокойствием!

Выходя теперь к арыку, он не видел их в лунном сиянии. Они уже уходили в тень дерева. Так и должно было быть...

В последний раз Фраги, показалось, что не один он наблюдает за влюбленными. Когда он шел обратно, от кустов с этой стороны арыка метнулась чья-то тень. Люди снова вмешивались в дела бога.

Впервые юный батыр опустил глаза. Уши его горели, и он не знал, куда деть свои руки, большие, железные руки воина. Но вот он посмотрел прямо в глаза поэта и попросил выслушать его просьбу. Фраги знаком остановил его и молча кивнул головой.

Долго сидел он так, глядя в огонь светильника, а текинец, сдерживая дыхание, ждал. Наконец Фраги спросил, есть ли у него поручитель. Юноша открыл рот. Откуда этот человек знал, о чем он будет просить его? Наверно, он святой. Но Фраги был только поэтом.

У текинца был поручитель, лихой човдур, приставший к нему в пустыне после хивинского разгрома. Но где найти поручительницу краденой невесты? Какая женщина решится на это?! Фраги молчал и смотрел в огонь светильника. Он знал такую женщину.

Они сидели перед ним на праздничном ковре, смущенно отвернувшись друг от друга. Рядом с юным текинцем присел човдур, рослый мужчина со смелыми глазами. А со стороны девушки сидела Менгли. Не колеблясь, пришла она по зову поэта.

Фраги надел свой самый лучший, зеленый халат. На голове его была ровно закручена снежно-белая чалма. С серьезной торжественностью задавал он положенные вопросы. Кто этот юный джигит? Кто был его отец? Кто был дед? Из какого он рода, и не было ли в этом роду недостойных? Не совершал ли сам он чего-либо не достойного мужчины?

Отвечал свидетель-поручитель. Он не скрыл ничего. Дед текинца был рабом. И до седьмого колена в его роду не было свободных. Сам же он достоин называться мужчиной. Фраги поднял руку и сказал, что труд раба так же угоден богу, как и труд свободного.

Потом отвечала Менгли. Да, отец, и дед, и прадед этой девушки из святого рода Ходжамурад. К самому пророку уходят его корни. Но девушка сорвала со своей шеи кольцо обручения... Фраги увидел, что тонкая серебряная проволока оставила на шее девушки розоватую полосу. Он сказал, что так было угодно аллаху.

Три раза обращался он по очереди к ней и к нему. Хотят ли они жить вместе по всем законам, установленным богом? И все три раза, как и следовало по закону, за них отвечали поручители. Тогда Фраги соединил их мизинцы и обратился к аллаху.

Никогда еще не делал он этого с таким самозабвением. Немало в жизни соединял он супружеской нитью стариков с молодыми, красивых с уродами, да и молодых с молодыми. Но делал это без вдохновения. Даже никá, молитву о браке, читал поэт скороговоркой, пропуская целые строфы.

Но сейчас он почему-то волновался. Пропустить одно слово в молитве казалось ему кощунством. Каждое слово бога, соединяющего этих двух влюбленных, хранило свой глубокий смысл.

Ровно горел светильник. Затаив дыхание, сидели люди. Лишь Фраги вполголоса говорил с небом. Именем своего доброго, мудрого, человеческого бога утверждал он вечную связь этих двух жизней. Как никогда, был Фраги чист перед ним.

Люди перевели дыхание. Протянув вперед руки, он разъединил пальцы и объявил их мужем и женой. Теперь и безрукий мальчик был допущен в комнату. Човдур внес плоский казан жареного мяса. Из середины его достал он полусырое сердце барана. Оно было разрезано на две совершенно равные половинки. Одну из них дали текинцу, другую — девушке. И, скрепляя свой союз по древнему обычаю Черных Песков, они съели это сердце, которое час назад еще было живым.

Они вышли из дома. Дул осенний порывистый ветер. Тревожное небо было закрыто тучами. Два оседланных коня с курджумами у высоких степных седел стояли возле кибитки. Текинец и девушка поблагодарили всех, сели на коней и, стараясь не шуметь, уехали в ночь.

Човдур попрощался с поэтом, сел на своего коня и поскакал в другую сторону. Фраги повернулся и прижал руки к груди. Так же молча отвегела ему Менгли. Потом она погладила по голове мальчика и, закрыв рот платком молчания, пошла к своему дому.

Долго еще стоял Фраги, прислушиваясь. Где-то в предгорьях плакали шакалы. Он привлек к себе мальчика и вошел в опустевшую кибитку.

Утром на улице послышался глухой шум. Фраги вышел и увидел всадников. Человек сорок горячили коней возле дома Сахатдурды. Это был весь род Ходжамурад.

Степным растянутым стрессом помчались они к горам мимо его дома. Ни один не повернул головы в сторону поэта. Фраги стоял и молча смотрел им вслед. Он знал, на что идет. Ни с ним, ни с его детьми и внуками не заговорит теперь человек из святого рода. Никому не прошал этот род своих обид. И никто никогда еще не наносил такого страшного оскорбления роду Ходжамурад!

Но что же они хотят делать? Ведь все уже знают, что слово бога связало текинца с девушкой.

Не дегла еще пыль на дорогу, как новый отряд пронесся в сторону гор. У Фраги сжалось сердце. Он узнал гуламов — собственных стражников Сеид-хана, настоящих зверей в человеческом облике.

В городе встревоженно перешептывались. Когда он приближался, замолкали. На него смотрели с тайным ужасом. Люди не представляли себе, как можно совершить то, что он сделал. Теперь уже никто не подходил к нему. Молча проходил Фраги через город, не глядя на людей. Он понимал их и прощал.

На третий день весь город вышел к мосту. Люди смотрели вдаль и ждали. Мутная, пыльная мгла стояла в холодном осеннем воздухе. Плотной колючей стеной несло ее из Черных Песков. Туркменским дождем называли в городе этот слепой песчаный ветер.

Всадники появились из темной пыли, как будто их несло вместе с ней. Сейчас они ехали сплошной массой, конь к коню. У людей были злые, оскаленные лица. Они везли шесть трупов.

Мертвых положили возле чайханы, прямо на дощатый настил. Широкими красными полосами были иссечены их халаты. У старшего брата Сахатдурды чернело разорванное горло...

Они догнали беглецов к вечеру, на выходе из ущелья. Текинец повернул к ним коня. В страшном клубке сбились на горной тропе всадники. Когда разъехались, двое остались на камнях. Снова бросились они к текинцу, и опять один остался лежать, разрубленный пополам.

Лишь в третий раз сумели они избежать его руки. Старший брат Сахатдурды набросил на текинца тонкий ременный аркан. Все, кто был там, навалились на него. А он, опутанный, бился на земле, поднимая их своим могучим телом.

И вдруг ослабел тонкий ремень. Поднялись на дыбы испуганные кони. Та, о которой совсем забыли, молча бросилась к державшему аркан. Это был брат ее отца. Он свалился уже на землю, а она все била его маленьким широким ножом.

Но в этот миг с звериным гиканьем налетели на них гуламы Сеид-хана.

Темный соленый песок мчался над землей. Их привезли к месту, где сходились дороги. Его отвязали от спины лошади, и он упал в пыль. Толстыми шерстяными канатами было опутано сильное тело текинца. Он молчал и смотрел вверх.

Потом раскатали плотную серую кошму и выбросили оттуда ее. Девушка сразу забилась, пытаясь разорвать, перегрызть веревки. Она каталась в пыли, и кровь текла из растертых веревками ран. Но когда их привязали спина к спине, она сразу успокоилась.

Сансар-даш, Камень Проклятия, древний закон пустыни, осуждал их на это. Раз ею, обрученной, овладел другой, земля и небо отвернутся от них обоих. А людям остается одно: связать виновных и бросить на большую дорогу. И каждый, кто пройдет по ней, обязан во имя справедливости Черных Песков поднять самый большой камень и швырнуть в них. Так и умрут они, засыпанные камнями. И проклята будет самая память о них.

Но ведь эти двое были связаны словом бога! Не сильнее ли оно самых старых людских законов? Кому, как не роду Ходжамурад, знать это!

Сотни людей стояли в напряженном ожидании. Подъезжали и слезали с коней все новые люди из окрестных аулов. Толпа молчала. Только оборванный сумасшедший Мамед проклинал текинца. Он кричал, что всех этих теке и йомудов надо вырезать до одного, и нечеловеческие глаза его не могли на чем-нибудь остановиться. Люди слышали хриплый вой терьякша и ждали.

Но вот толпа заволновалась. Через мост от города рысью шли всадники. Это был Сеид-хан со своими людьми. Рядом с ним ехал сам святой Ходжамурад-ага. Они подъехали и остановились. Ходжамурад-ага неторопливо слез с лошади и сделал знак Сахатдурды.

Медленно вышел из толпы отец девушки, поднял круглый гладкий камень, размахнулся и бросил. Дочь смотрела прямо на него. Камень ударился в маленькую девичью грудь. Сахатдурды, не поворачиваясь, сделал несколько шагов назад и опустил руки... Ходжамурад-ага сдвинул брови, и уже несколько камней с разных сторон полетело в связанных. Сумасшедший Мамед подскакивал и радостно смеялся при каждом удачном ударе. Большинство камней не попадало в лежащих.

Вдруг те, кто уже размахнулся, застыли с камнями в отведенных руках. Толпа раздвинулась. Прямо напротив связанных стоял Фраги. На нем был все тот же зеленый халат и белая чалма на голове.

Люди пятились от него... Как он посмел прийти сюда?! Или этот неудачный мулла надеется, что белая чалма защитит его голову?

Но Фраги не надеялся ни на что. Он должен был прийти сюда с безруким мальчиком и видеть все с начала до конца.

Что для них слово бога! И что это за слово, которое так послушно воле этих людей!..

Все они смотрели на него: надменный Сеид-хан, тупой Какабай, слюнявый Хошгельды-хан, огромный Ходжамурад-ага. И со всех сторон глядели на него люди. Разные были у них глаза: злые и добрые, тупые и умные, мутные и чистые. Прямо перед ним, как две черные звезды, блестели огромные девичьи глаза.

Только ровный гул холодного ветра стоял в воздухе. Чего они ждали от него? Чтобы он начал кричать, просить их, заклинать именем бога? Он знал, что все это бесполезно. Что им любые законы! Они не признали связанного им брака. Так они захотели. И мысли не должно появиться у людей, что можно безнаказанно нарушить их закон. И бог, их бог, всегда будет на их стороне. Ну а его бог, добрый, человеческий?

Сам святой Ходжамурад-ага наклонился и поднял большой камень. Тяжело ступая, подошел он почти вплотную к ним и с силой ударил камнем в лицо текинца. Тот даже не посмотрел на святого. А Ходжамурад-ага зашел с другой стороны, снова взял большой камень и бросил его в лицо девушке. Дикая вопль пронесся над толпой. Десятки, сотни камней полетели в связанных. Текинец бешено заметался, головой и ногами загребая глубокую дорожную пыль. Своим огромным телом он стремился прикрыть, защитить девушку от этих ударов. Но камни сыпались со всех сторон. Люди сразу озверели при виде крови. Пьяный от терьяка Мамед плясал и кривлялся. Он, кого не пускали на порог самого последнего дома, вдруг получил власть над жизнью и смертью двух людей. И он убивал их, как убивала бы связанного льва грязная, вонючая гиена. Рыча, вырывали друг у друга камни гуламы Сеид-хана.

Спокоен, как всегда, был лишь святой Ходжамурад-ага. Он поднимал камень за камнем и бил теперь одну лишь девушку. Громадный, злой, подлый старик убивал ее за то, что она не захотела его объятий.

Ветер усиливался. Все больше мутной соленой пыли нес он с собой. Фраги стоял и поверх этих беснующихся людей смотрел в грязное небо. Драга, прижимался к нему безрукий мальчик.

Связанные уже не двигались. А их все били и били камнями. Глухо ударялись они в неподвижные тела. Серая дорожная пыль слиплась от теплой человеческой крови. Только открытые глаза юноши были еще живыми.

Опрокидывая встречных, влетел в толпу маленький всадник. Это был опоздавший Дурды-хан. Человеческая кровь притягивала его. Раздавая удары камчой, он пробился к связанным и начал дико хлестать неподвижные тела. Тяжелый ременный конец камчи попал в открытый глаз текинца... Фраги опустил глаза и посмотрел на людей. И вдруг он увидел, что все они смотрят на него. Прищурившись, смотрел на него Сеид-хан, гаденько улыбались глаза Хошгельды-хана, непримиримым был взгляд Ходжамурад-ага. Даже Дурды-хан, избивая мертвых, глядел на него. Но самой лютой, открытой, всепоглощающей ненавистью горели глаза Мухамеда Порсы! Да, ведь он был неглупым человеком, этот Мухамед. И никто лучше него не мог чувствовать сейчас свое ничтожество.

А Фраги видел все. Он видел, что многие люди нагибались для вида за камнями, но не бросали их. Были и такие, которые просто стояли и смотрели. В толпе не было ни одной женщины.

Но вот ускакал Сеид-хан со своими людьми. Толпа быстро начала расходиться. Те, кто бросал камни, как будто очнулись от пьяного сна. Теперь они не смотрели друг на друга и не знали, куда деть руки. Люди искали своих коней, спеша поскорее покинуть место убийства.

Скоро лишь четверо гуламов, присланных Сеид-ханом, остались на дороге. Они развели огонь и поставили на него чугунный кумган для

чая. Один из них пнул ногой сумасшедшего Мамеда, который мешал им своими криками, и тот, жалобно воя, побежал к городу.

Заслонившись от ветра черными бурками, грелись у огня бородатые гуламы. Время от времени они поглядывали на поэта. А Фраги по-прежнему стоял, прижав к себе мальчика. Оба они не спускали глаз с высокой груды камней на дороге... Он так верил в спокойные молодые глаза юного батыра, что не мог поверить в смерть. Мысли гудели в голове, как этот холодный, свирепый ветер. Но ни разу не обратились они к небу.

Время от времени на дороге показывалась одинокая арба или всадник. Проезжий останавливал лошадей, искал камень и бросал его в кучу. С твердым стуком ударялся камень о камень.

Три раза еще в течение этого дня гуламы расстилали в пыли молитвенные коврики. Повернувшись лицом к Мекке, они стояли неподвижно, потом падали на колени и, выбросив вперед руки, прижимались лицом к земле. Фраги молча смотрел на них.

Холодная ночь накрыла землю. Ветер стал еще сильнее. Мальчик дрожал от холода, прикрывшись полой халата. Фраги еле стоял на ногах. Но они не уходили.

Когда потухли последние далекие костры в городе, старший из гуламов плюнул на груды камней. Все четверо сели на коней и уехали.

Затих грохот копыт по деревянному мосту, и они подошли к каменной гряде. Камень за камнем начал Фраги сбрасывать с огромной кучи. Сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Мальчик, как мог, помогал ему обрубками рук. Неверный, мятущийся свет догоравшего костра заставлял прыгать их тени: большую и маленькую...

Руки их стали липкими. Но вот рука Фраги почувствовала тепло! Большое, мощное плечо текинца было еще теплым. С невероятной силой дернул его к себе Фраги, и последние камни посыпались на дорогу. Он перерезал веревки, но холодное тело девушки нельзя было оторвать от живого. Рукояткой ножа пришлось разжимать ему пальцы текинца...

Немного прошло времени, пока догорели последние угли. Ночь стала еще глуше. Смазанные колеса не скрипели. Холодная луна то показывалась желтым пятном сквозь несущийся песок, то совсем исчезала. Когда Фраги поднимал на высокую арбу тело текинца, он увидел в трех шагах человека. Лунное пятно осветлело, и он узнал своего соседа Сахатдурды. Но Фраги поднял на арбу и тело девушки.

Фраги взял лошадь под уздцы и повел прочь от города. Сидящий на арбе мальчик все время оглядывался. Не догоняя и не отставая, шел за ними человек.

Долго ехали они так. Потом Фраги остановил лошадь и лопатой начал рыть землю. Он посадил в яму мертвую девушку, засыпал и воткнул в холм палку с белой тряпкой. Они поехали дальше, но человек уже не шел за ними. Он остался у холма.

Когда они поднимались в гору, мальчик тронул за плечо Фраги и показал назад. Там рвался и качался на ветру яркий огонь. И хотя было очень далеко, Фраги узнал свой дом...

Долго стоял и смотрел он на дальний пожар. Потом снова тронул коня и, не оглядываясь, пошел вперед.

Эпилог

Кончилась холодная зима. Старики не помнили столько ветра и снега. Бешено крутил мокрым песком Невруз, день, когда тепло приходит на смену холоду. Зато никогда еще не было в Черных Песках такой зеленой травы, таких красных маков, такого синего неба...

И этой буйной весной по кровавому морю маков ехали от аула к аулу три всадника. Быстрая молва летела по пустыне. Когда они приезжали, люди уже ждали их. Один из них играл на дугаре, а безрукий мальчик пел. И столько боли, гнева и человеческой ярости было в его песнях, что сердца людей уже не могли биться спокойно. А пока они пели, третий — молчаливый одноглазый батыр со шрамами — только переглядывался с молодыми джигитами. И такой был у него взгляд, что после их отъезда мужчины, не сговариваясь, проверяли оружие.

Да, это были они: самый великий поэт, самый лучший певец и самый большой воин, которые когда-нибудь рождались в Черных Песках. Меч объединения везли они с собой. И ножны этого меча были украшены чудесными, как стихи, узорами.

Фраги всей грудью вдыхал чистый, свежий ветер пустыни и уже не чувствовал боли. Он расправлял плечи и открыто улыбался женщинам. А они отвечали ему быстрыми взглядами, ответными улыбками, и яркий румянец вспыхивал на их лицах. Он был мудр безумной мудростью юности. Фраги, самой высокой мудростью на земле!

В груди и в голове его каждый миг рождались новые образы. И слова текли свободно и просто, как эти белые тучи над головой. Именно в эти годы и написал он свои самые прекрасные стихи.



АЛЕКСАНДР КРОН

★

НА ХОДУ И НА ЯКОРЕ

(Впечатления)

Итак, я еду в Индонезию. Строго говоря, от Москвы до Владивостока я лечу на реактивном самолете «ТУ-104». А от Владивостока до Джакарты иду на крейсере «Адмирал Сенявин».

В итоге получается все-таки — еду.

Об Индонезии я мечтал с детства.

Опять-таки, если подходить строго, Индонезии — страны с древней культурой и государственностью — для меня в ту пору не существовало. Существовал Малайский архипелаг, Зондские острова — Большие и Малые, — носившие названия, похожие на яркие экзотические цветы. Мне нравилось скандировать:

Ява, Суматра, Борнео, Целебес
Ява, Суматра, Боррнео, Целебес...

От этих слов исходил пряный запах кофе, табака, перца и корицы. Так пахло в магазине «и колониальные товары».

Магазин этот помещался наискосок от дома, где прошло мое детство, — на углу Спиридоньевского и Козихинского переулков. Вывеска со словами «и колониальные товары» была хорошо видна из наших окон. Увидеть слово «Бакалейные» можно было только со стороны Козихи. По моим тогдашним понятиям, «кколониальные» — значило заморские, бакалейные — отечественные. Практически это, вероятно, так и было. В магазине, кроме запаха, мне нравились висевшие на стенах рекламные картинки. Картинки были завлекательные — море, пароходы, пальмы, слоны. смуглые дамы немислимой красоты и индейцы в пестром боевом уборе.

Позже я тайно курил «Яву» и открыто собирал почтовые марки. Марки Борнео и африканской колонии Ньясса не были особенной редкостью, но высоко ценились мальчишками моего возраста за красоту. Они будили воображение.

Восбражение мое было воспалено. Ява и Борнео манили богатством тропической природы. И даже таившиеся в джунглях опасности скорее привлекали, нежели отталкивали. Слоны и гигры не страшны хорошо вооруженному человеку. С канибалами тоже можно ладить, надо только знать язык, на котором они говорят, и обращаться с ними, как с равными. Несколько хуже обстояло со змеями. Я хорошо знал, что таинственные острова кишат ядовитыми гадами, и еще лучше знал, что скорее умру, чем возьму в руки ужа. В конце концов и это бы меня не остановило. Основные затруднения были чисто материального порядка.

В ту пору земной шар представлялся мне огромным, а расстояние от Москвы до Калуги, где жил мой дед, — значительным. Даже для того.

чтоб поехать к деду в Калугу, нужны были деньги, и не маленькие. Где же взять денег, чтоб снарядить корабль, закупить необходимые припасы, а в дальнейшем нанимать носильщиков и проводников? Это могли себе позволить только буржуи — или настоящие ученые. Но посвятить всю жизнь исследованию заморских стран я не собирался. С Москвой и Подмосковьем меня связывали более кровные интересы. Я знал места менее экзотические, но не менее притягательные. Одно из них называлось Биостанция юных натуралистов и находилось в Сокольниках, другое — Опытная мастерская педагогического театра — в подвале дома б. Перцова, прстив опять-таки бывшего храма Христа Спасителя. Обе эти организации — интереснейшее порождение революции — были глупо новаторскими как по задачам, так и по методам. О них я непременно когда-нибудь расскажу в подробностях. Но сейчас я этого делать не буду, ибо к Индонезии они никакого отношения не имеют.

А вот о моем калужском деду, хотя бы коротко, рассказать следует. Дело в том, что мой дед с материнской стороны Михаил Матвеевич, ремеслом сапожник, проживавший в Калуге на Лебедевцевской улице, благодаря необычному стечению обстоятельств был на Яву, хотя и очень недолго. Я много раз держал в руках вещественные доказательства: большой кокосовый орех и испещренную фиолетовыми пятнами, похожую на сжатый кулак раковину. Внутри ореха шуршало ссохшееся ядро, а внутри раковины шумело море. Достаточно было приложить ее к уху, чтоб ясно услышать рокот волн. Отчего это так — не знаю и не спешу узнать.

Меня всю жизнь удивляло, что на Яву попал этот дед, а не другой. Мой дед с отцовской стороны Абрам Григорьевич, странствующий скрипач и фортепьянный настройщик, был личностью причудливой и фантастической. И по своему властному, вспыльчивому характеру и даже по внешности — дед был худ и жилист, с ястребиными глазами и рыжей бородой — он как-то больше гармонировал с тавернами Батавии. Однако по игре случая он никогда южнее Курска не бывал, а на Яву попал калужский дед — натура мирная и не артистическая, лишенная честолюбия и не склонная к авантюрам. И внешность калужского деда была совсем другая — к семидесяти годам это был свежий, розовощекий старик с совершенно черной головой и пышной, расчесанной на две стороны серебряной бородой. Здоровья он был богатырского, на весь мир сматрел с мягкой благожелательностью и, казалось, излучал покой.

Смолоду он сапожничал, затем пошел работать сплавщиком. Ока была рядом. Как человек непьющий и грамотный, он вскоре был назначен десятником, затем приказчиком. Хозяева, заметив, что деду можно доверить без расписки любую сумму, стали посылать его с поручениями, чаще всего в Архангельск. Командировок дед терпеть не мог, но семья росла, а за каждую поездку хозяева — Братья Бер и Ко — платили сверх жалованья.

Накануне первой мировой войны хозяева отправили деда в Архангельск и держали его там особенно долго. Дед ворчал и писал домой грустные письма. Наконец в Архангельск приехал один из братьев, и вместо желанного отпуска дед получил приказ отправиться с лесовозом в Америку.

Тут дед взвыл. Его нисколько не интересовала Америка. Он хотел в Калугу. Он уверял, что не справится, наделает глупостей. В конце концов его уговорили. И, не попрощавшись с семьей, дед пересек Атлантику. Обосновавшись в Нью-Йорке, дед сверх ожидания оказался на высоте: быстро научился объясняться по-английски и очень понравился американцам. Его роскошная борода производила сенсацию, за дедом ходили толпы. Ему даже предлагали сниматься в кино.

Все это деда не радовало. Чем добросовестнее выполнял он свои обязанности, тем меньше шансов было скоро вернуться домой. Дед посылал братьям Бер свирепые телеграммы, братья отвечали ласково и снова откладывали возвращение. Так они препирались до тех пор, пока в Сараеве не убили эрцгерцога Фердинанда.

Шла война. Дед околачивался в Нью-Йорке. Он проклинал братьев Бер, но по-прежнему с присущей ему щепетильностью соблюдал их интересы. От хозяев подолгу не было вестей и директив. На счету деда скоплялись большие деньги, но дед жил очень скромно — иначе он не хотел и не умел.

Наконец, уже после Октябрьской революции, пришло письмо. Письмо было из Лондона. Братья Бер благодарили деда за службу и звали в Лондон. При этом они сообщали, что в одном из лондонских банков на его имя положена приличная сумма. И о семье он тоже может не беспокоиться...

Дед прочитал письмо, выругался и пошел в пароходное агентство брать билет до Калуги. Прямого сообщения с Россией в то время не было. В Атлантике еще крейсировали немецкие субмарины. Оставался путь через материк и Тихий океан. Маршрут складывался примерно так: Нью-Йорк — Сан-Франциско — Мельбурн — Батавия — Манила — Иокогама — Владивосток — Калуга. Дед сообразил, что самый короткий путь — это тот, который скорее приводит к цели, и решился. Примерно через год он появился в Калуге с одним обшарпанным чемоданом, грязный, измученный и счастливый. Через несколько дней после возвращения дед разогнал любопытную родню и зажил так, как будто никогда не выезжал из Калуги, и только орех и раковина напоминали о том, что он побывал за экватором. Я много раз пытался расспрашивать деда о Яве, но ничего существенного не добился. Теперь я понимаю почему — дед ее просто не видел. Для него Батавия была только перевалочной станцией, где он томился в ожидании попутного рейса. Но в то время молчание деда только подогревало мой интерес.

И вот я сам еду на Яву. Началось это так. Позвонил вице-адмирал В. М. Гришанов. Разговор был деловой. Затем он спрашивает:

— Ну, а вообще как дела? Здоровье? Планы? Никуда не собираетесь?

— Собираюсь поехать в Ялту...

— А может быть, можно не ехать?

Я насторожился. И вот почему: четырнадцать лет назад, в августе 1945 года, у меня был очень похожий разговор с предшественником вице-адмирала на том же посту, покойным И. В. Роговым. Рогов вызвал меня к себе в кабинет и тоже спросил о здоровье и ближайших планах. Я ответил, что здоров, но устал и собираюсь поехать в Подольск. У меня уже была путевка во флотский дом отдыха.

— А может быть, не поедете?

Тон вопроса меня поразил. Я еще на действительной службе. А Иван Васильевич был человек крутой и умел приказывать.

— Как прикажете, товарищ генерал-полковник,— говорю я.

Рогов нахмурился.

— Это я знаю, что могу приказать. Но не хочу. Не приказываю — советую. Вы на Тихом океане никогда не были?

— Не был.

— Тем более. Вам будет интересно. Может получиться и так, что будет... (пауза) даже очень интересно. А может быть, и нет. Больше ничего сказать не могу. Три часа на размышление...

— Не нужно.

— Еще лучше. Идите получите документы. Завтра на рассвете вылетаете.

На рассвете самолет «ЛИ-2», имея на борту группу полнтработников и журналистов, вылетел на Дальний Восток. В Свердловске мы узнали, что находимся в состоянии войны с Японией.

В 1959 году, в особенности после визита Н. С. Хрущева в Америку, ничто не предвещало международных осложнений. Но вопрос был задан неспроста.

— Можно и не ехать, — сказал я.

— Вы на Тихом океане никогда не бывали?

— Бывал.

— Тем более. Тут предполагается один дальний поход с визитом дружбы... в одну из экваториальных стран. Ну, в общем, в Индонезию. Только об этом пока... вы понимаете? По-военному.

Вечером того же дня захожу к товарищу военных лет — драматургу Александру Петровичу Ш. Мы познакомились на Балтике в первые дни войны. Он был редактором газеты на линкоре, я — на бригаде подводных лодок.

— Думаешь ехать в Ялту, Шура? — спрашивает он меня как бы между прочим.

— Думаю, — говорю. — А ты, Шура?

— Ну куда же, — отвечает он неопределенно. — У меня премьера на носу...

На другой день мы встретились в Политуправлении, а еще через несколько дней стояли пред огромным глобусом в кабинете адмирала Головки.

В 1956 году отряд кораблей под флагом адмирала А. Г. Головки посетил Копенгаген. Я участвовал в этом походе, и теперь мы с удовольствием вспоминаем, как принимало советских моряков население датской столицы.

— Этот поход будет посложнее, — говорит Арсений Григорьевич, — девять суток без захода в порты и — должен вас огорчить — всего пять суток в Джакарте. Предполагалось также посещение Сурабаи, но теперь выяснилось, что по техническим причинам порт принять вас не сможет.

Он показывает на глобусе Сурабаю и добавляет:

— Крупнейший пролетарский центр. С большими традициями. Говорят, мэр города — коммунист.

Мы уже знаем состав отряда: легкий крейсер «Адмирал Сенявин» под флагом командующего Тихоокеанским флотом адмирала В. А. Фокина, эскадренные миноносцы «Выдержанный» и «Возбужденный».

Даже на глобусе видно, что поход не близкий.

На прощание адмирал дает нам несколько полезных советов. Один из них мы явно недооценили.

— Я не хочу говорить ничего дурного об авиации, — сказал адмирал, — но, если вы собираетесь лететь, а не ехать, советую вам вылететь пораньше.

Мы вышли от адмирала несколько огорченные. И без того короткий визит сокращался вдвое. Однако, поразмыслив, я быстро утешился. Во-первых, дальний морской поход интересен сам по себе. Во-вторых, визит дружбы — это нечто большее, чем туристская поездка. Визит — серьезное дело, государственное поручение. Отряд кораблей, направляющийся с визитом в другую страну, — это коллективный посол своего народа. Не только опыт визита в Данию, но и весь мой жизненный опыт подсказывает, что лучше всего понимаешь других людей, если приходишь к ним с какой-нибудь миссией. И меньше всего видишь, когда едешь с единственной целью — смотреть.

За последние несколько лет участился обмен визитами между нами и зарубежными странами. Едут государственные деятели, торговые и науч-

ные делегации, артисты и спортсмены. Все эти посещения по необходимости кратковременны, однако именно они (и в первую очередь поездки Н. С. Хрущева) пробили брешь в стене отчуждения и способствовали сближению между народами. Покойный посол Н. В. Славин говорил адмиралу А. Г. Головкину, что шестидневный визит советских кораблей в Данию сделал то, на что дипломатии нужны годы.

Изучение требует длительного времени. Впечатление может быть мимолетным. Однако наше представление о мире складывается не только из знаний, но и из впечатлений. И если в области точных наук мы зачастую не доверяем нашему чувственному опыту, то в сфере гуманитарной наши непосредственные ощущения играют существенную роль. Да и в точных науках необходимо воображение, способность мыслить образами, «обобщать не абстрагируя», как говорил А. В. Луначарский.

Я привык верить своему первому впечатлению и не сомневаюсь в существовании интуиции. Под интуицией я подразумеваю не какое-либо мистическое, непознаваемое прозрение, а мой образный опыт, образную память. Меня знакомят с человеком. Я не антрополог, не физиологист, у меня не разработано никаких тестов для оценки нового знакомого, я ничего не пытаюсь классифицировать и раскладывать по полочкам. Я только смотрю и слушаю, а в это время какой-то искатель, подобно искателю электронно-счетной машины, с неуловимой для меня самой быстротой обегает кладовые моей образной памяти и в огромных масштабах производит простейшую работу по сличению (да или нет, плюс или минус, единица или ноль, сходство или различие) с практически неисчислимым количеством отжившихся в моем мозгу взглядов и улыбок, тембров и интонаций, манер и повадок; затем мгновенно обрабатывает все это и превращает в симпатию или антипатию, доверие или подозрение, интерес или равнодушие. Нередко на таких шатких по виду основаниях принимаются ответственные решения. Мне рассказывали люди бежавшие из вражеского плена, что им приходилось искать помощи и приюта, руководствуясь только своими мгновенными впечатлениями. Ошибка могла стоить жизни. Ошибки, конечно, бывали, но они были исключением, а не правилом.

Наиболее проницательны люди в том, что связано с их профессией. Мальчишкой я всегда удивлялся, почему учителя не спрашивали меня именно в тех редких случаях, когда я знал урок, а билетеры на Сокольническом кругу не требовали билета в тех еще более редких случаях, когда он у меня был.

В Дании я видел человека, надолго врезавшегося в мою память. Наш «Орджоникидзе» подошел к Лангелинне — знаменитой двухкилометровой пристани Копенгагена. День был рабочий, и нас встречало сравнительно немного людей, раз в десять меньше, чем потом провожало. Сдержанные датчане стояли кучно и приветственно махали шляпами. Несколько поодаль стоял маленький человек в потертой зеленовато-коричневой курточке. Под курточкой виднелся бархатный жилет, застегнутый только на верхние пуговицы, — у владельца жилета был порядочный животик. На голову был плотно натянут суконный картузик, а из-под козырька глядели простодушные и строгие, очень светлые скандинавские глаза. Человек стоял, засунув руки в карманы штанов, и внимательно следил за тем, как мы швартуемся. Его не интересовали ни орудийные башни, ни дальнометы. В этом, по-видимому, он не разбирался. Его занимало высокое и трудное, общее для всех времен и народов искусство швартовки. На его розовом сморщенном лице нельзя было прочесть ни дружелюбия, ни предвзятости, он был воплощенная объективность. Когда спустились парадный трап, человек вынул из жилетного кармана большие часы, взглянул, удовлетворенно хмыкнул, сел на свой велосипед и уехал.

На четвертый или пятый день я опять увидел моего старичка в Тиволи — огромном увеселительном парке в центре города. Там, на открытой эстраде, выступал Ансамбль песни и пляски Балтийского флота. Старичок стоял на скамейке и что-то радостно вопил, размахивая картузиком. В тот день в Тиволи творилось невиданное: чтоб занять места, люди приходили за несколько часов, пришедшие позже поворачивались спиной к эстраде и, подняв над головами карманные зеркальца, ловили в них отражение матросской пляски. И я подумал, что мой строгий старичок никогда бы не нарушил свой послеобеденный сон и не пошел занимать место в Тиволи, если бы не поверил в нас на Лангелиние.

Я начал готовиться к вылету. Надо было проверить и пополнить свой военный гардероб, кое-что почитать и запасть сувенирами.

Решено лететь третьего ноября. Корабли выходят из Владивостока восьмого. Рейс Москва—Владивосток на «ТУ-104» занимает ровно одиннадцать часов. Таким образом, мы обладали достаточным запасом времени.

В дальнейшем я буду часто писать «мы». Не в том смысле, как иногда пишут театральные рецензенты: мы видели, нам представляется, нам довелось, — а в самом прямом и точном. С самого начала нас было пятеро. Кроме А. П. и меня, рейсом 01 от третьего вылетели корреспондент центральной газеты Тимур Г. и два кинооператора Митя Ф. и Володя С. Все остальные москвичи — журналисты и офицеры штаба — вылетели раньше, первого и второго числа. А. П. и я представляем в нашей пятерке старшее поколение, Володя и Митя — младшее, маленький пылкий Тимур — среднее. По возрасту он примыкает скорее к младшему поколению, по жизненному опыту — он кадровый моряк, бывавший в дальних походах, — к старшему.

Лететь рейсом от третьего еще не значит вылететь третьего. Вылетели мы пятого. А до того не раз стояли в очередях у различных окошечек, коротали время в ресторане и трижды возвращались по домам сначала с вещами, потом без вещей. Такая жизнь требует согласованных действий и быстрых решений. Опыт разъездного корреспондента и общественный темперамент делали Тимура как нельзя более пригодным для роли вожака. На протяжении всего путешествия он оказывал нашей пятерке ценные услуги, за которые мы не всегда считали нужным его благодарить. Зато мы никогда не забывали проработать его за все действительные и мнимые прсмахи. В таких случаях Тимур только отдувался и произносил ставшую традиционной фразу: «Тяжело быть народным героем», — однако пыл его несколько не остывал.

А. П. с самого начала предупредил нас, что у него беспокойный характер. Действительно, он обнаружил склонность к рефлексии. Когда выяснилось, что мы не вылетим третьего, он пилил нас и самого себя за то, что не вылетели второго. Когда обнаружилось, что второго числа «ТУ-104» тоже не вылетел, он попрекал за то, что мы не вылетели первого. Когда стало известно, что товарищи, вылетевшие первого, застряли в Иркутске, А. П. последовательно высказывал следующие точки зрения: а) очень хорошо, что мы взяли билеты на третье — лучше сидеть в Москве, чем в Иркутске; б) надо немедленно перебраться на самолет от второго — наверняка его выпустят раньше; в) надо было лететь первого — Иркутск все же ближе к Владивостоку, чем Москва; г) надо было вылетать тридцать первого... Временами нам хотелось его убить, но так как А. П. сам с величайшей кротостью признавал свой недостаток, а во всех прочих отношениях вел себя как добрый товарищ, то это намерение никогда не приводилось в исполнение.

Младшие члены нашей пятерки — совершеннейшие антиподы. Митя — единственный штатский среди нас. Это изящный и самоуверенный маль-

чик, избалованный и задиристый, отнюдь не стилига — у него есть вкус и умение отдаваться делу, — но несколько более ироничный и пресыщенный, чем полагается по возрасту. Володя — кадровый мряк атлетического сложения. Немного медвежат, кажется медлительным, но всюду поспекает. В характере у него есть нечто тёркинское: через несколько минут знакомства кажется, что знал его давно. Ему всё нетрудно, всё в охотку, он неприхотлив и дружелюбен, бывает грубоват, но как-то не обидно. При таком несходстве характеров они отлично ладят и очень помогают друг другу. Я не замечал у них даже намек на соперничество, хотя они представляют разные киноорганизации и их интересы не всегда совпадают. Впрочем, то же самое я могу сказать про всех участвовавших в походе военных журналистов.

Пятого, в два часа дня, — наши близкие уже оставили надежду, что мы когда-нибудь улетим, — мы, не провожаемые никем, вышли на летное поле Внуковского аэропорта.

Я налетал в своей жизни много тысяч километров, но каждый раз, поднимаясь в воздух, не могу избавиться от ощущения, что происходит чудо. Сперва этим чудом был для меня хрупкий, похожий на кузнечика, небесный мотоцикл «У-2». Затем небесный грузовик «ЛИ-2», на котором я летал на Тихий океан в 1945 году. Затем небесная яхта — летающая лодка «Каталина». И, наконец, небесный лайнер «ТУ-104». Я понимаю все, что положено понимать человеку, окончившему среднюю школу в двадцатом веке, но в момент, когда тяжелая машина отрывается от земли, мною овладевает радостное чувство удивления. Чувство говорит сознанию: можешь сто раз объяснить мне, как устроена эта штука, — я не устану удивляться. Ощущение, похожее на то, которое вызывает у меня игра великих артистов: понятно, а все-таки чудо!

Достаточно сравнить «ТУ-104» с «ЛИ-2», чтобы понять, как далеко шагнула за последние годы наша авиация. И если я избавляю читателя от описания стреловидных крыльев, двухэтажного трапа, комфортабельных кресел и изящных стюардесс, то причина в том, что воздушные лайнеры «ТУ-104», «ИЛ-18» и другие уже не новинка, а быт. Поднимаясь по двухэтажному трапу, я ловлю себя на мысли, что сегодня гораздо легче, чем десять лет назад, представить себя поднимающимся с легким чемоданом (вес не свыше двадцати килограммов!) на борт межпланетного экспресса. Но это — с одной стороны. А с другой — как всегда, немножко не верится, что это огромное, весящее десятки тонн сооружение в какой-то почти неуловимый момент оторвется от взлетной дорожки. И если это произойдет, то это будет, что ни говорите, чудо.

Чудо, конечно, происходит, и через пятнадцать минут мы на девятикилометровой высоте. В окошко смотреть бесполезно: похожие на подкладочный ватин облака плотно прикрыли землю. Ощущения полета нет. Мы заперты в герметическом снаряде и ведем вполне земную жизнь — читаем, сражаемся в шахматы, закусываем, дремлем. Закрыв глаза, одинаково легко вообразить, что мы не трогались с места или несемся в безвоздушном пространстве. Даже струйка прохладного воздуха, что шевелит мои волосы, не похожа на ветерок от движущего — это только вентиляция, кондиционированная прохлада. И я ворчу про себя, что нынешняя авиация гораздо ближе к артиллерии, чем к воздухоплаванию, а я в качестве аэронавта ближе к барону Мюнхгаузену, чем к Дедалу и Икару.

Интересно сравнить нашу скорость со скоростью ядра, выпущенного из царь-пушки. Сравнение будет не в пользу ядра.

Через три часа мы в Сибири. Омск. После осенней слякоти — сверкающий снег и бодрящий сухой, морозный воздух. Отправляясь на Яву, мы не захватили меховых шапок, и мороз пользуется этим, крепко шип-

лет за уши. Спасаемся в буфете и согреваемся, как умеем. Попутно пытаемся вспомнить, сколько времени потребовалось, чтоб добраться до Омска Чехову, Достоевскому, Чернышевскому...

Через час мы снова в воздухе. Шахматы, журналы, обед на голубом пластмассовом подносыке. Можно свободно расхаживать по самолету, и многие уже перезнакомились. Большинство пассажиров — моряки-тихоокеанцы. Какой-то немолодой человек в ушанке — по виду инженер с дальневосточной стройки — так углубился в свои расчеты, что не сразу понимает, почему его теребит девушка-бортпроводник. Оказывается, она хочет, чтоб он пообедал, а для этого надо освободить столик от чертежей.

Пролетаем Новосибирск. Где-то здесь поблизости расположен географический центр страны. Мы, москвичи, привыкли ощущать себя в центре России и Советского Союза, но это — старинное заблуждение, родственное представлению, что солнце ходит вокруг земли. Географический центр здесь, в Сибири, а Москва находится на крайнем западе. Это несколько не мешает ей быть сердцем страны, сердце ведь тоже расположено слева. В свое время поговаривали, что надо перенести столицу поближе к географическому центру — удобнее руководить. Тогда это было невозможно из-за отсталости транспорта. Теперь это нецелесообразно по причине его мощного развития. Если можно долететь от Москвы до Владивостока меньше чем за двенадцать часов, в переносе столицы нет нужды, и Москве не грозит опасность вновь стать «державной вдовицей». Однако факт остается фактом — центр помещается здесь. Когда перелетаешь Уральский хребет, Европа выглядит на карте Зауральем.

* * *

Я охотно бы вычеркнул из памяти обе наши стоянки в Иркутске — воспоминания эти не греют души. И если я все-таки пишу о них, то только в силу данной себе и своим товарищам торжественной клятвы быть злопамятным.

Мы прилетели в Иркутск без всякого предубеждения. Что и говорить — город почтенный. Про Иркутский аэропорт нам было известно, что это хорошо оборудованный порт международного значения — через него идут самолеты на Пекин и Улан-Батор. Я не обследовал деятельности Иркутского аэропорта, хочу только поделиться впечатлениями.

Приземлившись, наш самолет остановился где-то на краю летного поля — как выяснилось впоследствии, в двух с лишним километрах от здания аэровокзала. Трапа дол● не подавали. Наконец подвезли трап, пассажирам было предложено взять ручной багаж и покинуть самолет — рейс задерживался. Темнота, двадцатитрехградусный мороз. Захватив ручную кладь, сползаем по скользкому трапу на снег. Автобуса нет. Ждем. Вдруг наша разведка обнаруживает невдалеке собирающийся отойти полупустой, неосвещенный служебный автобус. Бросаемся к нему и набиваемся внутрь. И вдруг некто (лица его я так и не видел) устроил грубый скандал, требуя, чтоб пассажиры оставили служебный автобус. Мальчишка орал на немолодых, заслуженных офицеров, и даже вмешательство командира самолета не заставило его замолчать. В конце концов автобус тронулся, но тон был задан.

В набитом людьми и все-таки холодном зале ожидания мы встретили своих коллег — журналистов, вылетевших рейсом 01 от второго. От них мы узнали, что наряду с грязной и переполненной гостиницей имеется в самом здании аэровокзала несколько чистеньких номеров «Интуриста», что ресторан делится на две половины: одна, опять-таки переполненная, обслуживает всех скопившихся за двое суток пассажиров, дру-

гая — пустующая и сравнительно чистая — только туристов, а в отсутствие таковых — немногих случайных счастливчиков.

С ними администрация тоже не слишком считается, но по крайней мере выслушивает, не перебивая. Если эти счастливчики ведут себя разумно, то есть хлопочут только о себе, ни за кого не заступаются и не пытаются излишне обобщать свои недовольства, им могут пойти навстречу. Со всеми прочими попросту не разговаривают. Начальства никогда нет на месте, а будучи изловлено, оно бросает на ходу одну из проверенных формул: «Ваши дела нас не касаются. Нам самим неинтересно вас держать», «Не вам одному, всем нужно».

У людей бывают чрезвычайные обстоятельства, печальные и радостные: тяжело заболела жена; министерство вызвало доложить об изобретении... Дорог каждый час. Зачастую можно помочь, пересадить с одного самолета на другой. Но бесполезно что-либо доказывать. В случаях, когда можно поверить на слово, не верят даже телеграммам. Не слушают, не смотрят и при этом как-то особенно обидно улыбаются, как будто имеют дело с неопытным аферистом.

Информация в аэропорту организована так, чтоб держать пассажира в состоянии постоянного нервного напряжения. Из хриплого громкогоговорителя время от времени доносится нечто нечленораздельное. Доверяться ему — наивность непростительная. Надо непрерывно наводить справки, и десятки людей осаждают справочное бюро, штурмуют коммутатор, подвергают перекрестному допросу рядовых служащих или, сбившись в стаи, бродят в поисках аэродромного начальства. Полученные таким способом сведения нередко противоречивы, возникают таинственные слухи, не менее, впрочем, достоверные, чем официальные сообщения.

Нам неслыханно повезло. Ужидали в интуристовском зале и ночевали в номере-люкс. В пустой интуристовский зал мы проникли с тыла и поначалу были приняты в штыки. После дипломатических переговоров, пообещав не требовать пива, а пить только коньяк марки «КВ» (двадцать четыре рубля за сто граммов), мы смогли поесть по ценам лучших московских ресторанов. Мы пили коньяк с танковым названием и закусывали блюдом, обозначенным в меню как «шашлык со сложным гарниром». Шашлыком названы были куски жирной свинины, сложный гарнир оказался картошкой.

В гостинице нам дипломатия уже не помогла. Помогло другое. Мы заняли номер не потому, что к нам было проявлено особое внимание, а именно в силу глубочайшей невнимательности. Привычка говорить «мест нет», не поднимая глаз, в данном случае сыграла прогрессивную роль. Мы перехватили ключ от «люкса» у бежавших на посадку коллег «от второго», тихонько прошли через вестибюль, где на раскладушках и на полу спали десятки людей, — и заняли номер. Подмены никто не заметил. Одежды мы были одинаково, а в лицо, как я уже говорил, здесь не смотрят. Мы легли на чужие простыни, но спать почти не пришлось: каждый час надо было звонить разными голосами по разным телефонам, и все говорили нам разное...

Мы не улетели ни на рассвете, ни после полудня. К середине дня мы совершенно акклиматизировались, бродили по петляющим следам иркутских администраторов и устраивали засады в их пустующих кабинетах. Усвоили местное арго (к примеру, фраза «Владивосток закрылся до десяти Москвы» означает, что Владивостокский аэродром не принимает самолетов до десяти часов по московскому времени). Наконец Владивосток «открылся». Солнце клонится к закату, но мы не вылетаем. В чем дело? Ищут кладовщика, чтоб стнулил продукты. Пассажиры окружили заместителя начальника аэропорта и убеждают его выпустить самолет поскорее. Все сыты и дружно отказываются от питания. Начальство неумоли-

мо (раз положено, то положено), и когда заканчивается погрузка леденцов и крем-сода, время уже потеряно. Нам предстоит посадка, а может быть, и ночевка в Хабаровске.

Прилетев в Хабаровск, мы убедились, что дела наши обстоят еще хуже, чем мы думали. Представительница Хабаровского аэропорта вместо традиционного поздравления с благополучным прибытием скомандовала: всем покинуть самолет, предстоит ночевка, почевать нигде, кому не нравится, сдайте билеты в кассу, получите по сто сорок пять рублей и поедете поездом.

Пассажиры возмутились и заявили, что не выйдут из самолета, пока не будет обеспечен ночлег. Около часа длилось препирательство. С обеих сторон было сказано много злых и обидных слов. Чем кончилась баталия, мы так и не узнали — вернулся ходивший на разведку Тимур и шепнул: поезд на Владивосток отходит через полтора часа. За это время надо успеть получить багаж и деньги, достать два такси, доехать до вокзала, достать пять билетов на проходящий поезд и погрузиться. Везде — в багажном отделении и у касс — толчея и большие очереди. Задача почти невыполнимая, но попытаться надо — иначе рискуем опоздать.

Вероятно, в глазах оставшихся пассажиров мы выглядели капитулянтами и штрейкбрехерами. Но медлить было нельзя. Через полтора часа мы уже сидели в купе международного вагона, протирая помятые бока и подсчитывая потери. Я отделался легко (томик Мультиатули и несколько пуговиц), но Митя несутешен — при погрузке носильщик разбил две уникальные малогабаритные лампы.

Чтобы больше не возвращаться к Иркутскому аэропорту, скажу сразу: на обратном пути мы опять провели там более суток. Все было так, как будто мы не улетали. Не буду томить читателя описанием всех наших мытарств и перейду прямо к финальному эпизоду. Декорация: тесное помещение отдела перевозок, разделенное барьером на две половины. По одну сторону барьера сидит дежурный. На его лице печать того возвышенного спокойствия, которое пленяет нас в баллийских деревянных скульптурах. По другую — глухо ропщет спрессованная, как финики, толпа. Ситуация такова: Омск плотно закрылся, и поэтому ни один из «ТУ-104» вылететь не может. Всем известно, что через несколько минут должен вылететь «ИЛ-18» — он летит на Москву без посадки. Какая-то женщина умоляет пересадить ее на «ИЛ». Положение у нее в самом деле критическое: она уже три дня в пути, и, если сегодня не улетит, командировка теряет всякий смысл, заседание коллегии, на которое она вызвана, состоится завтра утром. Я готов дать голову на отсечение, что она не врет, но дежурный не верит даже телеграмме. Он твердит свое: «Всем надо срочно, у всех телеграммы...» И на отчаянный вопрос женщины: «Что же, ехать обратно?» — изрекает с корректностью, которая хуже ругани: «Простите, вот это дело ваше, я вам указывать не могу».

Затем Тимур, слегка заикаясь от сдерживаемой злости, объясняет дежурному, что мы — группа московских журналистов — везем срочный материал и что еще вчера обещано отправить нас первым самолетом, а дежурный, обидно улыбаясь, доказывает, что этого никак не могло быть, в списках нас нет и никто не мог дать нам такого обещания. Наши аргументы были уже полностью исчерпаны, когда распахнулась дверь и лекто простуженный яростно возопил: «Где здесь московские журналисты? Задерживаете самолет!» Мы протискиваемся к выходу, сломя голову несемся за багажом и через десять минут, охая и задыхаясь, вступаем на борт комфортабельнейшего «ИЛ-18». Опять наступает райская жизнь,

Свободных мест много. Женщина, спешившая на заседание коллегии, осталась в Иркутске.

Но это, так сказать, в скобках. А пока мы сидим в купе вагона, пьем горячий чай, и вместе с теплом приходит покой. Уверенность, что через семнадцать часов мы наверняка будем во Владивостоке, плюс гордое удовлетворение, которое получаешь от преодоления любых, хотя бы и бессмысленных препятствий, дают неожиданную реакцию — ярость остыла, мы кротко беседуем и даже находим во всем забавную сторону. Конечно, мы поругиваем бюрократизм и разгильдяйство, но уже скорее в философском аспекте. Дебатируются два вопроса: «Каковы основные признаки бюрократизма» и «Почему бюрократы нас не боятся».

По первому вопросу можно говорить долго. Мне всегда казалось, что основной признак бюрократической психики — удивительная способность ставить второстепенные соображения выше главных и неуклонно ими руководствоваться. То, что в пассажирских перевозках самое главное пассажир, — истина, лежащая на поверхности, общедоступная и уже поэтому банальная. Бюрократу ведомы соображения, которые доступны не всем. И недовольство пассажиров его мало беспокоит.

Как же так, черт возьми? Неужели у него никто не спрашивает отчета?

Спрашивают. И даже очень часто. В том-то и беда, что бюрократ гораздо больше думает об отчетности, чем о самой сущности порученного ему дела. Но ведь даже самая совершенная отчетность есть только код, состоящий из ряда показателей, в большинстве своем цифровых. Эти показатели лучше всего говорят о количестве проделанной работы, хуже — о качестве и почти ничего — о таких трудноизмеримых вещах, как чуткость, талант, такт, человечность и т. д. Некогда мы слишком увлекались этими «показателями», теперь доверие к ним поослабло. В этом есть заслуга и нашей печати, многократно на сотнях примеров доказывавшей, сколь опасно судить о работе фабрики только «по валу», о работе учителя — по отметкам, о работе врача — по записям в истории болезни, о милиции — по «проценту раскрываемости». Большую роль сыграл пример главы Советского правительства: достаточно читать газеты, чтобы видеть, что Никита Сергеевич не находится во власти показателей. Поэтому он все время в движении, вчера разговаривал с латышкой колхозницей, а сегодня беседует с женой шахтера из Артема. Большой жизненный опыт позволяет ему доверять своим впечатлениям. И зачастую десятиминутная беседа раскрывает ему больше, чем иной толстый отчет.

Однако до сих пор, оценивая деятельность организаций, обслуживающих население, мы недостаточно учитываем такие показатели, как их репутация, добрая или дурная слава, впечатления трудящихся. Жалоб нет — значит все в порядке. А ведь нередко бывает так: слава дурная, а жалоб нет.

За двое суток мы видели в Иркутском аэропорту много глубоко возмущенных людей. Казалось бы, лавина жалоб должна обрушиться на головы виновных. Пассажиры грозили кому-то звонить, корреспонденты клялись, что уже начали писать фельетоны. Но никто не трепещет. А некоторые даже обидно усмеваются.

Тут мы подходим ко второму вопросу, условно обозначенному: «Почему бюрократы нас не боятся?»

Потому что они опытные люди и недурные психологи. И знают, с кем имеют дело.

У нас не любят жаловаться и не любят жалующихся.

В принципе это хорошо.

У нас не любят мелочных людей и боятся показаться мелочными.

Это тоже хорошо, тем более, что в массе наши люди действительно не мелочны. К тому же они неприхотливы, лишены мстительности и склонны к юмору. Они сердятся, когда им мешают, и быстро отходят, как только раздражающая их помеха убрана. Наконец, все они очень заняты каким-нибудь кровно интересующим их делом. И по опыту знают: жаловаться — дело трудоемкое и связанное с дополнительной трепкой нервов. Разве мало начальников, воспринимающих жалобу на своих подчиненных прежде всего как личную обиду и покушение на престиж? И я отлично понимаю занятого, увлеченного интересным делом человека, когда он не требует жалобной книги, не ищет возмещения мелких убытков, не пользуется шестимесячными гарантиями и покорно ставит на книжную полку бракованный том. Я сам такой. Известно: чаще всего жалуются отставники и пенсионеры. Что у них, характер хуже? Нет, просто больше свободного времени.

Все это бюрократ отлично понимает.

Ну, а корреспонденты? В оправдание журналистов можно сказать, что они тоже люди. У них тоже есть дела поинтереснее. Они знают по опыту: чтоб изобличить виновных в мелком свинстве, требуется не меньше времени и усилий, чем в случае крупного преступления. Напишешь мало — недоказательно, много — несолидно. А тут еще редактор ворчит: «Вечно вы лезете с дрызгами. Нет, что ли, у нас хороших аэропортов?..»

Кстати, есть. Например, Омск.

Все это бюрократ отлично понимает и учитывает. И поэтому не очень боится угроз.

Выводы?

Их два. Первый — для пассажиров. Не надо быть чистоплюями, надо жаловаться. Это неприятно. Что делать! Нельзя пренебрегать мелочами. Ложка дегтя — мелочь, но подарком вошла в поговорку. Второй — для руководителей. Самим, не дожидаясь жалоб, заниматься проверкой подведомственных им учреждений. Не по показателям. А попросту. Потолкаться среди пассажиров. Можно инкогнито. Послушать, что говорят. Поинтересоваться репутацией своих сотрудников. Не в отделе кадров, а в зале ожидания. И больше доверять своим впечатлениям. Впечатления честного человека — тоже документ.

Ф-фу! Пусть мои товарищи будут свидетелями — я свою клятву выполнил. А если потребуется, пусть засвидетельствуют, что я ни в чем не погрешил против правды: именно так обстояло дело в Иркутском аэропорту в прошлом году. Сейчас, как я слышал, порядки там улучшились.

* * *

В вагоне мы отлично выспались и проснулись в праздничном настроении. В окно купе светило солнце, из коридора неслись звуки духовых оркестров — радио транслировало Октябрьский парад.

Затем началась демонстрация. Во Владивостоке играли марши, а в окнах все чаще и чаще возникали украшенные кумачом и хвоей строения. Дети махали нам флажками, взрослые — варежками; от этого радостное ощущение, что и мы участвуем в демонстрации, причем поезд кажется мне то колонной, то трибуной.

Когда мы приехали во Владивосток, демонстрация уже окончилась. Наши телеграммы получены, и нас встречают. Через полчаса А. П. и я сидим за праздничным столом у наших старых друзей. Это очень хоро-

шле люди, и встреча с ними еще больше поднимает настроение. К сожалению, наговориться вволю нет времени — в 18.00 надо быть на корабле.

Крейсер «Адмирал Сенявин» стоит у тридцать третьего причала. Этот причал мне хорошо знаком. Четырнадцать лет назад я несся по нему, задыхаясь и размахивая фуражкой: уходивший в Корею сторожевик «Метель» уже убирал сходни. На этот раз я поднялся по трапу не спеша, истово приветствовал флаг и, стараясь не обнаружить волнения, ступил на деревянный настил юта.

Современный военный корабль — сооружение сложное. В сравнительно небольшом пространстве размещено огромное количество механизмов и сотни людей. Действия всех этих людей должны быть строжайшим образом согласованы. Водить такой корабль — большое искусство, ему учатся годами. И даже ходить по кораблю надо уметь. Человек, одетый в морскую офицерскую форму, не имеет права делать элементарных ошибок. Я не новичок на кораблях, но всякие навыки требуют упражнения, и на первых порах надо следить за собой.

Старший помощник командира Г. И. Савенков встречает ласково и приказывает матросам отнести наши вещи в приготовленные для нас каюты. Мы идем правым бортом и разговариваем громче обычного. Корабль дышит шумно, со свистом и клеткотом. Я люблю этот шум; иногда он утомляет, но чаще бодрит. Вероятно, когда-нибудь добьются, чтоб вдвухная вентиляция была такой же бесшумной, как человеческое дыхание, но сейчас вой моторов, свист воздуха и легкое содрогание корпуса кажутся мне таким же естественным звуковым фоном на корабле, как шелест листьев в лесу. Я ни разу не задел ногой за трос, не без грации одолел крутой трап, но, проходя мимо места, именуемого в просторечии Ташкентом, все-таки забыл придержать фуражку, и она чуть было не улетела за борт. Ташкентом называется место, где мощные вентиляторы извергают наружу выкачанный из машинного отделения нагретый воздух. В районе Ташкента всегда жарко. Кстати сказать, на обратном пути Ташкент был переименован в Джакарту.

Мы с А. П. получили на двоих отличную каюту рядом с кают-компанией. Если учесть, что на крейсере нет места для гостей и размещение идет за счет уплотнения, — мы устроены как нельзя лучше. В каюте есть все необходимое: две койки, стол, умывальник, репродуктор и даже телефон. Телефон нам почти не нужен, но без репродуктора на корабле не проживешь. Выключить его — все равно что оглохнуть, рискуешь упустить что-то существенное и тебя касающееся. Не успели мы расположиться, как репродуктор объявил: «Всем прикомандированным офицерам собраться в кают-компанию». Теперь ясно, кто мы такие. Мы — прикомандированные. Слово так себе, немножко похоже на «перемещенные». Но смысл ясен. Мы не гости, не пассажиры и в то же время не принадлежим к экипажу корабля. Каждый из нас имеет свое место и обязанности. Всех прикомандированных больше ста человек; с нами идут Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, футбольная команда и другие спортсмены.

Перед сном я делаю первую запись в своем путевом дневнике. Вот она:

«Первое впечатление от крейсера отличное. Сейчас принято говорить о крейсерах как о чем-то безнадежно устаревшем, уходящем в прошлое. Конечно, основания для этого есть. В век атомного и реактивного оружия надводный артиллерийский корабль должен выглядеть примерно так же, как парусный бриг в век пара и электричества. Однако почему-то не выглядит. В чем дело? Надо разобраться. Никак не удается настроиться на элегический лад и ощутить поэзию увядания. «Вишневым

садом» тут и не пахнет. Оружие, конечно, устарело. Но ведь, помимо оружия, на корабле есть много первоклассной техники, а главное, много людей, которых никак не назовешь отсталыми. Они освоят любую технику. А пушки что ж... Атомная бомба как метод разрешения международных противоречий ничуть не новее, не умнее и не совершеннее, чем пушки. Устарели войны, а не пушки».

Ложимся спать пораньше, так как завтра на рассвете уходим в море.

* * *

Нас разбудили в пять тридцать. Отдраиваю броняшку иллюминатора — тьма крошечная. Надел шинель, вышел на палубу. Темно и холодно. Матросы скальвают лед с настила. Кажется, что никогда не рассветет, мы никуда не пойдём, никаких теплых стран не существует...

В восьмом часу наконец рассвело. Рассвет изумителен — по розовому полю бредут похожие на стада животных облака.

Вскоре играют «большой сбор». На юте митинг. Провожающих не много, речи короткие. Митинг на «Сенявине» еще не кончился, а эсминцы уже снялись со швартовов. Затем снимаемся мы. Флаг переносится с кормового штока на гафель — поход начался.

В 10.00 нас — прессу — собирает для беседы член Военного совета контр-адмирал М. Н. Захаров. Знакомимся с примерной программой визита. Программа до такой степени уплотнена, что один человек при всем желании поспеть всюду не может. Попутно обнаружилось намерение штабных работников заранее расписать нас по мероприятиям и регламентировать нашу деятельность. Вольнолюбивая пресса ропщет. Она хочет свободы выбора и передвижения. Больше всех бунтует наш штатский Митя. Я молчу. По опыту знаю: придем на место, и все образуется. Все будет проще, непринужденнее и интереснее, чем мы думаем. Во время визита в Данию адмирал А. Г. Головкин разрешил матросам ходить в гости. Это не было предусмотрено программой. Пятьсот матросов были приглашены. И ни один не подвел адмирала — никто не опоздал на корабль. Последний приехал за минуту до отбоя на такси.

Перед обедом собираемся в салоне кают-компании. Здесь выставлены для обозрения подарки, которые мы возьмем индонезийским друзьям. Много хэрошего, даже оригинального, например модель спутника с вмонтированным в нее миниатюрным радиоприемником. А есть безвкусные. Вокруг этих вещей сразу разгорается дискуссия. В особенности достается одной оклеенной ракушками шкатулке (не видали в Индонезии ракушек!). Кто-то весьма к месту вспоминает рассказ Мопассана «Шали». Майор, ведающий выставкой, защищается вяло, и у меня такое впечатление, что, побывав за экватором, шкатулка вернется во Владивосток.

Обед роскошный, но прикомандированные едят лениво — многие отвыкли обедать в полдень, к тому же мы еще не перестроились: что-то внутри нас упрямо твердит, что в Москве еще никто не завтракал.

По трансляции передают радиогазету и данные о нашем местонахождении. Мы проходим мимо берегов Северной Кореи. Затем читается справка. Коротко: географическое положение, экономика, политический строй. Толково придумано.

После обеда стало покачивать. Объявлено: шторм силой до семи баллов. Выхожу на палубу — ничего выдающегося. Порывистый холодный ветер, волны невелики и почти без гребешков. Четырнадцать лет назад в этих местах восьмibalльный шторм вымотал у меня всю душу. Дело, конечно, не во мне, а в корабле.

К середине дня волнение утихло, но радоваться преждевременно — штурманская часть засекла впереди тайфун. Тайфуны в этих широтах не редкость и достигают большой разрушительной силы. Метеослужба

всех тихоокеанских держав ведет за ними пристальное наблюдение. Каждый тайфун регистрируется, получает порядковый номер и даже собственное имя. Правда, регистрацией его не укротишь, но взятый на учет тайфун менее опасен, его поведение можно предвидеть и соответственно маневрировать. Наш тайфун зовется «Эмма» и имеет номер 20-59.

Вечером по просьбе замполита корабля Корнеева выступаю в кубрике перед матросами радиолокационной службы. Тема: визит балтийцев в Данию.

При моем появлении подается команда «смирно», и три десятка матросов с грохотом встают. Таков порядок. Поэтому я не машу руками, изображая милую скромность, а говорю «вольно». Оттого, что люди коротко острижены, одеты в жесткие брезентовые робы и обуты в тяжелые башмаки, они выглядят грубее и однообразнее. Но вот они рассаживаются, я вглядываюсь в лица и вижу, что мне предстоит говорить в очень квалифицированной аудитории. Да, это рядовые матросы и старшины срочной службы, они встают по команде «смирно», если затрещат звонки боевой тревоги, они сорвутся с мест и понесутся, опрокидывая скамейки, по своим боевым постам, но нет такой силы, которая заставила бы их с интересом слушать скучное и общеизвестное. Не говоря уже о том, что эти молодые люди — классные специалисты в области, где мои познания ничтожны, они много читают, смотрят фильмы, слушают лекции. Элементарные сведения о Дании им не нужны. Не удивишь их и заготовленными впрок развлекательными аттракционами, например рассказом об охраняющих королевский дворец двухметровых гвардейцах в шапках из медвежьих шкур. Надо разговаривать всерьез.

Я начинаю рассказывать и на ходу перестраиваюсь. Оказывается, самое интересное сегодня не то, что разделяет людей, а то, что их сближает, не диковинное, а характерное, не экзотическое, а общечеловеческое.

В наше время экзотика обречена на вымирание. Сто лет назад гардемарин Станюкович совершил на паруснике кругосветное путешествие. Оно продолжалось три года. В наши дни кругосветное путешествие на корабле занимает меньше трех месяцев. А на реактивном самолете — меньше трех суток. Земная поверхность в основном изучена, и на карте мира почти нет белых пятен. Антарктида была последним открытым материком. Все реже приходится читать сообщения об открытии какого-нибудь нового островка или неизвестного племени. Таинственный неги — снежный человек — привлек внимание всего мира. Но я не верю, чтоб этот обросший шерстью индивидуум смог долго уклоняться от любопытства своих старших собратьев, летающих на вертолетах с радарными установками. Это удастся ему только в одном случае — если он не существует.

Помните:

Говорил

О сказочных пещерах и пустынях,
Ущельях с пропастями и горах,
Вершинами касающихся неба.
О канибалах или дикарях,
Друг друга поедающих. О людях,
Которых плечи выше головы.

Таких людей никогда не существовало. Однако ни Дездемона, ни венецианский сенат не сомневались в истинности слов Отелло. Проверить его в ту пору было трудно. К тому же мавр был честный человек. Если он и заблуждался, то добросовестно.

Сегодня мы, сидя в московском кинотеатре, поднимаемся вместе с киноаппаратом к верховьям Амазонки, а житель Центральной Африки при помощи кинопередвижки взбирается на Импаир Стэйтс Билдинг.

Все реже слышатся аханье и слова: «Не может быть!» Люди не потеряли способности удивляться, но удивляются они тому, что действительно ново. Спутнику, а не жирафу.

И все-таки корень экзотического видения мира не в незнании, а в предвзятости.

Недавно я перечитывал «Восковую персону» Ю. Тынянова. Отличная повесть. Великий Петр поступал мудро, создавая свои, наивные на нынешний взгляд, кунсткамеры. Ничего общего с существующими поныне в ряде стран базарными кунсткамерами, чье назначение — изумлять обывателя. Петр собирал заморские диковины для цели противоположной — чтобы вчерашние бояре перестали удивляться тому, что на свете есть другие люди, живущие иначе, чем они.

И мудр был Александр Сергеевич Грибоедов, устами Чацкого клеймивший потомков этих самых бояр за постыдное низкопоклонство перед всем иностранным и даже призывавший в полемическом азарте к «премудрому незнанию иноземцев».

Такова диалектика.

Есть два рода предвзятости.

Первый. Я живу в центре земли. Все остальное — периферия. Я принадлежу к избранному народу. Все остальные — варвары. Я говорю на языке, который понимает бог. Все остальные лопочут. Я их не понимаю, но это не значит, что я глух. Это они немые. Я ем то, что можно и нужно есть, и одеваюсь так, как должен одеваться настоящий человек. То, как живут остальные, может быть занятно, забавно, пожалуй даже красиво, но, конечно, неправильно...

Второй. Мировой центр культуры находится где-то вдали, за границей. Я живу на периферии и могу только подбирать крохи. Все отечественное, будь то стихи или покрой штанов, кажется мне скучным и устаревшим. Мой язык груб, другие языки мне кажутся красивее, и только лишь мешает мне изучить их. Можно срамиться перед своим, но очень важно, что обо мне думает иностранец. Можно обидеть своего, но иностранец должен быть доволен. Где уж нам... и т. д.

Тупой шовинизм и постыдное низкопоклонство, высокомерие колонизаторов и отсутствие национального достоинства смыкаются.

Матросам, которые меня слушают, чуждо и то и другое. Поэтому их не интересует экзотика.

Я рассказываю им о происходившей на юте крейсера «Орджоникидзе» церемонии передачи в дар датскому народу драгоценных реликвий: двух пушек, принадлежавших экспедиции Беринга и обнаруженных нашими учеными на острове его имени.

Витус (а по-русски — Иван Иванович) Беринг, один из ближайших сподвижников Петра I, был родом датчанин. Датчане считают его своим национальным героем и чтят его память. Мы это знали, но, откровенно говоря, не предвидели того праздничного одушевления, которое вызвал наш дружественный акт. Несколько городов оспаривали право установить у себя старинные пушки с полустершимися латинскими надписями на стволах. Редкий случай, когда пушки способствовали дружбе и взаимопониманию между двумя народами.

Затем я рассказал о посещении копенгагенского Арсенала — крупнейшего в Европе музея оружия. С директором музея профессором Серенсеном, видным ученым и бывалым моряком, я познакомился на церемонии, и он пригласил меня и двух моих товарищей — поэта Азарова и журналиста Долгова — осмотреть Арсенал. На следующее утро он за-

ехал за нами на своей малолитражке. Под низкими сводами полуподвального этажа мы увидели сотни орудийных стволов — от неуклюжих первенцев артиллерии до нарезных гаубиц второй мировой войны. В верхних этажах расположена богатейшая коллекция огнестрельного и холодного оружия всех времен и народов, десятки тысяч ружей, пистолетов, мечей и кинжалов, прикрытых драгоценным нарядом и обнаженно-деловитых, похожих на церковную утварь и на слесарные инструменты.

Красивое и перадостное зрелище эти присмирившие под стеклом орудия смерти, служившие поработению чаще, чем освобождению, впитавшие в себя талант и труд многих поколений рудокопов, литейщиков, чеканщиков, физиков, математиков и ювелиров. Возле русских экспонатов — отпечатанные в типографии ярлыки с русскими надписями. Это знак особого внимания.

Прощаясь с любезным хозяином, шутим:

— В вашем великолепном собрании не хватает только атомной бомбы.

Ученый улыбается. Вероятно, он, как и мы, предпочел бы видеть атомную бомбу в музее.

Я рассказываю, какой изумительный памятник воздвигла Дания одному из своих славных сынов — скульптору Бертелю Торвальдсену. Занимающая целый квартал одноэтажная крытая галерея. Она замыкает со всех сторон светлый внутренний двор. В центре двора — могила художника. Вместо надгробия — живые цветы. Больше ничего. И — никого. Туда не ходят. Могила видна из любой точки галереи через огромные, сияющие чистотой окна. И через эти же стекла проникает в галерею мягкий свет. А в галерее собрано все, что создал этот замечательный человек за свою долгую жизнь. В большинстве — подлинники. Статуи, находящиеся в иностранных музеях, — в хороших копиях. Торвальдсен был в России. Мы видели его русские работы.

Еще один музей. Совсем другого рода. Музей при старейшей копенгагенской верфи «Бурмайстер и Вайн», строившей многие корабли русского флота. Тот, кто захотел бы изучить многолетнюю и полную драматизма борьбу рабочих-кораблестроителей за свои права, вряд ли нашел бы в музее необходимые данные. Но техническая сторона дела отражена в многочисленных движущихся моделях и на оригинальных стендах блестяще: умно, изобретательно и даже с юмором. Администрация верфи очень гордится музеем. Рабочие тоже. Но, конечно, по-разному. Одни видят в музее славу фирмы. Другие — дело своих рук.

Четвертый музей. Мрачный замок Кронборг в курортном городке Хельсингёр. Хельсингёр — это Эльсинор. Тот самый:

Привет вам в Эльсиноре, господа!

Балтийские матросы бродили по каменной площадке, где, по Шекспиру, появлялась тень отца Гамлета. Появляется она и поныне — в спектаклях, разыгрываемых в Эльсинорском замке приезжими труппами, датскими и иностранными. Датчане говорят о Гамлете совершенно так, как если бы он был историческим лицом. В Кронборге есть восьмигранная комната. Похожие на бойницы окна обращены на север, к морю. Служитель сказал: «Отсюда он с тоской смотрел на шведский берег».

Он — это Гамлет.

В заключение я показал маленький четырехугольный значок с короной, королевским вензелем и датой 1870—1940. Мне подарил его старик, мелкий служащий на пенсии. Это значок датского Сопротивления. Семидесятилетие датского короля Кристиана X совпало с намеченной датой восстания. Участники Сопротивления, в том числе мой случайный знакомый, носили значок открыто. Эсэсовцам было невдомек, что он служит паролем.

С таким значком нелегко расстаться. Но дружба делает людей щедрыми.

В Дании удивительно умеют хранить драгоценные реликвии и воздавать должное тем, кто се прославил. И в то же время меня поразило у многих датчан то, что профессор из «Скучной истории» называл отсутствием общей идеи.

— Мы мешане,— сказал мне датский журналист, хорошо говорящий по-русски. Сказано это было с характерной интонацией — не то покаянной, не то вызывающей; смесь самокритики с самодовольством.— Вы отдыхаете, чтоб работать, мы же работаем, чтоб отдыхать. То, что нас непосредственно не касается, нас мало волнует, и мы это быстро забываем. Газетам редко удается нас расшевелить. О Суэцком канале поговорили один день и перестали...

Вероятно, не все датчане таковы. И есть события — вроде нашего визита,— которые способны расшевелить многих. Но доля истины в этих словах есть. И, разгуливая по Тиволи — огромному комбинату развлечений,— я думал: не оттого ли здесь так яростно развлекаются, что часто скучают?

Нечто подобное говорит о шведах Эрик Лундквист, шведский писатель, живущий в Индонезии, автор замечательной книги «Дикари живут на Западе».

Мне задают много вопросов. Среди них два заставляют призадуматься.

— Были ли вы в Голландии? — И на отрицательный ответ: — Похожа ли Дания на Голландию?

Вопрос неспроста. Мы идем в Индонезию. Триста пятьдесят лет она называлась Нидерландской (Голландской) Индией.

Голландию я знаю только по книгам и по рассказам балтийцев, ходивших с визитом на «Свердлове». Поэтому отвечаю осторожно. Конечно, сходство есть, но... И вдруг отчетливо вспоминаю краски Копенгагена, яркие рекламы, стиль витрин и рыночных павильонов — откуда эта экзотическая пестрота под бледными северными небесами?

Копенгаген в переводе значит «купеческая гавань». Гавань превратилась в гигантский порт, в котором живет четверть населения страны. Не потому ли он возрос так пышно, что в течение десятков лет был колониальными воротами Северной Европы, через которые шел поток товаров из заморских владений — датских и не датских? И не объясняется ли высокий жизненный уровень, которым так гордятся датчане, не только трудолюбием и культурой народа, но и неким питательным экстрактом, выжимаемым где-то в далеких «экзотических» странах?

— В чем смысл реликвий и какая разница между реликвией и сувениром?

На этот вопрос не так просто ответить. Сувенир — возбудитель нашей образной памяти, капля гремучей ртути, заставляющая детонировать инертные пласты спрессованных в мозгу впечатлений и ассоциаций. Всякая реликвия тоже в некотором роде сувенир. И в то же время нечто большее. Реликвия не фетиш и не амулет, она не обладает никакими сверхъестественными свойствами, а между тем копии и подделки лишены той взрывчатой силы, которой обладают подлинные реликвии. В чем же различие?

В Ялте на одной из площадей висит большой транспарант: «Покупайте сувенирно-подарочные изделия артелей Вулкан и Бытпром». Оставляя в стороне терминологию и качество изделий, извергаемых Вулканом и Бытпромом, констатирую: сувениры можно купить. Ценность сувенира может повыситься в зависимости от событий, о которых он будет напоминать. Бывают очень ценные сувениры.

На другом конце Ялты находится Дом-музей А. П. Чехова. Там хранятся личные вещи писателя. Как для кого, а для меня очень важно, что они подлинные. В этом музее я бывал много раз, при жизни М. П. Чеховой и теперь, совсем недавно. Нас было четверо: К. Г. Паустовский с сыном, И. М. Меттер и я. День был неприятный. Сопровождавший нас заместитель директора музея Сергей Георгиевич Градни, проведя нас в столовую, сказал: «Обои мы вынуждены раз в пять лет менять. Фабрика делает их по нашим рисункам. Скатерти — подлинные, из запасов Евгении Яковлевны. Вещи, которые вы видите, — национальные русские реликвии. Им нет цены».

Замечательно сказано. Нет цены! Вот этим-то и отличаются настоящие реликвии — им нет цены. У нас много таких реликвий, но мы не всегда умеем до конца использовать заключенную в них энергию для эмоционального воспитания молодого поколения. Это очень нужная дисциплина. Человек должен быть эмоционально грамотным.

После беседы долго не могу заснуть

* * *

Вчера, чтоб выйти на верхнюю палубу, нужно было надевать шинель. Сегодня утром я вышел в тужурке. Прошло ровно сутки.

Идем кильватерной колонной. «Выдержанный» впереди, другой эсминец замыкает колонну. Над нами на небольшой высоте кружит самолет. Самолеты этого типа тихоокеанцам хорошо знакомы. Это «Нептун». Бывают еще «Мерлины». И бог морей и старый волшебник служат в одной и той же разведке. Основная черта их характера — детское любопытство. Им все интересно: куда мы идем, где будем брать воду и горячее и как у нас что устроено...

Когда я был мальчишкой, среди моих сверстников была распространена довольно странная и, как мне теперь кажется, не очень умная игра. По условиям этой игры разрешалось подойти к любому мальчику, когда он читает книгу или делает уроки, и водить пальцем перед самым его носом. Протестовать не полагалось, ибо по установившимся понятиям воздух был общий или, как говорилось, «казенный», формальное право было на стороне мучителя. Возмездие наступало, когда агрессор, увлекшись, касался хотя бы слегка лица...

Я смотрю на «Нептуна», описывающего вокруг нас правильный круг, и досадливо думаю: «Летай, летай! Воздух казенный...»

Стоящий рядом матрос говорит, что сегодняшней «Нептун» ведет себя еще сравнительно прилично — не пересекает курса, что запрещено международными правилами, и не пронсится с ревом над клотиком.

Перед самым носом корабля шныряют кавасаки — небольшие рыболовные суденышки японской постройки. Впечатление такое, что они (во всяком случае, некоторые из них) тоже заражены детским любопытством. Останавливаются и беззаботно ждут нашего приближения. И огромный бронированный корабль вынужден отворачивать, чтоб не задеть качающуюся на волнах скорлупку.

Был на ходовом мостике и познакомился с командиром. Небольшой изящный человек сидит, откинувшись на спинку глубокого кожаного кресла. Первое впечатление от позы и манеры говорить — лениво-небрежное и весело-беззаботное. Впечатление ошибочное от начала до конца. Игорь Иванович способен сутками не сходить с мостика, и от его внимательного взгляда ничто не укроется. Он очень озабочен и поведением кавасаки и тайфуном, которого нам так или иначе не миновать. А повадка как раз изобличает опытного моряка, который не напрягается попусту и умеет экономить силы. К тому же он окружен внимательными помощниками и всеми видами корабельной связи. Можно не суетиться.

Командир говорит, что тайфун идет на юго-восток в район Филиппин. Может быть, удастся уклониться, но, вернее всего, придется пройти по его следам, там, где он взбаламутил море.

Идем проливом. Сквозь чисто вымытые стекла мостика отлично видны и берега Южной Кореи и Цусимские острова.

Наш корабль похож одновременно на завод, научную лабораторию и университет. Занятия идут все время. Сегодня в 14.00 командующий проводит беседу с личным составом корабля о задачах похода. Беседа транслируется, и мы слушаем ее в каюте.

В 16.00 в офицерской кают-компании работник штаба делает доклад об Индонезии.

В 19.00 — беседа командующего с представителями печати.

В 20.00 — просмотр фильма «Тропюю джунглей». Демонстрация идет параллельно в кают-компании и под открытым небом.

Сегодня мы идем мимо берегов Кореи. Это значит, что о Корее рассказывают докладчик в кают-компании, политработники и агитаторы в кубриках, дикторы радиогазеты. Справки географические, исторические, экономические, литературные на специальных стендах, в микроброшюрах и в печатной газете корабля. Всюду висят карты. Сегодня о Корее, завтра о бассейне Восточно-Китайского моря, послезавтра о Филиппинах. И не захочешь, а поумнеешь.

Я действительно узнал за день много полезного. Индонезия — страна, находящаяся на военном положении. Еще тлеют очаги реакционного мятежа на Суматре. Западный Ириан до сих пор во власти колонизаторов. Индонезия — страна мусульманская, со своеобразными обычаями. Индонезия — страна тропическая. И очень полезно выслушать дельные советы людей, знакомых с политической и бытовой стороной жизни республики и искушенных в вопросах Протокола.

Нарочно пишу это слово с большой буквы. Я мог бы взять его в кавычки, но кавычки придают слову какой-то сомнительный, даже иронический оттенок, что оно заслуживает серьезного отношения. По наивности я полагал, что задача протокольных отделов министерств и посольств заключается в протоколировании дипломатических актов. Оказалось, что это второстепенная и наименее сложная часть их деятельности. Их ведению подлежит не только фиксация уже состоявшегося, но и подготовка того, что должно произойти и в особенности как произойти. Заведующий Протокольным отделом, или сокращенно зав. Протоколом, — это современный церемониймейстер. Кто, кому, когда, в каком составе наносит визит, продолжительность и очередность — все это относится к области Протокола. Индонезия — дружественная страна, но дружить не значит пренебрегать этикетом. По словам знающих людей, индонезийцы весьма щепетильны в вопросах Протокола. Это и понятно: дипломатия Индонезии — одна из самых молодых на земном шаре, не прошло и пятнадцати лет с тех пор, как Индонезия стала суверенным государством.

Полезна и беседа с командующим. При ней присутствует член Военного совета Захаров, он уже в курсе наших дел. Опять легкая вспышка разногласий между нами и штабными. Адмирал слушает улыбаясь. Он понимает, что эти противоречия не антагонистические. На то они и штабные, чтоб все заранее предусмотреть, расписать, отрепетировать. На то она и пресса, чтоб искать неожиданного, из ряда вон выходящего и стремиться к свободе действий. Даже единство цели не спасает от некоторого субъективизма. Здесь все честные люди, прорабатывать некое и незачем, адмирал решительно останавливает чью-то попытку пришить оппоненту какой-то сравнительно безобидный ярлык. Не помню какой: не то «недооценку», не то «нездоровую тенденцию». Страсти утихают. Чтоб по-

гасить противоречия подобного рода, нужен не компромисс — компромисс их не снимает, а глушит, — нужна равнодействующая. Адмирал ее находит.

Вспоминаю спор, разгоревшийся в прошлом году в доме моих ленинградских друзей. Один из гостей, крупный работник милиции, человек смелый и талантливый, яростно напал на адвокатуру.

— На кой леший существуют эти крючки? — гремел он. — Защищают? Кого? Преступников? От кого? От честных людей? От советского суда?

Как видно, адвокатура доставляла ему много хлопот, он был очень убедителен в своем гневе. И очень неправ.

В своем увлечении он готов был ликвидировать состязательный характер судебного процесса. Состязательность в нашем социалистическом обществе сохраняет свое прогрессивное значение, способствует всестороннему рассмотрению фактов и помогает преодолеть неизбежную однобокость восприятия, свойственную сторонам. Как бы ни был честен и объективен следователь, им владеет пафос обличения. В исходных позициях, в конечных целях задачи прокурора и защитника едины, задача суда — восстановить это единство.

В данном случае командующий и член Военного совета на правах высшего суда восстанавливают наше единство. Делается это с юмором, так что ни у кого не остается осадка.

Великая вещь — юмор.

Первую половину фильма смотрю в кают-компании, затем ухожу досматривать на ют. Совсем тепло. Легкая бортовая качка. Экран укреплен на башне главного калибра. Матросы расположились как придется. После окончания расходятся не сразу, а беседуют, спорят. Картина нравится, но никто не ахает по поводу того, что на свете существуют такие диковинные звери. Говорят о технике съемки, восхищаются смелостью и искусством операторов. Одного старшину беспокоит судьба редких пород — и так истребляют без ума, а тут еще эта чертова радиация. Другой матрос высказывает неожиданные претензии идеологического порядка: «Уж очень жрут друг друга...» С его точки зрения, в фильме излишне подчеркнута неизбежность того, что в борьбе за существование сильный поедает слабейшего. Мысль эта на руку буржуазии. Возникает спор. Матросу резонно возражают, что джунгли и есть джунгли, а человек на то и человек, чтобы жить не по законам джунглей.

Матрос, конечно, неправ, но в его неправоте есть что-то очень привлекательное. Она — от хорошего.

Перед отбоем весь наш корреспондентский корпус собирается на баке подышать свежим морским воздухом. Я стою спиной к ветру и, задрав голову, рассматриваю возвышающуюся посреди корабля центральную надстройку с ходовым мостиком и куполами дальномеров. Неярко светит белый флагманский огонь, и вся надстройка разительно похожа на голову циклопа. Он может быть и грозным, но сейчас он добр и трудолюбив — старательно глотает мили и тихонько покачивает круглой головой. По стеклам мостика бродят неясные тени — похоже, что циклоп думает. И я проникаюсь к нему каким-то очень личным чувством.

* * *

День начался с криков и выстрелов. Аврал: идет перекачка мазута из запасов крейсера на эсминцы. Делается это при помощи шланга. Эсминец бежит параллельным курсом так близко к крейсеру, что между бортами море кипит и обе палубы мокры от брызг. Эсминец сильно качает, волны то перхлестывают через леера ограждения, то накрывают корабль так, что обнажается борт ниже ватерлинии.

В этих условиях передача шланга с корабля на корабль — процедура сложная и даже рискованная. Начинается она выстрелом из линемета. В воздухе со свистом разворачивается тонкий трос — «проводник». Он падает на палубу эсминца. За «проводником» тянется толстый трос, а затем при помощи целой системы блоков и лебедок самый шланг, похожий на огромную черную вялую змею с рыжей головой. Стоит страшный шум. Оба старпома и вахтенные офицеры, наблюдающие за работой, кричат в рупоры. Не обходится без крепких выражений. Спешу сообщить, что продиктованы они были исключительно заботой о безопасности работающих.

«Нептун», конечно, тут как тут...

В кают-компани идет офицерская учеба. Молодой штурман, водя указкой по карте, рассказывает о Восточно-Китайском море. Посидел четверть часа, затем меня вытянули в матросский клуб на репетицию церемонии, которая будет происходить на корабле в день пересечения экватора. Клуб помещается в одной из нижних палуб. Отправляюсь туда и застаю А. П. запросто беседующим с богом морей. Бог в звании старшины и держится почтительно. Корона у него под мышкой. Разговор идет о драматургии. По ритуалу Нептун ведет с командиром корабля большой диалог, и консультация профессиональных драматургов очень кстати. Есть опасение, что тексты несколько устарели. Мы бегло просматриваем отпечатанные на папиросной бумаге листочки и откладываем окончательное суждение до конца репетиции.

Репетиция проходит отлично. Хорош и сам Нептун, и его церемониймейстер — обладатель глубочайшего баса, и придворный лекарь, говорящий тончайшей фистулой. Очень забавны кокетливые неренды и в особенности черти из танцевальной группы ансамбля. Черти верещат и скачут, однако не в полную силу, чтоб не сломать рога о низкий потолок. За командира корабля читает по бумажке старшина команды.

Поразительна живучесть традиции! Конечно, это не совсем то, что видел юный Володя Ашанин на верхней палубе «Коршуна». Многие выглядят иначе. Наш командир откупается от морского крещения не ромом, а квасом и вообще держит себя гораздо независимее. Это понятно. Потопить «Сенявина» гораздо труднее, чем парусный клиперок, и Нептуну уже не удастся вести разговор «с позиций силы». Но общий дух народного зрелища — его полумимовизиционный характер, смесь наивности, степенности и грубоватого веселья — пробился сквозь толщу времени, и нынешний Нептун, несомненно, прямой потомок древней династии.

После репетиции мы с А. П. в один голос заявляем — ничего менять не надо. Пусть даже говорят: Нептуну, Нептунбм. На занятиях по астрономии мы бы поправили, а здесь не надо. Ограничиваемся тем, что вставляем две-три остроты на злобу дня (Нептуну предлагается объяснить, в каких отношениях он состоит с «Эммой» и своим любопытным тезкой) и беспощадно вымарываем вводный дикторский текст, где очень нудно разъясняется, что обычай морского крещения тянется со времен седой старины, когда верили, что стихии подчиняются велениям богов. Теперь же... и т. д. и т. п.

Слава богу, на крейсере все взрослые и грамотные...

Под вечер другая репетиция — на юте. Репетирует хоровая группа ансамбля. Танцев не будет из-за сильной бортовой качки. Перед кормовой башней главного калибра плотники соорудили небольшую эстраду. Басы стоят между пушечными стволами. У художественного руководителя хора майора Емеца вид озабоченный. Не только потому, что в первом ряду сидят командующий и член Военного совета. Его беспокоит, как будут звучать голоса. Человеческое горло — инструмент нежный,

от качки и влаги он может прийти в расстройство. Недаром голоса бывалых моряков отличаются приятной хрипотцой.

Репертуар хора велик и разнообразен. Хор поет и старинные матросские песни, и народные, и классику, и современных авторов. Специально для визита разучили три индонезийские песни: популярную «Моя Индонезия», лирическую «Песню с веслом» и плясовую «Типатокаан». «Моя Индонезия» поется наполовину по-русски, наполовину по-индонезийски, а две другие — на чистейшем «бсхаса индонесиа».

Репетиция начинается с торжественной кантаты Мурадели «Россия — родина моя». Поют хорошо, стройно. Не только в звуках песни, но на всех лицах то серьезное и гордое, что появляется во время исполнения гимна.

А рядом — озорная шуточная песенка «А почему?». Ее исполняет вокальный квартет. Речь идет о некоем удачливом матросе.

А почему? А почему
Дается все легко ему? —

вопрошают бас и баритон.

А потому наве-е-ерно...—

заливается тенор. После чего все четверо дают исчерпывающее объяснение:

...что он матрос примерный.

Слова совсем немудрящие, но в фермате, которую делает второй тенор Василий Герасименко, есть какое-то бесовское обаяние, что-то лихое, забавное и очень русское. Все начинают улыбаться.

В перерыве идет обсуждение, в нем принимают участие и адмиралы и матросы. Дебатируются в основном два вопроса: а) Подлинны ли индонезийские мелодии, не слишком ли они европеизированы и русифицированы? Признают ли их индонезийские слушатели за свои? б) Поймут ли индонезийцы наши песни? Дойдут ли до них некоторые чисто русские нюансы и юмор? Большинство уверено, что все дойдет, некоторые сомнительно покачивают головами.

В заключение хор поет старинный вальс «Дунайские волны». Я стою сбоку от эстрады и вижу: вот поднялся левый борт, и задние ряды зрителей вознеслись на высоту бельэтажа; затем он опускается, и поверх бескозырок возникают волны с белыми гребешками пены. И кажется, что корабль ритмически покачивается в такт музыке.

Днем мы прошли острова Рюкю. Сейчас мы на широте Шанхая.

* * *

К ночи разыгрался шторм.

Спать невозможно. Основное ощущение: какие-то силы возмутились и вышли из подчинения законам. Если вдуматься, то вздор: все происходит в точном соответствии с законами физики. Но мое консервативное сознание признает это с трудом.

Я лежу на верхней койке. Плечо с силой вдавливается в подушку, затем кто-то невидимый тянет меня в обратную сторону, и на мгновение я становлюсь невесомым. Бархатный полог лязгает кольцами, никелированная штука, на которой висят полотенца, то визжит, как флюгер, то стучит, как метроном, полотенца описывают дугу в сто восемьдесят градусов. Переборки хрустят, чемоданы носятся по ковру, кресло вращается. С письменного стола все сползло и рухнуло — к счастью, чернильница пуста... Из поврежденных шпигатов поступает забортная вода, и надо спасать книги.

Наша каюта расположена под одной из башен универсального калибра, шторм с яростью набрасывается на нее, и поэтому над нами как-то особенно щелкает; ощущение такое, что мы в запаянной банке, а некто, вооруженный тупым консервным ножом, пытается нас вскрыть.

Я уже второй раз говорю: кто-то, некто. Надеюсь, что даже перед лицом неотвратимой гибели я не обращаю своих мыслей к всемогущему богу, но, честное слово, я начинаю понимать моих необразованных прапрапредков, когда они за неимением лучшего объяснения полагали, что существует Он, кто-то, некто, управляющий стихиями, и давали ему различные имена. Французы до сих пор говорят про дождь: «Il pleut». И, слыша сильные удары в дверь каюты, я не могу удержаться, чтоб не крикнуть: «Войдите!» А когда невидимая сила со свистом отдергивает тяжелый полог, я сердито кричу: «Кто это?»

Убедившись, что заснуть не удастся, я встаю. Креплю по-штормовому свое имущество и выхожу на верхнюю палубу. Подгоняемый ветром корабль, подрагивая, несется во весь опор. Тьма непроглядная. Когда глаза привыкают, лезу наверх — на шлюпочную палубу. Сюда не долетают брызги, но размахи корпуса ощутительнее, в момент наибольшего крена надо цепко держаться за поручни, дабы не скатиться вниз, как чернильница с письменного стола. Отсюда недалеко до ходового мостика и штурманской рубки, но я понимаю, что сейчас там не до меня, и иду искать Тимура. Нахожу его в каюте Дорогина. Дорогин, товарищ Тимура по выпуску, командует корабельной артиллерией. Тимур стучит на машинке, а хозяин каюты спит. Пока он спит, я хочу о нем рассказать.

Фома Фомич, пожилой и невзрачный артиллерист, безнадежно тянувший ляжку в вечном подчинении, поручик, несмотря на свои сорок пять лет от роду и двадцать пять лет службы, Фома Фомич принадлежал к тем обойденным, забытым судьбой служебным «париям», которые известны под названием штурманов, механиков и морских артиллеристов.

Дорогина зовут не Фома Фомич, а Лев Николаевич, ему тридцать пять лет, он капитан третьего ранга и не только не последний, но один из первых людей на корабле. Предыдущий абзац — цитата из Станюковича, и к Л. Н. Дорогину никакого отношения не имеет. К старшему штурману Ткаченко и к инженер-механику корабля Филиппову она тоже никак не применима. Сейчас уже невозможно себе представить, что именно представители научно-технической интеллигенции были когда-то корабельными париями. Успех нашего поединка с «Эммой» в значительной степени зависит от точности навигационных расчетов и надежности механизмов. Работу штурмана Ткаченко можно без преувеличения назвать научной — ему приходится подвергать анализу сводки различных метеоцентров и на этой основе судить о поведении тайфуна. Филиппова можно сравнить с главным инженером крупной электростанции. Если добавить к этому, что электростанция не стоит на твердой земле, а несется по морю, подгоняемая ураганным ветром, что ошибка штурмана имеет для всех нас гораздо более актуальное значение, чем ошибка астронома Козырева, то легко понять то почтение, с которым я отношусь к бывшим флотским париям.

Флагманский радист И. Я. Волошин, вероятно, был бы во времена Станюковича парнем из парней. Даже должности такой не существовало. А Волошин — настоящий ученый-экспериментатор, по окончании похода он поедет в Ленинград для доклада о проведенных им опытах.

Но вернемся к Дорогину. Ленинградец, сын учительницы, племянник знаменитого балтийского подводника Ивана Вишневецкого, погибшего в 1943 году. Служил матросом, был вестовым. Окончил училище

имени Фрунзе. Небольшого роста и несильного сложения, но любит море, любит морскую службу и даже чуточку притворяется службистом и бурбоном. На переборке его каюты укреплен щит вроде тех, что висят в гостиничных лифтах. Загорается цифра «10» — значит, в десятом артпогребе повысилась температура.

Мы будим Дорогина, и он, сладко зевая, тянется к телефонной трубке. Вскоре приходит А. П., за ним несколько знакомых офицеров, и начинается один из тех длинных беспорядочных разговоров, переходящих то в серьезный спор, то в классическую флотскую «травлю», которые во все времена являлись неотъемлемой частью жизни всякой корабельной кают-компани.

* * *

Всю ночь почти никто не спит. Корабль маневрирует, меняет скорости — шел и двенадцатиузловым ходом, и двенадцатиузловым, и самым малым. Утром пересекли тропик Рака. Небо затянуто плотными облаками, море как неочищенная стеклянная масса. Волны не такие, как у берега, они не приходят издали, а вспухают у нас на глазах. Ветер рвет и мечет. При этом тепло. Тепло так не гармонирует с тем, что я вижу, что ему не веришь. Кажется, что греет машина, а не солнце.

По радио передан приказ командира: без нужды на верхнюю палубу не выходить, идущим по делу надевать спасательные жилеты и привязываться. Всем, кроме фотокорреспондентов, запрещаются фотографии. Мера жестокая, но необходимая. У редкого матроса нет фотоаппарата, и момент, когда человек, приникший глазом к видоискателю, освобождает руку, чтоб нажать на спуск, запросто может оказаться роковым. По отношению к нам приказ можно толковать и так и эдак. Мы толкуем его в свою пользу и отправляемся на одну из верхних площадок подышать морской свежестью и посмотреть на разбушевавшееся море. При этом мы напоминаем гиббонов из вчерашнего фильма, хотя заметно уступаем им в ловкости. Удрали от командира, распекавшего какого-то матроса за лихачество, и тут же нарвались на адмирала, который сверх ожидания ласково потряс нам руки и выразил удовлетворение нашим бодрым видом.

Укачавшихся что-то не видно. Тяжело тем, кто стоит вахту в машинном отделении. Достается команде на эсминцах. Даже без бинокля видно, как сильно кренится и зарывается идущий впереди «Выдержанный».

Володя и Митя снимают с упоением. Снимать тайфун — дело не простое. Трудность в том, что самые грандиозные штормовые волны выглядят на общих планах ничуть не внушительнее обычных. Если сличить два кадра — один, снятый при двенадцати баллах, а другой при пяти, — разница будет почти неуловима. Только наличие в кадре ориентиров, будь то предметы или люди, позволяет судить о высоте и силе волны.

Обед без супа. Его нельзя ни сварить, ни разлить по тарелкам. Впрочем, донести ложку до рта тоже надо уметь. После обеда мне удалось соснуть. Спал я, вероятно, не больше получаса и проснулся от страшного грохота. Все стулья и чемоданы носились как угорелые. О том, как подло может вести себя обыкновенный чемодан, И. А. Бунины написан великолепный рассказ. Считая это описание классическим, не берусь что-либо к нему добавлять.

Кое-как распахав по углам свое взбесившееся имущество, сажусь редактировать листовку. От таких поручений никто из нас не отказывается, и я стараюсь выполнить его как можно лучше, хотя, честно говоря, имею насчет листовок свое особое мнение. Я не убежден, что

следует часто прибегать к столь экстраординарному способу поощрения, как издание специальной листовки. Во многих случаях статьи или даже заметки в газете вполне достаточно. Именно в героической стране надо осторожнее обращаться со словом героизм и не путать его с отличным выполнением служебных обязанностей. Героев у нас много, но к чему эта ставшая почти обязательной для героев формула скромности: «Каждый сделал бы то же на моем месте»? Если каждый, то и говорить не о чем. Зачастую выпускается листовка о человеке, который ничем или почти ничем не выделяется среди своих товарищей, столь же ревностно и умело выполняющих свой долг. Мне возражат: это делается для примера. Но надо еще разобраться, всегда ли команда «наградить примерно» или «наказать примерно» оказывает на награжденного (наказанного) и весь коллектив нужное воспитательное воздействие. Тут есть и отрицательная сторона. Я слышал, как один матрос, прочтя листовку, произнес только одно слово: «Лотерея». Это серьезно. Нельзя, чтоб к поощрениям и взысканиям устанавливалось отношение, как к некоей щедринской «планиде». Одно дело — заслужил, другое — «взошел в случай». Мне приходилось беседовать на эту тему со многими руководящими работниками — военными и гражданскими, — и почти все сходилось на том, что с точки зрения воспитания нет ничего лучше положения, когда каждый получает точно по заслугам. Добиться этого нелегко, выборочный метод гораздо проще. Но ведь и результаты хуже.

Вечером пресса атакует штурманов. Последние данные — ветер двенадцать баллов, волна десять-одиннадцать баллов. Даже не верится: перед войной одиннадцатibalльный шторм чуть не потопил в Бискайском заливе наш линкор «Парижская Коммуна», шедший из Кронштадта в Севастополь. Однако штурманская часть утверждает, что временами крен корабля был близок к критическому. Газетчики расходятся по каютам строчить корреспонденции, которым суждено насмерть перепугать наших близких.

Перед сном опять выходим наверх подышать. Море еще беснуется, но ощущение такое, что кульминация драмы уже позади, идет последний акт. Пути «Сенявина» и «Эммы» разошлись. Мы сидим, прижавшись друг к другу, на узенькой баночке около зенитного автомата и поем. Правый топовый огонь бросает на броню красноватые блики, похожие на отсвет из раскаленной топки, корабль дрожит, вентиляционные трубы харкают клочьями спрессованного воздуха, летит водяная пыль, и кажется, что это несется в ночь бронепоезд двадцатого года. Сполохи, буйный ветер и стремительный бег стального коня.

* * *

Ночью покачивало, но в меру. Небо по-прежнему плотно закрыто облаками, как будто над нами натянут сплошной тент. На фоне этого тента разгуливают другие облака, кучевые, фигурные, слегка окрашенные по краям в оранжевый тон.

К завтраку многие не вышли — отсыпаются.

Мы на траверзе острова Лусон (Филиппины). Если бы кровь не впитывалась в землю и не растворялась в океане, волны были бы багрового цвета. Наш путь пролегает вдоль большой дороги колониального разбоя, но, пожалуй, нигде не было пролито столько крови, как в этих широтах.

Филиппины были открыты Магелланом в 1521 году. Испанское владычество, столь же кровавое, как в Перу и Мексике, продолжалось до конца девятнадцатого века, точнее до 1898 года, когда вспыхнули народные восстания на Филиппинах и Кубе, восстания, стоившие много крови. Они были жестоко подавлены, но свою роль сыграли — испан-

ская мощь была подорвана. И плодами восстания воспользовались не те, кто пролил свою кровь, а другие люди.

В том же 1898 году стоявший в Гаване американский крейсер «Мэн» взорвался при невыясненных обстоятельствах. Так началась испано-американская война. Уже через несколько часов после взрыва в Манильском заливе шел бой между азиатской эскадрой Соединенных Штатов и испанскими кораблями. После двухчасового боя испанский флот был сожжен и потоплен. Испания подписала Парижское соглашение, по которому Филиппины отходили к США за двадцать миллионов долларов. Гроши, если учесть, что предметом купли-продажи был целый народ.

Через три дня после событий в Пирл-Харборе (1941 год) на Филиппинах высадились японцы. Макартур бежал. 24 октября 1944 года происходит грандиозное филиппинское морское сражение. В нем участвует несколько сот кораблей. Американцы берут реванш. Кровь льется рекой....

Обо всем этом говорят в кают-компании на очередных офицерских занятиях. А сквозь открытые иллюминаторы доносится грохот лебедок и голоса. Это подошел «Возбужденный», чтоб взять топливо. Шланг уже дважды касался палубы эсминца, но в последний момент рвались тросы. Кажется, сегодня ничего не выйдет. Волнение слишком сильно.

«Нептун», конечно, тут как тут...

Тропическая жара подкралась незаметно. Небо хмурое, волны угрюмого вида, но воздух теплый. Мы расхаживаем в легких рубашках и все-таки чувствуем себя легко только там, где обдувает ветерком. У нашего корреспондентского корпуса есть несколько изблюбленных мест. Одно из них так и называется «ложей прессы». Это небольшая площадка с правого борта, где стоит пеленгатор. Отсюда отличный обзор. Выгоднейшее стратегическое положение на пути к ходовому мостику и флагманскому командному пункту. Нас никто не минует. На одних мы набрасываемся, чтоб добыть нужную информацию, другие приходят сами, добровольно: у нас весело.

Второе изблюбленное место — узенькая баночка за зенитным автоматом. Там хорошо сидеть ночью.

Третье — на баке. Мы, как верующие мусульмане, совершаем там нечто вроде утреннего и вечернего намаза. Для этого надо стать лицом к корме. Там север, там родина. Стоя лицом к северу, люди, не имеющие штурманского образования, лучше понимают карту. Все просто: одесную ост, ошуюю вост, за плечами зюйд. В эти минуты хорошо думается о близких. Постоишь минутку — крейсер покачивает своей умной круглой головой, ветер рвет рубаху и грозит сорвать фуражку — и пойдешь своей дорогой.

В каютах невыносимая духота, особенно ночью, когда задремывают иллюминаторы. По секрету скажу, что мы не всегда это делаем, но тогда приходится тушить свет.

Я засыпаю ненадолго и просыпаюсь в горячем поту. Поворачиваюсь и вижу, что у моего изголовья, развалиясь в кресле, сидит неизвестный человек. Черты лица мне кажутся знакомыми, он чем-то напоминает Николая Скроботова из горьковских «Врагов», каким его играл покойный Н. П. Хмелев. Почему-то я несколько не удивлен.

Он. Вам не мешает моя сигара?

Я. Курите. Все равно дышать нечем.

Он (выпуская дым, небрежно). В Батавию?

Я. В Джакарту.

Он. Джакарту? А, припоминаю. Так называлась эта дыра до голландцев. Надолго, если не секрет?

Я. На пять дней.

Он. Только-то? Вам повезло. Я проторчал в этом аду пять лет. Советую вам остановиться в «Hôtel des Indes». Тоже балаган, комфорта никакого, прислуга отвратительная, кормят скверно. Но все-таки поставлено на европейскую ногу...

Я. Вы жили на Яве при голландцах?

Он. Естественно. Голландцы — молодцы. Умеют обращаться с туземцами. У них совсем другая метода, чем у англичан. Какая лучше? De gustibus non disputandum est. Обе системы хороши и пронстекают из одного принципа: наглядно демонстрировать туземцу все его жалкое ничтожество перед недосыгаемым в своем культурном величии белым человеком. Английская система, на мой взгляд, целесообразнее: англичане туземца игнорируют. Голландцы гибче — они заигрывают. Je ne discute pas, cela a raison, это дает результаты, но кнут все же предпочтительнее.

Я. Вы говорите чудовищные вещи!

Он. Не нахожу. Малайцы все скроены на один лад. Заставить их работать может только кнут. Что же еще? Плата? Но им так немного надо: горсть риса, несколько бананов — и они довольны.

Я. Послушайте, как вам не стыдно! Вы же человек университетский...

Он. Простите, я окончил Пажеский корпус.

Я. Ах, вот откуда я вас знаю! Скажите, вы не жили в Вороньей Слободке?

Он. Что-о?

Я. Ну, конечно же! Вы — Митрич. Как вы сюда попали, Митрич?

Он. Я вас решительно не понимаю...

Я. А я вас понял. Ну, может быть, вы и не Митрич, хотя он тоже окончил Пажеский корпус. Не читали «Двенадцать стульев»? Рассуждаете вы на одном уровне. Должен сказать, что как собеседник вы оставляете тяжелое впечатление. (Хватаю своего собеседника, складываю вдвое и засовываю под подушку.)

Прошу прощения у читателей за это обращение к привычной для меня форме диалога. Вероятно, они уже догадались, что мой собеседник — книга. Эта книга издана в двадцатом веке. Называется она «Тропическая Голландия». Автор ее, М. М. Бакунин, в течение пяти лет был консулом на Яве. Все реплики моего собеседника суть точные по смыслу цитаты.

Какэво? И это написано после того, как голландский патриот Эдуард Деккер, принявший имя Мультиатули (Многострадальный), кровью сердца написал своего «Макса Хавелаара», после того, как замечательные русские люди Н. Н. Миклухо-Маклай и К. М. Станюкович с глубоким сочувствием и уважением писали о страданиях яванского народа.

«Короткий визит подтвердил наблюдения знающих людей и заставил Володю всю остальную дорогу философствовать на тему о бессовестной эксплуатации горсточкою людей двадцатимиллионного населения».

Это написано в 1895 году. Володя Ашанин — это юный Константин Станюкович, будущий писатель, один из самых светлых и гуманных людей своего времени.

Приверженность к комфорту еще не делает человека культурным. Можно курить дорогие сигары, пить тонкие вина, носить крахмальное белье и оставаться дикарем. Дикари даже могут писать книги.

* * *

По-прежнему облачно. На горизонте отчетливо виден белый пароход. Вдруг он исчез, словно растаял. Оказывается, вошел в зону ливня. Там, где льет дождь, небо и океан сливаются, образуя сизую завесу. По радио передают справку о Бирме — значит, она где-то на траверзе. Море успокоилось. Днем опять подошел эсминец. На этот раз все обходится благополучно. Эсминец бежит рядом, как теленок.

Я сижу в каюте и пытаюсь работать. Духота адская. Вентилятор крутится совершенно зря, перемешивает горячий воздух. Подношу руку к трубе вентиляции — с таким же успехом я мог поднести ее к печке.

Редактор газеты приносит мне материалы для очередной листовки. Если судить только по этим материалам, то кандидат партии радист Куклин ничем не отличается от машиниста Морозова, которому была посвящена предыдущая листовка. Я ворчу и требую познакомить меня с Куклиным. Через час он у меня в каюте — мускулистый парень в брезентовой робе. В лице все крупно: высокий лоб, широко расставленные глаза, большой белозубый рот. Голову держит слегка набок. Слушает внимательно, отвечает не сразу, тихо и очень вежливо, но с обескураживающей краткостью: сибиряк, родом из Якутска, там же учился, затем ходил по Лене сперва матросом, потом радистом. Побывал в бухте Тикси, там впервые увидел океанские корабли. Подошло время призыва — попросился на Тихий океан. Кажется, всё.

А в глазах читаю: ну к чему все это?

Получается не разговор, а допрос. У меня нет охоты допрашивать, и в то же время не хочется сдаваться. Я отпускаю Куклина, условившись, что после ужина приду к нему в аппаратную.

Аппаратная в недрах корабля. Это целая радиостанция, состоящая из десятков сложнейших агрегатов, и самое лучшее, что я могу сделать, не притворяться, будто я все понимаю. Прошу Куклина рассказать мне, в чем заключаются его обязанности, а попутно объяснить назначение и действие агрегатов. Куклин начинает рассказывать. Он не изменил своей привычке говорить вполголоса и скупой отмеривать фразы, но сейчас он уже другой. Исчез немой вопрос: «Ну к чему все это?» Наоборот, ему кажется вполне естественным, что человек интересуется его любимым делом. И он говорит о нем с таким ненаигранным увлечением, с такой свободой и точностью, что не понять его нельзя. Но самое главное: в процессе нашего сугубо технического разговора мне становится понятнее характер человека. Теперь я вижу, откуда взялись этот наклон головы и манера говорить: человек часами вслушивается в звуковой океан, отыскивая нужный сигнал среди тысячи помех. Говоря о свойствах радиоволн, Куклин неожиданно усмехнулся так, как можно усмехнуться, говоря о повадках живых существ, — и я начинаю понимать, почему именно Куклин первым установил связь с Владивостоком. Он объясняет устройство прибора, и я понимаю, что в случае нужды Куклин разберет его до основания, как это делали моряки-балтийцы в осажденном Ленинграде, готовясь к летней кампании 1942 года. Я вижу Куклина среди товарищей — и догадываюсь, в чем секрет его влияния.

Меня могут упрекнуть в противоречии — критикую листовки, а сам отвожу Куклину столько места, тем самым выделяя его среди прочих. Но я делаю это не для поощрения. Не моя задача. Для меня кандидат партии Куклин не герой, а типический характер. Он напоминает мне краснофлотцев Отечественной войны, и в то же время он представитель новой, далеко еще не исследованной формации. О людях поколения Куклина я еще напишу. Но это в будущем, а пока надо приниматься за листовку.

* * *

Второй раз перевели часы назад — движемся на юго-запад. Встал в шесть часов утра, в седьмом вышел на верхнюю палубу. Рассвет необыкновенной красоты: лиловый огонь. Облака как вороненые. Утро солнечно-хмурое — такое бывает только в тропиках.

Состоялось рандеву с танкером «Алатырь». Идет перекачка топлива и пресной воды.

После обеда солнцу вдруг надоело играть в прятки. Оно в пять минут разметало облачное месиво, покрасило небо и море в ярко-синий цвет и превратило крейсер в раскаленный уют. С разрешения командования все ходят в трусах и беретах с эмблемой. После приема мазута объявлена большая приборка. Затем — баня. В душевых появилась горячая пресная вода, и можно наконец вымыть голову.

Мы на траверзе Сингапура. Идем двенадцатиузловым ходом, чтобы завтра до полудня пересечь экватор в проливе Каримата. Весь следующий день будем стоять в Яванском море, а к вечеру снимемся с якорей и двинемся с таким расчетом, чтоб вовремя (3.15) встретиться с индонезийскими кораблями, в восемь двенадцать начать Салют Наций и в восемь тридцать ошвартоваться.

После наступления темноты на верхней палубе благодать во вкус Станюковича — теплынь, легкий ветерок, полная луна с монгольским лицом, окруженная мягким ореолом. Бак и ют устланы распростертыми в разных позах телами — люди устали за день и кейфуют. Настроение у всех умиротворенное и мечтательное.

* * *

Сегодня в двенадцать часов с минутами мы пересекли экватор. Об этом торжественном событии возвестила пушка. На юте собралось столько матросов и офицеров, сколько возможно собрать на ходу корабля. Забавное шествие: Нептун в сопровождении писаря, лекаря, nereид, чертей и прочей свиты. Лучшее всех сыграл свою роль командир крейсера И. И. Ильшевич. Свой диалог с Нептуном он провел с большим достоинством. Наши вставки про «Нептуна»-разведчика и коварную «Эмму» имеют успех. Затем пел хор, скакали черти, четыре здоровенных матроса под общий хохот танцевали вариацию маленьких лебедей из «Лебединого озера». Нептун беседовал с адмиралами, награждал отличившихся матросов, хотел покарать виновных в различных мелких грехах, но коллсктив, идя в ногу с временем, взял их на поруки. Затем началось всеобщее крещение — по всем собравшимся на юте ударили из шлангов струи заборной воды, кое-кого изловили и дополнительно выкупали в бассейне. В довершение всего хлынул тропический ливень, все разделись до трусов и плясали под дождем, с восторгом мылись пресной водой, стекавшей с орудийных башен, — она была горячая. Солнце шпарило даже во время дождя, а когда дождь прекратился, запылало всюю.

Море оживило. Показались парусники. Все время то с правого, то с левого борта видны гористые, покрытые растительностью острова. Вода ярко-синяя, с изумрудными полосами. До обеда все веселились как хотели, валялись на палубе, бегали, боролись, окачивались из шлангов.

Все окропленные получают очень красивое удостоверение за личной подписью Нептуна. Текст привожу полностью: «Перед людьми и прочими жителями суши удостоверяю, что такой-то на борту крейсера «Адмирал Сенявин» 15 ноября 1959 года пересек экватор на 108°25' вост. долг., принял соленую купель и навеки зачислен в морские души. Бог Морей (подпись, гербовая печать с трезубцем)».

После обеда начались репетиции и тренировки. Футбольная команда проводит разминку. К мячу предусмотрительно привязана длинная ве-

ревка. Это разумно — ауты обошлись бы слишком дорого. Говорил с капитаном команды. У него свои заботы: совпадают ли наши правила игры и судейские обычаи с принятыми за экватором? Не слишком ли здоровы наши тихоокеанцы, как бы не вышло какого увечья — футбол ведь игра силовая...

Вечером Володя попросил И. И. Ильяшевича повторить свой текст перед магнитофоном, чтоб впоследствии озвучить заснятые на юте куски. Записали, прослушали и огорчились. Очень посредственно. Днем он был великолепен. В чем же дело? Дело в том, что нам только показалось, что он хороший актер. А он не артист. Он хороший командир и разговаривал с Нептуном так, как и должен разговаривать с богом командир Советского флота. А «верно жить в предлагаемых обстоятельствах» он не умеет. Это и необязательно.

В три часа ночи мы стали на якорь в Яванском море.

(Окончание следует)



Е. СТЮАРТ

★

ДОВЕРИЕ

Благослови всем сердцем дом,
Где путнику откроют двери,
Отыщут место за столом
И слову на слово поверят,
Где ты, шагнув через порог,
Ничьих владений не нарушишь,
Где не закрыты на замок
Шкафы хозяйские и души,
Дом, где ночлег тебе дадут,
Хоть званым гостем ты и не был,
Где за глаза не попрекнут
Краюшкой съеденного хлеба,
Где ты найдешь, когда войдешь,
Радутье, а не равнодушие,
Где высушат одежду в дождь
И слезы, может быть, осушат.
Там смоешь пыль с усталых ног
И, трудную забыв дорогу,
Все, от чего ты изнемог,
Как ношу, сбросишь у порога.
И обретешь тепло любви,
Мир и покой за доброй дверью...
Тот дом за хлеб благослови —
Для всех насыщенный хлеб доверья.

..*

Я читаю памятные даты
Под стихами женщины другой:
Вот ее любимый стал солдатом...
Вот он пал за Тускорью-рекой...

Здесь ее, сраженную несчастьем,
Завела в отчаянье строка,
Но своею удержала властью
Слабенькая детская рука...

Душу, что от горя раскололась,
Перестала жизнью дорожить,
Родины спокойный, мудрый голос
Здесь окликнул и заставил жить.

И тогда, держа ответ пред нею,
Перед тою, что всегда права,

Отыскала женщина, бледнея,
Самые заветные слова...

Вот она — ей по плечу и это! —
Воскресила память о былом
И одна
 в свое вернулась лето
Той тропой, которой шли вдвоем...

Женщина, ровесница, подруга,
Мне знакомо все в твоей судьбе.
Дай же руку,
 просто — дай мне руку.
Я желаю мужества тебе.



ХУАН РЕХАНО

★

ПЕСНИ МИРА

МАТЬ

Мать,
плач не поможет — я знаю.

Смерти косу не удержишь
слезами.
Мир —
это дерзанье.
Мы должны защитить его
сами.

Будь смела — и увидишь надежды
берег.
Твердо верь — и другие с тобой
поверят.
Поведи их — и жизнью от лиц их
повеет.

Борись, пока не увидишь зари
Лучистое знамя.

И не плачь:
Ведь слезы бессильны — я знаю.

КРЕСТЬЯНИН

Гладит крестьянин
земли
ломоть,
тоской отуманен...
(— Внемли,
господь!
Неужели, охваченный гневом,
снова сожжешь
рожь,
смертью пройдешь
но посевам?)

Крестьянин, смотри
на восток —
все лучезарнее, шире
зари
поток.
И — слышишь? — над кровом твоим
разливается вместе с ним
песня о мире!

МОРЯК

Не в море, не в море,
моряк,
избегнешь огня, окруженного тьмою.

И если, с черной каймою,
война развернет свой стяг —
не в море
спасенье найдешь, моряк.

Погаснет в ночном просторе
странствий твоих маяк,
и море,
в звездах, дышавшее за кормою,
канет в беззвездный мрак.

Не в море, не в море,
моряк.

Не раз ты спорил с волною
в часы штормовых передраг.

Знай: кто торгует войною —
твой враг.

ПЕКАРЬ

Корыто, мучная горка
да пара проворных рук.
Замесишь — и скоро вокруг
запахнет хрустящей коркой,
пекарь.

Ты ежедневно, всецело
миру себя отдаешь.
Хлеб твой отменно хорош —
черный, и серый, и белый,
пекарь.

Теста тяжелая плоть
под пальцами бьется упруго.
И утром делю я с другом
пахнущий миром ломоть,
пекарь.

ОЛИВЫ, ОЛИВЫ, ОЛИВЫ

Оливы, оливы, оливы.
Колес дорожный мотив.
Оливы, оливы, оливы.

Мчится локомотив.

Поезд прибудет в два десять.
Дым. Гром.
Оливы, оливы, оливы.
Кто едет, кто едет в нем?

Крестьянин? Богач из Кордовы?
Хаенский судья?
Оливы, оливы, оливы.
В нем девушка моя!

Перевел с испанского М. Самаев.



ПУБЛИЦИСТИКА

ДМИТРИЙ РУДЬ

★

ВОТ НАШ ПУТЬ

«Не экстенсивные формы ведения сельского хозяйства., а высококвалифицированное интенсивное хозяйство, дающее максимальное количество продукции с каждого гектара земли, на каждую единицу вложенного труда,— вот наш путь».

Н. С. Хрущев

1

Теперь уже трудно в точности установить, где и когда это началось, где и когда колхозы впервые стали объединять свои усилия и средства для более квалифицированного, интенсивного ведения той или иной отрасли общественного хозяйства.

В Винницкой области, в Немирове, этот счет ведут с 1951 года, когда расположенные окрест него колхозы совместными силами, на общие средства соорудили на реке Южный Буг мощную гидроэлектростанцию. В полтавском селе Решетилловке зарождающиеся межколхозных производственных связей относят к более позднему времени, к 1956 году, когда возникла решетилловская районная строительная организация «Райколхозстрой». А в Средней Азии родословную этих связей ведут еще с предвоенного, 1939 года, когда объединенными усилиями колхозов был проложен Большой Ферганский канал.

То, чего не могли сделать колхозы врозь, они сделали тогда вместе, и это послужило добрым починком. В течение последующих полутора лет на таких же началах межколхозного сотрудничества сооружен был ряд каналов и водохранилищ в Узбекистане, Казахстане, Туркмении, Армении и на Кубани. Примерно в это же время совместными усилиями колхозов проложены были автомагистрали: Ярославль — Рыбинск, Горький — Муром — Кулебаки, Элиста — Дивное, Днепронетровск — Никополь, высокогорный тракт на Памире.

Многие сотни тысяч гектаров ранее полупустынных, не возделывавшихся земель получили воду, тысячи километров новых благоустроенных шоссейных дорог надежными нитями связали села с городами в десятках районов страны.

Каковы же результаты этого межколхозного сотрудничества?

Не встречая я еще таких данных. Но, по всей вероятности, не ошибусь, если скажу, что созданные совместными усилиями колхозов каналы, водохранилища и дороги добавочно вписали на наш приход не одну тысячу тонн хлонка, зерна, мяса, шерсти, молока, овощей и других продуктов сельского хозяйства; что они сбавили затраты на производство этих продуктов; что они не в малой степени подняли доходы колхозов и колхозников. К этому можно добавить, что любое межколхозное предприятие — будь то оросительный канал, строительное объединение, электростанция или же завод по переработке сельскохозяйственной продукции — служит повышению квалификации, интенсификации сельского хозяйства.

Пусть и не прямо, а косвенно, но она неплохо делает свое дело, кооперация колхозов!

Есть, однако, принципиально важное отличие в самой сущности нынешней формы этой кооперации.

Межколхозное сотрудничество предвоенных лет едва ли не целиком зиждилось на кооперировании людских усилий — и только; оно всецело базировалось на ручном, малопроизводительном труде. Большой Ферганский и другие каналы колхозники прокладывали кетменем, киркой и лопатой, а основным видом транспорта на этих стройках служила тачка. И межколхозные связи того времени могли иметь и имели определенный успех лишь благодаря ведущей организаторской роли и щедрой материальной поддержке государства.

В послевоенные годы кооперация колхозов получила свое дальнейшее развитие уже в форме межколхозного сотрудничества, основанного на объединении материальных средств и на совместных капиталовложениях самих колхозов.

Колхозы стали крупными, экономически мощными хозяйствами, они увеличили свое производство, расширили посевы, умножили стада продуктивного скота. У них появились в связи с этим насущнейшие потребности в широком развертывании нового строительства, в резком усилении механизации, электрификации, в обзаведении собственными предприятиями по переработке сельскохозяйственных продуктов, что ввиду своей масштабности подчас и не под силу отдельным хозяйствам. Появились и материальные возможности, средства для удовлетворения новых потребностей. На этой почве и сложились условия, при которых межколхозное сотрудничество из временного, рассчитанного на какое-либо одно дело превратилось в постоянное, приобрело характер прочных, регламентируемых уже уставными положениями производственных связей. От своей первоначальной стадии — кооперирования трудовых усилий колхозников той или иной группы колхозов — межколхозное сотрудничество поднялось к следующей фазе развития — к долевному участию колхозов в совместно создаваемых и совместно эксплуатируемых ими предприятиях.

На Украине, в Винницкой области, куда я прежде всего направился, обратившись к теме межколхозного кооперирования, колхозы Плисковского района сообща строили электростанцию. Попутно им понадобилось и много новых помещений для скота, поголовье которого сильно возросло. Однако самим колхозникам было не управиться, а тут уж и зима надвигалась. И вот кто-то подал разумную мысль: сооружение скотных дворов поручить тем же строителям, что воздвигали электростанцию. Так и поступили. Объединенными усилиями колхозы района в течение какого-нибудь года создали затем кирпичный завод, предприятия по изготовлению стеновых блоков и железобетонных изделий, столярную и черепичную мастерские. Колхозное строительство обрело свою производственную базу, свои тылы.

Так возник, быстро разросся и стал в условиях района довольно мощной организацией первый в Винницкой области Плисковский «Межколхозстрой». Строительство велось значительно быстрее прежнего, обходилось вдвое-втрое дешевле.

Сейчас объединения, подобные плисковскому, имеются уже во всех районах области.

2

Таков закон советской жизни — люди, коллективы группируются, становятся плечом к плечу, когда это диктуется необходимостью, целесообразностью. Они объединяют свои усилия для преодоления таких трудностей, какие в одиночку не одолеть, с какими сообща справиться легче.

Вот почему вслед за успехами в строительстве кооперация колхозов распространилась и на такой важный участок сельского хозяйства, как борьба за решение мясной проблемы.

На Полтавщине я столкнулся с инициативой, имеющей, на мой взгляд, общегосударственное значение.

Колхозы и совхозы Полтавской области в 1959 году усилили темпы роста производства мяса против того, что было у них в 1953—1957 годах, чуть ли не вдесятеро! Пожурил Никита Сергеевич Хрущев Полтавщину на декабрьском Пленуме ЦК КПСС,

и это пошло определенно впрок. Стоило только по-хозяйски разобраться в своих возможностях да тряхнуть резервами — и кривая круто поднялась в гору.

Как же это было достигнуто?

В области организовали и поставили на широкую ногу межколхозный откорм крупного рогатого скота на отходах переработки сельскохозяйственных продуктов.

Полтавщина — край развитого свеклосеяния и мощной сахароваренной промышленности. После переработки свеклы на местных сахарных заводах ежегодно остается более миллиона тонн одного жома — экстрагированной водой до ничтожного содержания сахара свекловичной стружки. Это хороший, необычайно дешевый корм для животных. Его единственный недостаток — малая транспортабельность.

В свежем виде жом содержит до 93 процентов воды. Но вместе с грубым фуражом и очень небольшим количеством концентратов он дает при откорме крупного рогатого скота прекрасные результаты. За каждую тонну свеклы колхоз бесплатно получает с завода четыре центнера жома. А девяти тонн его достаточно, чтобы получить центнер прироста мяса в живом весе. Жома, ежегодно начисляемого полтавским колхозам за сланную свеклу, с лихвой хватило бы, чтобы откормить до высоких кондиций не менее ста тысяч голов крупного рогатого скота.

Свекловичный жом обладает и другими ценными свойствами — это великолепный молокогонный корм. Те же девять тонн его, скормленные корове, «оплачиваются» тонной молока.

Использование жома в обоих случаях одинаково выгодно. Однако надои молока (а значит, и доход от него) возрастает буквально в тот же день; для того же, чтобы реализовать выгоду от выращивания на жоме мяса, надо ждать целых три месяца.

Не удивительно, что до недавнего времени почти весь выбравшийся колхозами жом скармливался молочным коровам. Скоту же, предназначенному на мясо, не оставалось ничего иного, как довольствоваться скудными остатками сочных кормов да соломой. О концентратах и говорить не приходится; их не всегда хватало даже рабочим лошадям, свиньям, птице. Это и было одной из причин того, что совсем еще недавно в Полтавской области средний вес головы крупного рогатого скота, реализуемого колхозами на мясо, не превышал двухсот пятидесяти килограммов. А это означает, что на каждой голове скота недобиралось минимум по центнеру, иначе говоря, сорок процентов живого веса.

С весны прошлого года вблизи сахарных заводов и свеклоприемных баз сперва Полтавской, а затем Винницкой и других областей Украины широко развернулась организация межколхозных откормочных пунктов.

Что это за предприятия? Как они создавались, на каких началах и что собой представляют?

Издавна существуют при сахарных заводах государственные откормочные пункты. Их непосредственная близость к источнику дешевого корма делает производство мяса на этих пунктах необычайно выгодным. По тому же пути пошли и колхозы, организуя зачастую бок о бок с государственными межколхозные откормочные пункты. Продолжительность откормочных операций рассчитана на пять-шесть месяцев — период работы завода. Скот, доведенный до требуемых кондиций, реализуется пунктом, его живой вес засчитывается колхозу, которому он принадлежал, а чистая прибыль делится чаще всего надвое: половина остается откормочному пункту, вторая — распределяется между колхозами-пайщиками соответственно их паевым взносам.

Размещение этих пунктов при сахарных заводах и свеклоприемных базах сделало излишней доставку жома в колхозы. На той же Полтавщине эти перевозки ежегодно обходились колхозам в несколько миллионов рублей; теперь расходы сокращены раз в десять, если не больше. Появилась возможность переключить колхозный транспорт на другие работы. Наконец, благодаря кооперированию откорма освободились помещения, и колхозы смогли разместить в них еще около десяти тысяч голов молочного скота. А ведь не будь этого, пришлось бы затратить на сооружение новых построек по меньшей мере десять миллионов.

Таковы — и далеко еще не все, — так сказать, косвенные, попутные выгоды орга-

низации межколхозного откорма. А прямые? О них хорошо сказал в разговоре со мной кормач Решетиловского пункта Павел Матлаш:

— Вы спрашиваете, стóит ли овчинка выделки? Да на таком отличном, а кроме того, еще и почти даровом корме, как жом, падо, знаете, ухитриться не получать хороших привесов и работать с убытком!

У него самого среднесуточный привес на голову скота достигает килограмма, а откорм, как известно, становится рентабельным начиная с пятисот граммов привеса. Меньше этого не получает ни один из шести межколхозных откормочных пунктов, с работой которых мне удалось ознакомиться в Винницкой и Полтавской областях.

Однако же как много разного даже в деятельности двух соседних пунктов! И удивительно ли? Дело это новое, еще не пашедшее своих законченных организационных форм, и опыт такого откорма невелик пока даже на Полтавщине, положившей начало кооперированию украинских колхозов в производстве мяса.

3

Каковы же важнейшие результаты первого года кооперирования колхозов в этой отрасли сельскохозяйственного производства?

Их, на мой взгляд, три. Прежде всего, межколхозный откорм скота оказался интенсивнее, дешевле, а погому и целесообразнее откорма в самих колхозах. Среднесуточный привес на голову крупного рогатого скота составил на откормочных пунктах Полтавской области 698 граммов, в полтора раза больше, а себестоимость килограмма привеса — 5 рублей 54 копейки, в полтора раза меньше, чем на колхозных фермах.

Не менее красноречив и другой результат, можно сказать, производный от этого.

Сейчас, как и десять—двадцать лет назад, кое-где на местах все еще действует давний, уже определенно изживающий себя курс на многоотраслевое хозяйство. Специализации — этого едва ли не самого действенного оружия в борьбе за прогресс сельскохозяйственного производства — попросту говоря, побавляются. Открыто против нее, конечно, не восстают, но ей и не благоволят. Считают, что вернее, надежнее производить все виды продукции во всех колхозах района — в каждом поемному, — нежели сосредоточить производство определенных видов продукции, скажем, в одном-двух хозяйствах, специализируя их. Боязно: а вдруг подведут? Неровен час, не справится с делом один-другой из пятнадцати-двадцати колхозов — еще невелика беда. А если не выполнит плана один из двух «специализированных» или же один-единственный? Что тогда? Так или примерно так и по сей день еще рассуждают в некоторых районах.

Успех первого года межколхозного откорма скота тем-то и примечателен, что он этой, с позволения сказать, «концепции» панес удар. Кооперирование колхозов и в этой отрасли артельного хозяйства со всей наглядностью показало свои преимущества, раскрыло колоссальные возможности, которые таятся в специализации сельскохозяйственного производства.

Впрочем, то же самое, как мы уже знаем, показала кооперация колхозов и в строительном деле, да и в других отраслях, — и это очень важно. Важно уже по одному тому, что дает пищу для широких выводов и обобщений, позволяет заглянуть в завтрашний день нашего сельского хозяйства, путь которого к обилию и дешевизне продуктов лежит именно через специализацию.

И гдеть, что вытекает из итогов первого года деятельности межколхозных откормочных пунктов на Полтавщине, — это возможность решить важную проблему их постоянной, бесперебойной работы.

Сахарные заводы работают лишь пять-шесть месяцев в году. Следовательно, столько же времени можно и откармливать скот свежим жомом. Можно, конечно, кормить животных и кислым и сушеным жомом, однако им одним обходиться нельзя. Пусть в небольших количествах, но вдобавок к жому обязательно нужны еще и грубые корма, и силос, и концентраты, для круглогодичного откорма требуются еще и зеленые корма. А где их брать, если нет у пункта своей земли?

Думали-гадали: как тут быть? И надумали. Раз нет рядом с откормочным пунктом свободных госфондовых угодий, то позаботиться о земле для пункта обязаны, разумеется, его пайщики. Но нельзя же выделять в каждом колхозе по несколько гектаров, вести лоскутное, по всему району раскиданное хозяйство и возить на пункт зеленые корма опять же за десятки километров. Нашли другой выход. Всю требуемую откормочному пункту землю выделяет колхоз, на чьей территории он расположен. А в шпых местах на Полтавщине несколько колхозов, соседствующих с откормочными пунктами, отводят им по сотне-другой гектаров земли. И надо полагать, что урожай будет на этих землях отменнейше — ведь ни один колхоз не располагает возможностью так обильно удобривать почву, как откормочный пункт. С колхозами, выделившими землю под посевы кормов, остальные колхозы рассчитываются по взаимно согласованным нормам, компенсируя им стоимость продукции, какую они могли бы производить, используя землю сами.

Казалось бы, и впрямь подходящее решение. Однако вправе ли районные и областные организации, да и сами колхозы, так бесцеремонно обходиться с колхозной землей? И разве ж нет иного выхода из положения, кроме того, какой найден в Полтаве?

Раздумывая об этом, я вспомнил: есть!

4

В село Стадницу Винницкого района меня привели дела, не имеющие никакого отношения к тому, о чем речь пойдет ниже. А по ходу этих дел необходимо было встретиться с председателем тамошнего колхоза «Украинка» дважды Героем Социалистического Труда Петром Федоровичем Вдовенко.

Председателя на месте, к сожалению, не оказалось, и никто не мог толком сказать, когда он будет. Я решил непременно дождаться его и уселся на скамейке в маленьком палисадничке у входа в правление.

Старые голуби важно разгуливали по крыльцу, блестя на солнце свежеразкрашенная крыша дома, и приветливо кивали ветвями молодые фруктовые деревца... Я успел уже во всех подробностях рассмотреть чисто выбеленное здание правления с массивными четырехгранными колоннами, по несколько раз прочесть все надписи на стеклянных табличках, висевших по обе стороны входных дверей, чуть ли не наизусть затвердить лозунги, крупно выписанные на фронтоне дома и на расставленных в палисадничке штахтах, а Вдовенко все не появлялся.

— Что, председателя дождаемся?

Я обернулся. Позади стоял маленький сухонький старичок с бритой головой и веселыми морщинками вокруг серо-голубых, как бы выцветших глаз. Я утвердительно кивнул головой. Старик обошел вокруг скамейки и уселся рядом со мной. Он оказался на редкость общительным. Узнав, что я из Москвы и уже давненько сижу здесь, собеседник «обрадовал» меня, сообщив, что председателя, вероятно, можно тут прождать долго.

— Э-э!.. Ежели загодя не условимся,— начал он с предупреждения,— так придется подежурить, и, быть может, порядком. Кто его знает, когда Петро Федорович сможет сюда заглянуть! Артель наша поболее многих бывших помещичьих имений. Одной земли у нас без ста три тыщи гектаров. А на этой земле и зерновые, и сахарная свекла, и овощи, и сады с бахчами. У нас и фермы: молочная, свиные, овцы, кролики, птица, пчелы. Строительство миллионное. Свои мастерские, мельница, свои тракторы, автомашины. Так что дел у председателя невпроворот...

Перечисление было убедительным, а бывалый и всезнающий дед продолжал меня «просвещать»:

— Хозяйство наше и на «Побеле» за полдня не объедешь. А там, гляди, председателя в райком, в райисполком, а когда и в обком вызовут. А то еще делегация заявится — они в нашем колхозе частые гости,— ей надо время уделить. Или же корреспондент в Стадницу заедет. А кто им должен заняться? Опять же — председа-

тель. А сутки, они не резиновые, их не растянешь. И вот приходится ему, бедолаге, как белке в колесе, вертеться. Да будь он и десяти пядей во лбу, ему все равно всюду не поспеть да за всем не угнаться...

Тут собеседник мой сделал паузу, чтобы я смог проникнуться сочувствием к этойкой работенке, и потом, хитро покосившись на меня одним глазом, огорошил:

— Лет тридцать с гаком я уже колхозничаю, еще в первом стадишском тозе состоял, и прямо скажу: так хозяйствовать в колхозе дальше нельзя. Никак нельзя! Мы ведь от каждого человека требуем, и справедливо притом: не будь ты всезнайкой, невозможно человеку охватить все. Владей как следует одним делом. Чтоб, значит, в совершенстве. Вот так бы и с колхозами. Надо, чтоб эти не забрасывались на то да на се, а поскорее становились специалистами, мастерами своего дела... У нас, как единожды сказали, как заладили, так и по сю пору твердят: многоотраслевое да многоотраслевое. А по мне так: чем на десяток отраслей расплываться и ни в одной не пресуевать, лучше немногими ограничиться, но уж зато взяться за них крепко и понастоящему.

Высказывания старого «кидрового» колхозника оказались не чужды занимавшим меня раздумьям о ближайших перспективах развития колхозного труда и производства.

В самом деле. Становление колхозного строя принесло в нашу деревню разделение труда. В своем жалком единоличном хозяйстве, с его слабосильным конягой и чуть ли не первобытными орудиями производства крестьянину приходилось все знать и все делать самому. Колхозы с их общественным, коллективным трудом и новой, мощной техникой положили конец его былой маете. Теперь уже надо было специализироваться на чем-нибудь одном. Появились сеяльщики и конильщики, конюхи, трактористы, комбайнеры. А тем временем обобществление все шире охватывало сельскохозяйственное производство. Начавшись с полеводства, оно перекинулось затем и на животноводство, на все другие отрасли хозяйства, и семья деревенских знатоков-хлеборобов пополнилась доярками и скотинками, свиновками и чабанами, птичниками, садоводами, пасечниками. Однако же на этом процесс специализации в колхозном производстве как бы приостановился.

Последние годы отмечены в колхозном строительстве событиями выдающимися. Партия организовала всенародный поход за крутой подъем сельского хозяйства. В руки колхозов перешла техника машинно-тракторных станций. Наконец, все большее развитие получают межколхозные производственные связи, знаменующие собой новый, я сказал бы, поворотный этап в жизни советской деревни. И каждое из этих событий не только само по себе вскрывало те или иные резервы развития сельского хозяйства. Каждое из них со все возрастающей остротой ставило вопрос о продолжении и углублении специализации колхозов как, пожалуй, крупнейшего и почти еще не тронутого резерва дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов в нашей стране.

Вернувшись в Винницу, я не преминул заговорить на эту тему в областном управлении сельского хозяйства, само собой разумеется, отдав должное рассуждениям старика, вместе со мной дожидавшегося председателя стадишского колхоза. Находя их логичными, остроумными и безоговорочно с ними соглашаясь, заместитель начальника управления Владимир Степанович Сокальский поспешил, однако, перевести разговор на практические рельсы и порядком заштриговал меня.

— А вы поезжайте в наш Тростянецкий район, в село Капустяны, — сказал он, — и побывайте там в колхозе имени Калинина. Умышленно не сообщаю вам сейчас ничего, кроме адреса. Вернетесь — с интересом послушаю, что скажете. И надеюсь, в претензии ко мне не будете.

Что ж, я не стал вдаваться в подробности, послушался совета, отправился в Капустяны и, вернувшись оттуда, действительно поспешил заверить Владимира Степановича, что не только не имею к нему никаких претензий, но более того — искренне ему признателен. В Капустянах я получил живое, предметно осязаемое и потому на редкость убедительное представление о том, как много, несчетно много способно дать стране, колхозам и колхозникам серьезная, глубокая, подлинная специализация сельскохозяйственного производства.

5

Не собираюсь преподносить читателю ни «чудес», ни сверхъестественных историй. Но если я скажу, что колхоз, в 1953 году производивший по пяти центнеров говядины на сто гектаров и в последующие шесть лет увеличивший ее производство до двадцати, за один нынешний год доведет его до трехсот двадцати пяти, а в 1961 — даже до пяти-сот двадцати пяти центнеров на те же сто гектаров; что производство мяса в колхозе имени Калинина за один только год вырастет в шестнадцать с лишним раз, — то мне, по всей вероятности, не поверят, сочтут, что я что-то слухал, в чем-то грубо ошибся.

Неспроста не стал мне заранее ничего говорить Сокальский. Он, видимо, сомневался, поверю ли я на словах в столь головокружительный взлет.

Теперь, убедившись во всем лично, я не только поверил сам, но непременно долгом своим счел посвятить и других в существо, детали и обстоятельства того переворота, какой в короткий срок совершился в Капустянах.

Итак, что же произошло в колхозе имени Калинина?

Началось это, впрочем, не с него непосредственно.

Осенью прошлого года в Тростянецком районе Винницкой области был создан при Капустянском сахарном заводе межколхозный пункт для откорма крупного рогатого скота на отходах сахароварения. Колхозы пригнали туда скот, выдали заведующему доверенность на получение положенного количества жома, доставили на первый месяц все то, что требуется к нему дополнительно, — грубые корма, концентраты, — и уже за эти тридцать дней был получен довольно высокий среднесуточный привес, что-то около семисот граммов на голову. Казалось бы, неплохо.

Но уже в следующем месяце одни колхозы не подвезли объемистого фуража, другие — концентратов, третьи вообще ничего не доставили. Привесы сразу же резко упали. Что было делать? Звонить во все концы района? Вызывать нерадивых председателей колхозов на бюро райкома и исполком райсовета? Воздействовать на них как-нибудь иначе?..

Глубоко размышляя над этим, Артем Андреевич Мазур, секретарь Тростянецкого райкома партии, пришел к выводу, что не все, стало быть, ладно в самой организации дела. Нельзя, чтобы откорм на межколхозном пункте зависел от внимания или же халатности любого из семнадцати председателей колхозов района. Надо, чтобы пункт сам производил все требуемое, кроме жома, корма. Тогда и откорм можно вести не пять-шесть месяцев в году, пока работает сахарный завод, а круглый год. Производство мяса разом удвоилось бы. В раздумьях обо всем этом и родилась в голове секретаря смелая, по-новому решавшая вопрос идея специализации капустянского колхоза имени Калинина.

В Капустянах, помимо сахарного завода, имеются еще свеклосовхоз, автоколонна, заводской откормочный пункт, участковая больница, дорожный и ветеринарный участки, станции узкоколейки. Повсюду здесь трудятся люди, проживающие на территории колхоза, и сам он, понятное дело, остро нуждается в рабочей силе. По этой-то причине — нехватка рук — плантации сахарной свеклы обрабатывались плохо, урожайность этой культуры была в Капустянах значительно ниже, чем у соседей. Уступал им колхоз имени Калинина и во многом другом.

Не сказать, чтобы за последние шесть лет, годы крутого подъема сельского хозяйства во всей стране, капустянский колхоз ничуть не продвинулся вперед. Нет. В Капустянах и коров стало больше, и удоиность их поднялась, и денежный доход увеличился. Но еще в большей степени выросли производственные затраты, оплата же колхозного труда не только не повысилась, а, наоборот, даже снизилась. Люди держались колхоза главным образом затем, чтобы иметь право на приусадебный участок. Состояли в колхозе преимущественно домашние хозяйки да старики, мужчины же средних лет, парни и девушки, как правило, работали на стороне.

Но, видать, и впрямь — нет худа без добра. Нежданно-пегаданно встала перед районом эта заковыка с межколхозным откормом. Что-то надо было предпринять, чтобы обеспечить круглогодичный межколхозный откорм скота. А может быть?.. И мысли секретаря райкома как-то само собой обрелись к колхозу имени Калинина.

Мазур послал в Винницу и поделился своими замыслами в обкоме. Там его внимательно выслушали, однако же ничего определенного не сказали. Идея, мол, заманчивая, но... В общем, прежде чем принимать то или иное решение, надо еще хорошенько подумать. Как бы дров не паломать.

Ну что ж, нечто подобное Артему Андреевичу уже приходилось слышать. Новое, смелое нередко встречают с настороженностью.

Есть приметная черта в характере и стиле работы тростянецкого секретаря. Не по формальным соображениям и тем более не из боязни «как бы чего не вышло», а по твердому и углубленному убеждению, что «так правильнее», и, главное, из верности ленинским принципам руководства он ни одного сколько-нибудь существенного вопроса не решает сам, в одиночку. Не раз советовался секретарь с остальными членами бюро райкома и прежде, чем надумал ехать со своими предложениями в Винницу.

А предлагал он вот что: освободить колхоз имени Калинина от возделывания сахарной свеклы, а свекловичные посевы его развернуть дополнительно по пятку — десятку гектаров между остальными хозяйствами района. Снять с него и государственные задания по сдаче сельскохозяйственных продуктов и точно так же, путем внутрирайонного перераспределения, переложить их на остальные колхозы. Капустянским же колхозникам рекомендовать ввести строго по-научному кормовой севооборот и специализировать хозяйство всецело на откорме крупного рогатого скота для всех колхозов района. Межколхозный откормочный пункт ликвидировать, а его постройки передать за соответствующую сумму колхозу имени Калинина. Каждая из сельскохозяйственных артелей района выдает капустянской доверенность на получение с сахарного завода полагающегося ей жема. Все же остальные корма, необходимые для круглогодичного откорма, — зеленые, грубые, концентрированные и силос — колхоз производит сам.

Подсчеты показали, что в Капустянах смогут в три тура ежегодно откармливать шесть тысяч триста голов крупного рогатого скота и сдавать за все колхозы района двадцать тысяч центнеров говядины. Это столько же, сколько в прошлом, 1959 году они сняли с откорма все, вместе взятое. Не менее шести тысяч центнеров составит один чистый привес, полученный в результате откорма. А ведь тот же колхоз имени Калинина и в том же 1959 году произвел всего двести сорок центнеров говядины, в двадцать шесть с лишним раз меньше!

Вот что замыслил Артем Андреевич Мазур. Поделится идеей с руководящими работниками района.

— Отдаете вы себе отчет в том, что предлагаете? — горячился кто-то из членов бюро. — Освободить от возделывания сахарной свеклы колхоз, расположенный в зоне сахарного завода. Снять с него задания по сдаче-продаже государству зерна, мяса, молока, шерсти, яиц. Наконец, как колхоз останется без своего продуктивного скота?! Да вздумай мы непароком пойти на это, так ведь нам же...

Нашлись и другие оппоненты из тех, кто чужаится всего необычного, неизведанного и еще не устоявшегося. Все же секретарю райкома не стоило большого труда их переубедить, а со временем и обратить в наборников затевавшегося им новшества. На стороне Артема Андреевича оказался заведующий сельскохозяйственным отделом обкома, благосклонно отнеслись к его предложению председатель облисполкома и начальник областного управления сельского хозяйства.

Когда спустя некоторое время Мазур решил поговорить с секретарем обкома, тот, по-видимому уже взвесив все шансы за и против, одобрил затею.

— Ну что ж, действуйте! — сказал он. — В добрый час. Очень может быть, что вы действительно нашли ключ к решению мясной проблемы.

И вот свершилось. Общее собрание артели имени Калинина постановило реорганизовать хозяйство на началах, предложенных секретарем райкома. Свой продуктивный скот капустянский колхоз продал другим колхозам района и получил за него 1,3 миллиона рублей. Из этой суммы 390 тысяч израсходовали на покупку хозяйственных построек ликвидированного межколхозного откормочного пункта, а остальные 910 тысяч отложили в фонд оборотных средств.

Как и можно было ожидать, жизнь внесла свои поправки в первоначальные расчеты калининцев. Приходится им еще и в нынешнем году частично заниматься сахарной свеклой, ничего не подслашь — весь свекловичный клин колхоза не удалось сразу разместить на полях других хозяйств.

Реорганизация состоялась в марте. С апреля начался откорм скота по-новому. Таким образом, вместо трех откормочных туров в нынешнем году представляется возможным провести только два. Тем не менее денежный доход колхоза за один 1960 год должен вырасти на 2,3 миллиона и достигнет 4,2 миллиона рублей. С 1953 по 1959 год он поднялся с семисот семи тысяч до миллиона восьмисот семидесяти тысяч — на миллион с лишним рублей. Стало быть, уже в первом году специализированного ведения хозяйства, даже при частичном использовании новых возможностей, темпы роста денежного дохода колхоза возрастут почти в четырнадцать раз!

Всего разительнее перемены в материальном благосостоянии капустянских колхозников, происшедшие с реорганизацией хозяйства, притом происшедшие сразу, с первого же дня.

Колхоз перешел на денежную оплату труда. В хозяйстве приняты нормы выработки и расценки, действующие в совхозах. В основу расчетов с колхозниками положена та же ставка: за выполненную норму колхозник, как и рабочий совхоза, получает 17 рублей 10 копеек. Это в несколько раз больше прошлогоднего, когда в Капустянах пришлось на трудодень по полтора килограмма зерна и по два рубля деньгами.

Но особенно отраднo другое, и это следует подчеркнуть дважды. Несмотря на то, что много лучше стал оплачиваться труд колхозника, резко снизилась себестоимость выращиваемой калининцами говядины. Она в полтора раза меньше, чем на межколхозных откормочных пунктах соседних районов. Короче говоря, ранее убыточная отрасль колхозного производства обратилась в рентабельную, мало того — высокодоходную. А круглогодовой откорм в три тура? Он сулит капустянскому колхозу еще большие блага.

Не стану приносить извинений, к каким обычно прибегают, переходя на язык чисел. Цифры, которые я уже назвал и которые привожу ниже, право, не нуждаются в этом.

Только за откормленный и в течение 1961 года сданный государству скот на банковский счет колхоза имени Калинина поступит более пятнадцати миллионов рублей. Из этой суммы будет перечислено тем колхозам, которые ставили скот на откорм, восемь с лишним миллионов. Таким образом, на счет колхоза имени Калинина остается почти семь миллионов рублей. Из них погашаются все производственные затраты, выделяются все положенные фонды, а чистая прибыль делится поровну между колхозами, которым принадлежал откормленный скот, и капустянским.

Вот какие красочные перспективы открыла перед тружениками колхоза имени Калинина, да и других колхозов района специализация производства! Перспективы совершенно реальные и до осязательного близкие.

Пятьдесят пять центнеров на каждые сто гектаров земли — столько намечено произвести мяса в колхозах и совхозах Украины в 1960 году. Сто двадцать центнеров на сто гектаров, в том числе пятьдесят пять центнеров одной говядины, обязались произвести в нынешнем году колхозы Тростянецкого района.

И кто же, зная о капустянском новшестве, усомнится в том, что обязательство будет выполнено?!

6

Может сложиться представление, что межколхозные производственные связи чуть ли не всецело сводятся к совместному откорму скота. Но такое представление было бы превратным. Этому виду межколхозных экономических связей я отвел больше места, нежели другим, по той простой причине, что среди всех проблем, стоящих сегодня перед нашим сельским хозяйством, нет, пожалуй, более важной и актуальной, чем проблема мясная. Что же касается Капустян, то о них так подробно рассказано потому, что там, на мой взгляд, действительно найден ключ к скорому и радикальному решению этой жизненно важной задачи.

В нашей стране около четырех тысяч административных районов, и почти в каждом есть какое-нибудь предприятие пищевой промышленности, а то и не одно, отходы которого могут и должны использоваться на корм скоту. Хорош для этих целей не только свекловичный жом. В дело с успехом пойдут и картофельная мязга, и пивная дробина, и барда, и жмыхи. А четыре тысячи таких специализированных хозяйств, как колхоз имени Калинина в Капустянах, могли бы ежегодно производить свыше восьми миллионов тонн мяса в живом весе — столько же, сколько в минувшем году составила в стране вся товарная продукция мяса.

Но пусть и не все, пусть бы только половина сельскохозяйственных районов Советского Союза последовала примеру Тростянецкого района. Какие это имело бы последствия? Посчитаем. Объем государственных заготовок и закупок всех видов скота и птицы во всех категориях хозяйств контрольными цифрами на 1965 год определен в одиннадцать миллионов тонн. Чтобы обогнать США по производству мяса на душу населения, нам нужно на четверть — на треть превзойти задание семилетки. В этом случае государственные заготовки и закупки мяса увеличатся примерно до пятнадцати миллионов тонн. При тех же соотношениях, что и сейчас, половину этого мяса, в том числе три миллиона тонн говядины, поставят колхозы. Две тысячи таких специализированных колхозов, как капустянский, — всего лишь две тысячи! — способны ежегодно производить минимум четыре миллиона тонн говядины.

А что значит поднять, вывести на широкую магистраль роста и процветания две или даже четыре тысячи отстающих либо же тончущихся на одном месте колхозов. Да ведь уже одно это явилось бы событием из ряда вон выдающимся!

Согласитесь, что мое «увлечение» межколхозным откормом, таким образом, оправдано.

В Винницкой и Полтавской областях есть межколхозные объединения также по пагулу скота, лесозаготовкам, разведению водоплавающей птицы, искусственному осеменению скота. Оправдывают себя межколхозные машинно-тракторные мастерские, плодовые питомники и так далее. Не собираюсь знакомить читателей со всей их большой и разносторонней деятельностью, это выходит за рамки темы. Но должен сказать, что все они, как правило, делают свое дело лучше, успешнее, более производительнее и экономно, нежели до них его делали аналогичные предприятия самих колхозов. В силу чего? — спрашиваю я себя и тут вспоминаю один интересный разговор...

— А может ли быть иначе?

Так поставил вопрос Антон Андреевич Бойко, председатель капустянского колхоза имени Калинина. Он же сам и ответил на свой вопрос:

— Мы ведь только и знаем, что откорм. Им одним живем, всегда в одну точку бьем. Разве в таких условиях можно сплеховать?!

Межколхозное сотрудничество освобождает колхозы от многого такого, чем им приходилось прежде заниматься. Оно сводится главным образом к созданию крупных специализированных предприятий, охватывающих чаще всего целые отрасли производства. Оно, таким образом, содействует постепенному сужению разбросанности в колхозном производстве, концентрирует усилия на меньшем числе отраслей — иными словами, способствует их скорейшей специализации. А специализация в свою очередь благоприятствует механизации производства, упрощению руководства, снижению себестоимости продукции. Нет нужды приводить доводы в пользу того, что однотипные предприятия легче механизировать, что ими проще управлять и что их продукция не может не быть дешевой.

Но это еще не все. Межколхозные связи являют собой и могучее средство подтягивания отстающих хозяйств до уровня передовых. Известно, что в экономике, в развитии и успеваемости колхозов у нас еще велика нестрота даже в рамках одного района. В расширении межколхозных связей заключено одно из наиболее радикальных средств ликвидации этой экономической разнокалиберности.

Но одно дело, когда в районе единственное межколхозное предприятие. У него свой небольшой аппарат, им руководит Совет уполномоченных, на паритетных началах представляющих колхозы-партнеры, а ему помогает райсовет. Все ясно, просто и нет почвы для возникновения каких бы то ни было недоразумений, споров.

А если в районе два, три и более межколхозных предприятий? Что тогда?

Вот в Немирове, о котором я уже упоминал, таких объединений целых четыре: одно — по эксплуатации межколхозной гидроэлектростанции, другое — по строительству, производству и заготовкам местных стройматериалов, третье — по откорму крупного рогатого скота, четвертое — по птицеводству. Кто ими ведает и кто руководит их деятельностью, довольно-таки мудрено разобраться.

Можно услышать в Немирове, что существует межколхозный совет, под началом которого все эти предприятия состоят, а возглавляет его председатель муховецкого колхоза «Ударник» Николай Иосифович Ружицкий, причем каждым предприятием управляет один из его заместителей. Однако никаких следов практической деятельности этого совета мне, несмотря на все старания, обнаружить не удалось. Он, по-видимому, действует лишь в воображении районного руководства.

Каждое из межколхозных предприятий района существует, даже помещается совершенно обособленно, располагает своим паевым капиталом и своими оборотными средствами, содержит свой аппарат, состоит на самостоятельном балансе, ведет свою бухгалтерию и имеет свой счет в банке. У председателя же колхоза «Ударник» и своих забот по горло; заниматься всерьез делами межколхозных предприятий он, по собственному признанию, не в силах даже физически.

Примерно такое же положение во всей Винницкой области. Особняком стоит лишь Крыжополь, где межколхозные предприятия находятся под единым руководством. В этом заслуга секретаря Крыжопольского райкома партии Героя Социалистического Труда Василия Сафроновича Бойчука, который считал неправильным обособленное существование межколхозных предприятий. У него и по сей день разногласия на этот счет с председателем «Облмежколхозстроя». Об этой организации хочется поговорить особо.

При исполнении Винницкого облсовета существовал в свое время отдел сельского и колхозного строительства. Возглавлял его энергичный, знающий свое дело инженер-строитель Константин Афанасьевич Откаленко. Когда большинство районов области обзавелось своими межколхозстройами, отдел этот упразднили. Сельское строительство и прежде очень скудно снабжалось и технически почти никем не обслуживалось, а с ликвидацией областного отдела оно оказалось и вовсе беспризорным. Откаленко считал своим долгом сигнализировать об этом обкому партии и подал при этом мысль образовать областное объединение межколхозных строительных предприятий. Такое объединение — «Облмежколхозстрой» — его стараниями, под его же, разумеется, председательством было учреждено. И надо отдать должное инженеру Откаленко. Он развил на редкость энергичную деятельность и за год с небольшим почти на голом месте сумел создать мощную, успешно развивающуюся организацию.

У винницкого «Облмежколхозстроя» своя проектно-сметная контора, леспромхоз в Карелии, заводы кровельных и стеновых материалов, передвижная буровзрывная станция. С его помощью в районах области построено, оборудовано и пущено двенадцать кирпичных заводов, двадцать механических столярных мастерских, девять полигонов железобетонных изделий, двадцать девять мастерских по изготовлению цементно-песочной черепицы, открыто сто каменных карьеров и установлены тридцать две лесопильные рамы. При его содействии районные межколхозстроин обзавелись многочисленными средствами механизации. У них сейчас двадцать семь своих электростанций, много компрессорных установок, подъемных кранов, деревообрабатывающих станков, более двухсот грузовых автомобилей. И если в 1958 году, до образования областного объединения, объем строительных работ, выполненных раймежколхозстроями, составил двадцать семь миллионов рублей, то уже в 1959 году он вырос до шестидесяти девяти, а в нынешнем, по самым скромным подсчетам, достигнет девяноста пяти миллионов!

Кооперация колхозов этой формы начинает играть решающую роль в сельском строительстве, и легкой наживе всякого рода «шабашников» и «шибаев» тут подходит конец.

По дороге из Винницы в Полтаву моим соседом по купе оказался один из таких, как он сам себя отрекомендовал, «вольных строителей». Держал он путь на Оренбург.

Я, естественно, неинтересовался, почему туда. Разве мало дела на Украине? И он чистосердечно признался:

— Что ж поделаешь, приходится забираться подальше. Тут нам уже не светит...

7

Создание в Виннице «Облмежколхозстрой» имело, однако, и свою оборотную сторону.

«Говорят о том, — подчеркивал Н. С. Хрущев на декабрьском Пленуме ЦК КПСС 1959 года, — что при расширении межколхозных связей нужно найти новые организационные формы, помогающие развитию этих связей. Видимо, колхозцентр вновь создавать не следует, но о межколхозных организациях в районах надо серьезно подумать, потому что накопилось много вопросов, которые требуют объединения усилий колхозов». Совершенно очевидно, что здесь имеются в виду не только дела строительные. С развитием межколхозных связей, с появлением на местах наряду со строительными и всяких иных межколхозных организаций стало насущнейшей потребностью координировать их деятельность, возникла трудная и пока еще не решенная проблема организационного упорядочения этих связей.

В Винницкой области тормозом на пути ее решения явился, как ни удивительно, «Облмежколхозстрой». Инженер Откаленко, предупредил меня в областном управлении сельского хозяйства, «занимает в данном вопросе позицию непримиримого сепаратизма». Прислушавшись к его высказываниям, я, впрочем, и сам в этом убедился. Преуспевали бы подведомственные его детичу райколхозстрой, а до остальных межколхозных объединений ему дела нет. И не он один держится такой точки зрения — ее разделяет в Виннице и кое-кто повыше. По тому-то и не упорядочена в области организационная сторона межколхозных производственных связей, а все другие объединения колхозов, кроме строительных, предоставлены самим себе. Нет, не могут винничане похвастать ни вдумчивым отбором, ни активным внедрением наиболее эффективных, наиболее приемлемых организационных форм растущего межколхозного сотрудничества.

А вот в Полтавской области нащупали, по-моему, удачное решение вопроса.

Здесь, в Лубнах, дела обстояли вначале так же, как и по сей день еще обстоит в Немирове. Обособленно одна от другой существовали в районе четыре межколхозные организации: строительное объединение, станция искусственного осеменения животных, откормочный пункт и плодощитовник. Жизнь показала нецелесообразность такого обособления, и осенью прошлого года собрание уполномоченных колхозов решило образовать Районное объединение межколхозных предприятий, обратив все эти организации в его хозяйственные отделы. Как положено, избрали совет нового объединения, а во главе поставили освобожденного работника, фамилия которого — Тихий, — кстати, совсем не вяжется с его бьющей через край активностью.

Энергичный, инициативный руководитель — это, как известно, уже само по себе много значит. А тут с одной удачей счастливо сочетаются другие. В Лубнах молодое межколхозное объединение окружено атмосферой, я бы сказал, делового благопритствования. Райком и райисполком уделяют ему большое внимание, они трезво оценивают заложенные в кооперировании колхозов огромные возможности дальнейшего прогресса сельскохозяйственного производства.

Немало сил и труда положил председателю исполкома райсовета Петр Афанасьевич Згола на то, чтобы в Лубнах было создано объединение межколхозных предприятий.

В районе позаботились и о том, чтобы не только объединение в целом, а и каждый отдел его возглавлялся хорошим организатором, знатоком и патриотом своего дела. Не дословно так, но в таком именно духе отзывался Петр Афанасьевич Згола об Александре Даниловиче Вакуленко, ведающем откормочной базой объединения, о Василии Сергеевиче Яценко, которому поручена станция искусственного осеменения животных, о Федосии Даниловиче Головки, занимающемся земельными угодьями объединения межколхозных предприятий.

Об этом говорят, впрочем, еще больше их дела и замыслы.

В течение ближайших двух-трех лет в Лубнах намерены расширить межколхозный

откорм до таких размеров, чтобы через него проходило все реализуемое колхозами поголовье скота. Это даст дополнительно около двадцати тысяч центнеров мяса и добавит к доходам колхозов примерно двадцать миллионов рублей.

Многое уже принесла колхозам района, а еще больше сулит им в дальнейшем межколхозная станция искусственного осеменения животных. Вместо трехсот шестидесяти быков-производителей, каких прежде содержали лубенские колхозы, станция обходится всего лишь шестнадцатью. Благодаря этому колхозы смогли не один миллион своих средств обратить на другие цели.

На очереди — организация новых предприятий: межколхозного гурта по пагулу скота, инкубаторной станции, фермы по выращиванию и откорму водоплавающей птицы, фабрики бройлеров, рыбного хозяйства.

Беспокойный, неугомонный народ подобрался в этом объединении. Люди хотят еще большего, стремятся дальше, рвутся вперед, усиленно, кропотливо шут. И можно не сомневаться — поиски эти будут успешными.

8

Еще в начале 1958 года, на первой сессии Верховного Совета СССР пятого созыва, Н. С. Хрущев говорил, что «широкий размах приобретает строительство межколхозных электростанций, оросительных каналов, водохранилищ, дорог, строительство школ и больниц. Таким путем колхозы объединяют свои усилия для решения задач, выходящих за рамки отдельных артелей, и создают сооружения, имеющие по существу общенародное значение. В этом не трудно видеть элементы перерастания колхозно-кооперативной собственности в общенародную».

Но понстине — как стремителен, неудержим бег нашей жизни!

Всего годом позже, на XXI съезде КПСС, Н. С. Хрущев уже отмечал, что в нашей деревне происходят характерные процессы, свидетельствующие о том, что «с дальнейшим развитием производительных сил будет подниматься и уровень обобществления колхозного производства, происходить сближение колхозно-кооперативной собственности с общенародной собственностью, постепенное стирание граней между ними». Один из этих процессов, указывал Никита Сергеевич, состоит в том, что «все шире развиваются и неизбежно будут возрастать межколхозные производственные связи, различные формы сотрудничества между колхозами».

Нужна ли к этим словам лучшая иллюстрация, чем практика того же Лубенского района на Полтавщине?! И как досадно, что этому глубоко прогрессивному процессу еще не везде воздают должное, не замечают, не видят тающихся в нем огромных возможностей.

В колхозах Крыжопольского района введена с недавних пор премиально-прогрессивная оплата труда и установлен гарантийный минимум стоимости трудодня в семь рублей. Это значит, что работающий колхозник, имеющий, скажем, сорок трудодней в месяц, получает не менее двухсот восьмидесяти рублей, почти что государственный минимум заработной платы городского рабочего.

Но Василий Сафронович Бойчук, секретарь райкома партии, сетует:

— А вы спросите: когда он свои деньги получает? Идеально, если ежемесячно. Большой же частью — раз в квартал, а нередко все еще, как и прежде, лишь в самом конце года. Как кому заблагорассудится — банку, райкому, райисполкому, председателю колхоза. Когда приходит срок выдачи зарплаты рабочим и служащим даже самого малозначащего государственного предприятия, никто ведь не посмеет сказать: «Повремените, нам деньги нужны на другие, более важные нужды!» А вот колхозник, он, как почему-то «принято считать», может ждать сколько угодно. И даже если банк уже выдает деньги на оплату трудодней, то в самих колхозах они зачастую расходуются совсем на другое. Известное постановление сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года — не менее четверти всех денежных поступлений и половину авансов, получаемых под сельскохозяйственную продукцию, распределять между колхозниками — выполняется не везде. Вот в прошлом году колхозника и вовсе обидели. Добро, мы

вовремя хватились и строго-настрого наказали: распределять по трудодням не менее трети всех денежных доходов.

Разговор принимал небезынтесный оборот.

— А все же чем обидели колхозников? Расскажите, пожалуйста! — попросил я.

— Извольте, скажу. Хозяйство, как вы сами понимаете, надо вести с расчетом. Нужно, как говорится, по одежке протягивать ножки. Между тем в районах, колхозах у нас еще не перевелись этакие ухари, которым охота бы враз все рекорды побить, разом обстроиться, одним махом всех побивахом. Послушайте же, к чему это ухарство привело. Урожай в прошлом году ожидался вначале очень хороший. По нему и доходы планировались и затраты. Притом разгон брали в расходах, так сказать, «под самую завязку», в особенности на строительство и закупку скота. А засуха снизила урожай и сбавила доходы колхозов. Тут бы умерить пыл, поменьше бы строить да приобретать скота, на ходу переориентироваться и сбавить капитальные затраты. Ан нет, кое у кого мужества не хватило. Вот и образовался перерасход по капиталовложениям. А на кого он своей тяжестью лег? На колхозника. Вы же знаете: из доходов в колхозах перво-наперво выделяют положенные фонды, погашают все расходы и затраты, а на трудодни распределяют уж что останется. Поняли теперь, чем обидели колхозника?

— Начинаю понимать, — отозвался я в ожидании дальнейших объяснений.

Василий Сафронович продолжал:

— Много сил и средств положила партия на то, чтобы восстановить в действии преданный было забвению принцип личной материальной заинтересованности колхозника в результатах его труда. И каких огромных успехов мы в этом добились! Вместо прежних считанных копеек люди стали получать по пяти, семи, десяти и даже более рублей на трудодень, они так и потянулись к общественному хозяйству. А вот ухарство, о котором я говорил, хотели того или нет не в меру горячие головы, заинтересованность эту ослабило, поколебало. Ведь где по пяти-шести рублей полагалось на трудодень, там по два-три получили...

В Немирове мне это стало еще яснее. Двадцать два колхоза Немировского района перерасходовали в общей сложности 3,7 миллиона, в частности одна фастовецкая артель «Россия» — полмиллиона. Фактическая стоимость трудодня здесь уменьшилась поэтому ровным счетом вдвое. Закрывая отчет артели, я подумал: «А если бы строительные работы выполнялись в Фастовцах не колхозом, а раймежколхозстроем, они обошлись бы вдвое-втрое дешевле. Если бы весь скот на мясо откармливался на межколхозном пункте, привес был бы вдвое выше, и скота пришлось бы приобретать во столько же раз меньше».

Дело, однако, не только в том, что межколхозное производственное сотрудничество могло бы во многом скорректировать распределение доходов в колхозах, предотвратить прошлогодний перерасход и отвести досаднейшую обиду, о которой говорил Бойчук. Там, где такое сотрудничество широко развито, элементы государственного в какой-то мере уже входят и в распределение колхозных доходов, включающих определенную долю чистой прибыли межколхозных предприятий.

Тут начинается уже прямое сближение колхозного с государственным. Оно дает о себе знать и в другом. В том же Немирове мне довелось слышать резонное замечание секретаря райкома партии о том, что вряд ли целесообразно иметь при сахарном заводе рядом два откормочных пункта — межколхозный и государственный, строить лишние помещения, содержать и там и тут свой штат, нести двойные расходы. Лучше объединить их и иметь один хорошо оборудованный и высоко механизированный пункт. В защиту своей точки зрения секретарь приводил более чем убедительные примеры колхозно-совхозных объединений Ленинградской области по добыче торфа и колхозно-совхозных транспортных баз на Северном Кавказе. Работают же они четко, слаженно, экономно, с большой обоюдной выгодой и для колхозов и для совхозов.

Да, жизнь, видать, берет свое!



В МИРЕ НАУКИ

Р. ПЕРЕСВЕТОВ

★

ЗАГАДОЧНЫЕ ПРИПИСКИ

В недавно вышедшем в свет шестнадцатом томе «Трудов отдела древнерусской литературы» (издание Пушкинского дома Академии наук СССР) помещена небольшая статья — ответ советского историка-источниковеда Д. Альшица на выступление английского ученого (по происхождению русского) Н. Андреева, опубликованное журналом лондонского университета. Основанием для полемики послужила одна из исследовательских работ Д. Альшица.

Вот об этом весьма интересном исследовании и существовании ученого спора мне и хочется здесь рассказать.

ТАИНСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Нелегко установить автора анонимного произведения. Тем более, когда нет для сравнения хотя бы одной строки, написанной той же рукой. А если к тому же анонимное произведение появилось четыреста лет назад и в течение всего этого долгого времени имя его автора было окружено тайной, — в этом случае загадка кажется и вовсе неразрешимой...

В XVI веке, при Иване Грозном, был создан Лицевой свод — многотомная всемирная история от так называемого «сотворения мира» до царствования Грозного. Это был огромный труд в девяти томах, написанный четкими рисованными буквами — «полууставом» — и исполненный «в лицах», то есть украшенный цветными миниатюрами. Более шестнадцати тысяч таких рисунков иллюстрируют текст Лицевого свода.

Составители этого труда стремились доказать, что род московских великих князей ведется от римских императоров и что царствование Ивана Грозного — вершина исторического развития человечества. События этого царствования были изложены в последнем томе, который охватывал период 1535—1567 годов, то есть со времени, когда Грозному было пять лет, и до разгара опричнины. Этот том Лицевого свода известен в науке под именем Синодального списка, так как долгое время принадлежал библиотеке Синода. И вот именно с последней частью Лицевого свода произошли загадочные и на первый взгляд необъяснимые события. Чья-то неизвестная рука прямо на беловых, украшенных рисунками листах Синодального списка нанесла скорописью многочисленные приписки, поправки, сделала вымарки. Ряд замечаний указывал на необходимость серьезных изменений в рисунках.

До нас дошел и второй, уже переделанный экземпляр этого тома Лицевого свода, названный Царственной книгой. В ней учтены все до единой поправки, о которых сейчас говорилось, вписаны в текст новые большие исторические рассказы, которыми неведомый редактор пополнил летопись. Но вот что любопытно: на листы Царственной книги та же рука нанесла еще больше всевозможных исправлений и дополнений. Теперь редактор перечеркнул многое из того, что раньше написал сам, и заменил зачеркнутое новыми приписками. Некоторые из них противоречили его же поправкам на полях

Синодального списка. Сообщения летописи, не вызвавшие у него при первом редактировании никаких возражений, он превращает теперь в страстные политические памфлеты, суровые обвинения, изобличающие бояр-изменников.

Кто же он, этот редактор, столь безжалостно обращавшийся с драгоценной рукописью? Почему он сразу же, при первом редактировании, не внес всех, по его мнению, необходимых поправок? И, наконец, когда делались все эти поправки?

Найти ответ на эти вопросы было очень важно, потому что именно из приписок узнаются особо серьезные факты и многочисленные подробности царствования Ивана Грозного.

Все, кто читал об этой эпохе, смотрел пьесы и кинофильмы, посвященные Грозному и его времени, постоянно встречались с изображением боярских бесчинств и кровавых раздоров, с красочным описанием пожара Москвы и народного восстания 1547 года или с рассказом о том, как на подмосковной дороге царь и его свита встретились с новгородскими стрелками-пищальниками, открывшими среди бела дня огонь по царскому конвою. И уж во всяком случае в любом произведении, посвященном этому периоду, сообщается о событиях марта 1553 года, когда двадцатитрехлетний царь заболел «смертельной огненной болезнью», а бояре устроили настоящий мятеж у постели умирающего, открыто понося его и отказываясь признавать наследником «пеленочника» — недавно родившегося царевича. Но в момент апогея борьбы царь неожиданно выздоровел.

Эти и десятки других важнейших свидетельств, давно и прочно вошедших во все курсы истории, известны нам только из приписок неведомого редактора.

Используя в своих трудах сведения, содержащиеся в приписках, историки более полутораста лет не занимались изучением их происхождения. Князь Щербатов, издавший Царственную книгу в 1779 году, ничтоже сумняшеся внес все приписки в основной текст. Несмотря на то, что позднее, в научном издании полного собрания русских летописей, приписки снова были выделены издателем из текста летописи и работа редактора стала различной, никто до последнего времени не занимался специально изучением загадочных приписок.

И только совсем недавно приписки на полях Лицевого свода были подвергнуты кропотливому исследованию, прояснившему таинственную историю их появления на полях Синодального списка и Царственной книги. Стали известны и документы и труды, которыми пользовался редактор. Установлены годы и даже дни, когда он вносил эти приписки.

КЛЮЧ К ОТГАДКЕ

Внимательно исследуя Синодальный список — тот самый, на котором были сделаны первые приписки, — и сравнивая его с так называемой Никоновской летописью, рассказывающей о том же периоде русской истории, молодой ленинградский ученый Д. Альшиц в 1946 году пришел к выводу, что этот список подвергался особенно тщательной обработке еще до представления придирчивому редактору. Создавалось впечатление, что Синодальному списку была предназначена какая-то особая роль по сравнению с другими.

Обычно исследователи рассуждали так: Синодальный список оканчивался августом 1567 года. Значит, редактор мог просмотреть этот список и внести в него свои исправления после этой даты. Такой, на первый взгляд, очевидный вывод и сделали все историки, изучавшие Лицевой свод. Считалось, что приписки и на Синодальном списке и на Царственной книге были сделаны почти одновременно в конце шестидесятых — в начале семидесятых годов XVI века. Но Д. Альшиц в этом усомнился. Если бы это было так, то есть если бы первые и вторые приписки делались почти одновременно, то чем же объяснить столь резкие и несовместимые противоречия приписок этих двух вариантов? И еще одно важное соображение: испещренный поправками последний том Лицевого свода был заново переписан; одних только миниатюр пришлось переписать больше тысячи. Такая кропотливая и трудоемкая работа не могла быть проделана в короткий срок. Между первым и вторым редактированием должно было, видимо, пройти дли-

тельное время. Однако как же совместить это с таким, казалось бы, очевидным выводом, что первые приписки должны были появиться лишь после 1567 года, то есть почти одновременно со вторыми, внесенными не позже семидесятого года?

Исследователь заметил, что сравнительно редкие приписки на полях Синодального списка распределены неравномерно. Последняя была сделана в том месте, где рассказывалось о событиях 1557 года. К изложению истории дальнейших десяти лет почему-то ничего не было добавлено.

Чем это объяснить? Не тем ли, что в эти годы не произошло ничего существенного? Такое предположение пришлось сразу отбросить. Как раз это десятилетие было насыщено важными событиями. Оно началось смертью любимой жены Ивана Грозного, царицы Анастасии. Впервые предстал перед царским судом двоюродный брат царя, князь Владимир Старицкий, заподозренный в измене. Умер царский наставник митрополит Макарий, составитель первой части летописного свода. Изменил Грозному — бежал в Литву — князь Курбский. Разгневанный боярскими интригами и изменами, царь переехал из Кремля в Александровскую слободу и «учинил опричнину». Вот что произошло за это десятилетие.

Может быть, приписки на Синодальном списке прекратились потому, что автор их в эти бурные годы сам подвергся опале или предусмотрительно удалился от дел? Наконец, он мог заболеть и даже умереть. Нет, все эти предположения тоже не годились: ведь было известно, что после исправления Синодального списка это же самое лицо вносило свои поправки и в Царственную книгу.

Исследователь предложил решение, которое сразу ответило на все недоумения и подсказало важные выводы: Синодальный список был представлен редактору не целиком. Сначала он получил только его первую часть — до 1560 года, на которой и были сделаны первые приписки. Это объяснение подтверждалось наблюдениями над внешним видом рукописи. Вся первая часть Синодального списка, примерно до известия о смерти жены Ивана Грозного, пестрела яркими заголовками, выведенными киншварью; их было более трехсот. В остальной же части, охватывавшей 1560—1567 годы, таких заголовков насчитывалось только четыре, манера оформления, как видим, иная.

Но где же писалась летопись до отправки редактору?

Это тоже удалось установить. Ученый исследовал дошедшую от времен Ивана Грозного опись царского архива. Он обнаружил в ней следующую запись: «Ящик 224. А в ней списки, что писати в летописец лета новые. Прибраны от лета 7068 (1560) и до 76» (1568).

Значит, вторая часть Синодального списка за 1560—1567 годы была отдельно «прибрана» (хранилась) в архиве. Тем самым подтверждалась догадка Д. Альшица: первая часть летописи, доведенная как раз до 1560 года, была послана на просмотр редактору раньше второй части и независимо от нее. Такой вывод давал возможность отказаться от заведомого в тулук предположения, что первые приписки делались после 1567 года, почти одновременно со вторыми. Теперь стало ясно, что они могли быть сделаны и раньше, но после 1560 года. Следующий шаг — уточнение даты появления как первых, так и вторых приписок.

Сравнивая отношение их автора к одним и тем же событиям, упоминавшимся в тексте Синодального списка и Царственной книги, исследователь заметил, что оно было далеко не одинаковым. Так, например, к рассказу о вражде между князьями Шуйским и Бельским, внесенному в летопись под 1539 годом, на полях Синодального списка было приписано, что в этой расправе пострадал боярин Михаил Васильевич Тучков, которого Шуйские «сослаша с Москвы в его село». В Царственной же книге этот рассказ был изложен уже иначе, и из жертвы боярской усобицы Тучков был превращен в ее зачинщика.

Д. Альшиц обратил внимание на то, что Михаил Тучков являлся дедом князя Курбского. Эта, казалось бы, маленькая деталь проливала свет на многое. Приписка в Синодальном списке, где Тучков сочувственно изображался жертвой боярской усобицы, могла быть сделана только до измены Курбского, до опалы, поразившей всех его родных, и уж во всяком случае до того, как Грозный в своем знаменитом письме к Курбскому назвал Михаила Тучкова изменником и змеей. Курбский бежал в Литву

в 1564 году. Следовательно, Синодальный список редактировался до этого года, а Царственная книга — позднее.

В этом же послании к Курбскому не менее резко отозвался Иван Грозный и о недавнем близком своем советнике Александре Адашеве. Его он обругал собакой, обвиняя Адашева в дружбе с изменником Курбским. Между тем в одной из приписок к тому же Синодальному списку сообщалось, что Адашев введен в состав «судной комиссии», назначенной для разбора дела заговорщика князя Семена Лобанова-Ростовского. Это также подтверждало, что Синодальный список редактировался до послания к Курбскому. Иначе приписка, вероятно, не упоминала бы об оказанном Адашеву доверии.

Наконец, ученый обратил внимание на то, что во втором варианте последнего тома летописного свода — в Царственной книге — приведены некоторые сведения, не встречавшиеся в Синодальном списке, а позаимствованные из так называемой Степенной книги царского родословия, составленной не раньше 1563 года. Сведения из нее могли быть взяты позднее этой даты. Это также подтверждает, что приписки на Синодальном списке делались до 1564 года, а на Царственной книге — позже.

В ПОИСКАХ ГЛАВНОГО

Все говорило о том, что приписки были сделаны влиятельным государственным деятелем. Этот вывод подкрепляется такими соображениями. Поправки он вносил на страницы уже готовой роскошной рукописи, составлявшей в одном экземпляре; автора приписок мало беспокоило, что он ее этим портил. Иногда целый лист был безжалостно испорчен одной незначительной поправкой. После редактора никто уже не прикасался к тексту. Ясно, что он обладал неограниченной властью исправлять и перекраивать официальную московскую летопись.

Художникам повелевалось переделать некоторые рисунки: «...Государь написан не к делу». В другом случае редактор указывал: «Тут написать у государя стол без доспехов», то есть не накрытый. Или: «Царя писат тут надобет стара», то есть, по мнению редактора, художник слишком омолодил царя. Изображение свадьбы Ивана Грозного показалось редактору перегруженным, и он потребовал «розписат надвое — венчанье да брак».

В поисках автора приписок и указаний исследователь составил перечень несомненных признаков, которыми обладало это лицо. Получалось, что человек этот должен был находиться при дворе после 1564 года. Его политические взгляды суть политические взгляды Грозного. Личности царя исключительно предан. Он в курсе всех важных событий, происходящих как непосредственно возле царя, при его участии, так и на самых отдаленных окраинах страны. Очевидец взятия Казани, о чем свидетельствуют живые подробности, добавленные им к рассказу об осаде и взятии этого города. Детально знаком с делом об измене князя Лобанова-Ростовского и с историей боярского брожения в 1553 году.

Всем этим признакам, по мнению Д. Альшица, отвечал только один человек: сам Иван Грозный.

Это предположение, разумеется, нуждалось в тщательной проверке и аргументации. Приступая к наиболее ответственной части своего исследования, ученый знал, что после Ивана Грозного не осталось ни одной собственноручно написанной им буквы. Все сочинения царя — например, его послание Курбскому — дошли до нас в списках XVII века. Таким образом, сличение почерков исключалось. Нужно было обратиться к сочинениям Грозного для установления сходства или разницы между ними и приписками по мыслям, слогу и манере изложения.

Сравнивая ряд приписок с содержанием послания Грозного к Курбскому, в котором царь высказывал все обиды, накопившиеся у него против бояр, исследователь установил до сих пор никем не замеченное совпадение. Все наиболее яркие мысли и факты, изложенные в приписках, встречались и в этом послании. «Изложение часто совпадает дословно, а там, где нет дословного сходства, ясно видны одни и те же краски, одни

и те же мысли, одни и те же образы, одни и те же выводы», — подытожил свои наблюдения ученый.

В самом деле, в первых же двух приписках на полях Синодального списка, подчеркивавших жестокость, проявленную Шуйскими в борьбе со своими соперниками, упоминались те же примеры, которые Грозный, перечисляя преступления бояр, использовал впоследствии в известном послании Курбскому. В третьей приписке приводились крамольные слова заговорщика князя Семена Лобанова-Ростовского, выписанные из хранившегося в царском архиве секретного следственного дела. Эти же слова повторялись царем и в письме к Курбскому.

В приписке к Царственной книге говорится о самосуде над дядей царя боярином Юрием Глинским, происшедшем в 1547 году в одной из московских церквей. Автор утверждал, что самосуд этот произошел по наущению изменников-бояр. О том же говорит Грозный в послании Курбскому. Многие совпадали и в пространной приписке о начавшемся во время болезни Ивана Грозного брожении среди бояр и в негодующем рассказе царя об этом в послании Курбскому. Причем нигде, кроме приписки в Царственной книге и письма Ивана Грозного, этот рассказ не встречается.

В описи царского архива Д. Альшиц также нашел веские подтверждения того, что приписки были сделаны именно Иваном Грозным. Самая большая приписка в Синодальном списке касалась измены князя Лобанова-Ростовского. В ней приведено много новых, неизвестных из других источников, подробностей. Судя по всему, сведения эти взяты из подлинного сыскного дела, хранившегося в царском архиве. Так определилось, зачем ящик № 174 с находившимся в нем сыскным делом князя Семена Лобанова-Ростовского был 20 июля 1563 года, то есть спустя почти десять лет, «взят ко государю». Дата как раз совпадает со временем редактирования Синодального списка. Другие пометки на описи царского архива свидетельствовали, что в августе 1566 года царь часто бывал в архиве. За десять дней он пять раз посетил архив и выбрал из ящичков главным образом документы об опальных боярах, как раз о тех, имена которых упоминаются в приписках.

Далее надо было установить, кем именно сделаны приписки, то ли собственноручно Грозным, или они были продиктованы им какому-нибудь писцу. Возможно, что царь набросал свои замечания на других листах и приказал перенести их на поля летописного свода. Последние два предположения отвергнуты исследователем. И вот почему.

Наряду с пространными замечаниями на полях Синодального списка и Царственной книги в тексте обеих летописей встречались и мелкие поправки, сделанные тем же почерком, которые могли возникнуть только в процессе чтения текста. Слова и целые фразы были вставлены между строк внимательно читавшим текст редактором, замечавшим даже незначительные опiski переписчика. Зачеркивая какое-нибудь слово, он заменял его другим, более точно выражающим мысль. При этом писал, видимо, очень быстро и сам сделал немало описок; такую небрежность не мог бы себе позволить никакой писец, если бы он перебелил рукопись с царского образца. Все это, вместе взятое, привело исследователя к выводу, что правка на листах летописи принадлежит лично Грозному.

Спустя несколько лет Д. Альшицу удалось найти источник, подтвердивший правильность его заключений. Это случилось неожиданно для него самого. Будучи главным библиографом отдела рукописей Публичной библиотеки имени Салтыкова-Щедрина и просматривая однажды собрание древнерусских грамот, он обратил внимание на одну из них, почерк которой показался ему похожим на почерк автора приписок.

Эта небольшая по размеру грамота оказалась предсмертным письмом Ивана Грозного в Кирилло-Белозерский монастырь. Письмо было обращено ко всей монастырской братии, даже к «крылошанам», то есть к поющим на клиросе церковным певчим, и к «лежащим по кельям» — прикованным к постели немощным старцам.

«Ног ваших касаясь, князь великий Иван Васильевич челом бьет», — униженно писал монахам тяжелобольной Грозный, чувствуя приближение смерти. Он просил их молиться об освобождении «от настоящей смертной болезни», о возвращении здоровья, об отпущении грехов «моему окаянству». В конце письма перечислялось, сколько милостыни послал царь игумену и инокам «на корм», а также «на масло», чтобы

долше горели лампы, и «за ворота» нищим. «А сю есьми грамоту запечатал своим перстнем», — говорилось в последней строке.

Внешний вид, печать и содержание письма — все это свидетельствовало о том, что грамота была написана Грозным собственноручно. Ни один дьяк или писец не осмелился бы подать царю грамоту с пометками.

Видно было, что Иван Грозный писал свою последнюю грамоту наспех. Покаянный характер письма объясняет, почему он не стал диктовать его писцу, не дал переписывать набело. Специальной припиской о том, что он сам запечатал грамоту своим перстнем, царь заверял ее подлинность.

КАКОЙ ВЕРСИИ ВЕРИТЬ?

Установив автора приписок к Лицевому своду, ученый одновременно ответил и еще на один важный вопрос: почему в некоторых приписках встречались противоречия?

После того как было выяснено, что между первым и вторым редактированием последнего тома Лицевого свода протекло значительное время, этим противоречиям не приходилось удивляться. Различия в приписках объяснялись изменениями в политической обстановке, продиктовавшими новое отношение к целому ряду событий и лиц.

Самые большие приписки на Синодальном списке и Царственной книге давали разные объяснения таким важным событиям, как, например, серьезные волнения, возникшие в марте 1553 года в связи с опасной болезнью царя.

Приписка, сделанная Грозным к Синодальному списку по поводу «изменного дела» князя Семена Лобанова-Ростовского под 1554 годом, подробно излагала материал следствия. Сначала князь Семен сказал, что хотел бежать от своего «убожества и малоумства». Но под пыткой он назвал имена участников тайного заговора, замысливших в случае смерти царя от «огненной болезни» возвести на престол его двоюродного брата, князя Владимира Старичкого. В той же приписке приводился и состав «судной комиссии», назначенной Грозным для разбора дела Лобанова-Ростовского. В нее вошли одиннадцать наиболее преданных царю приближенных: князя Мстиславский, Курлятев, Палецкий, бояре Шереметев Большой, Морозов, Данила и Василий Юрьевы, окольный Адашев, постельничий Вешняков, казначей Фуников и дьяк Висковатый. Из всего этого следовало, что боярский заговор, возникший во время болезни царя, был раскрыт через год после его выздоровления благодаря допросу Лобанова-Ростовского.

Совсем другое объяснение событиям 1553 года дал Грозный в новой приписке, сделанной им на полях Царственной книги через несколько лет. Здесь говорилось уже об открытом мятеже большой группы царских приближенных. В числе мятежников были названы те, кто согласно первому известию судил тайных заговорщиков.

Какой же из двух приписок можно было верить? Для ответа на этот вопрос Д. Алышиц проделал еще одну кропотливую работу. По разрядным книгам, служившим для официальных справок, и другим беспристрастным источникам он проследил судьбы упомянутых в обеих приписках лиц. И тут обнаружили удивительные, казалось бы просто невероятные, факты.

Не отличавшийся, как известно, кротостью, царь против ожидания не наложил никакой опалы на мятежников. Выяснилось, что казначей Фуников и князя Курлятев и Палецкий после 1553 года занимали почетнейшие места на самых важных придворных церемониях. Окольный Федор Адашев — сам «мятежник» и отец вдохновителя мятежников Алексея Адашева (таким по крайней мере был выставлен Алексей в письме к Курбскому) — был пожалован в бояре. Заклейменный как изменник князь Петр Щенятев в 1554 году по указу Ивана Грозного «приводил всех к присяге в верности государю, царице и царевичу Ивану Ивановичу». А названного первым среди мятежников боярина Ивана Михайловича Шуйского царь в 1556 году, отлучившись из Москвы, оставил своим наместником. Исследователь тщательно проверил, какие следственные дела значились в описи царского архива, и установил, что в ней нигде не упоминалось о каком-либо изменном деле, участниками которого были бы лица, харак-

теризованные в приписке как мятежники. Не было ни дела, ни подследственных, ни наказанных! Возникает уверенность, что ложные сведения содержала не первая приписка о тайном заговоре небольшой группы князей, а вторая, написанная после новых опал.

В 1564 году «генваря в третий день прислал царь и великий князь из слободы список, а в нем написаны измены боярские и воеводские и всяких приказных людей» — так гласила летописная запись о начале опричнины. Рассказ о мятеже, вставленный царем в Царственную книгу, выглядел как перенесение в летопись этих же самых обвинений. Ко времени составления второй приписки Алексей Адашев, Фуников, Палецкий, Курлятев, Щенятев и другие перечисленные в ней лица действительно подверглись опале или были уже казнены.

Прочтя язвительное послание Курбского, составившего перечень царских злодейств, Грозный не ограничился отправлением пространного ответного послания, опровергающего его обвинения. Он на страницах летописи оправдывал себя и представил давними изменниками тех, кто к этому времени чем-либо вызвал его немилость.

В Синодальном списке под 1545 годом сообщалось о налете крымских татар: «Того же месяца декабря 30 приходил крымский царевич Имин Гирей Калга... со многими людьми крымскими безвестно на украинские места Белевские и Одоевские и по грехом за небрежение попленише многих людей». Это известие было прочитано Грозным при первом редактировании им летописи и не вызвало с его стороны возражений. Но, просматривая его во второй раз, уже в тексте Царственной книги, он зачеркнул последнюю фразу, в которой не были указаны виновники поражения, и приписал, что это были воеводы князя Петр Щенятев, Константин Курлятев и Михаил Воротынский. Они якобы «разопрешася о местех», то есть заспорили, кто кому должен подчиниться, и из-за этого не оказали вовремя помощи передовому полку.

По разрядным записям выяснилось, что эти воеводы никогда вместе не служили, не могли поэтому пререкаться из-за постов и быть виновниками поражения. Царь задним числом обвинил их потому, что к моменту просмотра им Царственной книги все трое были уже в немилости.

Точно так же Иван Грозный оставил сначала без изменения рассказ о казни бояр — князя Ивана Кубенского и Федора и Василия Воронцовых по злостному навету дьяка Гилльева. При вторичном редактировании, прочтя это же известие в Царственной книге, Грозный дополнил его обширной припиской, объясняющей, чем вызвана расправа над этими боярами.

Что побудило Грозного заменить первоначальное сообщение? Обратившись к переписке царя с Курбским, Д. Альшиц нашел в письме беглеца то место, где он осуждает царя за неоправданное избитие верных его слуг и в числе «безвинно побиенных» называет как раз князя Кубенского и двух Воронцовых. Можно предполагать, что, редактируя Царственную книгу, Грозный вспомнил этот упрек Курбского и счел нужным дать этому событию свое освещение.

Прямая связь содержания приписок к Царственной книге с политическими страстями, обуревавшими Грозного во второй половине шестидесятых годов, устанавливалась при сравнении приписки об обстоятельствах убийства дяди царя, князя Юрия Глинского, с прежним текстом летописи.

В Синодальном списке Грозный также оставил этот текст без поправок. При втором редактировании, после обмена письмами с Курбским, рядом с рисунком, изображающим смерть Глинского, появилась пространная вставка, подробно излагающая обстоятельства убийства. Грозный хотел теперь подчеркнуть, что его дядя был убит изменниками и мятежниками не на площади, как сообщали Синодальный список и другие летописи, а именно в церкви. Очевидно, приписка была сделана под впечатлением брошенного Курбским и особенно сильно задевшего Грозного обвинения в том, что это он проливает кровь даже в церквях.

Проверка приведенных в приписках сведений обнаружила крайне субъективное и произвольное изложение Иваном Грозным ряда исторических фактов, близко касавшихся царя. Это характерно главным образом для приписок к Царственной книге, которые делались Грозным в разгар напряженной борьбы с боярами, мешавшими царю укреп-

лять свою власть, силу и единство государства. Отступая от точной передачи событий, Грозный стремился в этих приписках отметить главное — свою правоту в этой борьбе. Объясняя, откуда пошла «вражда промеж государя и людей», царь настойчиво доказывал, что виновниками ее были зачинщики всех смут — бояре — и что он карал их не как своих личных врагов, а как смутьянов и изменников.

«ЦАРЬ ИВАН ГРОЗНЫЙ ИЛИ ДЬЯК ИВАН ВИСКОВАТЫЙ?»

Так озаглавлен ответ Д. Альшица Н. Андрееву, помещенный в шестнадцатом томе «Трудов отдела древнерусской литературы». В чем же суть спора между советским и зарубежным историками?

В статье «Приписки к московским хроникам XVI века» Н. Андреев утверждает, что ленинградский историк «сбился с пути... и не сумел различить наиболее вероятного автора приписок». Оппонент из Кембриджа считает, что им был дьяк посольского приказа, глава царского архива Иван Михайлович Висковатый.

Н. Андреев обосновывает авторство Висковатого тем, что его имя упоминается в приписке о «мятеже» 1553 года семь раз. На это Д. Альшиц резонно возражает, что имя Грозного названо в той же приписке примерно семьдесят раз. Не убеждает в качестве аргумента в пользу авторства Висковатого и тот факт, что царь очень доверял этому дьяку. Однако если искать автора приписок по признаку доверия к нему Грозного, то нельзя не признать, что еще больше царь доверял самому себе. Н. Андреев справедливо заключает, что рассказ о «мятеже» 1553 года написан очевидцем. Таким очевидцем он считает Висковатого, а Грозного как возможного автора рассказа отвергает. Но ведь сам Иван Грозный — главное действующее лицо в приписке о мятеже — был еще более близким очевидцем событий!

Легко опровергается и заключение Н. Андреева, что Висковатый был автором приписок к летописи, поскольку он стоял во главе посольского приказа, где она составлялась. Если предположить, что составлением летописного свода руководил Висковатый, тогда тем более нельзя допустить, что он стал бы делать поправки на готовом, чистовом экземпляре. Ему удобнее было бы внести их заранее. Если именно Висковатый руководил созданием лицевых сводов в посольском приказе, то это как раз исключает возможность считать его автором приписок.

В заключение Н. Андреев приводит еще один довод: царь не мог быть автором приписок и потому, что «не имел обыкновения заниматься лично такими ничтожными делами». Советский историк не без иронии замечает на это: «Грозный очень серьезно смотрел на значение летописной истории своего царствования». И добавляет, что такое отношение к ней оправдано дальнейшей судьбой работы Грозного, «в частности тем, что она много веков спустя является предметом изучения и полемики ученых различных стран». Значение научной работы «Приписки к Летописному своду XVI века» не исчерпывается тем, что она по-новому объясняет некоторые важные события истории России, происходившие во второй половине XVI века, в царствование Ивана Грозного.

Из-за войн, пожаров и по многим другим причинам древние летописи дошли до нас далеко не полностью. Например, от XI до конца XV века ни один летописный свод не сохранился в подлинном виде. Они известны только в отрывках в составе позднее написанных сводов. Не уцелели до наших дней и черновики этих летописей, обычно уничтожавшиеся после переписки текста на бело. Только потому, что приписки к Синодальному списку и Царственной книге были сделаны прямо на листах готовой книги, они избежали участи черновиков. Понятно, какое большое значение они имеют. Тем более, что автором их, как убедительно доказывает Д. Альшиц, был Иван Грозный



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого

А. СЕРГЕЕНКО

★

ВСТРЕЧИ С ТОЛСТЫМ

ЗНАКОМСТВО

Мой отец, литератор Петр Алексеевич Сергеевко, автор известной в свое время книги «Как живет и работает гр. Л. Н. Толстой», уже восемь лет был знаком со Львом Николаевичем и часто навещал его. Лев Николаевич доброжелательно к нему относился, один раз даже собирался приехать к нему в Рязанскую губернию, где проживала наша семья.

Отец боготворил Льва Николаевича как писателя и как человека, считал его своим лучшим другом, сообщал ему все о своей жизни. И Льву Николаевичу было известно, какая у него семья, сколько нас, детей, и как всех нас зовут. Впоследствии я узнал от отца, что про меня, четырнадцатилетнего мальчика, отец ему рассказывал, что меня уж несколько лет занимают вопросы: «В чем смысл жизни?», «Как сделаться хорошим человеком», «Почему люди делятся на богатых и бедных?» и т. п. Рассказывал ему отец и про то, что по вечерам я читаю рабочим нашей усадьбы разные книги, в том числе народные рассказы Льва Николаевича: «Свечка», «Два старика», «Чем люди живы» и другие.

Однажды Лев Николаевич сказал моему отцу после его сообщения обо мне: «Это — построение вашего сына — редкое явление в четырнадцатилетнем возрасте. Он меня интересует. Хотел бы его повидать». Отец спросил, не разрешил бы Лев Николаевич привезти меня к нему, на что Лев Николаевич ответил, что был бы очень рад. Не удивительно ли, что он, знавший тысячи людей и среди них много замечательных личностей, пожелал увидеть еще какого-то мальчика? Но таков уж был его постоянный интерес ко всякому человеческому существу.

И 18 февраля 1900 года, во втором часу дня, мы с отцом подъехали на извозничьих санках к высокому резному коричневому забору в Долго-Хамовническом переулке в Москве. Вошли через калитку в обширный для города двор. В глубине двора, почти против калитки, виднелся темно-желтый двухэтажный деревянный дом, возле дома — небольшой флигель, направо от флигеля — сарай. Перед открытыми воротами сарая стояла лошадь, запряженная в небольшие красивые сани. Кучер в круглой шапке с павлиньими перьями распрягал ее. Высокая вороная породистая лошадь переминалась с ноги на ногу и играла с кучером, делая вид, что хочет укусить его за плечо. Он ласково покрякивал на нее: «Балуи! Балуи!» Около них вертелась желтая собачка-дворянка. Заливаясь звонким лаем, она бросилась к нам. Кучер прикрикнул на нее: «Не смей! Назад!» Она тотчас умолкла и, виновато-весело виляя хвостом, побежала обратно к кучеру. Посетители, видимо, не были ей в диковину, и она полаяла на нас, должно быть, только из собачьего приличия.

Большой двор, деревянные постройки, лошадь, кучер, дворянка произвели на меня впечатление, что это было не в городе, а в небольшой деревенской помещицкой усадьбе.

За домом находился сад с высокими деревьями. Из него вышла полная красивая барышня. Я сразу догадался, что это дочь Льва Николаевича, с которой в то время дружила моя старшая сестра Марина.

— Здравствуйте, Петр Алексеевич,— приветливо сказала она, подавая отцу руку.— А это Алеша? Тот самый необыкновенный мальчик?

Мне показалось, что она сказала это прощески. Наверно, моя сестра Марина рассказывала ей про меня и про то, что у меня были товарищи, которые за мои идейные увлечения называли меня «философом с дырочкой» или «графом Худым». Лев Николаевич был «Толстой», а я вот «Худой», потому что на самом деле был очень худ, да и философия моя, по мнению моих товарищей, была «худая», не выдерживала серьезной критики.

Отец спросил:

— Лев Николаевич дома?

— Да, дома. Но вы поспешите, он куда-то собирается идти.

Мы с отцом направились к двухэтажному дому и вошли на крыльцо. Отец потянул к себе круглую медную шишку, торчавшую возле двери. Раздался бойкий колокольчик. Тотчас открылась дверь. На пороге показался худощавый, лет сорока, человек. Я после узнал, что это был лакей Илья Васильевич Сидорков. Он проговорил невучим голосом.

— Пётра Ликсенц, здравствуйте! Пожалуйста! А это ваш сынок? О-очень приятно-с! Лев Николаевич как раз сейчас выйдут к завтраку.

Мы вошли в небольшую переднюю, где нас приятно обдало после морозной улицы теплом жарко натопленных нечей. На вешалке висели дорогие дамские и мужские шубы. Среди них виднелся дешевый крестьянский овчинный полушубок. Я сразу догадался, что он, конечно, Льва Николаевича. В воздухе слегка пахло чем-то хорошим. В каждом семейном доме бывал свой особый запах. Так и в доме Толстых был свой запах. В нем чувствовался аромат французского саше, которым в те времена перекладывали белье.

Сняв с нас шубы, Илья Васильевич предложил нам пройти в столовую. Мы вошли в довольно большую комнату. Здесь за окнами виднелись стволы деревьев, стоявших в снегу. Середину комнаты занимал длинный стол, покрытый белой скатертью. Кругом стулья с высокими резными спинками. У стены желтый недорогой буфет. Вся обстановка довольно простая. Мне приходилось видеть в других помещичьих домах обстановку гораздо богаче.

Отец и я сели у стены. Прошло минут пятнадцать. Я прислушивался. Было совершенно тихо, не слышно было ни одного звука, совсем как в деревне.

Я спрашивал себя: таким ли окажется Лев Николаевич, каким я его уже давно себе представлял — напоминающим льва? Ведь и имя его Лев. И писатели его считают «Львом литературы» (я такие и карикатуры на него видел), да и в самом деле на некоторых его портретах в его лице было что-то львиное.

Вдруг боковая дверь в столовую открылась, и я вздрогнул. Да, да, что-то львиное, мощное. Крупная голова, широкий нос. Большие усы. Длинная борода, точно грива у льва. В суровом взгляде громадная сила, глубокий ум. Это он.

Отец вскочил со своего места, а я был так поражен неожиданным появлением Льва Николаевича, что остался сидеть. Он стоял выпрямившись, и мне показался очень величественным. Но вот он наклонился вперед, прищурил глаза, чтобы разглядеть нас. Мы были плохо освещены, находясь далеко от окна. Он улыбнулся, и глаза его засветились. Сейчас он уже не напоминал льва. Сейчас был похож на деревенского доброго, ласкового деда. Точь-в-точь один такой друг был у меня в Рязанской губернии.

Легкой походкой, точно он скользил по льду, Лев Николаевич направился к нам. По его быстрым эластичным движениям никак нельзя было бы сказать, что ему семьдесят два года. Казалось, лет сорок пять, не более.

Он был немного выше среднего роста. Во всей фигуре его чувствовалась подобранность, молодцеватость, и у него была осанка человека военной выправки, точно такая, как у друга нашей семьи полковника Дурнова, которого я часто видел. Однако в сравне-

нии со стройной фигурой моего отца, которому тогда было сорок шесть лет (значит, он был на двадцать шесть лет моложе Льва Николаевича), мне показалось, что Лев Николаевич слишком широк.

Он протянул отцу обе руки, отец тоже подал ему обе руки, Лев Николаевич несколько раз потряс их, весело говоря:

— Петр Алексеевич, здравствуйте, здравствуйте! Добрый день! А это ваш сын Алеша? Здравствуйте, Алеша. Очень, очень рад.

Я подошел к нему. Подняв высоко руку и наклонив ее сверху на мою (впоследствии я видел, что он так здоровался с теми, к кому был особо расположен), он взял мою небольшую, худую руку в свою широкую, большую, теплую, мягкую, крепкую ладонь, полно, плотно обхватил ее и длительно пожал, пристально глядя на меня таким взглядом, каким никто раньше никогда на меня не глядел. Казалось, что из его глаз как будто вырвался яркий луч, проник в меня и все внутри меня осветил. После этого Лев Николаевич нагнулся, приблизил ко мне свое лицо, от которого на меня повеяло тем же приятным запахом, какой был в передней и даже, может быть, еще приятнее, и поцеловал меня.

— Ну, я очень рад, Алеша, что вы приехали,— проговорил он.— Очень рад.

— Лев Николаевич, да что это вы говорите ему «вы», он еще мал для «вы»,— сказал мой отец.

— Да? Можно говорить «ты»? Не обидится? — весело глядя на меня, спросил Лев Николаевич.

— Прошу вас очень,— ответил я, чувствуя, как сильно краснею, сконфуженный тем, что он считается со мной, точно со взрослым.

Лев Николаевич отвел глаза в сторону явно для того, чтобы я освободился от своего смущения.

— Так я очень рад тебя видеть, Алеша, садись, голубчик. Петр Алексеевич, пожалуйста, садитесь! — Он показал нам рукой на стулья. И опять легкой, скользящей походкой направился к противоположной стороне стола, где сел возле прибора с тарелками, хлебом, графином и прочим.

— Какой он у вас высокий,— сказал Лев Николаевич отцу,— но худенький. А здоровье как?

— Да неплохое, Лев Николаевич, болает редко.

— Да, худые часто бывают здоровее полных,— сказал Лев Николаевич, все не глядя на меня, и я чувствовал, что краска постепенно сходила с моего лица.

— Позвольте, Лев Николаевич,— проговорил мой отец,— по случаю сегодняшнего дня преподнести вам небольшой подарок.

— Какого такого дня?

— Да ведь сегодня день святого Льва, папы римского — ваши именины.

— Полноте, Петр Алексеевич, какие там именины! Я уже давно никаких именин не признаю.

— Но нам всем дорого ваше имя, и мне хотелось хоть чем-нибудь отметить этот день.

— Напрасно, напрасно. И лучше унесите, Петр Алексеевич, ваш подарок,— сказал Лев Николаевич, ласково-укоризненно посмотрев на отца.

— Нет, Лев Николаевич, пожалуйста, пожалуйста! — И отец подал ему толстую, незадолго до того вышедшую книгу Шантени де ля Сосей «История религии».

— Ну, очень вам благодарен, очень, очень. Боюсь только — книга дорогая.— Лев Николаевич взглянул на обложку.— Боже мой, восемь рублей. Ай-ай-ай! Зачем, Петр Алексеевич, вы делаете такие непроизводительные расходы? У вас же семья.

— Книга, мне кажется, интересная и, я думаю, пригодится вам,— проговорил отец.

— Конечно, интересная. Конечно, пригодится. Спасибо, спасибо! Ай-ай-ай, как дорого: восемь рублей!

В комнату вошел Илья Васильевич, он нес поднос с кушаньями. Снимая с подноса каждое блюдо по отдельности, он ставил их на стол перед Львом Николаевичем.

— А гостям? — с удивлением спросил его Лев Николаевич.

— Нет, нет, Лев Николаевич, благодарствуйте. Я и Алеша только что ели,— сказал отец.

— Наверное ели? Ну, тогда извините, буду есть один. Мне пора.

Лев Николаевич приподнял левой рукой свою большую бороду, а правой засунул за ворот блузы конец белоснежной салфетки. Остальную часть салфетки он расправил по всей груди. Это было сделано очень изящными, привычными жестами. Я подумал: «Нет, просгой деревенский дед не сумел бы так красиво надеть салфетку». Сейчас Лев Николаевич по своим манерам почему-то очень напоминал мне Кантакузена. Кантакузен был знакомый нашей семьи — большой барин, князь.

Слуга удалился с пустым подносом. Лев Николаевич взглянул на меня и, очевидно убедившись, что на моем лице уже не было краски, спросил:

— Сколько же тебе лет, Алеша?

— Четырнадцать, Лев Николаевич.

— Вот как? Большой уже. А где учишься?

— Дома.

— А в гимназию не ходишь?

— Нет. У нас в деревне нет гимназии. Но, может быть, меня отвезут в город, там я поступлю в гимназию.

— Гм! — недоумевающе произнес Лев Николаевич. — А хорошо ли для него будет учиться латыни, греческому, закону божьему? — спросил Лев Николаевич у моего отца.

— Вопрос о гимназии, Лев Николаевич, у нас еще не окончательно решен.

Во время разговора я внимательно рассматривал Льва Николаевича. Он не был полон, скорее худощав, плечи были угловатые, приподнятые. Очень большие брови, густые, нависшие над глазами.

В комнату опять вошел Илья Васильевич.

— Лев Николаевич, вас желают видеть Дмитрий Александрович Линеv, писатель. Прикажете просить?

— Гм! — проговорил Лев Николаевич. — Не совсем вовремя приехал. Ну что делать! Просите.

Илья Васильевич хотел уйти, но Лев Николаевич спросил:

— Как зовут?

— Дмитрий Александрович.

— Дмитрий Александрович, Дмитрий Александрович, — повторил Лев Николаевич.

И потом в разговоре с Линевым уже ни разу не ошибся в его имени-отчестве.

Илья Васильевич ушел, а Лев Николаевич спросил моего отца:

— Вы, Петр Алексеевич, знакомы с ним?

— Как же!

— Интересен? — понизив голос, чтобы не быть услышанным в передней Линевым, спросил Лев Николаевич.

— Да ничего, — неохотно ответил отец.

— А я не встречался. В книгах же его есть кое-что интересное. Но жаль все-таки, что приехал именно сейчас. Я думал, что нам никто не помешает и мне удастся как следует познакомиться с Алешей, а вот помешали, — улыбаясь, сказал вполголоса Лев Николаевич, поглядывая на дверь. — Вы уж простите, Петр Алексеевич и Алеша. Не принять же его нельзя. Я пользовался его книжками для «Воскресения». В «Ниве» напечатали моего примечания об этом. Я просил передать ему мое извинение. Вот он, должно быть, и приехал по этому поводу... Ну что делать, Алеша! — проговорил Лев Николаевич, улынувшись мне.

Вошел Линеv, человек лет пятидесяти, огромный, с длинными, чуть ли не до плеч, волосами. Он остановился у двери, вытянувшись во весь громадный рост, но, несмотря на исполинские размеры, имел вид смущенного, робкого, растерявшегося человека.

Лев Николаевич, поспешно вынув из-за ворота блузы конец салфетки, красиво скомкал ее, положил на стол, поставил пальцы грациозными полукругами на стол и, опираясь на них, легко, как на пружинах, поднялся, отодвинул стул и энергичной

походкой пошел к Линеву. Несмотря на свои четырнадцать лет, я уже понимал, что такое «светскость» и аристократизм, потому что всякий раз, когда с отцом мы бывали у очень любезного, всегда крайне учтвого и приятного в обращении князя Кантакузена, отец про него говорил: «Какой светский человек! Какой аристократ!» Сейчас, глядя на Льва Николаевича, я опять его сравнил с Кантакузеном.

Линев все стоял у двери, не двигаясь с места. Он смотрел на Льва Николаевича испуганными, вышученными глазами.

— Здравствуйте, здравствуйте, Дмитрий Александрович,— приветливо улыбаясь, говорил Лев Николаевич, подходя к Линеву и подавая ему руку.

Он поздоровался с ним не менее радушно, чем с моим отцом и со мной. Меня это удивило: ведь он же не очень был доволен появлением Линева.

Впоследствии я видел, что Лев Николаевич всякого человека встречал благожелательно.

Линев схватил обеими большими руками руку Льва Николаевича, и вдруг в глазах Льва Николаевича вспыхнул такой же острый луч, какой был, когда он здоровался со мной. Теперь этот луч возвился в Линева. Через несколько секунд луч погас, очевидно выполнив свое дело. Глаза Льва Николаевича приняли веселое выражение.

— Какой вы великан,— проговорил он, оглядывая Линева с головы до ног.

Линев тяжело вздохнул, после чего вдруг театрально поднял руку кверху и зарычал густым басом:

— Глубокопочитаемый, достопочтеннейший Лев Николаевич, великий писатель земли русской, не только русской земли, а писатель всего земного шара, как я счастлив, безмерно счастлив, нет слов для выражения моего безумного счастья, что я стою перед вами! Но я не смею стоять! — воскликнул Линев.— Недостойн стоять. Должен пасть ниц перед вами, обратиться в прах! — Линев пригнулся, чтобы опуститься на колени, но Лев Николаевич весело вскрикнул:

— Ой, мне страшно! Я убегу!

Линев вновь выпрямился.

— Не надо, Дмитрий Александрович, не надо Пожалуйста,— умоляюще говорил Лев Николаевич, и лицо его сморщилось, брови совсем надвинулись на глаза.

— Подчиняюсь,— пониженным голосом проговорил Линев, но тут же снова завопил: — Боже мой, перед кем я, презренный гад, пахожусь? Перед корифеем мировой литературы, перед мировой совестью!

— Прошу, Дмитрий Александрович, не надо,— повторил Лев Николаевич.

Линев умолк. Лев Николаевич поднял на него робкий взгляд и, указывая рукой на стулья, сказал:

— Пожалуйста, садитесь, Дмитрий Александрович.

Линев подошел к столу большими неуклюжими шагами и, грузно, тяжело опустившись на стул, вздохнул: «Ох-о-ох!» А Лев Николаевич изышно сел на свое прежнее место. Я невольно сравнил его подвижность, легкость с неворотливостью Линева.

— Позвольте, Дмитрий Александрович, предложить вам покушать,— сказал Лев Николаевич.

Линев завопил:

— Нет, нет, мерси-с! Что вы! Я приехал к вам за другой пищей, духовной, жаждающий, алчущий. Судьба моя — судьба многострадального Иова! — И Линев вдруг стал рассказывать о своей жизни: о революционной деятельности, о тюрьмах, о литературных мытарствах, о своей семейной драме и т. д.

Лев Николаевич с аппетитом ел овсянку и изредка то недоумевающе, то одобрительно, то сочувственно произносил:

— Гм! Гм! Гм!

Лев Николаевич внимательно слушал Линева. Я даже недоумевал, потому что, на мой взгляд, Линев не стоил этого. Но впоследствии я убедился, что Лев Николаевич иначе никого не слушал. Вместе с тем время от времени Лев Николаевич, очевидно продолжая изучать Линева, рассматривал на него своим особым, острым, сосредото-

ченным, напряженным взглядом. Посматривал он так иногда и на моего отца и на меня. В нас его тоже что-то интересовало.

Линев все рассказывал про себя. По застывшему выражению моего отца я понял, что он с большим трудом переносил Линева. Я даже боялся, как бы отец вдруг не произнес афоризма Кольмы Пруткова, который он иногда, смущаясь, напоминал чересчур разговорчивым лицам: «Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану».

Мне тоже было не по себе. Я томился, досадовал. Может быть, Линев говорил и что-нибудь интересное, но уж очень долго, и Льву Николаевичу не давал рта раскрыть.

Лев Николаевич раза два поглядел на отца и на меня с едва заметной улыбкой, как бы говоря: «Вот какой говорун, не унимается. И хотел бы вас избавить от него, да не знаю как».

— Ну, благодарю вас,— произнес Лев Николаевич, очевидно с расчетом приостановить Линева.

Не тут-то было! Линева еще больше воодушевился. И я удивлялся. Отец мой давным-давно заставил бы Линева замолчать, а вот Лев Николаевич из деликатности не решается. Но вдруг Линев сам себя резко оборвал, что напомнило дико мчавшегося и внезапно на всем скаку остановившегося коня.

— Что же вы велите, глубокоуважаемый Лев Николаевич, передать «Линеву»? — тихо спросил он, горделиво откинув назад голову.

— Чтоб непременно в отдельном издании сделали примечание о том, что я воспользовался материалами из вашей книги.

— Слушаю-с, удовлетворен сверх меры.

Линев порывисто сунул руку в карман, с силой рванул из кармана толстую записную книжку и, наклонившись над ней, стал что-то писать. Он так сосредоточился, что, казалось, забыл обо всем остальном на свете.

В глазах Льва Николаевича вдруг блеснул огонек.

— Петр Алексеевич, а вы не читали поэмы Алексея Толстого «Сон Попова»?

— Нет, Лев Николаевич, не читал.

— Что вы говорите? Неужели не читали? А вы, Дмитрий Александрович, «Сон Попова» читали?

— «Сон Полова»? Какого Полова?

— Алексея Толстого поэму.

— Нет, не читал, не читал. «Сон Попова», «Сон Попова»...— бормотал Линев, сам как будто во сне, будучи не в силах оторваться от своей записной книжки.

— «Сон Попова» не читали? Да это бесподобно! Это шедевр! По-моему, это лучшее, что есть у Алексея Толстого. Я только что вновь перечитал и еще нахожусь под впечатлением. Не могу удержаться, чтобы и вам не прочесть. Вы получите большое удовольствие. И Алеше будет интересно,— сказал Лев Николаевич, улыбувшись мне.

Он встал и ушел в комнату палево. А через минуту вернулся.

— Все трилогия Алексея Толстого, по-моему, не стоят одной этой шутки,— говорил Лев Николаевич, садясь на свое место.

«Сон Попова» -- запрещенная цензурой сатирическая поэма о том, как статскому советнику Попову приснился сон, будто он явился на торжественный прием к министру, не надев брюк. Он был из-за этого заподозрен в государственном заговоре, арестован, отвезен в знаменитое III отделение — жандармское управление, где ему было приказано назвать всех соумышленников. Он стал составлять список всех своих знакомых и, обьятый ужасом, проснулся.

Читал Лев Николаевич с большим мастерством. Голос у него был приятный, баритональный тенор. Я понимал толк в художественном чтении, потому что отец мой был прекрасным чтецом и нас, детей, приучал к выразительному чтению. Кроме того, в доме у нас бывали артисты, читавшие стихи и монологи. Мне показалось, что Лев Николаевич читал лучше отца и артистов, менял чаще интонации, выражение лица у него было более разнообразно, жестикуляция — интереснее. По его чтению я чрезвычайно

живо представлял себе и Попова, и министра, и жандармского полковника. Отец слушал, сидя неподвижно, не отрывая от Льва Николаевича глаз, и то и дело громко смеялся. Лиев трясся всем своим тучным телом и наполнял воздух громовыми раскатами хохота. Я тоже смеялся. Но больше всех смеялся Лев Николаевич — заразительным, радостным, неудержимым смехом.

Несколько раз Лев Николаевич поглядывал на Лиева, отца, а также на меня, чтобы проверить, как мы воспринимаем чтение, и, видимо, оставался доволен. Должно быть, он прочел нам «Сон Попова» главным образом с целью рассеять тягостное настроение, в которое отца и меня вверг Лиев. И это было успешно достигнуто. Отец оживился, а когда Лиев, смеясь, хватался обеими руками за живот, отец даже добродушно-примиряюще на него смотрел.

Окончив чтение, Лев Николаевич спросил:

— Ну как?

— Превосходно, замечательно! — восторгался отец.

— Изумительно, ни с чем не сравнимо, божественно! — гремел Лиев. — Вы, Лев Николаевич, замечательный отец, гениальный отец, вы великий артист! Вы Щепкин, вы Мочалов, вы Каратыгин, вы Сальвини!

— Ах, Дмитрий Александрович, не надо, не надо, — проговорил Лев Николаевич, сморщив лицо. — А тебе, Алеша, понравилось?

— Очень.

— Ну, я очень рад, очень рад. А теперь, Петр Алексеевич, нам надо с вами поговорить, — сказал Лев Николаевич. — Вы уж, Дмитрий Александрович, извините: мы на несколько минут удалимся с Петром Алексеевичем.

Лев Николаевич встал и направился в соседнюю, угловую, комнату, направо. Отец сказал мне:

— Пойдем и ты с нами.

— А стоит ли? При нем ничего? — спросил Лев Николаевич.

— Почему же? — ответил отец, и мы вошли в комнату, где сели за стол у окна.

Лев Николаевич положил на стол рукопись, которую принес с собой из столовой. Я удивился, как сразу изменилось выражение его лица. Только что оно было такое веселое, а сейчас стало серьезное, сосредоточенное.

Поразительно быстро чередовались на его лице выражения.

— Ну-с, Петр Алексеевич, — сказал он, — я прочел «Сократа». Вы хотите, чтоб я о вашей драме сказал вам правду?

— Конечно, Лев Николаевич.

— Прежде всего должен сказать, что я читал ее несколько предубежденный мнениями некоторых лиц, слышавших «Сократа» в Петербурге. Им ваша пьеса не понравилась. Но я с ними не согласен. Пьеса хорошая и может сделаться народной пьесой. По первые три акта сделаны лучше, живее, четвертый акт слабее. Я сделал здесь пометки... Монолог о разуме слаб. Надо что-нибудь по сильнее. Сократ в сцене с семьей больше должен быть стойким. Они плачут. Это не может его трогать. Игру слов надо совсем выбросить. Сейчас же вызывает мысль, а как это по-гречески? «Несчастнейший характер» — выражение интеллигентно-пошлое. Язык должен быть как можно проще, но не простонароден. Грубых, резких выражений Сократ не должен говорить. Я думаю, они не были ему присущи.

— Да, это верно... Да... — произносил мой отец. И я видел, что он смущен, огорчен.

Не оттого ли Лев Николаевич и сомневался относительно моего присутствия при их разговоре? Может быть, он не хотел выставить моего отца передо мной как бы в невыгодном свете?

— А в общем, Петр Алексеевич, — заключил Лев Николаевич, добро улыбувшись отцу, — повторяю, я считаю, что пьеса ваша хорошая, содержательная, и буду очень рад, если ее поставят на сцене.

Отец проговорил:

— Благодарю вас, Лев Николаевич, от всего сердца благодарю за то, что вы с таким вниманием прочли мою работу. Благодарю вас также за теплый прием. А теперь позвольте попрощаться. Мы и без того отняли у вас так много времени.

— Пожалуйста, пожалуйста. До свидания, Петр Алексеевич. Еще раз спасибо за книгу и за Алешу спасибо.— Он обратился ко мне.— Не удалось нам, Алеша, с тобой поговорить. Ну что же делать! Да мы ведь с тобой и без того давно знаем друг друга,— вдруг сказал он и посмотрел на меня продолжительным глубоким взглядом.

И в эту минуту мне показалось, как будто мы действительно знаем друг друга. Он нагнулся и поцеловал меня.

Мы втроем пошли в столовую. Когда проходили через дверь, Лев Николаевич на несколько секунд положил мне нежно руку на голову.

Отец подошел к Линеvu.

— Ну, Дмитрий Александрович, мы уходим.

Линев неохотно, не спеша встал, словно не мог прийти в себя.

Лев Николаевич посмотрел на него и добродушно улыбнулся.

— Да ведь пра, — сказал отец, — мы и так задержали Льва Николаевича.

— Бога ради, простите! — смутился Линев.— Простите, несравненный Лев Николаевич, что отняли у вас столько вашего драгоценного времени, которое так нужно всему человечеству, всему миру.

— Ах, Дмитрий Александрович, не надо, не надо!

— Ну позвольте хоть на прощание пасть перед вами ниц.

— А я убегу! — опять весело воскликнул Лев Николаевич.

— Боже мой, боже мой, — в отчаянии проговорил Линев.

Лев Николаевич подал ему руку. Линев опять обхватил ее обеими своими огромными руками и долго тряс. Лев Николаевич улыбался. Наконец Линев отнял руки, и мы расстались со Львом Николаевичем.

ДЫМОК

Ясная Поляна, 9 декабря 1903 года.

Зима. Бело-бело кругом. Морозно. Снег под ногами хрустит. Деревья яснополянского парка покрыты густым пушистым инеем, словно на них надеты пышные белые кружевные наряды. Тишина. Та необыкновенная тишина, какая бывает только в глухой деревне. Воздух застыл, неподвижен. Ни малейшего ветерка. Ничто не шелохнется, разве только изредка какая-нибудь отяжелевшая от инея ветка вдруг вздрогнет и иней слетит с нее легким прозрачным облачком.

Отец мой и я вышли из усадьбы яснополянского дома. Лев Николаевич часа полтора назад, уходя на прогулку, предложил нам встретиться с ним на «Тверском бульваре», как он в шутку называл Тульское шоссе из-за большого движения на нем пешеходов; другим яснополянским дорогам он тоже дал московские наименования: «Никитский бульвар», «Пречистенский бульвар» и т. п.

Мы прошли «пришпект» — аллею от дома к выходу из усадьбы, спустились к мостику, миновали большой каменный столб, стоявший на пригорке у границы Тульского и Крапивенского уездов, поднялись на шоссе и повернули налево, по направлению к Косой горе — большой возвышенности верстах в пяти от Ясной Поляны.

По обеим сторонам широкого прямого шоссе стоял лес, тоже весь покрытый инеем. Шоссе убегало вдаль, исчезая за горизонтом, над которым протянулась полоса вечерней красной зари. Сейчас ни на шоссе и нигде кругом не было видно ни души. Лев Николаевич, очевидно, ушел далеко.

Возле шоссе не стояло никаких построек. Но вскоре направо, у опушки леса, покажется небольшой домик, в котором жил местный лесничий. Из трубы домика валит высокий прямой столб белого густого дыма. Вверху столб распадается на клубы дыма, розовевшие от зари и медленно кружившиеся в тихом воздухе.

Пройдя версты три, мы разглядели далеко впереди себя спускающуюся с высокой горы черную фигурку с двумя маленькими, быстро двигающимися около нее точками.

— Вот это, должно быть, Лев Николаевич с двумя собаками,— сказал мой отец.

Чем расстояние между нами и приближающимся к нам человеком делалось меньше, тем было виднее, как он идет. Шагает не спеша. Пройдет немного и остановится. Стоит и смотрит, очевидно любуясь красотой зимнего пейзажа. Иногда стоит на одном месте так продолжительно, что собаки лягут близ него в ожидании, а когда он тронется, собаки опять задвигаются.

Мы наконец подошли ко Льву Николаевичу.

Лев Николаевич был в валенках, в полушубке, в большой шапке. На бороде, усах, бровях — иней. Щеки его ярко разрумянились от мороза. От него веяло свежестью, бодростью, здоровьем.

— А-а! Вот и Алеша! — проговорил он, ласково улыбаясь мне с дедовской нежностью (мне было семнадцать лет).

Мы пошли с ним обратно, но направлению к Ясной Поляне.

Лев Николаевич заговорил с моим отцом. Отец рассказывал разные московские и петербургские литературные новости. Слушая его, Лев Николаевич время от времени произносил, как будто чему-то удивляясь:

— Гм! Гм!

Мы были уже недалеко от домика лесничего. Из трубы продолжал выходить и подниматься вверх дым. Лев Николаевич раза два слегка потянул в себя носом, потом опять потянул. К чему-то принюхивался. Только после этого я заметил, что в воздухе чувствовался еловый запах дыма. Когда мы с отцом впервые проходили мимо домика лесничего, мы на это не обратили внимания.

Отец рассказывал о пользовавшейся в Петербурге большим успехом пьесе поэтессы Гриневской «Баб» из персидской жизни.

— Да, да, я читал, Гриневская прислала мне,— проговорил Лев Николаевич и опять потянул в себя носом, после чего взглянул на отца, как будто для того, чтобы проверить, не обидно ли ему, что он, разговаривая, все потягивает носом.

— Понравилась вам пьеса? — спросил отец.

— Очень, о-о-очень,— ответил Лев Николаевич.— Несмотря на то, что написано стихами. А вы с Гриневской знакомы?

— Как же!

— Расскажите, кто, что она,— и Лев Николаевич опять потянул носом, после чего произнес «гм, гм!», как бы не зная, чем еще можно выразить свое удовольствие.

Отец с недоумением посмотрел на него. А Лев Николаевич сказал восхищенно:

— Люблю, когда по вечернему морозу тянет дымком! — и, уже не стесняясь отца, глубоко, звучно, продолжительно вдохнул в себя воздух.— Как хорошо! — радостно воскликнул он.— Что за аромат!

Никогда в жизни я не видел, чтобы запах дыма доставлял кому-либо такое наслаждение, как ему.

ЛАЗЕЙКА

16 июня 1910 года.

Ежедневно утром, еще до кофе и до своих занятий, Лев Николаевич гуляет час-полтора. Всякий раз уходит в новом направлении — то в поле, то к оврагу, то в лес — и всегда возвращается другой дорогой. Он впервые в усадьбе «Отрадное» под Москвой, у своего друга Черткова. Местность ему здесь совсем не известна, он и старается ее узнать, так как всегда любит ознакомиться с окрестностями, среди которых находится, исходит их вдоль и поперек. В Ясной Поляне, где он прожил десятки лет, он в своих бесчисленных прогулках изучил на многие десятки верст кругом все поля, луга, леса, овраги, речки, ручейки, все дороги, тропы, стежки, и никто не знал яснополянской местности лучше, чем он. Приехав к Черткову, он с первого же дня занялся таким же подробным исследованием новой местности.

Сегодня утром, как мне сказал Илья Васильевич, он отправился гулять в половине восьмого, по дороге к ручью. Я тоже решил пройтись. Но пошел в противоположную сторону, чтобы не встретиться со Львом Николаевичем и не нарушить его одиночества, которым он очень дорожит по утрам для размышлений и для приготовления себя к наступившему дню.

Я шел в конце усадьбы, вдоль длинного, выше человеческого роста, забора, состоявшего из кольев с небольшими промежутками между ними.

За частоколом внизу тянулась глубокая широкая канава, а за канавой, на другой ее стороне, на высокой насыпи стоял густой, непроходимый кустарник.

Было тихо и уединенно, никого кругом не видно. Вдруг я услышал в кустарнике какое-то легкое потрескивание.

Я остановился. Прислушался. Потрескивание усиливалось. По-видимому, кто-то шел в кустарнике, под погами этого кого-то и ломались прошлогодние сухие сучья. Но кто же это мог быть? Ведь сюда никто не ходит, потому что через сплошную заросль кустарника нет никакой возможности пробраться. Уж не наш ли это теленок, за которым не присматривают, и он, предоставленный самому себе, целыми днями бродит, где ему вздумается? Вот он попал в кустарник, а теперь, ища выхода, и лезет напролом.

Я стал смотреть в щель между кольями. Судя по сильно раскачивающимся ветвям, предполагаемый мною теленок быстро приближался к канаве. Раздвинулись последние ветви, и — боже мой! — кого же я увидел?! Льва Николаевича! Он выступил из кустарника и остановился на высокой насыпи. Я стал зорко наблюдать за ним, будучи уверен, что меня он не увидит и по своей близорукости и потому, что меня загораживал от него частокол. Вид у него был крайне растерянный. Он, очевидно, недоумевал, где очутился, и не понимал, что ему делать, куда идти дальше. Перед ним неприступные преграды. Внизу канава аршина два глубиной и аршина три шириной. Над канавой забор, через который ему не перелезть. Что же, идти назад через ужасный кустарник? Как мне ни хотелось ему помочь, я был беспомощен, и мне оставалось молчать и только смотреть.

Он все оглядывался и оглядывался. Пожал плечами. Начал острым напряженным взглядом всматриваться во что-то под забором, недалеко от меня. Я взглянул туда. Там была большая выемка, проделанная собаками. На усадьбе было несколько собак, и они бегали в деревню через эту лазейку. Выражение недоумения исчезло с лица Льва Николаевича. Он улыбнулся, кивнул головою, как будто что-то одобрил. «Что он примет?» — подумал я. Вдруг он порывисто сел на край насыпи и свесил вниз ноги. Я подумал: «Должно быть, устал, хочет отдохнуть». Нет, не отдыхает, а начал, придерживаясь руками за откос, сползать вниз. Когда, спустившись, уперся ногами в дно канавы, посидел с полминуты, опять взглянул на лазейку и встал на ноги. Сделал несколько шагов. Я решил, что он, вероятно, пойдет по дну канавы в расчете где-нибудь выйти к усадьбе. Но нет, не идет дальше, а остановился против собачьей лазейки, прыгнул и внимательно осмотрел ее. Выражение лица было строгое, сосредоточенное. Вдруг опустился на колени и стал на четвереньках взбираться кверху по направлению к лазейке. Когда был вплотную к ней, еще раз ее оглядел. Снял шляпу и перекинул через лазейку на другую сторону забора. Боже мой, что он собирается делать? Он наклонил голову, всунул ее в лазейку, растянулся во весь рост под забором и стал энергично перебирать руками и ногами, продвигаясь вперед и кряхтя от крайнего напряжения:

— Эх! Ух! О-ох!

А вдруг он застрянет в лазейке? Нет, продолжает все подвигаться и подвигаться вперед. Очевидно, рассчитал, что лазейка как раз по нем. Наконец вылез из-под забора и, лежа на земле, старался отдышаться. Через минуту приподнял голову и вскочил на ноги. Лицо было красное, возбужденное, недоумевающее. Поднял с земли шляпу, надел ее. Посмотрел на выпачканные колени, руки, грудь. Смахнул с них грязь, улыбнулся, по-видимому остался доволен тем, что проделал. Шагнул вперед — и вдруг увидел меня. И до чего же он смутился, точно набедакуривший мальчик, и, как бы оправдываясь передо мной, виноватым голосом проговорил:

— А я пошел по новой тропинке, и мне захотелось посмотреть, что здесь за кусты и куда можно тут выйти.

— Уж очень трудно было вам, Лев Николаевич,— заметил я.

— Да, досталось, досталось. А как пройти к дому?

Я указал ему дорогу, и мы расстались. Отчего же он смутился? Оттого ли, что я увидел его в смешном положении? Нет, это ему было безразлично. А может быть, смутился оттого, что я невольно упрекнул его в том, что он подвергал себя риску. В самом деле, ведь очень-очень опасно было то, что он сделал.

Через несколько дней я шел вместе с ним опять вдоль того же забора. Когда мы поравнялись с собачьей лазейкой, он остановился, посмотрел на нее и, покачивая головой, сказал:

— Это я тут пролез.

Его теперь самого удивил этот отчаянный трюк. По его тону можно было заключить, что он больше уже никогда не решится на что-либо подобное. А я был уверен, что еще не один раз то же самое повторится, несмотря на его восемьдесят два года. Ведь занятно же было пролезть через собачью лазейку! Можно ли было удержаться от такого соблазна?

И кто еще позволил бы себе это? Я по крайней мере за всю свою жизнь никого такого не видел. Всякий считал бы это для себя унижением. А ему это было ни почем.

ПОЛЕНО

*17 июня 1910 года. Отрядное,
Московской губ., у Чертковых.*

Я колот возле дровяного сарая дрова, выбирая самые трудные поленья, требующие наибольшего напряжения сил. Но одно — очень толстое, кряжистое, суковатое — никак не мог расколоть. Сколько я ни бил по нему колуном, полено не поддавалось. Ко мне подошел товарищ моего же возраста, двадцатичетырехлетний Анатолий Радынский, такой же, как я, любитель колки дров.

Когда я, измучившись и потеряв надежду расколоть полено, опустил колун, Анатолий сменил меня.

В это время из дома вышли Лев Николаевич и Чертков. Они направлялись к конюшне, где для них были приготовлены верховые лошади. Лев Николаевич внимательно смотрел на Анатолия. Чертков потом рассказывал, что Лев Николаевич сказал:

— Завидую. Так хочется тоже поколоть...

Они подошли к нам. Анатолий поставил колун на полено и вопросительно взглянул на Льва Николаевича.

— Ну-ну! — поощрительно произнес Лев Николаевич.

Анатолий опять стал ударять колуном.

Меня всегда поражала способность Льва Николаевича мгновенно, в одну секунду, сосредоточивать на чем-нибудь все свое внимание. Так и сейчас. Взгляд его моментально сконцентрировался, остро вонзился в Анатолия.

У Анатолия были свои особые приемы колки дров. Вскинув кверху колун, он с полминуты держал его над головой, прицеливаясь к полену, потом несколько раз опускал колун, но не до самого полена, потом сразу со всей силой хватал по нему.

Лев Николаевич, не слуская с Анатолия глаз, следил за каждым его движением.

Когда Анатолий держал колун над головой, Лев Николаевич прищуривался, словно тоже вместе с Анатолием прицеливался к полену. А когда Анатолий делал предварительные опускания колуна, Лев Николаевич чуть-чуть приподнимался на носках, слегка наклоняясь вперед. Когда наконец Анатолий, вновь сильно взмахнув колуном, резко ударял им по полену, Лев Николаевич вставал на носках настолько высоко, насколько мог, и всем туловищем подавался вперед. В момент же удара мускулы на его лице двигались, он вздрагивал, и голова у него сотрясалась, как от толчка. Полено издавало глухой звук, но не раскалывалось. Анатолий вновь повторял все свои приемы, и Лев

Николаевич каждый раз приподнимался, наклонялся вперед, вздрагивал и кивал головой в момент удара. Делал он все это, несомненно, непроизвольно, всецело захваченный процессом колки. Тем, что он подавался вперед и вздрагивал, он точно хотел увеличить силу удара Анатолия.

Раз пятнадцать Анатолий ударял колун, и всякий раз Лев Николаевич порывисто дергался вперед.

Однако усилия Анатолия были тщетны. Его колун отскакивал от полена, как от резины, оставляя на полене лишь небольшие метны.

Наконец Анатолий обессилел, улыбнулся Льву Николаевичу беспомощной улыбкой и опустил на землю колун.

— А ну-ка я! — вдруг с чрезвычайной живостью произнес Лев Николаевич, поспешно скинул шляпу, положил ее на поленницу, снял с шеи шнурок с часами и осторожно положил их возле шляпы, подошел к полену, поплевал на руки, старательно, по-крестьянски, потер ладони и взялся обеими руками за колун. Стал против полена, широко расставил ноги, вскинул кверху колун — как он напоминал в этот момент сказочного богатыря! — и без прицела довольно сильно ударил по полену, громко крикнув, как делают крестьяне при тяжелой работе.

— Аа-а!

Но безрезультатно.

Он вторично вскинул колун и опять, не прицеливаясь, ударил им по полену, снова крикнув:

— Аа-а!

В его ударах чувствовалась ухватка опытного дроворуба, немало на своем веку переколдовавшего дров.

Лицо у него покраснелось, волосы растрепались, во взгляде были настойчивость, упорство. Он, видимо, горячился. Удары сыпались один за другим со всей яростью. Лев Николаевич сделался багровым, и лоб у него покрылся испариной. Он ударил без передышки раз десять по полену.

— Нет, не выходит! — с досадой проговорил он и приставил колун к полену. — Не выходит! — огорченно повторил он.

Он надел шнурок с часами, шляпу и, разочарованный, медленными, усталыми шагами отошел от нас.

ПРОСИТЕЛЬ

6 августа 1907 года.

Усталой походкой Лев Николаевич приближался к даче Чертковых в Ясенках, из пяти верстах от Ясной Поляны. На лице его было выражение скуки и уныния. Глаза тусклые, безжизненные. Он согнулся, и мне показалось даже, как будто стал меньше ростом, чем обыкновенно. Раньше я всегда видел его бодрым, державшимся прямо, с живыми глазами, так что мне даже казалось странным, когда кто-либо называл его «стариком». А теперь — да, он был старик, даже можно сказать — старичок, и дряхленький. «Не оттого ли, — подумал я, — что он прошел пять верст по жаре? А ему ведь семьдесят девять лет».

Он подошел к крыльцу. От усталости остановился. Положил руку на перила. Поднялся на одну ступеньку. Опять остановился. Затем, видимо делая над собой последние усилия, шатаясь, взошел на балкон. Без обычной своей приветливости поздоровался со всеми. Тяжело опустился на стул. Глубоко вздохнул. Сидел согнувшись, с опущенными вниз глазами, печальный, молчаливый, задумчивый. Видя его таким измученным, мы не решались с ним заговорить. Но наконец хозяйка, Анна Константиновна, осторожно и участливо спросила его:

— Утомились, Лев Николаевич?

— Нет, нет, — бодрясь, что было в его манере, и выпрямляя грудь, ответил он. — Ничего.

Помолчал, задумавшись, и проговорил:

— Или, вернее, да, устал, но не физически, а душевно. — И он снова опустил вниз глаза.

Через минуту поднял их и решительно проговорил, будучи, очевидно, больше не в силах сдерживать накопившееся чувство.

— Шел к вам и всю дорогу мучился.

— Что такое, Лев Николаевич? — встревоженно спросила Анна Константиновна.

— Да то, что очень я плох. Гадок! — с чувством отвращения добавил он. — Брр! — вдруг вскрикнул он, вздрогнув, и я первый раз в своей жизни видел, чтобы человек с такой безразличностью отнесся к самому себе.

— Ну что вы, Лев Николаевич! — улыбаясь, воскликнула Анна Константиновна. — Ну как вы можете так говорить?

— Да, да, да, — оживившись, настойчиво и поспешно проговорил он. — Я вот вам расскажу. Собирался я к вам. Выхожу из дому, смотрю — у крыльца стоит большой, высокий старик, с длинной белой бородой (Лев Николаевич произнес слово «длинный» нарпев), примерно моих лет. На покойного Стасова похож. «К вашей милости, васятельство». — «Не величай, говорю, пожалуйста, меня вашим сиятельством. Не терплю этого. Никаких графов нет, никаких мужиков нет, все люди одинаковы. По какому делу?» А он не унимается. «Не оставьте, васятельство, без вашего милосердия», — и бух мне в ноги.

При этих словах Лев Николаевич сделался неузнаваем, еще более выпрямился, глаза сверкнули гневом.

— Меня всегда это бухание в ноги выводит из себя. Брр! — опять с непреодолимым чувством отвращения воскликнул он. — А сегодня почему-то особенно. Какое это унижение — валяться в ногах у другого. «Встань!» — говорю. — На лице Льва Николаевича изобразились мольба, волнение. — Точно не слышит. «Васятельство, васятельство», — бормочет, а голову в землю уткнул. «Встань, говорю, да встань же!» И слушать не желает. «Встанешь или нет?» — В голосе Льва Николаевича послышалась настойчивость, требовательность. — Нет, не встает, продолжает лежать и все бормочет. Упрямый старик. Нагибаюсь, беру за плечи, хочу приподнять — не дается, упирается. Не знаю, что делать.

В глазах Льва Николаевича появилась растерянность, беспомощность. Поразительна была безостановочная игра его лица.

— Что делать? — почти с отчаянием повторил он и помолчал несколько секунд, словно соображая, что предпринять.

Мы напряженно ожидали, что же будет дальше.

— Тогда думаю... — проговорил он и опять помолчал, как бы решая труднейший вопрос. — Тогда думаю: дай и я лягу, может это подействует. На других уже действовало.

Лицо Льва Николаевича приняло строгое, беспокойное выражение.

— Опустился на колени, пригнулся, головой прямо в его голову уперся. А он замер, не шевелится, бормотать перестал. Так и лежим, как кули, уткнувшись друг в друга. Я все жду, когда же он наконец поднимется. А он — нет, не поднимается. Не поднимается, — почти вскрикнул Лев Николаевич в полном недоумении. — Все лежим и лежим. Что ты будешь делать?

Мучительная досада проступила на лице Льва Николаевича.

— Тогда я вскочил. Больше не в силах был терпеть. — Опять негодующий огонек вспыхнул в глазах Льва Николаевича. — Встал на ноги, говорю ему: «Гадко, низко, непристойно так унижаться одному человеку перед другим человеком. Я не хочу с тобой после этого разговаривать, и не жди от меня никакой помощи». И убежал в дом. Побыл-то у себя всего каких-нибудь минут пять. Успокоился, овладел собою, решил зыйти, поговорить с ним как следует.

Примирением и покоем дышало лицо Льва Николаевича.

— Выхожу, гляжу... — Лев Николаевич повернул голову направо и налево, как бы отыскивая старика. — А его и след простыл. Я туды-сюды. (Лев Николаевич так по-деревенски и сказал «туды-сюды».) Нет, сгинул, как в воду канул. Должно быть, домой пошел, думаю. Он из Колыны. Я и решил идти к вам не просеком, а боль-

шаком, чтобы нагнать его. Иду по прищепку — нет, по деревне — нет, вышел в поле — нет. Да что за удивленье! Ведь и шел-то я как быстро. Но все ж не догнал. И куда он пропал — мне невдомек. Ах, батюшки мои! — с чувством безнадежности, растерянности воскликнул Лев Николаевич и замолчал, смущенно глядя на нас. Казалось, безысходное горе охватило его. Затем он опустил глаза, и выражение лица его сделалось опять унылым, тоскливым. Через минуту посмотрел на Анну Константиновну вдруг посветлевшими, как у него нередко бывало, глазами и с глубокой грустью сказал: — И мне очень тяжело, о-очень тяжело. Всегда я вот так срываюсь, всегда забываю, что надо со всем уважением и вниманием, на какое только способен, относиться к каждому человеку при любых обстоятельствах. А я настолько поддаюсь своему недовольству, раздражению, что вот что натворил. И какая, вероятно, теперь обида на меня у этого старика!

Лев Николаевич пристально, продолжительно смотрел на Анну Константиновну, как бы ожидая от нее помощи, хотя, очевидно, сам считал, что выхода из его положения никакого быть не может. Но Анна Константиновна неожиданно радостно воскликнула:

— Лев Николаевич, а ведь все это еще можно поправить!

— Как так? — с живостью спросил он.

— Я думаю, — сказала Анна Константиновна, посмотрев на меня, — Алеша не откажется сейчас же поехать верхом, догнать этого старика, все ему объяснить и помочь.

— Конечно, — с готовностью ответил я.

— Неужли? (Лев Николаевич и это слово произносил полдеревенски.) — Лицо его просияло. — Ты оказал бы мне бо-ольшую услугу. Так ты все объясни ему.

— На всякий случай возьмите с собой рублей двадцать, — сказала мне Анна Константиновна.

— Ну зачем так много? — возразил Лев Николаевич со свойственной ему бережливостью и обычным удивлением перед расточительностью Чертковых.

— Да на всякий случай. Алеша поможет старику, судя по его обстоятельствам.

— Ну отлично. Покорно вас благодарю, — проговорил Лев Николаевич, видимо довольный, и как будто даже с некоторой почтительностью в голосе к Анне Константиновне за ее щедрость.

Через несколько минут я уже мчался верхом на лошади по направлению к Колпне. Издали я увидел поспешно, суетливо шагающего человека. Еще задолго до того, как я к нему подъехал, он, должно быть услышав конский топот, обернулся и торопливо отошел в сторону, чтобы уступить мне дорогу. Когда же я к нему доскакал и прыгнул с лошади, он робко попятился еще дальше. Я сразу догадался, что он тот самый, про которого рассказывал Лев Николаевич: старик, большой, плечистый, благообразный, с длинной седой бородой, похож на Стасова. Он стоял, сложив руки, и испуганно глядел на меня. Я постарался как можно ласковее обойтись с ним, сказав, что я от Льва Николаевича, что Лев Николаевич хочет помочь ему, что бросился его искать и пожалел, что еще раз не повидался с ним, и я попросил старика рассказать, какое у него было ко Льву Николаевичу дело. Оказалось, что у него только что пала корова, а на его понечении находилась невестка с четырьмя детьми (сын был в японскую войну убит), денег же на приобретение новой коровы не хватило, он и подумал обратиться за помощью «к ихсятельству».

Я дал ему от имени Льва Николаевича двадцать рублей (корову можно было бы приобрести рублей за двадцать пять — тридцать). Благодарности его не было конца, но, оставаясь верным самому себе, он проговорил:

— К ноженькам ихсятельства припадаю.

Старик хотел было пасть и к моим ногам, но я вовремя успел протянуть руку и остановить его.

После этого я спросил старика, верно ли, что у него вышла какая-то неприятность со Львом Николаевичем, из-за которой он ни с чем ушел из Ясной Поляны.

— Уж такая-то неприятность, такая неприятность, превеликая неприятность — ввек не забуду. Я им в ножки, как полагается, а они с меня пример берут. И до чего ж

я испужался, как они повалились наземь! Я уж лежу ни жив ни мертв, а как они испрыгнули, да осерчали, да умчались в горницу, ну, думаю, давай от греха бог ноги — утекать ко дворам.

Оттого, что он очень быстро шел, почти бежал, Лев Николаевич и не смог догнать его.

Я распрощался со стариком и поехал обратно.

Когда я вернулся домой и пришел на балкон, Лев Николаевич еще издали поглядел на меня острым, напряженным взглядом и спросил тревожно:

— Ну что, догнал?

— Догнал.

— Ах, молодец! — засияв, воскликнул он. — Ну и как?

— Да все хорошо.

— Расскажи, расскажи, — говорил он нетерпеливо, с блестящими глазами.

Я рассказал.

— Ну, спасибо, Алеша, бо-ольшое спасибо! — проговорил он, словно я бог вещь какое сделал ему одолжение.

И уже он не был старик, а тем более старичок. Он сразу помолодел лет на пятнадцать, и выражение лица его стало бодрое и радостное.

Становиться перед своими просителями, в подражание им, на колени и склонять голову, когда его слова на них не действовали, было как бы приемом борьбы Льва Николаевича с возмущавшим все его существо унижительным обычаем. К такому приему он прибегал не раз в своей жизни, как это видно хотя бы из дневника его секретаря В. Ф. Булгакова от 28 апреля 1910 года:

«Пришли мужики по судебному делу. Одни бросается в ноги.

— Ах, оставь, оставь! — останавливает его Лев Николаевич. — Это я и сам умею».

СТИХОТВОРЕНИЕ ТЮТЧЕВА

18 сентября 1909 года.

Первый час дня. Поезд отошел от платформы Крекшипо Брянской железной дороги по направлению к Москве. В купе второго класса сидят Лев Николаевич, Софья Андреевна и я. Остальные наши спутники ушли в другие купе и в коридор вагона. Лев Николаевич и Софья Андреевна сидят друг против друга за маленьким столиком возле открытого окна. Я сижу на том же диване, где Софья Андреевна, наискось от Льва Николаевича. Он, склонив голову над записной книжкой, что-то пишет. Софья Андреевна, выпрямившись и держа на длинной костяной ручке лорнет, смотрит в открытое окно вагона на проплывающие перед глазами пейзажи.

Сухая, ясная, солнечная осень — «бабье лето». Весь лес разукрашен яркими разноцветными пятнами.

Софья Андреевна вдруг начала вполголоса, как будто только для себя, несколько нараспев, одностонно произносить:

Есть в светлости осенних вечеров
Умильная, таинственная прелесть...

Я подумал: «Неудачно выбрано стихотворение. Сейчас же еще не вечер», но Лев Николаевич весь насторожился. Он тотчас прервал писание, быстро сунул записную книжку в карман, живо поднял голову и, устремив на Софью Андреевну сосредоточенный взгляд, стал внимательно ее слушать.

Она продолжала так же негромко:

Зловещий блеск и пестрота дерев,
Багряных листьев томный, легкий шелест.

Сказав это, Софья Андреевна отняла от глаз лорнет, положила его на колени, сощурила глаза и как будто уже не хотела наблюдать того, что проносилось мимо окна,

а решила всецело сосредоточиться на декламации. Все так же монотонно, певуче она говорила:

Туманная и тихая лазурь
Над грустно-спроетеющей землею,
И, как предчувствие сходящих бурь,
Порывистый, холодный ветер порою...

Лев Николаевич весь обратился в слух, в одно внимание, замер, не шевелился, не отрывал от Софьи Андреевны расширившихся неморгавших глаз.

Софья Андреевна, сидя все в той же позе, лицом к открытому окну, точно не замечала, что Лев Николаевич приковал к ней свой взгляд и ловил каждое ее слово, а мне казалось, что только для него одного она теперь и читала:

Ущерб, изнеможенье — и на всем
Та кроткая улыбка увяданья...

Едва эти слова были сказаны, как глаза Льва Николаевича сильно заблестели, учащенно заморгали, покраснели. Видно было, что его внимание достигло крайнего напряжения, что он с волнением, даже со страхом ожидает последующих слов.

Что в существе разумном мы зовем,—

произнесла Софья Андреевна. Лев Николаевич сжимал губы, в его горле что-то хрипело, kloкотало.

Божественной стыдливостью страданья,—

закончила Софья Андреевна.

Лев Николаевич более не в силах был себя сдерживать. Раздались звуки рыдания. Его всего сотрясало. Из глаз выкатились крупные слезы. Едва слышно он проговорил:

— Как удивительно! «Божественной стыдливостью страданья»...

Софья Андреевна повернула к нему лицо и торжествующе на него взглянула, затем вскинула лорнет к глазам и снова стала следить за мелькавшими пейзажами.

Лев Николаевич смотрел уже не на нее, а вперед, в пространство, обливаясь слезами и весь унесшись в незримый мир поэзии.

Он не сразу успокоился. Вытирал носовым платком мокрое от слез лицо, а слезы текли и текли.

Софья Андреевна продолжала смотреть в окно.

— Ну какая же необыкновенная осень! — воскликнула она, как бы разговаривая сама с собой. — Совсем лето! Старики говорят, что не запомнят такой осени. А ты, Левочка, помнишь? — спросила она, не оборачивая своего лица ко Льву Николаевичу.

— Не-ет. Не помню, — рассеянно ответил он, тоже не поворачиваясь к Софье Андреевне, а продолжая глядеть в пространство.

— Но только ужасно, что два месяца нет дождя, — сказала Софья Андреевна. — Страшная сушь! Вон вдали какую пыль подняла телега. Целое облако. Сегодня ночью прошел дождик, но ведь только слегка побрызгал. Да, необыкновенная осень. А как ты думаешь, Левочка, не пострадают ли озимые от такой засухи?

— Нет, по-очему по-острададут, — невнятно говорил он и повторил: — Нет, по-очему пострадают?

Софья Андреевна порывисто отняла от глаз лорнет и вопрошающе поглядела на Льва Николаевича, после чего на ее лице вновь появилось выражение удовлетворения — очевидно, ей было приятно, что она своим чтением произвела на него столь сильное впечатление. Затем она снова стала рассматривать пронесившиеся мимо окна виды.

— Ах, до чего красиво! До чего же красиво это сочетание желтого с красным! Взгляни, Левочка! — воскликнула она. — Взгляни! Да взгляни же!

Он неохотно, медленно, как будто с трудом отрываясь от чего-то, повернул голову к окну, но вдруг, оживившись, радостно повторил:

— Да, удивительно красиво! Удивительно!

Он направил свой острый, врывающийся взгляд на открывшуюся перед ним картину.

Поезд проходил возле молодой осинової роши. На зелено-сероватых грациозных тонких стволах пышно висела светло-золотистая листва. А между осинами кое-где стояли рябинки с покрасневшими листьями и с пучками ягод, похожими на крупные овальные красные цветы.

— Рябинки-то прямо жаром горят! — восхищалась Софья Андреевна. — Чудные рябинки!

— Чудные рябинки! — негромко повторил Лев Николаевич.

— Ах, как жаль, вот и нет больше рябинок! — проговорила Софья Андреевна и сразу же перестала смотреть в окно. Она раскрыла свой ридикюль, вынула из него бумаги и начала их перебирать. На них крупными буквами было напечатано «Счет». Очевидно, это были документы типографии Кушнырева, в которой Софья Андреевна в настоящее время печатала новое издание сочинений Льва Николаевича. Она пересмотрела счета, что-то соображая и высчитывая, потом засунула их назад в ридикюль, защелкнула его, положила около себя на прежнее место и взглянула на Льва Николаевича. А он сидел все в той же неподвижной позе, не отрывая глаз от окна, и молчал...

Еще никогда я не видел Льва Николаевича таким, каким он был сейчас: оцепеневшим, окаменевшим от созерцания природы. Он скрестил руки на груди, облокотился локтями на столик и застыл. Все глядел и глядел в окно, очевидно не упуская ничего из того, что появлялось перед его взором.

Прошло минут двадцать. Лев Николаевич все сидел в той же неподвижной позе, очарованный, заколдованный. По-моему, он даже не замечал ни шума поезда, ни стука колес, ни паровозных гудков. По крайней мере, когда раздался пронзительный долгий свисток, он никак на него не реагировал.

Потом он вдруг встал, вынул голову в окно, повернул ее налево, посмотрел в конец поезда. Должно быть, мимо его глаз проплыло что-то его заинтересовавшее и ему хотелось еще раз взглянуть на это. Затем он опять сел, снова скрестил руки, снова облокотился локтями на столик. Вдали показалась большая, широкая возвышенность. Расположенный на ней лес спускался вниз огромными, красивыми, разноцветными уступами. Лев Николаевич, прищурив глаза, пристально вгляделся. Но вдруг у самого окна замелькали высокие зеленые ели. Он тотчас поднял кверху голову, рассматривая на их верхушках гирлянды молодых желто-зеленых шишек. Затем потянулся бархатный ковер чистых, свежих, ярко-зеленых озимых полей. Потом пронесся овраг, покрытый пурпуровым боярышником. И всем этим он любовался, как замороженный.

Должно быть, от долгого неподвижного сидения у него онемели члены, и он почувствовал потребность расправить их. Он снял локти со столика, выпрямился, руками уперся в бока и несколько секунд посидел в этой позе. И таким показался мне бодрым, энергичным, полным жизни! Богатырем!

Потом он опустил руки, придвинулся вплотную к окну, начав глубоко вдыхать врывающийся от движения поезда воздух.

В куле вошла дочь Льва Николаевича.

— Любуешься? — спросила она.

— Любуюсь, — ответил он, как бы сам себе удивляясь.

— И не налюбуйешься.

— И не налюбуюсь, — с той же ноткой удивления ответил он. — Да разве можно налюбоваться? А ты что делала?

— Разговаривала.

— А-а. А я не могу сейчас разговаривать. И давай помолчим.

ДВА ЖЕЛАНИЯ

Каждый человек во все периоды своей жизни имеет какие-либо особые желания. Появлялись и у Льва Николаевича разные желания, а некоторые из них держались у него всю жизнь.

Какие же могли быть желания у этого, по мнению Горького, самого сложного человека, какой когда-либо существовал? Вероятно, и желания его были самые необыкновенные? Написать такие-то и такие-то произведения, содействовать разрушению насильственного строя жизни, прекращению войн, проведению земельной реформы для русского крестьянства и многое другое? Желаний было, вероятно, столько, сколько ни у кого никогда. Десятки, сотни, тысячи желаний.

Да, вероятно, все это так и было. Но было, оказывается, и другое. Через всю его жизнь прошли два самых сильных, непреодолимых желания, и желания эти были совсем простые, обыкновенные.

Одно из них проявилось для меня во время моего недоразумения с Александром Петровичем.

Александр Петрович Иванов — маленький плотный человечек, подслеповатый на один глаз, который ему когда-то испортили в пьяной драке, с толстым грушеобразным носом, всегда подкрашенным в поздрах зеленым нюхательным табаком, великим любителем косяго он являлся.

Пронсходил он из мелкопоместных дворян. Был в молодости артиллерийским офицером в чине поручика, потом спился, опустился, стал шататься по «всем селам и весям», исходил Россию вдоль и поперек, а в конце семидесятых годов в сорокалетнем возрасте, в период работы Льва Николаевича над «Анной Карениной», случайно забрел в Ясную Поляну. Лев Николаевич пожалел его, предложил стать его переписчиком. Александр Петрович усерднейшим образом занялся перепиской, но страсть к алкоголю, к бесшабашной жизни и шатаниям вновь его обуяла. Он исчез, а через некоторое время вновь явился ко Льву Николаевичу и опять сделался его переписчиком, затем вновь исчез, через некоторое время вновь явился, и это происходило бесчисленное количество раз на протяжении тридцати пяти лет. Его появление и проживание в Ясной Поляне считались вполне естественными, законными и оправданными. Погостив в Ясной Поляне, сколько ему заблагорассудится, он отправлялся к каким-нибудь знакомым Льва Николаевича или его родственникам, у которых, как он знал, тоже мог пожить. Его принимали и ради Льва Николаевича и из жалости, предоставляя ему приют и не ограничивая его в сроках пребывания. Но он добрым отношением к себе не злоупотреблял. У него была своего рода гордость — «не засниживаться». Главное же — его тяготила оседлая жизнь. Ему постоянно необходимы были перемена обстановки и новые впечатления. Кочевой образ жизни стал его привычкой. Гордо он сам себя называл «вечным бродягой».

Впервые я увидел Александра Петровича в 1907 году в Ясенках, близ Ясной Поляны, в доме Чертковых, у которых я тогда жил. Александр Петрович пришел к нам погостить. Его радушно приняли. Находился он в спокойном, трезвом периоде и занимался у Чертковых все той же перепиской.

Работу давал ему я, так как архив Чертковых был в моем ведении. Надо было переписать разные неопубликованные произведения Льва Николаевича. Писал Александр Петрович четко, чисто, иногда только любил блеснуть каким-нибудь замысловатыми завитушками. По быстроте переписки работник был неоценимый, да и человек, в общем, безобидный и добродушный, и хотя у всех, в том числе у меня, вызывалнисходительную улыбку из-за склонности к периодическим выпивкам, из-за нюхательного табака и разных своих смешных черточек, но вместе с тем все к нему относились с симпатией. Единственное, что меня в нем огорчало, это его фамильярность, иногда зананибрательное обращение со Львом Николаевичем, а более всего то, что он критиковал, и иногда довольно резко, его произведения, но не за их содержание — оно его нисколько не интересовало, — а за их слог, стиль. Хорошо бы еще, если бы дело ограничивалось только его критическими суждениями, главная же беда состояла в том, что он, когда находил нужным, изменял текст Льва Николаевича, вносил в него свои поправки, заменял одни слова другими, даже иногда выкидывал целые фразы, недостаточно, по его мнению, «грамматно и литературно выраженные». И делал он это не только не смущаясь, а со вполне спокойной совестью, более того, даже считал это своей нравственной обязанностью, уверяя, что имел на это от Льва Николаевича какие-то особые полномочия.

Бывало, слает он мне работу и заметит:

— Э-э-э! Пришлось кое-что подправить, очень уж накручено было; «который — что», «который — что». Словно какой недоучка писал!

Я не выдерживал.

— Александр Петрович, ну возможно ли так отзываться о Льве Николаевиче, допустимо ли исправлять его текст?

— Для кого недопустимо, а для меня допустимо,— невозмутимо-спокойным тоном отвечал он.— Вас, молодой человек, еще на свете не было-с, когда я стал сотрудничать (он любил это слово) со Львом Толстым, и он всегда считался со мной, спрашивал моих советов и давал *carte blanche*¹ на всякие исправления.

Если я продолжал доказывать, что исправлять Толстого кощунственно, что его текст должен быть неприкосновенным, он прерывал меня раздраженно:

— Будет-с! *J'en ai assez*². Я знаю, что делаю. Прошу ретироваться.— И он делал решительный жест рукой в сторону.

Мне был двадцать один год. Не мог же я спорить с человеком на пятьдесят лет старше меня, и я умолкал, «ретировался», подавляя в себе возмущение и огорчение. Шестого августа 1907 года между нами произошел очередной инцидент.

Отдавая мне рукопись, Александр Петрович как ни в чем не бывало проговорил:

— Пришлось порядочно проредактировать. Этакие неуклюжие обороты и опять эти его вечные, неотвязные «который — что», «который — что».

— Александр Петрович, но как же вы решаетесь подвергать искажению текст Льва Николаевича, ведь неприкосновенность и точность его текста...

Он не дал мне договорить, угрожающе поднял свою маленькую, с короткими пальцами руку и, очевидно вспомнив свою военную молодость, громко скомандовал:

— Молча-а-ание! *Silence*³. Начхать я хотел на разные ваши неприкосновенности и точности, мне дана раз и навсегда *carte blanche*! *Carte blanche*! Баста!

Я не очень верил ему относительно этой ненавистой мне *carte blanche*, но что было делать?

Я стоял растерянный, подавленный, а Александр Петрович преспокойно набивал короткими пальцами свой не идущий к его маленькому тельцу крупный, мясистый нос зеленым нюхательным табаком и, наслаждаясь, чихал. И казалось мне, что он и в самом деле в прямом и переносном смысле «хотел начхать» на меня. Я был обижен и за Льва Николаевича и за себя.

В эту минуту в комнату внезапно вошел Лев Николаевич со шляпой и хлыстом в руках. Он приехал к нам из Ясной Поляны. Никто не видел, как он появился, и его не встретили. Он разыскивал Черткова. Увидев нас, он приподнял руку и, накидывая ее по своему обыкновению на руку Александра Петровича, дружественно, радостно произнес:

— А-а, Александр Петрович! Здравствуйте, здравствуйте!

— Здравствуйте,— сухо ответил Александр Петрович, очевидно будучи еще не в силах простить Льву Николаевичу его «неуклюжие» обороты.

Лев Николаевич обратился ко мне:

— Здравствуй, Алеша! Да что это с тобой? Почему ты так расстроен?

От его взора ничто не ускользало, он сразу все замечал.

— Я... я... Да вот Александр Петрович...— начал было я.

— Что, что? — участливо спрашивал Лев Николаевич.

— Они находятся в расстройстве чувств, язычок им и не повинуется, считают себя пострадавшим субъектом,— язвительно произнес Александр Петрович.— Я лучше сам вам все объясню,— решительно заявил он.— Мы вечно с ним ссоримся. Не дает мне трогать ваш текст. Священный, нерушимый текст. Точность, неприкосновенность. А мы ведь с вами прекрасно знаем, что можем иногда так-то намахать, *n'est ce pas*⁴? И вы

¹ Предоставление полной свободы действий (франц.)

² С меня достаточно (франц.)

³ Молчание (франц.)

⁴ Не правда ли? (франц.)

всегда поэтому давали мне *carte blanche* делать поправки, а он не допускает, выходит из себя, на стену лезет. Вот тут-то столько было наткано «который — что», «который — что». Ведь так нельзя, батенька. Я уже многократно вам на это указывал. Я *sans doute*¹ и исправил в ваших же интересах. Мне-то что! А теперь извольте реприманды всякие выносить, да еще от такого юнца.

Лев Николаевич с улыбкой слушал Александра Петровича, а Александр Петрович, должно быть считая, что эта улыбка вызывалась не комизмом его слов, а сочувствием к нему, все более расхохотался.

— Негоже, негоже! — почти кричал он. — Непристойно, неприлично! Мне на восьмой десяток идет, а ему двадцать. Это что-нибудь да значит! И все от чрезмерной, от какой-то непостижимой любви к вам. Весь корень зла в этом, и от этого все наши раздоры. Неразумная любовь...

Я чувствовал себя посрамленным. Что-то будет? Мне казалось, что Лев Николаевич был на стороне Александра Петровича. Но когда тот произнес слова «от непостижимой любви к вам», Лев Николаевич вдруг отвел глаза от него, живо повернул голову ко мне, как будто чем-то пораженный, озадаченный, затем пристально посмотрел на меня святышимся, лучистым, неведомым мне взглядом, никогда до тех пор не виданным мной. Была в этом взгляде и радость, и благодарность, и словно просьба, да, просьба, горячая просьба продолжать любить его. Впрочем, можно ли передать взгляд этих удивительных, удивительнейших глаз? Чего они только не выражали в один и тот же момент!

Посмотрев на меня своим необыкновенным взглядом, Лев Николаевич, подчеркивая каждое слово и растягивая отдельные звуки, сказал точно с некоторым недоумением и вместе с тем с радостью:

— Да-а, я зна-аю, Але-еша лю-любит меня.

Однако как передать интонацию его голоса? Это было бы невозможно так же, как невозможно описать выражение его глаз. Интонация соответствовала его взгляду. Но ни в голосе, ни во взгляде не было и оттенка сентиментальности. Сентиментальность вообще не была присуща Льву Николаевичу. Наоборот, у него всегда была известная сдержанность, скупость в проявлении чувств, что лишь придавало его чувствам большую искренность и силу.

Произнеся свою неожиданную для меня фразу, Лев Николаевич хотел выйти и сказал:

— Да, а где же Владимир Григорьевич?

— Да нет, вы погодите, погодите! — подняв кверху руку, повелительно воскликнул Александр Петрович. — Так, сударь мой, отделяться нельзя. Вы думаете, разрубили весь гордиев узел? Извините-с, вот посмотрите.

Александр Петрович схватил листы со стола.

— Вот посмотрите, что было и что получилось после моих исправлений. «Исправлений», а не искажений, как осмеливается утверждать сей синьор. Вот сейчас, вот это место: «который — что».

— Не стоит, Александр Петрович. Мне все равно. «Исправления, искажения...» — проговорил Лев Николаевич. — Так-то, Алеша, — прибавил он, обдав меня еще раз тем же благодарственно-радостным, не передаваемым никакими словами взглядом, и, как будто счастливый и довольный, ушел от нас.

Александр Петрович возмущенно пожал плечами.

— Вот так-то всегда какой-нибудь фортель выкинет. И это называется «великий писатель земли русской». А достигнутое тщательное улучшение его же текста его не касается. Какие-то там чувства, любовь, — с презрением воскликнул Александр Петрович, повертев в воздухе рукой для обозначения чего-то неопределенного, — это, видите ли, его больше интересует. Ну ладно! — вдруг оборвал самого себя Александр Петрович, переходя на добродушный тон. — Все ясно. Поправки мои, в общем, можно считать принятыми. Ссориться нам больше нечего. Мирось. Прощаю! — И он величественно подал мне свою маленькую руку.

¹ Без сомнения (франц.)

Мне ничего не оставалось сделать, как пожать ее.

— Grand merci¹, — быстро по-светски проговорил он и решительными, большими шагами, словно маршировал на военном плацу, вышел из комнаты.

Я стоял в полном недоумении. Неужели для Льва Николаевича не имеют никакого значения искажения его текста? Правда, я их уничтожу при проверке копии Александра Петровича и восстановлю точный текст, но ведь Лев Николаевич не знает, что я это сделаю. Он мог предполагать, что искажения Александра Петровича сохранятся. И что же? Они его несколько не беспокоили, он даже не взглянул на них. Еще я недоумевал, почему он с таким чувством удовлетворения проговорил: «Я знаю, Алеша любит меня». Было несомненно, что мое отношение к нему было для него более важно, чем сохранение в правильном виде его текста. Почему? Что интересного для него в преданности какого-то ничтожного юноши, когда тысячи и тысячи людей преклоняются перед ним?

Через несколько минут вернулся Александр Петрович, чтобы взять у меня новую работу.

— Ну что, вам теперь все ясно, строптивый, но все же не совсем дурной молодой человек? — добродушно спросил он меня.

— Нет, ничего не ясно.

— Извольте доложить, что не ясно? Может быть, разъясню.

Мне вдруг захотелось просто, по душе поговорить с Александром Петровичем, и я откровенно признался:

— Мне непонятно, почему Лев Николаевич остался совершенно равнодушен к неприкосновенности своего текста и вместе с тем почему ему было так приятно мое отношение к нему. Ведь как засияли его глаза, когда вы сказали, что я люблю его.

— Разъясню! Разъясню! — торжествуя воскликнул Александр Петрович. — Нет ничего легче. Ответствую по первому параграфу: о его равнодушии к своему тексту. Более тридцати лет наблюдаю его и вижу — нет... нет, нет; — восторженно воскликнул Александр Петрович, — нет у него никакого авторского самолюбия, этой мелочности, как у многих писателей, чтобы с пеной у рта защищал свой текст именно потому, что это его текст. Он только иногда отстаивает какие-либо свои отдельные, особенно удачные выражения. Ну, конечно, отрицать ведь нельзя — все-таки порядочный художник слова, умеет иной раз что-либо так сказать, как никому другому больше не удастся. Вот и случалось, что покажешь ему свои исправления, а он заметит: «Нет, у меня лучше. Оставьте по-моему». Но он же не напористый, в конце концов даже эти выражения может вам уступить. Запомните: что для него самое главное? Самое что ни на есть главное? Ну, в художественном произведении важнее всего общее правдивое изображение картины души человеческой, а также передача своего чувства. Уж сколько-то мы с ним об этом чувстве писали-писали, размусливали в книге «Что такое искусство!» Ну, а в статьях самое для него существенное — это правильное изложение мысли, ясность, логичность, убедительность. Что же касается до стиля, слога — это для него дело второстепенное. Ему не до того, чтобы выглаживать, шлифовать, достигать изящества, ажурности, легкости. Слог-то у него и того, прихрамывает. Вот я и стараюсь ему в этом помогать. Он потому всегда и давал мне carte blanche. Это вам ответ по первому пункту. Теперь отвечаю по второму параграфу: почему на мои поправки он даже не взглянул, а ваши чувства приметил? Вон как обрадовался! Ваше расположение, конечно, ему куда занятнее. Потому что сам очень любвеобильный и дорожит, до чего же дорожит, если кто-либо его тоже любит. Ваше чувство к нему — это ведь не фунт изюму, оно чего-нибудь да стоит, он это хорошо понимает. Voilà. C'est tout!² — воскликнул Александр Петрович. — Ну что там еще надо переписать? Так уж и быть, перепису.

Я дал ему рукопись, и он, вертя ее в воздухе, весело произнося «который — что», «который — что», вышел из комнаты.

Таков был случай, лишний раз убедивший меня, как велико было желание Льва

¹ Большое спасибо (франц.).

² Вот. И все! (франц.).

Николаевича видеть любовь к себе других, даже такого маленького существа, каким был я.

Через два года, 26 ноября 1909 года, вечером я сидел у него в кабинете в Ясной Поляне. Мы в течение трех часов, не переставая, разговаривали. Боже мой, как это было чудно! Мне было необыкновенно хорошо, но вовсе не потому, что передо мной сидел величайший человек своего времени и это могло бы льстить моему самолюбию. Нет, все его величие в ту минуту было забыто. Забыто было также то, что он на шестьдесят лет старше меня. Можно ли было об этом помнить, если он говорил со мной совершенно как с равным себе, достойным себя. В беседе мы слились душой, делились своими чувствами и мыслями, и — поразительно! — я, букашка перед Монбланом, не ощущал пучины, разделявшей меня с ним по его гению, уму, духовной высоте, а высказывал ему все, что лилось из сердца, без всякого стеснения, просто как человеку, роднее, дороже которого нет на свете.

Но еще больше, чем я, высказывался он, и я видел — нет, нет, я не ошибался в этом, — как ему тоже было хорошо, какое он получал удовлетворение, радость. Это было видно по его оживленному, раздумавшемуся лицу, по его блестящим глазам, по его бодрому голосу. Суть дела была, конечно, не во мне, а в нем одном, в его ненасытной любви к человеческому существу, в его чародейном искусстве найти в другом что-то, чем он поэтически любовался. Еще в раннем своем рассказе «Люцерн» он восклицал: «...одно из лучших удовольствий жизни — наслаждение друг другом, наслаждение человеком». Да, я видел, что, беседуя со мной, он теперь тоже испытывал «наслаждение», наслаждение тем, что и я человек — какой ни на есть, но человек. В середине беседы он вдруг встал, подошел к шкафчику, вынул блюдце с черносливом, подал мне.

— Пожалуйста, попробуй. Прекрасный чернослив. Мне это друзья с Кавказа присылают. Кушай, кушай! Еще возьми.

Ему хотелось угостить меня. Он глядел на меня с такой ласковостью, нежностью, как, бывало, в детстве смотрела на меня моя няня, угощавшая меня тянучками собственного приготовления. Ему хотелось угостить меня потому, что он был переполнен не только чувством всечеловеческой любви, но также и таким, какое было бы ко мне у няни, у отца, у дедушки.

Беседа окончилась в двенадцать часов ночи. Я встал, попрощался, пошел к двери. Он тоже поднялся. Я остановился в дверях. Он подошел, стал против меня. Какие были у него опять сияющие, счастливые глаза! Он вдруг пощупал мускулы на моей правой руке.

— А слабоваты. Не занимаешься гимнастикой?

— Нет, Лев Николаевич, не занимаюсь.

— Напрасно. Занимайся. Укрепляет.

Он стоял против меня тоже в дверях. Задумался. Глядел на меня все теми же сияющими глазами. Вдруг в выражении его лица появилось какое-то смущение. Это оттого, как я объяснил себе после, что он не знал, в какой форме выразить самое для него важное, ввести меня в ту область его жизни, о которой он раньше никогда со мной не говорил. Но, подумав, он сказал:

— Передай Владимиру Григорьевичу¹, что мне сейчас очень хорошо с Софьей Андреевной, очень хорошо. Мне так ясно стало, так ясно, что она и е м о ж е т (с какой глубокой выразительностью произнес он эти слова!), не может быть иною, чем такую, какая она есть.

Сказав это, он с полминуты в упор смотрел на меня, как бы спрашивая меня, понимаю ли я его, сочувствую ли ему, люблю ли его. Я не произнес ни одного слова — настолько неожиданно было то, что он сказал, и так необычен был взгляд его. Я тоже в молчании глядел ему в глаза. Удивительное я переживал состояние. Казалось, что я и он — одно. Я чувствовал, что то, что он просил меня передать Черткову, он захотел сообщить и мне вследствие своего большого в те секунды расположения, доверия ко мне и уверенности в моей любви к нему. Говорить после этого уже ни о чем нельзя было бы, и он сказал:

¹ Черткову.

— Ну, до свидания. Алеша! Спасибо тебе! Мне так хорошо с тобою было.

Он потянулся и поцеловал меня. Я ушел вниз, «под своды». Здесь, за перегородкой, расположился англичанин из Лондона, мистер Дэниел, с которым я приезжал ко Льву Николаевичу. Он уже потушил у себя лампу. Поэтому и я поспешил умыться, лег и тоже погасил свет.

Вдруг раздался легкий стук в дверь.

— Пожалуйста, войдите! — откликнулся я.

Дверь отворилась. Кто-то вошел.

— Ах, вы уже легли? — огорченно проговорил вошедший.

— Лев Николаевич, это вы? — воскликнул я.

— Да, душа моя, — каким-то особенно радостным голосом ответил он.

Он никогда еще так меня не называл. А считал, что это обращение — наилучшее, означающее, что другой уже так тебе близок, что его душа чувствуется тобой, как твоя собственная.

— Да, Лев Николаевич, легли, — ответил я.

— А я-то думал, что еще нет, — с той же ноткой печали в голосе сказал он.

— А что, Лев Николаевич?

— Да ничего. Мне просто хотелось еще с тобою побыть.

— Лев Николаевич, как я рад, я сейчас зажгу лампу! — воскликнул я.

— Нет, нет, не надо. Поздно. Извините, до свидания.

— Спокойной ночи, Лев Николаевич.

— Спокойной ночи, душа моя! — ответил он на этот раз бодро, весело и ушел.

Я слышал, как под его легкими шагами поскрипывала лестница, по которой он поднимался наверх. А когда шаги стихли, я, полный его обаяния и полный счастья, блаженно заснул.

Таков был случай, уяснивший мне, как велико было всегда желание Льва Николаевича любить других и проявлять свою любовь какими бы то ни было способами. Что я был для него? Рядовое в жизни явление. А я явно чувствовал, насколько он был преисполнен искреннего благожелательства ко мне. Ему надо было всегда кого бы то ни было любить всем своим существом.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Обсуждаем проблемы современного романа

М. КУЗНЕЦОВ

★

СПОР РЕШИТ ЖИЗНЬ

Статья наша «О путях развития современного романа» («Новый мир» № 2 с. г.) вызвала ряд откликов в печати. На страницах «Нового мира» приняли участие в обсуждении проблем современного романа А. Берзер, С. Бабенышева, Л. Швецова, В. Сурвилло, В. Назаренко, Г. Белая. В газете «Литература и жизнь» М. Никулин и А. Калинин полемизировали с рядом наших положений. Статьи А. Синявского о научно-фантастическом романе («Литературная газета» и «Вопросы литературы»), Ф. Кузнецова о рецидивах: мешанских тенденций в литературе («Литературная газета») в той или иной степени соотносятся с кругом вопросов, затронутых в дискуссии.

Участники обсуждения выдвинули новые проблемы, привлекли свежий материал, наконец,— что весьма существенно — углубили решение вопросов, поставленных в статье «О путях развития...». Мы бы назвали среди них проблемы героя, романтики и романтического стиля в нашей прозе¹, борьбы с рецидивами мешанства, типа

современного романа-эпопеи и другие. В наш адрес было высказано немало критических замечаний, часть которых, несомненно, справедлива (в частности, замечания об обзорном характере отдельных разделов, беглости и эскизности в постановке некоторых проблем). С иными критиками мы разошлись в оценке отдельных произведений. Тут, очевидно, в большинстве случаев авторы статей останутся «при своей точке зрения». Над одними замечаниями надо еще поразмыслить, на иные ответ даст время, реальный ход развития советского романа.

Но есть и такие статьи, на которые необходимо ответить сейчас. Вместе с тем за истекшие полгода наша литература дала ряд новых произведений, подтверждающих или опровергающих те или иные прогнозы в дискуссии.

Вот почему мы вынуждены еще раз вернуться к некоторым спорным проблемам развития советского романа.

1

¹ Чтобы не возвращаться к спору Л. Швецовоу и В. Сурвилло, скажем, что позиция первой представляется нам гораздо убедительнее. В своих статьях В. Сурвилло так и не дал четкого определения романтики и романтического стиля в советской литературе. Насколько можно судить, он понимает под романтикой только некую совокупность формально-стилевых приемов. Поэтому и подход В. Сурвилло к конкретному анализу тех или иных произведений не всегда убедителен. Наконец, несмотря на ряд оговорок критика, трудно отделаться от ощущения, что В. Сурвилло относится к романтическому стилю с явным предубеждением, подчас ставя знак равенства между понятием «романтический» и неправдой в искусстве. Ясно, что такая позиция весьма неподотворна.

Совершенно очевидно, что старое определение переживаемого этапа развития нашей литературы — «послевоенная» — устарело. Пятнадцать пережитых советским обществом лет далеко не однородны. Решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС 1953 года и последующих затем пленумов ЦК КПСС, исторические XX и XXI съезды партии, современная эпоха развернутого строительства коммунизма — все это определяет качественно новый этап развития нашей страны, а вместе с тем и нашей литературы.

Мы достигли огромнейших успехов в развитии промышленности, науки, сельско-

го хозяйства. Техничко-экономическая база коммунизма растет на глазах сказочными темпами. Однако самое поразительное в ином — никогда еще в истории советского общества материальные и духовные плоды нового строя не были столь очевидны каждому гражданину, никогда еще проблема счастья каждого не ставилась столь реально и конкретно. Естественно, что в постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» говорится, что формирование нового человека с коммунистическими привычками и моралью является теперь одной из «главных практических задач». Практически! Вдумаемся в это слово: это значит, что с той же исполнительской энергией, с какой мы решали задачи хозяйственные, военные и прочие, сейчас осуществляется величественная мечта лучших людей человечества — воспитание гармонической личности будущего.

И как много тут возложено на литературу — гувернера общества, по старинному, но верному определению. Она призвана во всем блеске и привлекательности показать новое, истинно коммунистическое, рождающееся и крепнущее в нашей жизни, со всей страстью и гневом, умно и беспощадно вскрыть старое, отживающее, в какие бы одежды оно ни рядилось. Увидеть себя и понять свое настоящее и прошлое, увидеть завтра, свой путь в грядущее — вот что хочет современник от волшебного зеркала искусства. Волшебного, ибо задача искусства — не регистрация явлений жизни, а творческий их отбор, творческое осмысление, вдохновенное изображение, служащее тому, чтобы будить в людях лучшие и благороднейшие помыслы и чувства, чтобы всей своей вдохновляющей силой вести трудового человека все вперед и все выше...

Воспитывать гармонически развитую коммунистическую личность! Это благородно и возвышенно, но это в высшей степени ответственно, предъявляет художнику огромные требования. Тут ведь не обойдешься книгами-поденками, здесь необходима литература, несущая и пробуждающая великие и смелые мысли, заражающая людей глубокими чувствами. В применении к роману, жанру, дающему наиболее широкую картину общества, можно сказать, что остро нужны романы-открытия и что, не принеся пользы, романы-баналь-

ности, романы-посредственности. Более, чем когда бы то ни было, от литературы требуется не столько «число», сколько «умение». Только большая в полном смысле литература способна выполнить свою историческую миссию.

И тут нужна настоящая товарищеская поддержка всему подлинно талантливому, открывающему нам свежие, еще не познанные искусством процессы в нашей действительности. Анализировать такие книги надо, прежде всего исходя из практики коммунистического строительства — чем и как эти книги помогают нам в сегодняшнем горячем, героическом деле.

На встрече руководителей партии и правительства с деятелями науки, литературы и искусства товарищ М. А. Суслов ясно и четко сформулировал современные требования к нашей литературной критике. «Критика, — сказал он, — должна быть требовательной и принципиальной, исходить из интересов народа, а не из приятельских и групповых соображений. Но критика должна быть заботливой и внимательной, ясно понимать реальные трудности, которые встают на пути художника, уметь видеть и радоваться тому, что ему удалось сделать. Наряду с осуждением плохого необходимо поддерживать все доброе, что есть в литературе и искусстве.

Нельзя мириться с тем, что критики иногда учиняют несправедливый и обидный для авторов разнос их произведений, полностью перечеркивая большую творческую работу художника. Особенно нетерпимо, если в своих оценках критики исходят из предвзятых, субъективных и по существу эстетских представлений». Товарищ Суслов подчеркнул, что особенно внимательно и заботливо критика должна подходить к работе художников над современным материалом.

Вместе с тем М. А. Суслов говорил, что не может быть и речи о скидках на тему, о снижении художественных критериев, заниженных эстетических нормах. Советским людям нужно подлинно великое искусство коммунизма, которое затрагивало бы все стороны души и воспитывало коммунистическую нравственность и высокую культуру чувств.

«Мастерство советского художника, — сказал М. А. Суслов, — выражается прежде всего в глубоком постижении народной

жизни. Советский художник должен иметь чуткое ухо, острый глаз и горячее сердце, широко открытое для всего нового в жизни».

Сочетание чуткой заботы о развитии литературы, активно участвующей в строительстве коммунизма, с высокой требовательностью — вот чего ждет партия от нашей критики. И это глубоко симптоматично для переживаемого момента. Сегодня мы ведем борьбу за человека коммунизма, творца смелых идей, наделенного высшей культурой чувств, самой человеческой и благородной моралью, верным чувством прекрасного. Этому человеку не нужны суррогаты искусства, имитации художественных творений. Нет, только подлинно высокое искусство поможет нам в выполнении благородных задач.

Памятуя об этой миссии советской литературы (и романов в частности), об ответственности нашей критики в этом общелитературном деле, и следует вести спор о судьбах нашего романа.

Давайте оценивать успехи и неудачи романистов по тому, насколько глубоко проникли они в существо сегодняшней народной жизни, насколько действительно они видят новое в нашей жизни.

Нам хотелось бы сразу перейти к тем новым явлениям в прозе последних месяцев, в которых, на наш взгляд, отчетливее всего проявились черты нового, черты периода развернутого строительства коммунизма. Однако дискуссия имеет свои правила. Очевидно, сначала надо дать ответ на некоторые обвинения, выдвинутые против нашей статьи.

2

Святой долг нашей критики — бережно поддерживать все ценные попытки писателей в воплощении темы современности, чутко и внимательно отнестись к каждому действительно новому и свежему слову в этой области. И в то же время первейшая обязанность критики — твердо и нелицеприятно указать на то, что мешает развитию литературы, уводит нас в сторону, тормозит движение вперед. Еще на Первом учредительном съезде писателей Российской Федерации Л. Соболев, в частности, говорил о том, что «парфюмерный запах будуара то и дело пробивается из прошлого в наши романы». Мы приводили эти слова в своей статье, когда указывали на

необходимость самой решительной борьбы с бескрылой описательностью, с натуралистическими тенденциями и в особенности с проникновением в нашу литературу мещанства. В этой связи мы остановились на некоторых конкретных проявлениях подобной опасности в нашей литературе.

Проблема эта не могла не вызвать различных откликов. Так, А. Берзер в статье «Общественный вкус к изящному» («Новый мир» № 3 с. г.) упрекнула нас за недостаточно глубокое и обстоятельное исследование затронутой проблемы. Ее статья — плодотворная попытка восполнить этот пробел. Несомненный интерес представляет и статья Ф. Кузнецова «По канонам мещанской литературы» («Литературная газета»), на новом материале рассматривающая ту же проблему.

Мы приводили также отдельные примеры, когда авторы руководствовались самыми благими намерениями, но художественная слабость их произведений, уступки дурному вкусу приводили к нежелательным результатам.

Но вот если бы мы знали, что краткое упоминание о художественной слабости повести М. Никулина «Ксения Ильина» в нашей статье привлечет к ней столь много внимания, то, может, и не начали бы разговора о ней. Меж тем разразилась такая пальба, зазвучали такие крики, появилась такая эскадра на реке, что только диву даешься. Столь почтенная газета, как «Литература и жизнь», дважды предоставляла свои страницы (именно страницы, ибо в каждом случае критическое выступление против нас требовало почти по странице газетного текста) для статей М. Никулина «Нет, он еще не тракторист!» (30 марта с. г.) и А. Калинина «Когда птица перестает петь» (6 мая с. г.). Пафос обеих статей в одном — в апологетической защите повести М. Никулина «Ксения Ильина».

В нашей статье говорилось, что в этом произведении особенно огорчает преклонение автора перед своей героиней, в которой на поверку немало мелкого и жалкого, а главное, что художественная слабость повести помешала реализовать то хорошее, что было в авторских намерениях. Мы готовы признать, что сказано об этом у нас было чересчур кратко, что мы не привели подробных доказательств и т. д. Однако статьи М. Никулина и А. Калинина не только не разубедили нас (да и не могли никого раз-

убедить) в справедливости отрицательной оценки повести, а, наоборот, только укрепили в прежнем мнении.

Конечно, критическая статья не приговор суда, не подлежащий обжалованию. Писатель имеет такое же право на полемику, как и критик. Но при всем этом статья М. Никулина представляет собой явление уникальное...

Традиция самовосхваления не привилась у нас. Поэтому единичные исключения обращают на себя внимание. Мы позволим себе напомнить один не такой уж давний случай. Так, год назад в сентябрьском номере журнала «Москва» был напечатан известный водевиль «Миллион за улыбку». Обращаем внимание читателей на небольшую сценку во втором действии: некто Бабкин исполняет, как он поясняет, «один малоизвестный романс»:

Ночи, сполохом опалсные,
Будто рядом прошла гроза,
И во тьме твои удивленные,
Золотые мои глаза...

И т. д.

«Как это красиво!» — восклицает героиня. «Человек, написавший это, очень любил кого-то». Ей отвечает исполнитель романса: «Когда человек любит, он находит настоящие слова».

Ну и что? — спросят нас. Почему герои пьесы не могут восторгаться «одним малоизвестным романсом»?

Могут! Только романс, оказывается, опубликован за два номера перед этим в том же журнале «Москва» и автором его является тот, кто написал «Миллион за улыбку»...

Но если у А. Софронова похвалы в свой адрес вложены в уста героев его же пьесы, то М. Никулин действует энергичнее — он хвалит себя сам.

Примерно до половины статьи М. Никулин занимается тем, что цитирует хвалебные отзывы о себе, весьма сочувственно освещает свой творческий путь, сообщает читателю, что ему, М. Никулину, удалось создать героя с душой «чистой, большой, способной повести его на смерть, на любые испытания во имя нашей правды». И уж само собой разумеется, что «Ксения Ильина» не имеет никаких недостатков, а то, что написано в «Новом мире», — навет, злой навет.

Палитра М. Никулина-критика широка и многообразна. Если для изображения себя и своих заслуг он не жалеет красок, светлых и ярких, патетики и декламации, то, когда речь заходит о критике М. Кузнецове, у него припасен другой ассортимент изобразительных средств. Прежде всего он недоумевает, почему это М. Кузнецов вдруг вспомнил о его повести через полтора года после ее напечатания (правда, М. Лобанову, который выступил позже нас, но с хвалебной рецензией, он почему-то не задает такого вопроса). Затем он деликатно сообщает, что критик его повести «вырос где-то на сухом доле, вне общения с живой жизнью», что он, этот критик, «надел ушильники и пошел строго туда, куда показывает нос» (как видим, М. Никулин не лишен остроумия). Поскольку критик осмелился думать иначе, чем М. Никулин, то этот критик, конечно, наделен и «надменной чистоплотностью» и «бездушием», он, наконец, находится на «общей платформе» с пошляком и соблазнителем Ксении Ильиной неким Иваном Захарьным. А под конец идет развернутая саркастическая метафора — критик еще не тракторист, он не может «трезво» (намеком-то каков!) сесть за руль критической машины, он так поехал в своей статье, что выкорчевал «телеграфные столбы» и «дубки» (очевидно, эти последние олицетворяют повесть М. Никулина; впрочем, мы не можем ручаться за смысл всех «образов» столь примечательной статьи).

По существу же дела М. Никулин не смог привести никаких серьезных доводов в защиту неудачной повести. Словно бы чувствуя шаткость и неубедительность аргументации автора «Ксении Ильиной», газета через месяц печатает вторую статью — А. Калинина. Но в отношении «Ксении Ильиной» она почти слово в слово повторяет аргументацию М. Никулина, только делая это подробнее, с большим количеством цитат. Нет нужды еще раз анализировать эту повесть, тем более что это убедительно сделано в статье А. Берзер «Общественный вкус к изящному». Но поскольку спор принял такие размеры, мы хотим высказать несколько соображений.

Напрасно А. Калинин и М. Никулин упрекают и нас и А. Берзер, будто мы не видим, что в повести «Ксения Ильина» речь идет о борьбе за моральную чистоту человека, о том, как в нашем обществе

человек не остается один на один со своим горем, что ему помогает коллектив, что в повести есть люди более твердого идейного и морального закала, чем Ксения, и т. п. Мы все это видим. Мы можем сказать больше: «Ксения Ильина» — это тот случай, когда автор выступает с благими намерениями, хочет бороться за новые, высокие отношения между людьми, но объективно получается так, что там, где нужна требовательная и строгая любовь к людям, выплывает умиление и жалостливость, где нужны строгий художественный вкус и взыскательность — проявляется неразборчивость.

Глубоко огорчительно, что такой художник, как А. Калинин, не замечает литературной слабости защищаемой им повести. Вот он приводит отрывок: «На минуту она задумывалась и тогда становилась похожей на свой четко выписанный портрет: на правом, гибком плече примят серый, легкий жакет, а на правой щеке — след жесткого диванного валика, который недавно заменял ей подушку; лицо чистое, светлое; на виске из-под косички льняных мягких волос просвечивают веточки тонких жилок; руки у нее, как у молоденькой девушки, чуть пухловатые, с округлыми, словно выточенными пальцами, отвечающими золотой искрой едва различных волосков». А. Калинин это кажется образцом художественности. Ой ли? Что значит гибкое плечо? Гибким может быть то, что гибок, перегибается: талия, стан, руки, но плечи? И даже еще ограниченнее — одно плечо... «Лицо чистое, светлое» — из этого крайне общего определения не составишь никакого представления. Мало дают и «веточки тонких жилок» на виске из-под льняных (очень оригинально!) и (конечно!) мягких волос... Непонятно, далее, почему у молодой Ксении руки не должны напоминать рук молодой девушки? Наконец, где находятся «едва различные волоски», отвечающие «золотой искрой». На пальцах? Тогда это по всей видимости некрасиво. На руках вообще? Но ведь на Ксении надет жакет, который закрывает руки. А главное — что можете вы сказать определенного о наружности Ксении, прочтя это описание? Очень и очень немногое, индивидуального портрета нет. Мы нарочно взяли тот отрывок, которым восторгался А. Калинин, — он ведь выбрал, наверное, не худший, — и вот оказы-

вается тут много неточного, небрежного. Так, может, лучше вместо обид всерьез подумать о том, какие высокие требования время предъявляет писателям, подумать и реализовать их в новой работе? Ибо ведь, как сказал еще Бальзак, ничто не сможет поддержать жизнь плохой книги.

3

В своей статье мы полемизировали с В. Назаренко, на наш взгляд необоснованно возведшим недостатки отдельных романов в некую новую закономерность советского романа вообще. Нам по-прежнему представляется несостоятельным утверждение В. Назаренко, будто завоеванным современным многоплановым романом является существование двух параллельных сюжетов — личного и исторического, преобладание истории над изображением человеческих судеб, как и ряд аналогичных «новаций», обнаруженных критиком. В. Назаренко ответил нам статьей «Не забывать о главном!» в прошлом номере «Нового мира».

Внимательным образом прочтя новую статью В. Назаренко, мы с удовлетворением заметили, что автор уже нигде прямо не защищает свои старые утверждения и даже не пытается отставать столь поспешно установленные им «новаторские признаки» советского многопланового романа. В этом уходе от полемики по существу мы увидели благой признак — очевидно, критик сам ощутил слабые места своей концепции.

Правда, В. Назаренко проявил известную последовательность в другом — в защите своего взгляда на роман В. Закруткина «Сотворение мира». Он упрекает нас и за то, что мы уделили в статье мало места этому роману, и за то, что, будучи снисходительны к другим произведениям, здесь проявили «железную твердость» и т. д. и т. п. Тут, однако, надо объясниться. Мы ни в малейшей степени не ставили под сомнение дарование В. Закруткина и его большую серьезную работу над романом. Свообразный и интересный талант этого художника с большой силой проявился уже в его ранней книге — «Кавказские записки», и мы, можно сказать, с тех самых пор самым внимательным и сочувственным образом следим за творчеством этого прозаика. И в последнем романе,

«Сотворение мира», интересен не только обширный замысел, в нем есть и немало отличных картин, где писатель проявил себя с самой лучшей стороны. Та линия, что связана непосредственно с деревней Огнищанкой и ее обитателями, смело может быть поставлена в заслугу автору. Но в своей статье мы не ставили задачи подробно и всесторонне анализировать роман. Мы рассматривали его только с точки зрения того, является ли он эпопеей в полном смысле слова, как пытался представить его В. Назаренко. Мы утверждаем, что В. Закруткину, как правило, не удаются те главы, где действие переносится в различные города Западной Европы, в Москву, в кабинеты исторических личностей и т. д., что «общее» и «конкретное» не образуют в его романе необходимого органического единства. В. Назаренко не привел никаких серьезных аргументов, опровергающих это положение. Зато он нашел «хитрый» прием: цитируя понравившееся ему место, он после этого коварно восклицает: «...только литературный сноб может не оценить неподдельную вдохновенность таких строк». А так как «сноб», да еще «литературный», — это, конечно, очень плохо, то кто же рискнет теперь спорить с В. Назаренко! Поистине, критик нашел неопровержимое полемическое оружие, с помощью которого можно доказать что угодно.

Мы говорили выше, что В. Назаренко не стал защищать свои прежние выводы, однако он поразил читателей набором новых открытий. Так, мы с удивлением узнали, что «роман Закруткина, по-моему, находится на путях «скречивания» романа и поэмы, прозы и поэзии». Что это значит — осталось тайной, ибо пояснить столь необычайную мысль автор не пожелал. С не меньшим изумлением прочли мы заявление критика, что именно те главы в «Сотворении мира», которые встретили единодушную поддержку у самых разных критиков, оказываются... чуть ли не лишними: «как раз сцены огнищанской жизни зачастую горюжат роман, рвут его единство своей обстоятельностью и самодоволеющей картинностью». Вот так раз! Вот так защитник романа! Кто же больше принесет пользы автору и читателю — тот ли, кто, отдавая должное труду писателя, не может умолчать о том, что не получилось, или тот, кто возвеличивает слабости ро-

мана, а сильные места, наоборот, зачеркивает?

Есть, кроме этого, в статье В. Назаренко и несколько общих положений, которые тоже нельзя оставить без ответа. Он начинает свою статью с весьма энергичных утверждений, будто литературная критика и писатели недооценивают воспитательную роль литературы, рассуждают, дескать, больше о правдивости или неправдивости произведения, забывая о «могучей назидательности». В. Назаренко пишет: «Мы еще мало думаем о мастерстве как путях проникновения содержания». Сказано сильно, хотя и непонятно. Вслед за этим читаем: «Одно дело просто мастерство изображения. Другое дело — мастерство воздействия изображением». Следуют затем два примера из того же романа В. Закруткина «Сотворение мира». Первый — яркая весенняя картинка; писатель изображает фиолетово-черного с вороненым подгрудьем грача, которого апрельский ветер пытается свалить с тонкой ветки. Но это не устраивает В. Назаренко: «Наше восприятие получает грача, и только грача. Подробности картины не участвуют в решении никакой другой «сверхзадачи», кроме той, чтобы обозначить весну. (Разве это плохо? — М. К.) Винкая, замечаешь: писатель и не строит картину так, чтобы воздействовать на нас, он ограничивается заботами об изображении».

Приводится другой отрывок — изображение суровой зимы, когда звери попрыгали в норы, птицы жались к деревенским избам, а деревья, скованные жестоким морозом, жалобно скрипели... Теперь картина полностью удовлетворяет критика, здесь есть и «сверхзадача», он видит в этой зарисовке «очень сильное эмоциональное начало главы, повествующей о кончине Владимира Ильича Ленина». Но ведь это же пресловутый упрощенный «разбор» из пресловутых же «методических указаний», о которые столько перьев испутили фельетонисты! А главное — что за странное противопоставление «мастерства изображения» «мастерству воздействия изображением»? Ведь они существовали и существуют в искусстве в неразрывном единстве. Задача искусства никогда не исчерпывалась «просто изображением», ибо оно не слепо копирует природу, а творчески воссоздает ее. Столь же нелепо противопоставлять правдивость искусства его воспри-

гательным задачам. Ведь искусство социального реализма — это прежде всего искусство жизненной правды, оно воспринимается правдой, правдой высоких, благородных коммунистических идей, правдой характеров, правдой положений.. Попробуй же только на минуту принять всерьез выдумки В. Назаренко, немедленно попадешь в смешное положение. Как, скажем, с точки зрения схоластических разделений на мастерство изображения и мастерство воздействия оценить такой отрывок из второй части «Поднятой целины»:

«Прошло два месяца. Так же плыли над Гремячим Логом белые, теперь уже по-осеннему сбитые облака в высоком небе, выцветшем за жаркое лето, но уже червленной позолотой покрылись листья тополей над гремячской речкой, прозрачней и студеной стала в ней вода, а на могилах Давыдова и Нагульнова, похороненных на хуторской площади, недалеко от школы, появилась чахлая, взлелеянная скурым осенним солнцем, бледно-зеленая мурава. И даже какой-то безвестный степной цветок, прижавшись к штaketнику ограды, запоздало пытался утвердить свою жалкую жизнь. Зато три стебля подсолнуха, выросшие после августовских дождей неподалеку от могил, сумели подняться в две четверти ростом и уже слегка покачивались, когда над площадью дул низом ветер».

Следуя В. Назаренко, придется отнестись все это к «мастерству изображения», то есть к чему-то второсортному. И как быть с этим «безвестным степным цветком», с его «жалкой жизнью» — как придумаешь ему «сверхзадачу» по рецептам В. Назаренко? Получится, что Шолохов дает «цветок как цветок» и «не думает о воздействии на нас!» Или, поскольку дело идет о таком замечательном писателе, как Шолохов, придется критику срочно переназначивать свою теорию? Но тогда чего стоят подобные «теории»?

Завороженный только что сочиненными схемами, В. Назаренко не чурается и поддержки. С изумлением мы прочли, будто в нашей статье говорится, что «золотому веку романа» как бы не время и в нашей литературе». В подкрепление приводится цитата: «Показательно, что наибольшие успехи... сегодня скорее можно отметить в жанре повести, нежели романа». Как будто

все говорит в пользу В. Назаренко, если б... если б не многоточие в середине цитаты и не последующий обрыв ее. Справедливо замечено: «Если видишь в цитате многоточие — будь готов к неожиданностям». Вот что на самом деле говорилось в нашей статье: «Показательно, что наибольшие успехи в создании образа героя сегодня скорее можно отметить в жанре повести, нежели романа». И далее: «Связано, видимо, это с тем, что мы переживаем период интенсивнейшего роста личности советского человека, период, когда очень много нового, передового вошло в нашу жизнь, когда с новых позиций осмыслено пережитое, и потому чуткие, наблюдательные художники стремятся запечатлеть эти черты времени прежде всего в более оперативном, в более подвижном жанре — повести». Как видим, у нас вовсе не идет речь о преобладании повести вообще, а лишь о временном ее превосходстве над романом при обращении к героям современности. Новые факты литературы лишь подтверждают это. Балуев из одноименной повести В. Кожевникова, Зеленин, Максимов, Карпов из повести молодого писателя Аксенова «Коллеги», герои «Глухой Мяты» В. Липатова — разве это не наиболее яркие образы современников в литературе последних месяцев? А затем — как можно так безответственно утверждать (как это делает В. Назаренко), что «сотни наилучших повестей не заменяют в этом смысле одного романа»? Что за неумная размахистость, что за скоропалительность в суждениях!

Но еще более любопытны в своем роде рассуждения В. Назаренко об индивидуальном художественном видении. Снова без всякого смущения он приписывает нам сведение всех признаков романа только лишь к индивидуальному художественному видению. Меж тем у нас речь шла о борьбе с натурализмом и бескрылым описательством, о борьбе со всякого рода суррогатами искусства. Именно в этой связи мы и писали: «Если романист не обладает таким художественным видением, то нет и романа,— в лучшем случае будет пухлый том, о котором еще Лев Толстой иронически отзывался: диссертация в виде романа. Неплохо было сказано: чтобы сеять солнце, надо носить его в себе. Появление романов-банальностей свидетельствует, что авторы их берутся за непосильное дело, у

них нет внутри «солнца» поэзии, и никакие «заменители» тут не помогут». Речь таким образом шла вовсе не об отличительных признаках романа как жанра, а об отличительных признаках подлинно художественного произведения. В. Назаренко с помощью небольших подмен создает себе некий жупел из понятия «индивидуальное видение» и резвится и играет вокруг него.

Так оказывается, что «индивидуальное видение» — это главным образом занятие для декадентов, они его любят и поощряют. Вспоминаются формалисты и пресловутое «остранение». Далее категорически сказано: «Возводимое в главные достоинства, оно легко оборачивается манерностью. И, не подозревая того, литератор впадает в подражание формализму, хотя стремится, казалось бы, всего лишь к «индивидуальному видению».

Словом — бойтесь, дети, этого индивидуального видения и будьте лишь в ту меру индивидуальны, в какую вы «не машина, а человек». После этих пассажей приводится несколько неудачных фраз из рассказа «совсем молодого литератора В. Губина», как аттестует его В. Назаренко, а затем приговор: «Но как раз такую манерность поощряет М. Кузнецов, прославляя и не поясняя пресловутое «индивидуальное видение». Коротко и предельно бездоказательно. Зато лихо.

Опровергать такие обвинения — занятие неблагоприятное и скучное. Но задумаемся: к чему вся эта возня вокруг ясных вопросов? Ведь это азбука эстетики, что в каждом истинном произведении искусства всегда присутствует личность художника, мы чувствуем ее и в «Жизни Климса Самгина», и в «Тихом Доне», и в «Петре Первом». Ясно также, что не может родиться произведение искусства, если автор его видит мир в извращенном свете, если его идеи ложны, если вместо реальной картины мира он дает нам субъективные кошмары. Когда мы настаивали на необходимости учитывать в художественных критериях наряду с требованиями правдивости, высокой коммунистической идейности и индивидуальное художественное видение, то делали это потому, что только сочетание всех этих требований может преградить путь всякого рода унылым подделкам, имитации искусства. А вот для чего В. Назаренко пытается «навести тень» на совершенно ясный вопрос о необходимости инди-

видуального художественного творческого освоения мира?! Не для того ли, чтобы снизить высокие критерии, не для того ли, чтобы дать известное «ослабление» произведениям серым, или сырым, малохудожественным, или вовсе нехудожественным? Право же, такой вопрос более чем законен, когда прочтешь статью В. Назаренко...

Наконец, спор о типе романа-эпопеи, который наиболее полно соответствовал бы требованиям современности. Мы писали в своей статье, что у нас, грубо говоря, можно наметить «роман событийный», в котором на первом плане герой-масса, изображение великих исторических событий, а судьбы отдельных людей даны больше на втором плане, и другой тип романа — «роман характеров», где есть не меньшая широта в изображении исторических событий, но все это дано в теснейшем органическом единстве с изображением судеб героев. Эпоха тут раскрывается не только через типические обстоятельства, но и через глубокие типические характеры. Таковы «Жизнь Климса Самгина», «Хождение по мукам», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Разгром», «Молодая гвардия» и другие. В. Назаренко хотя и признает значение романа характеров, но тут же старается его всячески ограничить. Так, он отказывается относить исторические романы к разряду романов характеров: «они не раскрывают характеров наших современников, но они участвуют в формировании характера нашего современника-читателя». Но разве «Петр Первый» не есть роман характеров? Сомнительным кажется нам утверждение критика, будто невозможен научно-фантастический роман характеров. Вместе с тем мы не хотим отказывать в праве гражданства роману событийному, ибо он существует и имеет свою историю в советской литературе. Нередко, однако, слабости отдельных романов пытаются выдать за некие закономерности литературного вида. Думается, что против такой тенденции надо выступать решительно.

Так, в частности, в статье Г. Белой «В поисках «скромного новаторства» («Новый мир» № 8 с. г.) в центре поставлена проблема романа «панорамного», который она определяет как произведение, где автор стремится «создать общую картину, охватывающую «весь круг горизонта», нарисовать полотно, которое не только подводит к обобщению, но и материализует его».

Скажем прямо: определение не из ясных, ибо и в «Хождении по мукам» и в «Жизни Клима Самгина» есть «весь круг горизонта», а в то же время они принципиально отличны и от «Железного потока» и от «России, кровью умытой».

Вообще надо сказать, что некоторые сопоставления у Г. Белой носят более чем спорный характер. Так, к панорамному роману отнесены и «Железный поток», и романы Эренбурга, и «Последний из удэге», и «Сотворение мира»... Роман Фадеева попал в «панорамные» главным образом на основании одной фразы, которая действительно напоминает соответствующие фразы у Эренбурга, Ясенского, а заодно и у многих западных писателей. Но ведь фраза-то одна, а всем остальным «Последний из удэге» никак не сходен с романами Эренбурга. Впрочем, Г. Белая приводит еще один аргумент — в первых двух частях романа Фадеев сосредоточивается исключительно на истории Серези и Лены Костенюкских, а в третьей и четвертой частях начинается огромное движение людей и событий. Но и это еще не доказывает ничего. Третий том «Тихого Дона» гораздо более «событийен», или, если хотите, «панорамичен», нежели другие тома, однако это не делает шолоховский роман похожим на романы Эренбурга. В «Последнем из удэге» есть разные тенденции, роман не закончен, и трудно говорить, во что он вылился бы, однако при всем этом он никак не становится в один ряд ни с «Железным потоком», ни с «Хулио Хуренито». Так же мало оправдано и сближение «Железного потока» с романами Эренбурга. В отличие от Серафимовича Эренбург вовсе не ставил своей задачей сделать революционную массу главным героем и подчинить этому все изобразительные средства.

Но не только в этих довольно произвольных сближениях главный недостаток статьи Г. Белой, ратующей за панорамный роман. Если с критиком можно согласиться в главном — в правомочности этой формы современного романа, то нельзя примириться с амнистированием недостатков тех или иных романов под предлогом «особенностей жанра». Так, Г. Белая, не считаясь с очевидностью, отрицает слабость ряда характеров в романах Эренбурга, выдавая эскизность и бедность образов за специфику панорамного романа. Думается, что Г. Белая неправда и в споре с критиками неко-

торых наших, так сказать, мнимых эпопей. Г. Белая утверждает, что критики упрекали романистов за принцип «широты охвата». Отнюдь нет! За другое, за поверхностность этой «широты», иллюстративность ее, описательность, неумение художнически освоить материал истории и соединить «широту охвата» с глубиной изображения человеческих характеров.

Вот почему выступления защитников «панорамного» романа кажутся нам весьма уязвимыми.

В заключение споров о романе событийном, панорамном и романе характеров хочется привести один, наиболее свежий пример. Несколько месяцев назад мы впервые получили в соединенном виде, как одно целое, обе книги «Поднятой целины». Читая книги подряд, замечаешь немало существенных особенностей, ускользавших ранее, когда мы следили за отдельными главами.

В тридцатые годы в критике о первой книге романа стало ходовым суждение, что «Поднятая целина» — это роман событийный, где сюжет — история колхоза на хуторе Гремячий Лог, что здесь личные судьбы растворились в картине общенародной борьбы за революцию в деревне — создание колхозов. Сегодня мы видим: это справедливо лишь отчасти. Да, роман Шолохова — лучшая наша книга об эпохе коллективизации, да, здесь, как нигде, глубоко и ярко показана судьба народная, рассказано, как под водительством лучших из лучших — коммунистов — совершалось крестьянство великий перелом в своей жизни. И в то же время уже в первой книге нас покорили глубокое, как резцом вырезанные, характеры: Давыдов, Нагульнов, Разметнов. Во второй книге — это заметил уже ряд критиков — действие замедлилось, она менее насыщена событиями, нежели первая, здесь чаще герои наедине с собой или в задушевных беседах друг с другом. Пошло движение вглубь — к более всестороннему раскрытию характеров главных положительных героев: Давыдова, Нагульнова, Разметнова, новым светом озарился кузнец Шалый, наконец, появилась такая отлично выписанная фигура, как Нестеренко. И лагерь врагов — Островнов, Потовцев, Лятевский, — он тоже обрел новые грани, персонажи раскрылись с неожиданной стороны. Самый роман, оставаясь повествованием о коллективизации,

обрел внешнюю форму истории жизни Давыдова: действие начинается с его приезда и кончается его гибелью.

Писался роман почти тридцать лет. Вторая книга, верно передавая дух той эпохи, в то же время несет на себе отчетливые следы современности — они хорошо заметны, о них уже писала критика. Но современность и в другом — в известном видоизменении типа романа, в том, что в нем совершенно явственно усилились черты романа характеров. Этот пример весьма и весьма поучителен для наших споров. Ибо практика — пробный камень нашего познания.

4

...Полгода, прошедшие после того, как была написана наша статья о путях современного романа, — срок небольшой. Но и за это время проявилось постулатное движение нашей литературы, обнаружилось новые завоевания в изображении нашего современника, строителя коммунизма.

В высшей степени симптоматично, как уже говорилось выше, что вторая книга «Поднятой целины» развивается как движение в глубь характеров героев. В этом не только индивидуальная особенность писателя. Это веление времени, ведущая тенденция сегодняшнего литературного процесса.

Современность сказывается сильнее и глубже всего не во внешних атрибутах, не в иллюстративном перечислении всем известных примет времени, а в раскрытии, как говорил на митинге в Вешенской Н. С. Хрущев, идейного смысла событий и дел современников, в раскрытии всего богатства души советского человека, всех сторон его духовного мира, всей прелесть и красоты нашей жизни.

Нам хочется в связи с этим остановить на двух произведениях последнего времени, которые (так уж получилось) и опубликованы в одном и том же журнале. Речь идет о романе А. Чаковского «Дороги, которые мы выбираем» и повести В. Кожевникова «Знакомьтесь, Балуев».

Роман Чаковского продолжает его же «Год жизни», появившийся несколько лет назад. Перед нами снова Север, Кольский полуостров, Тундрогорск, строительство туннеля, молодой инженер Арефьев, руководитель стройки, его товарищи, его противники... Действие происходит в год исто-

рического XX съезда. Герой сталкивается и с буржуазным английским корреспондентом Кафлином, пытающимся посеять яд сомнения в душу советского человека, и с карьеристом ревизионистского толка, редактором местной газеты Полесским, снова появляется на пути героя злобешая фигура эгоиста, себялюбца, человека чуждой советскому строю психологии — Крамова... Роман весьма и весьма современен и по содержанию и по вопросам, в нем поднимаемым, в нем есть страницы, которые прочтешь с несомненным интересом. И все же чувство разочарования не оставляет тебя по мере чтения романа.

А. Дымшин в своей недавней статье «Против предвзятости и равнодушия» («Литература и жизнь» от 3 июля с. г.) справедливо выступил против предвзятых и односторонних оценок в критике. Ряд приводимых им примеров справедлив. В какой-то степени можно согласиться с А. Дымшицем и тогда, когда он критикует за односторонность статью Ю. Буртина в «Литературной газете» о романе Чаковского. Но, странное дело, мы так и не уловили из статьи А. Дымшина, как же он сам относится к «Дорогам, которые мы выбираем». Действительно, молодой критик Ю. Буртин допустил существенную ошибку — он подошел к роману А. Чаковского с априорным критерием, с некоей предвзятой меркой романа-исповеди и стал с этих позиций судить произведение. В результате Ю. Буртин фактически ничего серьезного не сказал о современном содержании романа, о его направленности, тогда как это было существенным. В итоге статья Ю. Буртина не убеждает.

Конечно, не следовало Ю. Буртину в своей статье начисто отмахиваться от серьезных проблем романа, представляющего, на наш взгляд, весьма добросовестную, хотя и не увенчавшуюся настоящим успехом писательскую работу. Да, это роман о мужестве и стойкости гвардейцев трудового фронта, о повои морали, здесь справедливым гневом исполнены страницы, направленные на тех, кто хотел навязать на партийной критике культ личности гнилой мешаинско-буржуазный капиталец... Но почему же при всем этом удивительно сух этот роман, словно бы благодатный дождь простых и правдивых человеческих чувств ни разу не оросил его песчаные страницы?! Да, тут есть и старая,

разбитая любовь героя и новая, когда его любят, а он никак не решит — есть ли у него ответное чувство... Есть предательство друга; есть гибель отличного рабочего; есть драматическое столкновение на собраниях... Но никак нельзя в сухих, рассудочных страницах узнать автора лирического и поэтического произведения «Это было в Ленинграде»...

Зато все силы, весь пафос вложил А. Чаковский в рассказы о технических деталях строительства. Сначала — цемент. Нет цемента — нельзя бетонировать туннель. Этому отведены самые энергичные страницы, но именно цементу, а не людям. Затем появляется штанга. Герой узнает, что можно крепить туннель не бетоном, а штангами. Герой прочел статью. Конечно, «запом». Нам полностью пересказывается весь технический принцип: «Тот конец штанги, который уйдет в породу, должен быть расщеплен, и в разрез вставлен клин. А на внешнем, противоположном, конце надо сделать парезку, навинтить шайбу и гайку» и т. д. и т. п. Сведения такого рода сообщаются немало — все в том же чисто техническом виде. А герой в восторге: выход найден. Правда, А. Чаковский старается смягчить такую прямолинейность размышлением героя: «Нет, не может быть, чтобы все было так просто, — возражал я самому себе. — Ведь это как в романе: прочел статью, поговорил с кем-то — и, пожалуйста, выход найден!.. Но, с другой стороны, — отвечал я себе, — ведь время Ньютонов прошло, новое не рождается в одиноких раздумьях мудреца, научные открытия — это огромный коллективный процесс...»

Запомним эту цитату, а пока пойдем дальше. О штангах затем говорится или подряд на нескольких страницах, или через две на третью. Герой встречается ночью с влюбленной в него девушкой — речь идет о штанге. Беседа с директором треста — опять-таки описание гаек, клиньев и прочего. Затем герои пишут коллективное письмо о штангах. Наконец, герой едет в Москву и там спорит о штангах. Многократные разговоры о штанге — это некие железные скрепы, на которых и держится, по сути, роман. Именно — железные, то есть инородные в том живом организме, каким является произведение искусства. Дело ведь вовсе не в том, в каких дозах допустимо изображение техники в романе. **Надо**, чтобы любая техническая проблема

стала одновременно человеческой, чтобы сквозь нее просвечивала эмоциональность, тепло людское, надо, чтобы не железные скрепы питаги вели роман, а логика человеческих характеров.

И вот тут-то приходится вспомнить приподвигшиеся размышления Арефьева — «время Ньютонов прошло, новое не рождается в одиноких раздумьях мудреца...» Такой поспешной, беглой репликой пытается отмахнуться автор от сложной проблемы творчества, изобретательства. А разве и сегодня, при всем огромном значении коллективных усилий, разве сегодня изобретатель, инженер, ученый не остается наедине с самим собой, в одиноких раздумьях, в пытливых, подчас поучительных поисках истины?

А. Чаковский совершает ошибку — и серьезную — против того, что Горький называл эмоциональной грамотностью. И это не только в сфере личных переживаний, любви и т. п. Нет, и в сфере труда, в котором действуют лица показаны больше всего. Герой А. Чаковского просто отрицает пафос индивидуального творчества, «одиноких раздумий», именно поэтому его «дело» так сухо, так рационалистично и, увы, малопозитивно. Нам кажется, что «Дороги, которые мы выбираем» — роман, написанный «старомодно», то есть по тем, в общем, пройденным нашей литературой образцам, когда «дело заслоняло человека». Поэтому-то, несмотря на верность общего взгляда на изображаемые события, герои этого романа гораздо беднее своих реальных прототипов.

Беглость... Это слово не случайно приходит на ум при чтении романа. Уж слишком бегло сделаны и многие характеристики, освещены иные проблемы. От этой беглости, да еще в большой степени от невыразительного языка, то ощущение сухости, что оставляет роман.

А вот В. Кожевникова можно упрекнуть и за неровность письма, и за эскизность и клочковатость повествования, и беглость отдельных характеристик, а подчас и за известную надуманность биографий (так, история Изольды, быть может даже взятая из действительности, никак не убеждает в своей художественной достоверности)... И при всем этом как не порадоваться тому яркому, мужественному и, главное, очень человеческому, что есть в повести! Ибо у Кожевникова техника (а ее много —

описание протаскивания дюкера, работы трубоукладчиков, новаторства сварщиков, труда водолазов и т. д. и т. п.) ни на минуту не превращается в самоцель. Нам волнует в повести история роста людей, а не история внедрения штангового крепления. Возьмете ли вы «профессора», «академика» электросварки Шпаковского, или удивительного машиниста Лупанина, или самого руководителя строителей Балужева, который, по словам одного из его старых друзей, «накопил в себе железа до конца жизни», — перед нами яркие, неповторимые личности, они в движении, им много надо, они требуют от жизни в полную меру и отдают ей такой же мерой.

В этом — принципиальное значение повести Кожевникова, отразившей современность не во внешних приметах, а по существу: автору удалось показать, что в наших рабочих, наших современниках стремление творчески, самоотверженно, больше того — красиво работать органически сплывилось сегодня в нечто единое со столь же неукротимым стремлением жить по-новому, жить по законам высшей морали, жить так, как того требует коммунизм. У Кожевникова получил новое воплощение горьковский тезис: «Хорошо делать, значит хорошо жить». Его, этот новый тезис, можно сформулировать так: «Хорошо делать и хорошо, по-коммунистически, жить!» Балужев резко выделяется среди нынешних литературных героев, напоминая павленковского Воропаева — «человека для всех», но только современного Воропаева, современного «человека для всех». Он не просто удачливый хозяйственник-строитель, ему есть дело до каждого рабочего не только и не столько в смысле производственном. Балужев хочет и добивается, чтобы его сотоварищи жили, как писал Маркс, «по законам красоты».

Возьмите машиниста Лупанина, когда он тайком от друзей уходил в лес и там в укромном уголке покрывал красками фигурку, испытывая необычайное волнение от зыбкой ряби мазков, ощущая музыку красок, внезапно замирая, когда на фанерке возникало отдаленное подобие рябины на фоне осеннего неба... Нет, это не обычный, примелькавшийся случай, когда человек внезапно обнаруживает в себе другое призвание, а совсем иной, когда обстоятельства нашего строя содействуют развитию у рабочего, остающегося при этом рабочим, художественных интересов и пристрастий.

Так бывает у старателей — промывают, промывают порогу, и вдруг блеснет солнечным блеском найденное золото. Оно блеснуло тут и у Кожевникова, он действительно увидел в жизни и отразил в своей повести те черты нового, которые только рождаются в нашей действительности. И это, на мой взгляд, важнее того, что в повести не все слажено, того, что подчас публицистика врывается в нее и пристраивается, так сказать, самодействием героев.

Павленко писал свое «Счастье» на рубеже войны и мира, когда в трудной обстановке надо было поднимать из праха разрушенные города и села. Счастье — в борьбе, говорил его герой. Сегодня те былые отчаянные трудности уже позади. Но счастье по-прежнему в борьбе, в борьбе и во всей полноте жизни. Герои Кожевникова строят больше чем дюкер — они «строят» нового человека. Сходная, но самостоятельная мысль лежит в основе повести совсем молодого прозаика В. Аксенова — «Коллеги», напечатанной в журнале «Юность». Несмотря на свою молодость (а может быть, и благодаря ей), автору удалось разглядеть в жизни то свежее, новое, что растет не по дням, а по часам. Три его героя — Максимов, Карпов, Зеленин — три молодых человека на пороге самостоятельной жизни, три медика, только что покинувших институт. Пора оплачивать свой долг перед страной, перед обществом, найти свое место, начать делать жизнь на самом деле. Рассказано об этом живо, задорно, местами полемично и очень искренне. Быть человеком — вот девиз каждого из трех друзей. Идти туда, где трудно, не склоняться на компромиссы, работать, но только так, чтобы в труде вырастали крылья. Жить полнокровно — не аскетом, не жертвой, а дышать во всю глубину легких, вмещаясь во все. До всего — до справедливости, до науки, до искусства, до культуры чувств, до понимания прекрасного — тебе, новому гражданину, есть дело, самое прямое, самое непосредственное. Герои Аксенова живут действительно по большому счету, и в них — мужественных, прямых, колючих, благородных, внезапно открывающих в себе глубины самопожертвования, — в них проступают черточки этой гармонической личности будущего, чье воспитание — практическая задача дня.

Снова о повести в статье о романе? В. Назаренко уже упрекал нас за эдакое

нарушение хороших манер. Но что есть повесть? «Глава из романа», — говаривал еще Белинский. И он, первым в русской критике и русской эстетической мысли указавший на громадное значение романа в новой литературе, — он пристальным образом следил за развитием повести тридцатых и сороковых годов XIX века, видя в этом принципиальное явление русской литературы. И именно эти успехи повести подготовили последовавший вскоре расцвет великого русского романа. А сегодня повесть стала одним из самых боевых, самых чутких к требованиям времени и, пожалуй, одним из самых повторовских жанров литературы. Мы уверены, что ближайшее развитие нашего романа будет теснейшим образом связано с теми завоеваниями, которых сегодня добивается повесть.

Повесть ищет и находит в жизни нового героя наших дней. Повесть ищет и новую форму повествования о современности. В повести проявляются новые черты сегодняшнего процесса литературы. Надо очень чутко прислушиваться сегодня к повести. Хотя и не только к повести.

У В. Кожевникова в повести «Знакомьтесь, Балуев», явственно ощущается известное небрежение к канонической форме, видна нарочитая даже раскованность повествования. А в то же время автор все более активно вмешивается в повествование, временами он начинает говорить прямо о себе, о своих переживаниях по тому или иному поводу, включается в прямой и непосредственный разговор с читателем. Я. Эльсберг в своей статье «Нравственный опыт эпохи» («Литературная газета» от 14 июля с. г.) высказал верную, на наш взгляд, мысль, что сейчас происходят существенные «изменения в облике и героя, и автора, и читателя». В герое мы видим стремление к той полной до краев жизни, полноте чувств, к тому богатству и всесторонности души, о которых шла речь выше. Автор же все чаще и чаще стремится «заразить» читателя, ссылаясь на свой субъективный опыт, говоря о себе как личности — частице общей борьбы народа. Рождается особая форма в эпических жанрах — лирическая эпопея.

Нам думается, что Ю. Буртин в своей рецензии на «Каплю росы» В. Солоухина («Новый мир» № 7 с. г.) несколько сузил содержание этой повести, считая, что это лишь «энциклопедия деревенского детства».

Да, прекрасны в повести странички о детстве, о природе, о первых мальчишеских радостях. Великолепно все, что цитирует Ю. Буртин, равно как и то, что он не цитирует. Но право же, перед нами не советское издание «Детских годов Багрова-внука», а нечто совсем иное. Вспомним, как в дерзко-полюемическом, смелом романе В. Катаева «Время, вперед!» писатель, приехавший на стройку, ставит девизом — «в капле росы увидеть сад».

Вот и В. Солоухин задался сходной задачей: «Я люблю глядеть на свое село и обычным взглядом, и внутренним, как люблю глядеть на бесконечно маленькую округлую каплю хрустальной влаги, собравшуюся в зеленой ладонке листа посреди бесконечно огромного цветущего луга, на маленькое солнце, отразившееся в этой капле, на маленькие окрестные предметы, на маленького самого себя, отразившегося в ней же...»

Может, это «маленького самого себя» и ввело в заблуждение критика, но в том-то и состоит принципиальное значение повести В. Солоухина, что в ней происходит то удивительное чудо искусства, когда писатель пишет как будто бы только про себя, про свое личное, пережитое, а получается — про самое главное. Ведь сквозь чудесные пейзажи, сквозь теплые и задушевные воспоминания детства отчетливее и отчетливее выступает из повести история роста советской деревни в двадцатые, тридцатые, сороковые, пятидесятые годы нашего века, но история особая — она пропущена через сердце поэта.

...Вот в 1929 году впервые в Оленино приезжает подвода, груженная большим неуклюжим сундуком. Нет, это не зверинец, как думали иные, — это первая «культурная точка», привезшая сюда и первое радио и первое кино...

«О, эти первые немые кино в деревне под неровное жужжание динамомашин, эти крупные буквы на экране, задерживаемые подолгу и читаемые вслух хором, сразу пятью или шестью грамотеями, с одинаковой безразличной интонацией, что бы там ни было написано! Я сейчас не могу вспомнить, как переживали оленинские жители самый первый увиденный ими фильм, как не вспомню, о чем был этот фильм. Помню лишь всеобщий хохот, когда появилась на простыне маленькая беленькая собачонка.

На другой день сундук и ящик были

снова погружены на подводу. Блуждающая «культурная точка» — точка яркого света — пошла блуждать дальше в потемках русских равнин, если даже равнины эти были залиты июньским солнцем.

А лирический рассказ-воспоминание о первых уполномоченных, настоящих коммунистах Ирине и Лосеве, сумевших в спорах убедить (именно убедить, а не заставить) мужиков вступить в колхоз... Или два отрывка о начале войны:

«Николай Федорович в день объявления войны собрал митинг и произнес речь. Конечно, я теперь и задним числом мог бы в общих чертах написать речь председателя, ибо можно предположить, о чем он говорил в тот день. Но чего не помню, того не помню. Врезалась мне в память одна лишь горькая в конечном счете фраза:

«Ну что же, товарищи, я, ташкаты, думаю, что мы в Петров день будем, ташкаты, в Берлине чай пить».

Говоря это, он искренне верил в свои слова, и не его вина, что все оказалось гораздо, гораздо сложнее».

И второй:

«В августовские ночи на западе, там, где, если лететь птицей, должна находиться Москва, в черном небе начинали вспыхивать остренькие мгновенные золотые звездочки. Уже все знали, что это рвутся зенитные снаряды. А иногда красноватым клином озарялось ночное небо от лопнувшей тяжелой фугаски. Но тиха и безмолвна лежала ночь. Коростеля, кричавшего у реки, было слышно четко и явственно. И звездочки и красноватые вспышки появлялись в полной тишине, как если бы в немом кино или как если бы люди оглохли.

Между тем в село одна за другой стали приходить похоронные».

Это ведь все история, большая история, раскрытая через сердце и душу автора; здесь налицо новое единство, выражаемое формулой: судьба авторская — судьба народная. Вот почему мы говорим о лирической эпосе. И явление это шире и больше, конечно, чем приведенные выше примеры.

У нас идет интенсивный рост личности строителя коммунизма, рост его самосознания, культуры, расширение его духовного мира, рост его как деятеля и преобразователя. Наша жизнь больше и больше строится на принципах новой, коммунистической морали, принципах высшего товарищества, кровного единства личности и

народа, художника и общества. И как закономерность времени выступит в литературе новая форма, когда автор — членица народа, живущий с ним одними порывами, одними идеалами, участник общей борьбы — раскрывает эпоху и в объективных формах — через судьбы героев, через изображение событий, и в субъективных — через себя, свою личность, свои личные переживания, свой опыт. В мире, где нет трагического противопоставления художника и общества, такая форма лирической эпопеи становится одной из интересных и многообещающих форм. «Это было с бойцами, или страной, или в сердце было в моем» — эта формула Маяковского из «Хорошо!» сегодня наполняется новым содержанием, становится некой ведущей тенденцией художественного развития самых разных жанров.

В поэзии отчетливее всего мы видим это в поэме «За далью — даль». В драматургии — в «Иркутской истории» А. Арбузова. В статье М. Строевой «Поиски современного стиля» («Литературная газета» от 7 апреля с. г.) было очень верно подмечено, что арбузовские герои, простые, скромные люди, по своему характеру органически не способны произносить «высокие» слова о себе и своих делах — это как бы вне их жизненного стиля. А вместе с тем есть настоящая потребность в патетическом. И тогда автор вводит второй план в свою драму, план героический и патетический. Устами хора он говорит сам, давая философский и лирический, иногда проницательный, подчас возвышенный (а иной раз и сентиментальный — мы говорим сейчас больше о самом принципе, а не о том, как это удалось А. Арбузову) комментарий к происходящему. Попробуйте выкинуть хор — и пьеса сразу потеряет свое лицо. А меж тем не раз, так сказать, в кулуарах приходилось слышать: «Все хорошо в «Иркутской», но вот если бы убрать хор...».

Сходную тенденцию мы видим во многих произведениях прозы, в частности в «Дневных звездах» О. Берггольц, в «Ледовой книге» Ю. Смуула, в «Сильнее атома» Г. Березко. В статье «Солдаты идут на проверку» («Новый мир» № 4 с. г.), посвященной роману Г. Березко, С. Бабаньшева отрицательно отнеслась к авторским отступлениям в конце каждой главы: «Современность не в отступлениях», «Современность — в героях», «В междуглавьях

этого естественного дыхания нет... Они мешают, но, к счастью, их не так уж много». Да, современность прежде всего в героях. Да, у Берзко эта потребность времени выражена, может быть, прямолинейнее (следовательно, с меньшим успехом), чем у других. И при всем этом, на мой взгляд, отступления у Берзко таковы, что веришь — автор «не мог их не написать», они в русле времени; стоит поставить их в общий ряд явлений литературы и увидишь, что это приметы одной общей тенденции наших дней.

Она, эта тенденция, в раздумье и осмыслении. Философском и эстетическом. О времени и о себе. Причем о себе как частице общего, как бойце великой армии строителей коммунизма. Поэтому тут нет почвы

ни для какого эгоцентризма. Но это одна из граней процесса расцвета личности в коммунистическом обществе.

И нам хочется закончить наши споры о путях романа таким предположением. Не будет ли роман ближайшего будущего, большой роман эпохи коммунизма, органическим слиянием подобного рода лирической эпопеи с тем углубленным, пластическим, разносторонне глубоким изображением характеров, которое ныне заметно прежде всего в лучших наших повестях. В этом романе будет и панорамность, глубоко эмоциональная, пережитая и осмысленная, и характеры, данные во всем многообразии и величии.

Будет ли именно так — покажет ближайшее будущее.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Гоффеншефер. Поэма о героях.— **В. Огнев.** Молодой поэт и его критика.— **А. Берзер.** Веселые рассказы.— **З. Паперный.** Смех Саши Черного.— **М. Злобина.** Мертвые остаются с живыми.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Шарнов. Счастье и мир — народам! — **В. Спасский.** Словарь семилетки.— **И. Миндлин,** кандидат исторических наук. Надежный спутник.— **А. Байнова,** кандидат исторических наук. Заря над арабским Востоком.

Литература и искусство

Поэма о героях

Мальчик Сосланбек, подручный на черепичном заводе, сделал из глины чудесную свистульку, поющую соло-вьем.

Старый мастер Демид Фаддеевич стал внимательно разглядывать свистульку, а потом взволнованно что-то сказал Сосланбеку по-русски. «...Но из всех слов Сосланбек разобрал только одно — «талаит» — и то потому только, что по-осетински «тала» значит — молодое дерево. Правда, он не совсем понимал, почему Демид Фаддеевич называет его молодым деревом, но подумал, что, наверное, старик хочет сказать: ты, мол, пока еще молод, но придет время — и превратиться в могучее, крепкое дерево. «Это, должно быть, большая похвала», — решил Сосланбек».

Вряд ли Мамсуров хотел придать этому интересному, но все же проходному эпизоду особое значение. А звучит он символически. В первой книге «Поэмы о героях»

рассказывается о той людской порости, которая сквозь гнет социального и национального бесправия в старой России пробивалась навстречу светлому будущему.

Да, это роман о становлении революционера «из низов», повествование о том, как рано осиротевший сын крестьянина-бедняка уже с детства познает социальные противоречия, тяжкую жизнь обездоленных, жадность и лицемерие богачей, о том, как он безуспешно искал выхода из своего нищенского существования и как, попав на фронт первой мировой войны, встал на путь революционной борьбы за освобождение трудящихся.

Мы читали об этом, и читали неоднократно, в романах, написанных на русском и украинском, на латышском и татарском и многих других языках Советской страны. Но каждый раз мы читаем об этом впервые. «Сюжетная схема» одна и та же — она подсказана самой жизнью. У людей и народов схожие судьбы. Но люди и народы разные. Писатели пишут об одном, но пишут по-разному. И, прочитав, например, роман якута Николая Мординова «Весенняя пора», не скажешь о романе осетина

Д. Мамсуров. Поэма о героях. Роман. Книга первая. Авторизованный перевод с осетинского Ю. Либединского. Редактор С. Бинчентаева. 276 стр. «Советский писатель». М. 1960.

Дабе Мамсурова: «Я уже об этом читал» — хотя между судьбой и образом юного героя из страны, откуда, по старому осетинскому выражению, «письма приходят мёрзлыми», и судьбой и образами юных осетин Гаппо и Сосланбека много общего.

...Умирал бедняк Ботас Борзов, тщетно пытавшийся в 1905 году завоевать лучшую жизнь. В предсмертном бреду померещилось ему, что «власти в Петербурге» решили наконец разделить землю между бедняками. И ему все казалось, что он опаздывает к разделу.

Умирал «старший в роду». А рядом почтительно стоял младший брат, богатеи Джамбот, и думал, как бы лучше использовать возлагаемые на него обычаем обязанности, чтобы присвоить нищенский надел брата — «половину сороковой доли десятины». Он тоже боится опоздать. Одним мазком, изображая настороженный, бегающий взгляд скрытного и жадного Джамбота, писатель показывает всего человека. «Будто он боится чего-то не доглядеть, пропустить что-то важное. «А вдруг случится на белом свете что-нибудь такое, из чего можно выгоду извлечь, а я вовремя не замечу?»

Почтительный брат пастоял на том, чтобы были устроены помники и что обязательно — как же преступить обычай! — покойника «помянуть надо тем, что он сам ежил». И осиротевшая семья лишается своей кормилицы — единственной коровы, а жадный родственник приобретает еще один шанс для закабаления вдовы и сирот.

История взаимоотношений осиротевшей семьи с Джамботом представляет собой социально-бытовую завязку романа. Как и ряд других эпизодов романа, она окрашена специфическим колоритом, свойственным народам Северного Кавказа, где капиталистические отношения переплетались с патриархально-родовыми пережитками и сложным бытовым этикетом, законодательницей которого была в прошлые века могущественная Кабарда (осетины были ее данниками). Родственные отношения и традиционные обычаи осложняли здесь классовую борьбу значительно больше, чем, скажем, в русской или украинской деревне.

И мы не удивляемся тому, что уже после революции молодой большевик Гаппо Борзов, спасая любимую девушку, которую насильно выдают замуж, не только ссылается на новые законы, но и обращается к стар-

шим в роду, почтительно прося их переменить свое решение.

Или другое. Для крестьянства Северного Кавказа была еще и в предреволюционные десятилетия характерна фигура «справедливого разбойника», которая у других народов уже отошла в область преданий. Кавказский абрек — явление специфическое. Порожденное социальным протестом и национально-освободительной борьбой, абречество в то же время впитало в себя и древние традиции узаконенных обычаем разбойных набегов, а в годы гражданской войны уже смыкалось с контрреволюционным бандитизмом. В Осетии конца XIX века абречество, как писал в свое время Коста Хетагуров, порождалось безземельем крестьян, их стремлением спастись от каторги и острога. Оно и в начале нашего века еще было своеобразным выходом для социального протеста. Это хорошо показано, например, в романе Е. Уруймаговой «Навстречу жизни», перед одним из героев которого встает и такой выход.

Встает этот выход и перед героем романа Мамсурова, Гаппо Борзовым. После того как он возглавил избивание пристава и стражников, приехавших собирать налоги, Гаппо уходит в лес вместе со старым абреком Муссой. Но путь мести и разбоя не путь того, кто стремится к борьбе за свободу. Гаппо порывает с Муссой, предоставляя восхищаться этим легендарным абреком своему младшему братишке Сосланбеку.

Это лишь отдельные примеры своеобразия той среды, в которой развивается действие романа. И трудно в небольшой рецензии остановиться на всех сюжетных обстоятельствах и бытовых чертах, которые выражают это своеобразие. Немалую роль в воспроизведении на русском языке колоритных описаний людей и событий старого осетинского селения сыграл перевод Ю. Либединского, хорошо знавшего жизнь Осетии и много сделавшего для развития ее литературы. «Поэма о героях» была его последним переводом. И, читая его, видишь, как писатель-переводчик стремился бережно донести до русского читателя не только этнографические детали, но и национальные особенности повествовательной и диалогической речи. В частности, хорошо, что он не стал заменять осетинские пословицы и поговорки сложими по смыслу, но не передающими национальной окраски пословица-

ми и поговорками русскими. (Разве может, например, «клин клином вышибать» заменить осетинское «собачий укус собачьей же шерстью лечат» или «тише воды, ниже травы» — осетинское «ниже травы, послушнее баранты»!)

Наиболее привлекательны в романе главы о детских годах братьев Борзовых. Драматичны страницы о безрадостной и не по летам напряженной жизни Гаппо, который с десяти лет стал «старшим мужчиной» в доме и в сущности был лишен детства. Он не только сирота, но и «сын бунтовщика», которого староста Темыр изгоняет из школы. Мальчик, а затем юноша Гаппо борется и за кусок хлеба для семьи и за свое человеческое достоинство. В изображении этой борьбы Мамсурову удалось показать волю, смелость, непримиримость к злу — те черты героя, которые заставляли его не только болезненно воспринимать социальную несправедливость, но и давать активный отпор обидчикам и притеснителям, тому же старосте Темыру, офицеру Зембатову и другим.

Можно было бы сказать, что в образе младшего брата Гаппо, Сосланбека, с лихвой восполняется то озорное и неповторимо радостное, что присуще любому, даже тяжелому, детству и чего лишен был Гаппо. В Сосланбеке мы находим и трогательно-детское и определенный характер, причем характер «кавказский». Как верно изображена, например, детская непосредственность и отходчивость в эпизоде, где Сосланбек безуспешно пытается унять расплакавшуюся сестренку Фырду!

«Ее плач стал совсем тоненьким и жалобным, таким жалобным, что даже суровое сердце Сосланбека смягчилось и он тоже заплакал. Они плакали громко и долго. Плач их сливался и под конец стал похож на заунывное пение. Это показалось детям забавным, они переглянулись и, фыркнув, весело рассмеялись. Мир был восстановлен».

Но вот Сосланбек, притворяясь спящим, прислушивается к приглушенному рыданию обездоленной матери и думает о том, что он пожертвовал бы жизнью ради нее. Вот он мечтает о том, каким будет сильным и как накажет всех, кто обижает его семью. Маленький джигит не позволяет себе проявлять слабость даже во сне! Однажды, проснувшись в кровати, куда его, нечаянно заснувшего, уложила мать, «он представил

себе, какой он был вялый и беспомощный во сне, и ему стало стыдно». Тринадцатилетний мальчик стремится к мужеству борца. Детское озорство сменяется целенаправленностью, которую он передает и своим сверстникам-друзьям, с детской хитростью сочинив для них сказку-подсказку о нерушимой дружбе отважных борцов. Детская враждебность к кичливому сынку богача, у которого он батрачил, оттесняется на задний план ненавистью к угнетателям.

Образ Сосланбека иногда затмевает своей яркостью и убедительностью образ Гаппо, в котором с того момента, как герой покидает пределы родного селения, начинает проявляться схематизм.

При повествовании о детских и отроческих годах Гаппо его образ, проявление его чувств, становление его сознания предстают перед нами во всей своей жизненной убедительности, потому что все это показано в реакции героя на окружающую его обстановку, на возникающие перед ним препятствия в тяжелой борьбе за существование и человеческое достоинство. Но когда Гаппо попадает на фронт, эта убедительность и конкретность пропадают. За исключением эпизода первого боя (и то спорного в психологическом отношении), повествование начинает здесь приобретать информационный оттенок.

Вот пример такой информационной биографической справки: «В роте Гаппо полюбили. Начальство тоже хорошо относилось к нему. Он был храбр и дисциплинирован. За отвагу, проявленную в одном из боев, его снова представили к награде». Мы не видим ни обстановки в роте, ни того, за что там полюбили Гаппо, ни того, за что к нему хорошо относилось начальство. Казалось бы, все здесь должно было быть сложнее, и нас, например, очень интересовало, как будет вести себя свободолюбивый, натерпевшийся от начальства и ненавидевший его осетинский джигит в царской армии с ее жестокостью дисциплины. Но все оказалось очень просто, и написано об этом безотносительно к изображенному характеру. Этот общий недостаток — замена изображения действия кратким сообщением об этом действии — проявляется и в других моментах повествования.

Один из важных моментов — становление революционного сознания Гаппо на фронте. Следуя, очевидно, типической биографии реальных Борзовых, писатель вывел героя

за пределы родного села в большой мир, где шла кровавая война. Казалось бы, это сделано было для того, чтобы герой мог, столкнувшись с этим большим миром, познать его непримиримые противоречия и на собственном ли опыте, в столкновениях с этими противоречиями, в размышлениях о них или наблюдая и узнавая о них, — глубже осознать то, что он стихийно ощущал, страдая и борясь в своем маленьком деревенском мире.

Но, к сожалению, атмосфера первой мировой войны как народного бедствия, периода обострения классовой борьбы в тылу и на фронте изображена в романе слабо. Из всех способов познания героем смысла и бессмысленности войны, осознания классовых противоречий, ярко вскрытых ею, автор отдал предпочтение опять-таки информации.

Гаппо не познает классовых противоречий на собственном фронтовом опыте и не видит их в окружающей обстановке: ему о них рассказывают. Главная роль отведена здесь встрече Гаппо в госпитале с большевиком Бражиным и его безымянным соратником («солдат с забинтованной ногой»), которые рассказывают молодому осетину о революционной борьбе, о событиях девятого января 1905 года, о том, что царь стоит на стороне помещиков и капиталистов, что трудящиеся должны сами сообща завоевать свободу. Узнав из пропагандистских речей об основных классовых противоречиях и противоположности интересов капиталистов и трудящихся в развернувшейся войне, Гаппо сам становится пропагандистом.

Мы вовсе не собираемся упрекать Мамсурова за то, что он описал случай, когда человек дошел до революционной правды не самостоятельно, а узнал о ней из уст более опытных борцов. Так узнавали о ней тысячи и миллионы. Но если пребывание в армии описано так, что оно ничего не внесло во внутреннюю подготовку героя к поискам и восприятию этой правды, то зачем же было отправлять его на фронт? С таким же успехом он мог встретиться с революционером типа Бражина и у себя в Осетии. Без внутреннего оправдания все «военные» главы выглядят как лишний необходимый путь к этой встрече, как дань типической биографической схеме.

Кстати, методы, которыми Бражин проводит революционно-пропагандистскую работу в госпитале и на фронте, чрезвычайно

неубедительны с точки зрения простейшей концепции. В романе описывается, как в 1914 году раненые солдаты ежедневно собираются во дворе госпиталю («на солнышке») вокруг Бражина, который громко и открыто — ни дать ни взять политрук среди красноармейцев! — проводит с ними беседы насчет необходимости свержения царского строя. А неизвестным, новеньким раненым, подошедшим к собравшимся солдатам, старый соратник Бражина здесь же докладывает о революционной биографии товарища. И примерно так же, «влюб», проводится пропаганда и на фронте.

Мне кажется, что важно было остановиться на недостатке романа, касающемся развития образа главного героя, образа, которому грозит опасность превратиться в биографическую схему. К сожалению, мы лишены возможности судить о том, ощущается ли это во второй книге романа, уже вышедшей на осетинском языке. Но Мамсуров продолжает работу над давно начатым им романом, и важно обратить внимание автора интересного произведения на эту опасность.

В. ГОФФЕНШЕФЕР.

Р. С. Должен признаться, что я говорю о достоинствах и недостатках романа Мамсурова с некоторой робостью. Дело в том, что недавно (см. «Литература и жизнь» от 3 июля с. г.) А. Дымшиц нашел неубедительной напечатанную в пятом номере «Нового мира» мою рецензию на первую книгу романа Г. Серебряковой «Похищение огня» — в первую очередь потому, что я судил о жанровых особенностях, достоинствах и недостатках произведения, «прочитав одну часть нового романа», то есть опубликованную летом 1959 года первую книгу, и «не дождавшись развития ее тем и образов в последующих главах (появившихся в нынешнем году)», то есть, если выразиться более внятно, не дождавшись появления глав книги второй, которые начали печататься в журнале «Дон» в 1960 году (и которые, кстати сказать, в принципе истощения произведения ничего нового не вносят).

Этот воистину «новаторский» запрет писать об опубликованной первой книге романа ошеломит многих наших критиков, совершавших «грех», подобный моему, и не отложивших, например, на десятилетия оценку первых книг «Тихого Дона», «Под-

пятой целины», «Последнего из удэге» и других романов.

Единственным утешением для нас является то, что А. Дымшиц, осудив плохую привычку писать о первой книге романа, сам не отложил сейчас же в сторону свое перо и не воздержался от оценки далеко

еще не законченного произведения. Как говорится в восточной поговорке, «поучения мулы для самого мулы необязательны».

Личный пример А. Дымшица несколько приободрил нас и заставил все же не отказываться от оценки первой книги романа.

В. Г.

★

Молодой поэт и его критика

Может потому, что много новидали глаза молодого поэта (он родился в Умани, работал в Донбассе, учился в Сибири, служил в армии на Дальнем Востоке), в стихах Л. Завальнюка сложились очень симпатичный, располагающий к доверию «лирический герой».

И герой этот рос вместе с автором за те годы, когда в Амурском областном издательстве вышли три его книжки. И названия у них характерные: «В пути» (1953), «За отступающим горизонтом» (1956), «На дорогу времени» (1959).

В первой книжке (правда, мало самостоятельной) живет радостное ожидание успехов, утверждение права на романтику, ощущение ритма времени:

В мартенах и домнах, что заревом к ночи,
Миллионы страстей неумных клокочут,

А в каждой версте листового железа
Звучит, не смолкая, звучит марсельеза!..

И темы стучатся, «стучатся в обложку блокнота». И в них волнующее нетерпение и беспокойство.

Вторая книга вышла в 1956 году. В ней лучше всего баллады. В них — слава упорству, воле, бескорыстию трудового человека, бескорыстию, «жестокости, как правда, на-сущности, как солнце». Суров колорит этой книги. В жизни не все оказалось так просто, как это кажется в детстве.

Но вот от условной романтичности первой книги, через балладную собранность и жесткость второй Завальнюк пришел к книге «На дорогу времени».

Не пропала романтика. Она теперь вылилась естественно, как звонкая казачья песня из-за поворота, на дороге, обсаженной тополями:

Л. Завальнюк. На дорогу времени
Стихи. Редактор О. Мамонтова. 78 стр.
Амурское областное издательство. Благовещенск. 1959.

Росы по колено,
Через зелена
До конца вселенной
Проводи меня.

Я прошу не многого —
Чтоб не пасть в бою,
Дай мне на дорогу
Молодость свою.
И пойдй у стремени
На закате дня.

На дорогу времени
Проводи меня!

Новое сказалося не только в раскованной песенности — в психологизме детали, портрета, характера. Человечность, простота, поиск глубины — вот что принесли Завальнюку эти годы.

Вот какие дела —
Мать у меня умерла.

Так начинается одно из скорбных стихотворений. И эта сдержанность и простота первой строки — как вздох сильного человека; какие слова выразят безмерность боли?

Он пишет портреты: фронтового художника, солдата-философа, пленного германца гравера, что передает свой опыт колхозному кузнецу. Это люди простого и ясного взгляда на жизнь, люди труда.

Немец, вернувшись из русского плена, слушает новые призывы к войне.

Большие руки положи на стол,
Он все сопит
И курит,
курит.
курит.

Поиск естественности сопровождается издержками. В ряде стихов мысль как бы недописана, происходит, как говорят фотографы, недодержка в закрепителе, контуры смазаны. Особенно это касается дневниковых его записей — посланий друзьям, разговоров с самим собой, с любимой.

Стремясь уйти от формальной скованности, Завальнюк думает, что непринужденность речи — единственное лекарство. Это не так. Шаблонность формы, затверженные поэтические ходы — от безмыслия. Горячая потребность в высказывании, насущность слова, с которым поэт обращается к людям, — только это (разумеется, при наличии таланта) способно преодолеть инерцию поэтического красивогоговорения ни о чем.

Л. Завальнюк растет, формируется как поэт. Душевная чистота, правдолюбие, несуетность его поэзии подкупают. Но в стихах молодого поэта еще многое «дозревает». Можно было бы и не рецензировать его книги, подождать — пусть сам поищет, благо поиски эти — как по всему видно — плодотворны.

Но взяты за них заставило меня появление в «Амурской правде» подвальной статьи о сборнике Л. Завальнюка, статьи, которой свойственна одна очень распространенная в критике ошибка. Считают, что эпос в чем-то «прогрессивнее» лирики, поскольку выражает «объективных героев», а лирика по природе своей вроде как индивидуалистична, так как «конается» в душе (или того хуже — «душонке»). А того, что все дело в качестве души и отличии ее от «душонки», никак почему-то не хотят понять.

Критик из «Амурской правды» признает только один тип стихотворения — описательного, сюжетного, с неизменным «мы».

Но молодой поэт явно идет по другому пути. То вдруг заявит: «Я один в этот вечер. Я за Родину пью!», то, будто ему не с кем поговорить, заладит «серьезный» (!) разговор с... птицей (недалеко и до «птичьего» языка) и т. д. и т. п. В общем, критику ясно, что здесь явные уступки «душонке» за счет показа «черт действительности». Есть отчего насторожиться.

В самом деле, отчего это поэт решил, скажем, пить в одиночку в канун Нового года? Почему он «тихонько за локоть свою память» берет (жест этот покорибил критика)?

Перечитаем стихотворение «Тост», и перед нами встанет... Родина, киевские каштаны, догорающие на осеннем ветру. эшелоны, ползущие на восток, первая фугаска. друзья,

С кем сидели за партами,
С кем играли в войну.

Почему же грустно звенят колосья в памяти? Да потому,

Что б я в жизни ни делал,
Чем бы ни был богат,—
Все мне видится Слеза
Да над Росью закат.

Вот и все: украинцу видится его земля, где он вырос, где схоронена мать. Парню, очутившемуся на другом конце необъятного государства, у берегов Амура, взгрустнулось... И вот перед ним — вся Родина. С нею с глазу на глаз остался поэт.

Много прожито, пройдено,
Но покоя мне нет.
Я люблю тебя, родина,
С тех мальчишеских лет.

Герою «нет покоя», но ничего другого ему «не надо»!

А критик увидел, прочитал, запомнил лишь строчки:

Ничего нам не надо.
Не грусти, старина!
Корка черного хлеба
Да бутылка вина.

Лирическая пота, вступление взяты как вы в о д. А концовка:

Я один в этот вечер.
Я за Родину пью! —

ничего ему не сказала. А жаль! Стихи, между прочим, надо дочитывать до конца.

Серьезным, умным разговором о долге человека оборачивается и «беседа» с грачом. У поэта ясный прищел: он против тех, чей удел «козявку находить», хоть ходят они в «черных фраках». И от жизни и от искусства ждет поэт правды и практической работы во имя этой правды.

Ах, хороши твои дела!
И мне б ходить в грачах.
Служить бы вестником тепла
На даровых харчах.
Но должность данная как раз
Природе не нужна.
Уж если взрезан первый пласт,
То все равно весна.

Умные стихи! Ко времени сказанные. Над ними задуматься бы тем «творцам, певцам», кто не понял до сих пор, что весна в жизни начинается не со слов, а все-таки с дела. Нет для поэзии другой, более высокой

цели, как помочь взрезать новый пласт жизни, как чувствовать, что не на «даровых харчах» служишь ты человечеству.

Нет, ошибается критик «Амурской правды». Служить живому делу, которым занят народ, быть на уровне века не значит напыщенно восклицать или заниматься фото-

графией в рифму. Сегодняшний день поэзии — в мысли о жизни. И жить поэту надо так, как живет народ, — в постоянном движении к новому.

Как живут, так и пишут,
Иначе не бывает.

В. ОГНЕВ.

★

Веселые рассказы

Не хочется, чтобы эта тоненькая книжка затерялась среди многолистных «взрослых» произведений минувшего года. Имя ее автора — Виктора Голявкина — мы узнали впервые, книга его «Тетрадки под дождем» предназначена для самых маленьких школьников. Но, как всегда бывает, чем лучше книга для детей, тем шире всевозрастной круг ее читателей.

Книга состоит из своеобразных рассказов. Рассказы — очень маленькие, по внешности как бы случайные зарисовки событий детской жизни, иногда они состоят из одних ребячьих диалогов, иногда из полустраничных монологов.

Большей частью рассказ ведется как будто бы кем-то третьим из ребят — соседом по парте или просто одноклассником, маленьким наблюдателем со стороны, а порой и участником нехитрых историй, запечатленных в рассказах.

Неотъемлемой частью этих историй являются рисунки автора к книге — не просто иллюстрации, а изнутри, активно действующие «пружины» повествования.

...Круглые лукавые ребячьи лица, вздернутые носы, тощие косицы с бантами, и первый раз в жизни надетые формы, первые мучительные дни за партой, первые школьные игры и отчаянные драки.

Рассказы и рисунки, подчиняясь общему замыслу, написаны в одной манере, отмечены одним почерком.

Сначала может показаться, что это детские рисунки. Тот же огромный, неровный, обрамленный лучами шар солнца, те же травинки и корявые цветочки, та же нескладная снежная баба... А вот забрызганные чернилами первые буквы, неуверенные, неровные, смешные каракули, которые словно перекочевали в книгу из тетради первоклассника.

Виктор Голявкин. Тетрадки под дождем. Редактор Н. Страшнев. 46 стр. Детгиз. И. 1959.

Но за всем этим сразу угадываешь точную руку веселого, любящего детей человека.

И в самих рассказах автор как будто бы никак не вмешивается в ребячью жизнь, так свободно и естественно рассуждают и ведут себя герои.

«Я пуговицу себе сам пришил, — рассказывает один из них. — Правда, я ее криво пришил, но ведь я ее сам пришил! А меня мама просит убрать со стола, как будто бы я не помог своей маме — ведь пуговицу я сам пришил! А вчера вдруг дежурным назначили в классе. Очень мне нужно дежурным быть! Я ведь пуговицу себе сам пришил, а они кричат: «На других не надейся!» Я ни на кого не надеюсь. Я все сам делаю — пуговицу себе сам пришил...»

Маленький хвастунишка, с упоением повторяющий одну и ту же фразу, захлебывающийся в словах от собственного величия, показан очень точно, насмешливо.

Трудно передать содержание этих рассказов, хотя они совсем маленькие, так же трудно, как изложить «своими словами» подлинную речь ребенка:

— У тебя правда нога болит?

— Никакая нога у меня не болит!

— А у тебя в животе правда колет?

— Ничего у меня в животе не колет.

Ловко мы с тобой в классе остались!

— Ребята сейчас там на физкультуре прыгают, а мы с тобой просто сидим — красота!

— Эх, хорошо просто так сидеть!.. Давай через парту прыгать!»

Но речь детей течет не «сама собой», как это может показаться. Есть в этих полных юмора лаконичных картинках из детской жизни своя воспитательная цель, хотя видно, что В. Голявкин пуше смерти боится лобового морализирования.

«Трудно сказать, что Пете делать...» — так кончается один из рассказов о Пете, который «часто опаздывал в школу. Навер-

ное, он не мог встать пораньше. А то бы он не опаздывал». Он очень запутался в жизни, бедняга Петя. И домой записку не передал и в класс поэтому идти боится. И вот он второй день приходит в школу и сидит в гардеробе. В. Голявкин не поучает своего героя, не наказывает его, он даже сочувствует ему, но вместе с тем показывает, как Пете невыносимо скучно сидеть одному в гардеробе. «И от скуки Петя уснул», все ребята разошлись, а Петя сидит один и думает...

Так впервые задумываются над жизнью маленькие герои, первые несложные трудности встают перед ними, впервые пробуждается еще не осознанное чувство долга и ответственности.

И «поучение» писателя идет в той форме, которая ближе всего его читателю: весело или скучно, смешно или уныло, неинтересно или увлекательно — вот эмоцио-

нальные художественные оценки в его рассказах.

А писать об этих малышах, поджав губы, без улыбки, невозможно; уж очень они милые и занятные...

Без улыбки написано только предисловие к книге: «Герои рассказов — школьники первого и второго классов. Много самых неожиданных событий происходит с ребятами. Они еще не понимают, с какой добросовестностью надо относиться к учебе, соблюдать правила поведения.

Но не только о том, как ведут себя ребята в школе, пишет Виктор Владимирович Голявкин, — во многих рассказах события происходят на улице, во дворе, дома...»

К кому обращены эти унылые слова и как попали они в эту веселую книгу?

А. БЕРЗЕР.

★

Смех Саши Черного

Перечитывая стихи Саши Черного: его язвительные сатиры, острые бытовые зарисовки, сценки, шуточные послания, иронические песенки, сатириконские памфлеты, мы снова ощутили неповторимость его остроумия, неожиданного, парадоксального, зоркую наблюдательность, способность увидеть смешное в самом обыденном и повседневном.

Реакция, наступившая после поражения революции 1905 года, разброд среди буржуазной интеллигенции, «рыцарей на час», еще вчера щеголявших красными бантами, духовной застой и бескрылость — вот время, когда развернулось сатирическое дарование поэта.

Саша Черный умеет несколькими деталями показать разительное несоответствие между претенциозной внешностью и скрытой сутью своих персонажей — полунинтеллигентов, полулюбителей.

Как весело-беспощаден он, например, к обществу гостей, собравшихся на даче у художницы Ванды: «Провизор, курсистка, певица, писатель, дантист и девица». Все выглядит очень мило, идет непринужденная беседа, каждый демонстрирует свой талант. Но, рисуя поочередно портреты выступаю-

щих, сатирик ведет своего рода «двойной сюжет»: хозяйка любезно предлагает печенье и чай, но про себя клянет собравшуюся «банду».

Писатель, за дверью на полке
Не видя своих сочинений,
Подумал привычно и колко:
«Отсталосты!» И стал в отдалении,
Засунувши гордые руки
В трико́вые стильные брюки.

Пускающая рулады певца раздосадованно умолкает: «Не просят! Невежи...»

Своеобразный «концерт» на дачной скрипучей веранде оказывается всего лишь жалкой игрой маленьких самолюбий.

Кажется, сатирик неистощим в изобретении новых и новых «поворотов» для разоблачения скуки и ничтожества российской чиновничье-мещанской жизни.

Стихотворение «Колумбово яйцо» он пишет торжественным гекзаметром — так еще резче оттеняется мелкота героя-квартиранта, который философствует:

Из мышеловки за дверь вытряхал
мышонка для кошек...

Саша Черный превосходно владеет оружием сатиры, он поражает свою мишень одним определением, эпитетом, неожиданным и точным. «Парфюмерная улыбка», «Холо-

С а ш а Ч е р н ы й. Стихотворения. Редактор В. Киселев. 632 стр. «Библиотека поэта». «Советский писатель». Л. 1960.

док публичных глаз», «Построчная истерика тоски» — каждое слово как удар, как пощечина.

При этом сатирик не ограничивается изображением быта. Он хорошо передает политическую атмосферу эпохи реакции. Замечательное мастерство проявляет он в «пейзажах». Поэт описывает природу, как будто ни о чем другом и не думает, но вы ощущаете за природой совсем иное — приметы времени, общественного уклада. «Пейзаж» оказывается превосходным сатирическим средством.

Вот лишь несколько строк:

Не справляясь с желаньем начальства,
Лезут почки из сморщенных палок,
Под кустами — какое нахальство! —
Незаконное скопище галок,
Ручейков нелегальные шайки
Возмутительно действуют скопом
И, бурля, заливают лужайки
Лиловатым, веселым потоком.
Весцензурно чирикают птицы,
Мчатся стаи беспаспортных рыбок...

Сколько издевки в этой кажущейся идиллии, сколько веселого и злого презрения к полицейшине, к цензуре, ко времени, когда любое проявление воли и мысли оказывалось под запретом. И каким откровенным вызовом звучат эти «весцензурно» чирикающие птицы и «нелегальные» ручейки!

Читая книгу, изданную «Библиотекой поэта», мы не раз думали: какой веселый поэт Саша Черный! Но чем ближе знакомимся с его стихами, тем больше к этой мысли примешивается другая и — прямо противоположная. За насмешкой, остротой, каламбуром чувствуешь усталость, безысходность.

Поэт вслушивается в пасхальный перезвон, но и в веселом, призывном шуме праздника слышит печальную мелодию: оставь надежды на перемены, не тепись иллюзиями.

Вот это стихотворение — одно из лучших у Саши Черного:

Пан-пьян! Красные яички.
Пьян-пан! Красные носы.
Вили-бьют! Радостные личики.
Бьют-били! Груды колбасы.

Дал-дам! Праздничные взятки.
Дам-дал! И этим и тем.
Пили-ели! Визиты в перчатках.
Ели-пили! Водка и крем.

Пан-пьян! Наливки и студни.
Пьян-пан! Воль в животе.

Вили-бьют! И снова будни.
Бьют-били! Конец мечте.

С удивительной силой и художественной наглядностью показан здесь «диалог» жизни и поэта. Впрочем, это даже не совсем диалог. Каждая строка как будто перерезается пополам. За колокольными ударами, выкриками, репликами пьющих, едящих, играющих, торгующихся людей — как глухое эхо, голос самого поэта. его тихий, убийственный комментарий.

Внешне довольно громко и празднично звучат колокольные «голоса» Но это лишь первое впечатление — оно тут же рассеивается. Весь этот «перезвон» состоит из нескольких монотонно повторяющихся слов — перед нами все тот же круговорот обывательского бытия, бесцельного утробного существования.

Поэт даже не обличает, не впадает в пафос. Его речь состоит не из развернутых фраз, а из отдельных слов — он ставит рядом «красные яички» и «красные носы», «радостные личики» и «груды колбасы». Так создается сатирический портрет жизни полудоушевленной, жизни, где рифмуются «будни» и «студни». А ведь это, казалось бы, праздничные, пасхальные стихи!

Как никто другой, Саша Черный владеет даром показать нечеловеческий характер чиновничьего, обывательского, бюргерского — в стихах о заграничье — прозябания.

Часто его персонажи выступают как «полуживотные» существа. Они только называются людьми, но взгляните получше: в клетках верещат канарейки, а за столом — «в таком же роде деликатный дамский хор». Герои другого стихотворения — кавалеры-жеребчики, прыгающие вокруг девицы.

А вот еще один «экземпляр» — околлитературная особа, о которой сказано так:

Девица с азартном макаки
Смотрела писателю в баки.

Дама, улыбающаяся, как тарань, прячущая свои «рыбы кости» в нежно-розовую ткань; господа с «телячьими улычками», в жилетах «орангутангских тонов» — таков мир героев Саши Черного, мир торжествующего примитива, человекоподобной животности.

С этим связан еще один характерный, настойчиво повторяющийся мотив: жизнь олицетворяется поэгом в образе... безликого,

безглазого существа. Мелькают чьи-то руки, бедра, зады —

Но над ними—будь им пусто! —
Ни единого лица!

Перед нами проходят люди с «безглазыми глазами», похожими на два пупка, с лицами-масками, слепые старики с пустыми глазницами; мы видим «мутные стекла как бельма», фонари — тоже как бельма. И все это безлико, бездушно, безжизненно.

Есть что-то механическое, марионеточное в изображенных фигурках: они не живут, а симулируют жизнь, притворяются живыми, веселыми, влюбленными. И автор как бы предупреждает читателя: не верьте, все это бутафория.

Особенно зло, с откровенной издевкой звучит рассказ о любви, вернее о том, что эти «чучела» выдают за любовь.

У пожилого конторщика Банкова роман с сослуживицей — некой девицей Керних. Этот «роман» начинается со справки о накладных. Чего еще можно ожидать от персонажа с фамилией Банков? Он неожиданно поцеловал ее. Она в ответ облобызала его «галстук, баки и усы» — спокойно, полуплениво, «с вялой прытью». После этого они, подсчитав свои оклады, решают их объединить — сочетаются не два человека, а именно два оклада:

Мой оклад полсотни в месяц,
Ваш оклад полсотни в месяц.—
На сто в месяц в Петербурге
Можно очень мило жить.

И они живут «очень мило» и бессмысленно, живут неизвестно для чего, рождаются дети — маленькие Банковы, завтрашние буржуйчики, тоже неизвестно для чего. И в этой привычной будничной бессмыслице — самое страшное. Стихотворение так и называется «Страшная история».

Смех — последнее прибежище поэта. Со всех сторон обступают его герои безвременья — продажные новременские журналисты, «знаменитости без лиц», «брандахлысты в белых брючках», раскормленные содержанки, лавочники, мещане, обитатели застойного тараканьего царства, «толстые, важные и седые политики» с их неизлечимой народобоязнью, думские деятели, большие и малые держиморды, азефы...

Все это — мишени сатирика. Но порою кажется, что сатирик ведет бой, не надеясь его выиграть, он не в силах больше скры-

вать усталость, горечь, неверие. И дело не в отдельных срывах — такова природа смеха Саши Черного. Пожалуй, точнее всего сказал об этом сам поэт:

Когда душа мрачна, как гроб,
И жизнь свелась к краюхе хлеба,
Невольно подымаешь лоб
На светлый зов бродяги Феба,—

И смех, волшебный алкоголь,
Наперекор земному аду,
Звеня укачивает боль,
Как волны мертвую наяду...

(«Оазис»).

Читая Сашу Черного, мы всегда различаем сквозь «волны смеха» «мертвую наяду». Многие его произведения строятся так: вначале шуливый, вроде даже беззаботный тон, а потом надвигается, заглушая смех, «тошища». И последние слова срываются, как крик отчаяния.

Автор вступительного критико-биографического очерка Л. Евстигнеева (ей же принадлежит подготовка текста и комментариев) на большом материале раскрывает жизненный и творческий путь поэта. Перед нами серьезная, содержательная работа. Однако иногда под пером Л. Евстигнеевой скрадывается характерная особенность сатирической лирики Саши Черного, одновременно убийственно-обличительной и безнадежно-грустной.

Мы читаем, например: «Сила Саши Черного как сатирического поэта (сказавшаяся в лучших его стихах) была в любви к цельному, гармонически развитому человеку — со здоровой душой и телом, смелому и энергичному». В другом месте говорится о «здоровой жизнерадостности», «душевной бодрости» его лирических стихов.

Такие характеристики — хорошо, что не они определяют статью в целом, — расходятся с действительной тональностью стихов Саши Черного, соединивших в себе и сатиру и «скептицизм усталой головы».

Действительность для Саши Черного в ее обыденно-страшном «банковском» обличье неизменна. За изображенной картинной мы не ощущаем перспективы в будущее. Поэтическая концовка звучит действительно как конец.

Вот что отличает Сашу Черного от раннего Маяковского. Автор «Облака в штанах» говорит о любви, о Джоконде, которую «украли». В стихах Саши Черного нет

«Джоконды», нет этого мотива гибнувшей, украденной любви, ибо с самого начала вмести любви — «вялая прыть», деловито-ленивое лобызанье, меркантильный расчет.

Маяковский тоже рассказывает «страшные истории», рисует «загадочнейшие существа», жирные, безликие, «желудки в панаме». Но ими не исчерпывается его поэтический мир. Всем этим «существам» противостоит образ поэта непримиренного, не успокаивающегося, не устающего верить. Отсюда своего рода «двоемирие»: то, что меня, поэта, окружает, и то, что я провижу сквозь «горы времени». И поэтому самое течение стиха у Маяковского иное. Саша Черный начинает со смеха, а кончает безысходностью. Маяковский, наоборот, сначала рисует сатирический портрет, а в конце звучит его открытая, яростная насмешка, вызов: «Судьи мешают и птице, и танцу», «А этому взял бы да и дал бы по роже», «Я захохочу и радостно плюну».

Л. Евстигнеева делает интересные сопоставления стихов Маяковского и Саши Черного. Но иногда это звучит спорно. Например: «Саша Черный говорит о поэте, пришедшем в редакцию толстого журнала: «Он думал из «Восходов» сшить штаны». Сравните у Маяковского в стихотворении «Кюффа фата»:

Я сошью себе черные штаны
Из бархата голоса моего.

«Восходы» — так называются стихи журнального поэта. Сшить из «Восходов» штаны — значит сшить штаны на деньги, полученные за эти «Восходы». Смысл, как видим, самый прозаический. Стихи для по-

шивки штанов напоминают откровенно меркантильный «роман» конторщика Банкова.

У Маяковского же все окрашено в совсем иные, необычайные, вызывающе «невероятные» тона. В сущности говоря, здесь параллели нет, хотя действительно и там и тут упоминается «пошивка штанов».

Кроме критико-биографического очерка, сборнику предпослана вступительная статья Корнея Чуковского. Живое, свободное повествование-рассказ, точные историко-литературные характеристики, слитые с личными, непосредственными воспоминаниями, — все это придает статье подлинное своеобразие. Хорошо известны литературно-художественные портреты К. И. Чуковского: Блок, Маяковский, Репин, Некрасов, другие поэты-шестидесятники. Они выросли как бы на границе строгого литературоведения и свободной, «раскованной» прозы; автор пишет о поэте как о герое, как о действующем лице. Именно так выполнен и портрет Саши Черного.

За более чем четверть века издательской жизни «Библиотека поэта» завоевала добрую славу. Своими многочисленными книгами, выходящими в большой и малой сериях, она во многом расширила и обогатила представления нашего читателя о русской поэзии.

Книга стихов Саши Черного — интересное пополнение «Библиотеки». Она доносит до нас облик поэта очень веселого и очень грустного, в чьем творчестве соединились едкая насмешка и неизлечимая горечь. Он беспощадно смеялся над старым, отжившим миром, но устремиться к новому миру у него не хватило сил.

3. ПАПЕРНЫЙ.

★

Мертвые остаются с живыми

«Дом без хозяина» — так называется роман Генриха Бёлля, посвященный послевоенной жизни Западной Германии. Дом без хозяина — это дом Неллы Бах, где на стенах портреты улыбающегося юноши Раймунда Баха, а сам Рай, поэт и рядовой, спит вечным сном где-то в русской земле. Дом без хозяина — это дом Вильмы Брилах, над кроватью фотография улыбающегося фельдфебеля, а фельдфебель, в жизни

улыбавшийся очень редко, «не вернулся с задания и не попал в плен», а сгорел в танке за великую Германию.

С тех пор прошли годы, все изменилось вокруг, только мертвые остались молодыми, по-прежнему улыбаются они со своих портретов. Мертвые остались с живыми — и не только для Неллы, сознательно отгородившейся от настоящего и живущей воспоминаниями, не только для мальчиков, Мартина и Генриха, никогда не знавших своих отцов и мечтающих увидеть их хотя бы во сне, но прежде всего для Генриха Бёлля,

Генрих Бёлль. Дом без хозяина. Роман. Перевод с немецкого. 304 стр. Гослитиздат. М. 1960.

не захотевшего простить преступления фашизма и его кровавые жертвоприношения.

«Войну надо забыть!» — твердит фашист Гезелер, из прихоти пославший на смерть Рая и забывший об этом; и в школе, куда ходят Мартин и Генрих, учат, что наци «не столь уж страшны», и дети солдат, бесславно отдавших жизнь за фюрера, вырастают, не подозревая правды. Но они должны узнать правду — вот пафос книг Бёлля.

Встреча Неллы с Гезелером — это встреча с фашизмом. Вместе с Гезелером прошлое, существующее, казалось бы, лишь в памяти Неллы, вторгается в сегодняшний день — как грубая реальность и как смутная угроза. Итог встречи обнаруживает прежде всего не жестокость или аморальность Гезелера, а его полнейшее ничтожество.

Развенчание фашизма ведется Бёллем в нескольких аспектах; один из них заключается в раскрытии человеческого убожества его представителей. Одно из самых стойких заблуждений человечества — окружать злодеяния ореолом силы. Все герои бёллевских книг, даже самые, казалось бы, заурядные, обладают тем психологическим своеобразием, которое делает интересным их внутренний мир. Все, кроме фашистов. Видный литератор Шурбигель, импозантный и меланхоличный, всегда казался Нелле «раздувающимся не по дням, а по часам» воздушным шаром, «который вдруг лопнет, и ничего от него не останется». В Гезелере эти «родовые» черты предельно выкристаллизованы (у него даже руки бездарные) — это воплощение банальности, обобщенный образ вырождения индивидуальности, тот убогий человеческий стандарт, к которому на деле привела ультраиндивидуалистическая философия фашизма с ее культом «сильной личности». «Они все на один покрой — эти молодчики «не без способностей», словно пиджаки из магазина готового платья: износились один — не беда, всегда можно купить другой. Вот они какие — убийцы! В них нет ничего ужасного, такие не приснятся в ночном кошмаре...» И Нелла, десять лет готовившаяся к поединку с убийцей Рая («десять лет, полных неугасимой ненависти»), оказавшись с ним наконец лицом к лицу, почувствовала, что «скука сломила ее, как внезапная болезнь».

Поединок не состоялся, и месть не получилась, Гезелер так и не стал «главным ге-

роем в третьей части с мелодраматическим концом». И не только потому, что Бёллю претят мелодрама и развязки, заимствованные из дешевых фильмов, где действуют «мрачные злодеи». Есть горькая и жестокая правда в том, что все кончилось лишь ненужным, нелепым скандалом, который учинила бабушка. Подобная развязка непременно вытекает из характеров героев и — что не менее важно — из характера действительности.

Было бы неверным предполагать в ней и иной смысл — искать указание на политическую позицию Бёлля или намек на прощение Гезелера и ему подобных. Весь образный строй романа противоречит такому поверхностному выводу. И не случайно Альберт, который «решил ничего не предпринимать», именно после появления Гезелера приводит Мартина в старую крепость: «Запомни... здесь били твоего отца, топтали его сапогами и меня здесь били: запомни это навсегда... Запомни это навсегда. И попробуй только забыть!..» «Я ни за что не забуду», — как эхо, повторяет мальчик за Альбертом, словно принимая от него эстафету ненависти. «Там убивали людей, и он запомнил это навсегда, как и ужин в погребке у Фовинкеля».

Сравнение может показаться странным и неожиданным, впрочем, лишь для тех, кто не читал романа. Для ассоциативного метода Бёлля оно закономерно. Конечно, только наивное воображение ребенка могло поставить рядом концлагерь и ресторан. Но писатель сознательно воспользовался наивностью своего героя, потому что она дает возможность резко обнажить связь явлений, на первый взгляд несопоставимых. В «Доме без хозяина», где большинство событий увидено глазами мальчиков — Мартина и Генриха, — их непосредственное восприятие, вступая в спор с принятыми представлениями, преобразует привычную картину действительности и в конечном счете проясняет истинное значение вещей.

Мир, изображаемый Бёллем, надвое расколот голодом. Запах супов, который Нелла называет вульгарным, для Генриха, не имеющего понятия о мясе и шоколаде, «великолепен» — это запах изобилия. Но сын Неллы, не знающий, что такое голод, завидует скудному существованию друга, оно кажется ему чистым, а ужины у Фовинкеля, которые стоят почти столько же,

сколько тратит семья Генриха за неделю, ужасны и «безнравственны». Погребок Фовинкеля, куда время от времени бабушка водит Мартина, чтобы как следует покушать, становится гротесковым символом ненавистного писателю мира собственников. Безобидная картина чревоугодничества фантастически преобразается в безобразный, адский шабаш: красные морды обжор, кровь и жир на тарелках, хруст перемалываемых зубами косточек — все вызывает у мальчика мысль об убийствах, о пиршестве людоедов.

Жуткий образ, навязчиво преследующий Мартина, постепенно теряет фантастический характер и обретает социальный смысл. При виде листка, испещренного рукой Генриха (расчеты, расчеты, марки, пфенниги и в конце вопрос: «Как быть дальше?»), в памяти Мартина всплывает треск отрываемого чека, неизменно завершающий пиршества у Фовинкеля. Ему «стало страшно: деньги надвигались на него, приняли осязаемую форму». Так своеобразно преломляется в романе постоянный мотив творчества Бёлля — ненависть к жадным, тупым и жестоким хозяевам жизни, ненависть к сытым. И совсем не случайно, что в «Доме без хозяина» эта ненависть непосредственно эмоционально связана с ненавистью к фашизму.

Бёлль принадлежит к числу тех писателей, для которых жизнь — всегда процесс, движение, не имеющее завершения. Вот почему невозможно пересказать содержание его книг, вот почему в них есть завязки, но нет развязок, и они, как правило, обрываются многоточием.

Остановить быстротекущее мгновение, выхватив его из беспорядочного потока времени, запечатлеть его во всей неповторимости, со всеми звуками, красками, запахами и при этом создать впечатление, что мгновение не остановилось, что движение продолжается, — вот завоевание бёллевского реализма. Бёлль как бы разлагает жизнь на ее простейшие составные элементы и затем объединяет в сложном синтезе. Мельчайшие подробности быта и психологии подмечены с редкой художественной зоркостью и переданы с натуралистической обстоятельностью. Детали эти весомы и всегда эмоционально насыщены. От них, как от камня, брошенного в воду, разбегаются, ширясь, круги ассоциаций, вбирая в свою орбиту прошлое и настоящее.

Читать книги Бёлля порой трудно. Киноленты биографий героев воссоздаются Бёллем путем очень сложного ассоциативного монтажа. Естественная последовательность событий нарушена, ассоциации разрознены, привычная связь времен порвана. Все когда-либо пережитое и выстраданное входит в жизнь героев Бёлля наравне с впечатлениями, заботами и радостями сегодняшнего дня: прошлое и настоящее существуют рядом, действие происходит порой как бы одновременно в двух измерениях. Переходы из мира реального в область воспоминаний совершаются без каких-либо предупреждений и комментариев, они подчиняются зыбким законам, а то и причудам подсознания (память чувств — особое качество темперамента Бёлля, которым обладают и его герои). При этом одни и те же события, преломляясь в сознании различных персонажей, получают несходное освещение. Но постепенно эта сложная, порой противоречивая картина проясняется, раскрывается — или угадывается — связь явлений и лиц; все как бы становится на свое место. И вот наступает момент, когда читатель незаметно для себя оказывается вовлеченным в поток чужой жизни, и этот поток подхватывает и несет его, и вот он уже не просто сочувствует герою, а видит мир его глазами, чувствует вместе с ним.

Бёлль в высокой степени одарен свойством, которое обычно называют умением перевоплощаться. (Особое свойство души художника, заставившее даже бесстрастного Флобера сказать: «Эмма Бовари — это я».) Нелла — это я, мог бы сказать Бёлль, и Вильма — это я, и Генрих, и Мартин, и Альберт. Кажется, автор до конца растворяется в своих героях, и вместе с тем он присутствует на страницах книги независимо от них, и не просто «присутствует», но и судит их — даже тех, кому доверяет свои самые сокровенные мысли.

Образ Неллы, помимо всего прочего, интересен тем, что обнаруживает, какими возможностями объективного изображения богата субъективная манера Бёлля. Нелла написана как бы одновременно с трех точек зрения: ее внутренний монолог пересекается (и корректируется) впечатлениями Мартина и Альберта. Несчастье, смертельно ранившее Неллу, научило ее ненависти, она ненавидит войну и все, что с ней связано, — официальный патриотизм, ложь государственной пропаганды и ложь религии.

В душе Неллы словно сконцентрирована боль миллионов женщин, ее сестер по вдовой доле, боль, ненависть и любовь. Непримируемая, красивая, преданная, она появляется на страницах романа как воплощение женственности и верности. Но постепенно поэтическое обаяние этого образа меркнет. Линяет неотразимая улыбка Неллы — это «автоматически расточаемое колдовство», оружие, которое она пускает в ход против врагов и против друзей, или просто разменная монета благодарности. Даже ее тоска по мужу, такая искренняя, нуждается в постановочных эффектах, она подчинена строгому, раз навсегда заведенному ритуалу. Бесплодная погоня за призраком прошлого опустошила душу Неллы, превратила ее жизнь в цепь мелких уловок и больших компромиссов. Годы уходят в бессмысленной, утомительной суете — литературные вечера, семинары, разговоры о Рае, — среди равнодушных снобов и пошлых поклонников, хуже того, среди людей, которых она ненавидит, как когда-то ненавидел их Рай.

А рядом течет убогая, жалкая, голодная жизнь Вильмы. Здесь нет места для поэзии и красивых чувств, ежедневная, без передышки, борьба за существование поглощает все душевные силы. Здесь вдовы не выходят замуж потому, что боятся потерять солдатскую пенсию. Здесь под фотографией улыбающегося мужа, на стареньком комодике, лежат случайные реликвии случайных связей: зажигалка Эриха, часы Герта, чехол Карла — свидетели очередных крушений, бог весть зачем хранимые Вильмой... Здесь господствует самодовольное безнаказанное хамство «дяди» Лео (наглая, чисто вымытая морда, уверенность сутенера в жестких, неумолимых глазах, жесткие, чисто вымытые руки, изо дня в день касающиеся тела Вильмы)... Здесь счет от дантиста может стать катастрофой и перевернуть жизнь. Как знать, если бы не этот злополучный счет, решилась ли бы Вильма оставить постылого Лео и переехать к кондитеру, чья настойчивая меланхолическая страсть внушает ей отвращение, но зато гарантирует оплату расходов.

Но сквозь пошлость, унижения, мелкие расчеты пробивается живая боль незащищенной и все же стойкой души. Рядом с этим привычным будничным страданием надрывающая тоска Неллы кажется надуманной и

«ненастоящей». К концу романа контраст этих судеб предстает в новом свете. Чаша весов незаметно склоняется в пользу Вильмы. Ее пошлое существование мужественнее, даже честнее поэтической позы Неллы — оно наполнено материнскими заботами, трудом и невыдуманными трудностями, которых не знает — и не хочет знать — Нелла.

Для многих героев Бёлля «бог — единственное утешение», и все же надежда, освещающая их жизнь, не связана с их верой. Это самая земная надежда — она рождена любовью. Нечаянная радость, очистительная гроза, она является внезапно и пробуждает дремлющую душу, освобождая от мертвящих пут корысти, пошлости, лжи. Вильму тоже спасает любовь — она приходит в самую страшную минуту отчаяния и позора, когда Вильма со своими жалкими пожитками собирается переехать к кондитеру, а на улице ее ждет глумливое хихиканье собравшихся соседей. Не помня себя, Вильма бросается к Альберту, приехавшему за ее сыном. Альберт берет ее за руку и ведет вниз, за ними уверенно идет кондитер, но Генрих вдруг увидел, как на мгновение «в глазах матери засветилась надежда». Казалось, что она и Альберт «договорились о чем-то без слов, пообещали что-то друг другу, поняли то, о чем никогда не думали раньше...»

Роман кончается словами надежды, смутным предчувствием счастья и перемен. Генрих «знал теперь, что одно мгновение может все изменить». Бёлль тоже верит в это — недаром же в повести «Хлеб ранних лет» эта тема становится ведущей: именно любовь, внезапно озарившая жизнь Вальтера, заставляет его порвать с миром сытых, преуспевающих собственников. Но, разделяя надежды, сомнения, любовь и ненависть своих героев, Бёлль видит дальше них. Он знает, что нет такого прибежища, где можно было бы спрятаться от действительности, что в мире, где процветают Гезелеры и где чековая книжка — закон, счастье беззащитно, что мало быть честным, чистым и добрым — надо отстаивать свои идеалы.

Бёлль утверждает общечеловеческие, непреходящие ценности, но он не может указать действенных путей борьбы. Антифашист и пацифист, он твердо знает, против чего бороться; за что и как — это он представляет себе весьма смутно. Есть очевидное противоречие между воинственно-гума-

нистической позицией самого Бёлля и пассивностью его героев — противоречие, свидетельствующее в конечном счете о социальной ограниченности его собственного мировоззрения.

Глубоко примечательна в этом отношении судьба поэта Раймунда Баха, героя, особенно близкого Бёллю. Для автора это «символ молодости, принесшей бессмысленную жертву». Непосредственность, решительность, талант, строгая юношеская чистота — таков Раймунд Бах в начале пути, когда «все казалось само собой разумеющимся» и даже работа в рекламном отделе мармеладной фабрики забавляла и радовала (это ли не находка для человека, не желающего иметь ничего общего с фашистским режимом). И совсем иной, сумрачный Рай, когда позади уже концлагерь, и гибель друзей, и шумиха, поднятая фашистами вокруг его стихов, Рай отчаявшийся, безнадежно усталый, все еще непримиримый, но сломленный. Он хотел умереть, но «даже дорога к смерти была для него усеяна жестяными банками из-под повидла и мармелада: не сладко... было всюду наткаться на это добро», на рекламные стишки, которые он когда-то

придумал. «Таков, значит, мой вклад в войну против войны...»

Даже смерть не в силах оборвать цепь трагических парадоксов. Для нацистов Раймунд Бах — «символ молодости, принесшей жертву, полную глубокого смысла». Над родным городом Рая до сих пор горят сочиненные им рекламные лозунги — бессмертные, как пошлость. Таков итог жизни художника, у которого не хватило сил следовать голосу сердца и совести, горькая расплата за измену призванию. И тогда наконец раскрывается «загадка» сновидений Мартина — в ночных кошмарах сына Рай совсем не был похож на свои портреты: печальный маленький человек без лица, «лица вовсе нет, и отец словно хочет сказать ему: вот теперь ты все знаешь».

Трагическая история погибшего и погубившего себя поэта тем более убедительна, что она написана человеком, прошедшим, как и Раймунд Бах, сквозь ад войны и фашизма, но не сломленного этими испытаниями; писателем большой души и большого таланта, сберегшим надежду, веру в человека и волю к борьбе — а вместе с ними и верность призванию.

М. ЗЛОБИНА.

★

Политика и наука

Счастье и мир — народам!

Остались позади дни, исполненные огромного значения, — дни встреч главы Советского правительства Н. С. Хрущева с народами Азии и главами их правительств. Но впечатления от этих дней не изгладились, у всех свежо в памяти, каким волнующим проявлением дружбы, сотрудничества была эта поездка. Визит Н. С. Хрущева еще раз показал верность советской внешней политики ленинским заветам, направленной на укрепление дружбы нашего государства со странами Востока, на поддержку национально-освободительного движения угнетенных народов против империализма.

Недавно Государственное политическое

издательство выпустило книгу «Счастье и мир — народам!», в которой собраны выступления Н. С. Хрущева, выступления глав правительств Индии, Индонезии, Бирмы и Афганистана, совместно подписанные документы, коммюнике и другие материалы.

В речах Н. С. Хрущева освещены основные проблемы, волнующие человечество; это — борьба за мир, за разоружение, за полную ликвидацию остатков колониализма. Особое внимание Н. С. Хрущев уделил вопросам национально-освободительного движения. Основываясь на ленинском учении, творчески его развивая, Н. С. Хрущев дал глубокую характеристику современного этапа национально-освободительной борьбы, отметил ее специфику, движущие силы, показал новые формы и методы нынешнего колониализма.

В этих выступлениях мы видим новую трактовку известного марксистского положения: «Не может быть свободным народ,

Счастье и мир — народам! Пребывание Председателя Совета Министров СССР Н. С. Хрущева в Индии, Бирме, Индонезии и Афганистане. 11 февраля—5 марта 1960 г. 350 стр. Госполитиздат. М. 1960.

угнетающий другие народы». Великий лагерь социализма добился выдающихся побед; с каждым днем растет семья освобождающихся из-под империалистического гнета народов. Н. С. Хрушев говорит: «Каждый свободный народ не может не желать свободы и для других народов». Этот тезис лежит в основе внешнеполитической практики социалистических государств.

Во весь рост была поставлена главой Советского правительства проблема достижения слаборазвитыми странами экономической независимости.

Бурей аплодисментов на убежденные и страстные слова Никиты Сергеевича по поводу клеветнической «теории» экспорта революции ответили студенты и профессора университета «Гаджа Мада»: «Коммунизм — это великая цель, великая идея. Идеи нельзя внедрить при помощи силы, как их нельзя задержать никакими силами, никаким оружием. Коммунизм — это сама жизнь; где живет человек, там живут и идеи. От коммунизма, от идей нельзя отгородиться никакой границей».

Книга «Счастье и мир — народам!» — это человечный, волнующий документ, каждая страница которого проникнута интересами прогрессивного развития человечества, заботами о создании мирной и счастливой жизни народов. Выступая на встрече с представителями общественных организаций Индонезии, Н. С. Хрушев говорил: «Мы посвящаем свою жизнь и деятельность счастью своего народа. Но счастье нашего народа заключается не только в том, чтобы были счастливы советские люди, но чтобы и вы, и все другие народы жили бы в мире, были бы счастливы».

Соглашения об экономическом, культурном сотрудничестве, заключенные СССР с многими странами, — практическое подкрепление слов делом. Наш народ, верный своему интернациональному долгу, полон забот не только о своем благополучии, но и о счастье всех людей на земле. И в этом заложен один из источников любви и дружеских чувств, которые питают народы экономически слабо развитых стран к советскому народу и его руководителям.

Свидетельством выражения этих чувств были встречи народами стран Азии главы правительства СССР Н. С. Хрущева. Генеральный секретарь Национального совета Компартии Индии Аджой Гхош писал по

этому поводу: «...Визит Н. С. Хрущева в Индию, Бирму, Индонезию, Афганистан проходил в условиях небывалого народного энтузиазма и проявления братских чувств к посланцу первого социалистического государства. На долгом и горьком опыте народы этих стран узнали, кто является их действительным другом, и никакая сила в мире не может поколебать их сердечную любовь к СССР».

Ни один визит зарубежного политического деятеля не находил такого горячего приема народов Азии, как визит Н. С. Хрущева. Ну как тут не вспомнить, в силу диаметральной противоположности, печальной памяти путешествие Эйзенхауэра в Азию!

Буржуазная пресса ищет корни, причины особой популярности Никиты Сергеевича среди азиатских народов. И каких только измышлений нет! А ларчик просто открывался. Глава Советского правительства завоевал сердца и умы многомиллионных масс Азии тем, что в его деятельности, в его высказываниях они находили ответы на коренные, интересующие их вопросы. Сила воздействия слов Н. С. Хрущева в правдивости, принципиальности, убежденности и одновременно в образности, яркости и доходчивости. Остроумные, меткие народные поговорки и шутки, а когда надо, то и злой сарказм в отношении врагов — такой разговор покоряет слушателей, они видят в ораторе близкого им человека. И недаром председатель Народной палаты индийского парламента М. Айянгар с волнением говорил о Никите Сергеевиче на митинге на площади Рамсила в Дели: «Он покори нас, индийцев, своей искренностью и умением моментально устанавливать контакт с массами».

Людям всех стран Н. С. Хрушев известен как неустанный борец за мир. Вопрос о мире — это главный вопрос современности, говорил Н. С. Хрушев. «Потому-то мы и считаем сегодня важнейшей задачей, задачей всех задач — установление на нашей земле мира без армий и оружия. Мы призываем к тому, чтобы даже атом сбросил с себя солдатскую форму и превратился в мирного труженика».

Вполне понятно глубокое сочувствие народов слаборазвитых стран советской политике защиты мира. Государства, вставшие на путь независимого развития, заняты созидательным трудом, мир им нужен как воздух.

Радикальнейшее средство сохранения и упрочения мира, ликвидации военной опасности — осуществление советского плана всеобщего и полного разоружения. Предложения правительства СССР предусматривают создание реальных условий для действительно мирного сосуществования государств, для снятия с народов бремени военных налогов, для увеличения ассигнований на помощь экономически слабым странам.

Подсчитано, что гонка вооружений пожирает сейчас около ста миллиардов долларов в год, а чтобы положить конец отставанию слаборазвитых стран требуется ежегодно вкладывать в их экономику всего четырнадцать миллиардов. За последние десять лет страны, входящие в НАТО, израсходовали на подготовку к войне пятьсот миллиардов долларов. За все эти расходы распахиваются широкие массы налогоплательщиков.

Миролюбивые народы стран Азии высоко оценивают гуманные и благородные предложения Советского правительства о мире и разоружении. По заявлению Дж. Неру, они являются такой разумной мерой, в которой именно и «нуждается сейчас мир, нуждаются простые люди мира... По этой причине мы еще больше приветствуем его (Н. С. Хрущева.— А. Ш.) и искренне заверяем его, что в этой деятельности мы окажем максимально возможную помощь».

Решение главного вопроса современности — достижения прочного и всеобщего мира — неразрывно связано с необходимостью ликвидировать колониализм. Это положение Н. С. Хрушев обосновал в ряде своих выступлений. Выступая перед депутатами индонезийского парламента, он подчеркивал: «Чем скорее колониальные державы лишатся колоний, а колонизаторы не будут иметь возможность грабить и угнетать другие народы, тем быстрее удастся установить мир на земле, тем чище будет воздух, которым мы дышим».

История уже вынесла свой приговор колониализму, его времена уходят в прошлое. Около полутора миллиардов человек сбросили политический гнет колонизаторов, расправляют спины и вступили на путь независимого развития. На обломках колоний и полукolonий образовано более тридцати независимых государств. События наших дней свидетельствуют о крушении колониальной системы в последнем прибежище

колониализма — на Африканском континенте.

Бьет последний час колониализма, но он еще жив. Не только за пределами слаборазвитых стран, но и внутри их есть силы, которые стремятся сохранить позиции империализма, удержать в руках иностранных монополий ключевые высоты в экономике. Эти круги не хотят новых порядков, сопротивляются установлению дружественных связей с социалистическими странами.

Колониализм, как все старое, дряхлое, не уходит из жизни без хитрых атак, без подлостей. Политическое давление и шантаж, экономическая блокада, военные демонстрации на море и в воздухе, заговоры в Индонезии, Конго, Камбодже и других странах — всё это звенья одной цепи. События в Индонезии наглядно показывают, что внутренние реакционные силы, поддерживаемые империалистами извне, готовы на любую авантюру.

В то время, когда пишутся эти строки, идет опасная игра империалистов вокруг Конго и Кубы.

Совсем недавно, 30 июня этого года, тринадцать миллионов жителей Бельгийского Конго провозгласили свою независимость и образование Республики Конго. Это независимое суверенное государство стало жертвой империалистической агрессии. Бывшие хозяева страны — бельгийские колонизаторы стали на путь открытого вмешательства во внутренние дела молодой республики. Как говорилось в Заявлении Советского правительства от 13 июля, Бельгия, посылая все новые и новые войска в Конго, «грубо нарушает как территориальную неприкосновенность, так и политическую независимость Конго, то есть совершает такие действия, которые международным правом давно квалифицируются как акт агрессии».

Установление революционной власти на Кубе вызвало в определенных кругах США характерную для них реакцию — начались по отношению к Кубе угрозы, шантаж, провокации и антиправительственные заговоры, а затем было пущено в действие и такое оружие, как экономический саботаж. Все говорит о том, что в Вашингтоне не отказались от планов вооруженного вторжения на Кубу, с тем чтобы задуть силой свободу и независимость Кубинской Республики.

В наши дни положение в мире так изменилось, что империалисты уже не могут действовать по-старому, пользоваться лишь на-

силыственными методами для удержания своих позиций в слаборазвитых странах. Они вынуждены идти на уступки, маневрировать, маскировать свою политику. Для этого империалисты прикидываются «друзьями» слаборазвитых стран, предлагают свою «помощь», склонны даже не применять кабальных условий кредитования. Больше того, империалисты теперь все чаще выражают готовность «даровать» независимость, с тем чтобы, уйдя через парадную дверь, тут же вернуться через заднюю.

Искренняя дружеская забота о судьбах народов и стран, ставших на путь независимого развития, звучит в предупреждениях Н. С. Хрущева: «Корни колониализма выдернуты, но кое-где корешки колониализма остались. Колонизаторы всячески пытаются продлить свое господство. Вот почему народы, освободившиеся от колониального гнета, должны быть бдительными». Овацией были встречены слова Никиты Сергеевича, обращенные к жителям Бандунга, города, который стал символом мирного сосуществования: «Колонизаторов никогда нельзя прогнать молитвами. Как нельзя научить тигра питаться травой, так невозможно колонизаторов отучить от грабежа. Только в борьбе можно завоевать свою свободу, только в борьбе можно укрепить свое государство и его независимость».

Народы слаборазвитых стран намерены решительно отстаивать свою независимость. Участники Второй конференции солидарности народов Азии и Африки, происшедшей в апреле этого года в Конакри — столице Гвинейской Республики, заявили в своей декларации: «Мы избрали светлый

и определенный путь. Первым этапом на нем является получение свободы... Никакие империалистические козни не могут сбить нас с правильного пути в деле достижения свободы». Борьба не ограничивается только целями завоевания политической свободы. В декларации дальше говорится: «Мы подчеркиваем нашу решимость положить конец эксплуатации монополиями, нищете и унижению. Наша борьба является одновременно борьбой за всеобщий мир».

Советским людям чуждо чувство превосходства одной нации над другой. У каждого народа есть чему поучиться. Глава Советского правительства, сам активно вбирая все полезное во время своих поездок, советовал расширять связи между народами. Так, Н. С. Хрущев предложил индонезийцам перенимать практику азербайджанских нефтяников, а азербайджанцам поучиться выращивать субтропические культуры; он считает полезным организовать обмен опытом хлопководов Индии и Таджикистана. Взаимовыгодное сотрудничество закаляет дружеские отношения, делает их прочными и долговечными, делает их «выше всех высоких гор».

Визит Н. С. Хрущева в страны Азии, непосредственным результатом которого являются совместно подписанные документы, демонстрирует растущую и крепнущую дружбу народов Советского Союза с народами Востока на основе мирного сосуществования, совместную решимость бороться за дальнейшее ослабление международной напряженности, за упрочение мира.

А. ШАРКОВ.

★

Словарь семилетки

Кажется, что еще можно придумать оригинального для обычного справочного издания, каких стало у нас появляться все больше? Оказывается, многое еще можно придумать, причем не только «по художественной части». Это касается и самого принципа «монтажа материалов», и формы подачи, и самого метода экономической пропаганды. Весь облик «Словаря семилетки» это подтверждает.

Словарь семилетки. От А до Я. Под редакцией академика С. Г. Струмилина. 400 стр. Госполитиздат. М. 1960.

Мы уже привыкли к тому, что раз справочник — значит, неудержимый поток цифр, разлитых по тексту и застывших в клеточках таблиц. В «Словаре семилетки» — по-другому. Основное содержание книги складывается из статей небольшого объема по вопросам экономики, народного благосостояния, культуры; указатель подразделяет их на семь тематических разделов; материал графически иллюстрирован. Таких статей здесь более ста двадцати, расположены они в алфавитном порядке. По этой системе желаемую справку получаешь мгновенно.

В статьях изложены задания семилетки, вкратце даются итоги развития того участка нашего народного хозяйства, культуры, о котором идет речь. Читатель видит яркие вехи нынешней семилетки на общем фоне тех исторических достижений, которых уже добился наш народ под руководством Коммунистической партии.

Во «Введении», предпосланном книге, характеризует международное значение нашего семилетнего плана, излагаются рассмотренные в докладе Н. С. Хрущева на XXI съезде КПСС теоретические вопросы, связанные со вступлением советского народа в период развернутого строительства коммунистического общества. А в конце книги под рубрикой «Хорошее начало — это уже половина дела» читатель узнает об итогах первого года семилетки.

В справочнике приведены интересные сопоставления с зарубежными экономическими показателями. Особенно отрадно видеть в книге анализ не только количественных, но и качественных изменений, которые принесет нашей стране, народу семилетка.

Следует одобрить инициативу составителей словаря — дать в виде «Приложения» зарубежные отклики, высказывания видных политических и общественных деятелей о семилетке. Здесь можно наблюдать своего рода «диаграмму», кривую изменения отношения к нашим, советским делам со стороны некоторых заокеанских и прочих орაკулов. Так, во времена нашей первой пятилетки американский журнал «Форин афферс» писал: «Пятилетний план — это еще одна русская химера, сотканная из дыма печной трубы». В диком хоре реакционной печати только и слышалось: «Бумажная схема идеального мира», «Азартная игра» и т. д. и т. п. Но прошло время, и вот редактор «Нью-Йорк таймс» Тэрнер Кетледж вынужден признаться: «Мы чувствуем, если говорить в экономическом плане, дыхание Советского Союза на своих затылках. Их отделяют от нас всего лишь два прыжка — они позади нас на какой-нибудь десяток лет в развитии своей производственной мощи».

Бесспорно, труд авторского коллектива и издательства удался. Но представляется, впечатление от словаря было бы лучшим,

если тексты статей очистить от довольно часто встречающихся канцеляризмов, а также от повторения общеизвестных истин. Зачем, например, занимать дорогое место под такие фразы: «Высокие темпы роста производительности труда в отраслях материального производства создают возможность увеличивать производство материальных благ с меньшим числом занятых» (стр. 109). Или: «Большое значение для сохранения здоровья советских людей имеет организация отдыха трудящихся» (стр. 207). Или: «Мощный подъем всех отраслей народного хозяйства обеспечивает неуклонный рост народного благосостояния...» (стр. 385). Слов нет, правильно сказано, но за помощью иного толка будет обращаться читатель к «Словарю семилетки», и совсем не требуется каждый раз напоминать ему, читателю, что он живет и работает в советское время.

Справочник хорошо иллюстрирован диаграммами, графиками, заставками — они чуть ли не на каждой странице, и это, естественно, оживляет текст. И техническая редактура книги неплоха. Однако претензии к художественному оформлению все же есть. Ну зачем потребовалось к статье, рассказывающей о Сибири, дать на полстраницы рисунок этакой молодницы в платочке, завязанном узлом под подбородком, на широчайшем платье-кринолине которой изображены крупным планом рыба, лисица с фантастическим хвостом (а может, это и не лисица), электролампа и еще другие символические фигуры (стр. 281)? Без долгих и мудрых объяснений не поймешь, что знаменует собой иллюстрированное сопровождение статьи о радиоэлектронике. И еще можно задать немало недоуменных вопросов по этой части.

Очевидно, можно отыскать и еще какие-то дефекты и просчеты, допущенные при создании книги. Однако задача этой рецензии не в том, чтобы дать доскональный разбор ее содержания. Нам хотелось здесь лишь сообщить о выходе в свет интересного и полезного справочного пособия, оригинально, с выдумкой предлагающего читателю обширный и ценный материал.

В. СПАССКИЙ.

Надежный спутник

Ни один из пережитков прошлого не обладает, пожалуй, такой живучестью, как религия. В постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в современных условиях» резко критикуется работа тех руководителей партийных организаций, которые занимают «пассивную, оборонительную позицию по отношению к враждебной марксизму-ленинизму идеалистической, религиозной идеологии».

За последние годы в нашей стране немало сделано для того, чтобы ликвидировать отставание научно-атеистической пропаганды. Оживилась издательская деятельность; организована систематическая подготовка пропагандистских кадров; начал выходить журнал «Наука и религия», в текущем году во многих вузах начинается чтение курса «основы научного атеизма».

Этой же цели отвечает справочник «Спутник атеиста». Он представляет собой коллективный труд большой группы научных работников.

Книга оправдывает свое название. Пропагандисты атеизма найдут в ней добротный материал по всем вопросам научного атеизма начиная от сложных и трудных проблем происхождения и сущности религии и кончая краткой библиографией по всем разделам издания.

Центральное место в справочнике занимает характеристика основных религиозных направлений и в особенности трех мировых религий: христианства, ислама и буддизма. Наряду с историческими очерками «Спутник» содержит анализ современного их состояния. Так, материалы, посвященные православию, завершаются изложением нынешнего устройства, положения и идеологии русской православной церкви.

Много страниц посвящено христианскому сектантству в СССР. Сектанты, уступая православной церкви по количеству прихожан, превосходят ортодоксальных церковников по степени своего влияния на «паству», по методам утонченной обработки их сознания. Некоторые секты носят явно изуверский характер. К ним относятся, в частности, так называемые «прыгуны», иннокентьевцы и в особенности секта мурашковыхцев. Для раз-

жигания религиозного фанатизма руководители этих сект не останавливаются перед поистине кошмарными преступлениями. Они похищают детей, выращивают их в подземельях, убеждая, что они происходят прямо от святого духа. Секта мурашковыхцев ввела обряд «снятия семи печатей» — надрезов в виде креста и смешения крови из этих надрезов с вином для причастия. Молитвенные собрания в этих сектах нередко кончаются «свальным грехом». Что касается небезызвестной секты «свидетелей Иеговы», то она является попросту хорошо законспирированной контрреволюционной организацией, получающей директивы из своего всемирного центра, находящегося в США.

В книге на основании бесспорных фактов справедливо утверждается: «В Советском Союзе в иеговистском подполье нашли себе прибежище бывшие военные преступники, сотрудники фашистских комендатур, гестаповские доносчики, большинство которых было завербовано в эту секту в лагерях для перемещенных лиц. Эти люди, как правило, занимают в иеговистской организации руководящие посты, они рьяно занимаются духовным растлением верующих, подпавших под их влияние. Рядовые же верующие часто не знают истинных фактов о том, что представляют собой руководители иеговистской организации, не понимают антисоветского и антинародного характера секты «свидетели Иеговы». Пропагандисты, ведущие атеистическую работу, должны раскрыть глаза рядовым верующим-иеговистам на эти факты». Пронсходившие в недавнее время в разных концах нашей страны процессы над руководителями секты полностью подтверждают сказанное.

Материалы книги показывают, как велико влияние церкви и религии на все сферы государственной и общественной жизни капиталистических стран. Это особенно наглядно проявляется в области просвещения. В США насчитывается 328 теологических семинарий, более 270 тысяч субботних и воскресных религиозных школ. В трех тысячах протестантских приходских школ обучаются 187 тысяч детей, а в 8458 католических приходских школах — почти два миллиона семьсот тысяч.

А вот данные о доходах церкви в США. По оценкам американской прессы, церкви

собрали в 1957 году пять миллиардов долларов. В 1922 году имущество всех религиозных организаций США оценивалось в три с лишним миллиарда долларов, а в 1958 году — уже в двадцать пять миллиардов.

Церковь в капиталистических странах — один из главных рычагов монополистов в их борьбе против коммунизма. Церковь стремится завоевать прочные позиции в рабочем движении. Международная федерация христианских профсоюзов объединяет около шести миллионов человек. Особую активность проявляет католическая церковь. О методах, которыми она действует, говорит хотя бы такой факт. «Церковь бедных» и «друг рабочих», как она себя лицемерно называет, враждебно относилась к первомайскому пролетарскому празднику, но вот сравнительно недавно папа Пий XII объявил 1 мая церковным праздником «плотника Иосифа».

Для «уловления душ» клерикалы не прочь иной раз покритиковать пороки капитализма. В рецензируемой книге по этому поводу справедливо сказано: «Критика» капитализма представителями католической церкви относится к области социальной демагогии. Католическое учение об обществе защищает капитализм и целиком направлено против коммунизма».

В «Спутнике атеиста» хорошо подобран и систематизирован материал, разоблачающий новую тенденцию церковников — примирить науку с религией. Слишком уж велики и очевидны достижения современной науки, чтобы можно было попросту их отвергать. Религии, теснимой наукой во всех направлениях, прижатой к стене такими всемирно-историческими событиями, как запуск спутников и космических ракет, остается только утверждать, что, мол, без религии не может быть нравственности; если бога нет, то все дозволено. На этой струне играют церковники и в СССР, в особенности сектанты.

Разоблачение претензий религии на монопольное представительство в области морали — ведущая тема в научно-атеистической пропаганде. К сожалению, «Спутник атеиста» дает для этого мало новой аргументации. Между прочим, в разделе «Мораль коммунистическая и мораль религиозная» цитируется такое место из Евангелия от Луки: «Посмотрите на воронов: они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни

житниц, и бог питает их...» Но церковники в своих проповедях это место давно не приводят. Руководители сектантов, «идя в ногу с временем», требуют, скажем, чтобы в проповедях «заострялось внимание на том, что, по Евангелию, Христос был происхождения пролетарского, сын мелкого ремесленника, плотника Иосифа, а мать была простая трудящаяся женщина».

Церковники и сектанты изыскивают в Евангелии места, призывающие к труду на благо отчизны. Говоря, что труд — «богоугодное дело», они теперь даже обожают труд, пытаются строить «религию труда». Их надо по-новому, со знанием дела критиковать. Известно, что еще в 1844 году Ф. Энгельс разоблачал английского реакционного писателя, историка и философа-идеалиста Томаса Карлейля. Тот хотел создать «новую религию», «культ труда» и предсказывал возникновение такой религии в будущем.

Полезные сведения читатель найдет в приложениях. Особенного одобрения заслуживает «Краткий словарь богословских и церковных терминов». Интересны иллюстрации, завершающие книгу. Привлекает внимание фотокопия расчетной книжки М. И. Калинина с надписью администрации завода: «На храм жертвовать не желает».

Вызывает замечания первый раздел книги — «Происхождение религии». В нем, например, неточно изложены взгляды на религию Гегеля и Плеханова. Авторы «Спутника атеиста» утверждают: «С религией, разумеется, связана определенная обрядность, культ, но это не значит, что религия не может существовать без культа: некоторые современные секты свели к минимуму обрядовую сторону религии». Однако в разделе «Основные религиозные направления» авторы опровергают самих себя, показывая, что даже самые «рационалистические» секты не только не обходятся без обрядовой стороны религии, но и заметно ее усиливают в последнее время. Характеризуя баптистов, авторы пишут: «Однако на собственном опыте баптисты убедились, что религиозную веру нельзя долго поддерживать без воздействия на чувства верующих с помощью мистических обрядов. Поэтому обряды баптистов все более приближаются к церковным».

Вызывает удивление, что в «Спутнике атеиста» не нашлось места для раздела «Искусство и религия». В постановлении ЦК КПСС «О задачах партийной пропаганды в совре-

менных условиях» совершенно ясно сказано: «Активнее использовать идейное и эмоциональное воздействие лучших произведений художественной литературы и искусства в целях повышения воспитательной роли, популярности и действенности пропагандистской работы».

В разделе «О религиозных праздниках и обрядах» уместно было бы, например, сослаться на описание богослужения, с таким изумительным мастерством данное Л. Н. Толстым в романе «Воскресение». К слову сказать, именно этот роман послужил непосредственным поводом к отлучению Толстого от церкви, преданию его анафеме.

Ссылки на произведения художественной литературы и искусства помогли бы пропагандистам в немалой степени оживить их выступления. В главе «Мораль коммунистическая и мораль религиозная» авторам сле-

довало хотя бы упомянуть о произведениях Вольтера, Шедрина, Горького и других классиков мировой и русской литературы, в которых обличается религиозная мораль.

В удачно составленном разделе «Приложения» было бы желательно наряду с библиографией работ по научному атеизму дать список кинокартин на антирелигиозные темы. Ведь кино — самое массовое из искусств, и его воздействие на сознание зрителей огромно.

Очень пригодились бы лектору, пропагандисту, беседчику, на которых рассчитан справочник, и некоторые методические советы. Ведь далеко не всюду найдены и применяются наиболее действенные формы антирелигиозной пропаганды.

В целом издание это безусловно необходимо и своевременно.

И. МИНДЛИН,

кандидат исторических наук.

★

Заря над арабским Востоком

Автор этой книги — индийский журналист, сторонник национальной обособленности арабских народов. В последние годы Каранджия посетил многие государства Азии и Африки, беседовал с их руководителями, проделал серьезную исследовательскую работу. И поиски путей к подлинной независимости народов Востока заставили его во многом изменить свою позицию. Проблема сосуществования, отношения арабских государств с империалистическим лагерем и со странами социализма — вот главная тема его книги «Заря арабов», этого яркого рассказа о новейшем историческом этапе в жизни арабских стран.

Первая мировая война, пишет Каранджия, завершилась переделом средневосточных стран как колоний империализма. Конец второй мировой войны по-прежнему оставил невыполненными обещания старых «покровителей» и «опекунов» арабских народов. Однако арабы, как и другие поработанные народы, встали на путь борьбы за свою свободу. Арабские страны — центр нефтяных богатств земного шара и важный стратегический узел — занимают центральное место в современной мировой политике.

Сейчас, говорит автор, происходит яростная схватка сторонников и противников их независимости. Кто «за» и кто «против» полного освобождения арабов? Какие внешнеполитические силы препятствуют трудящимся арабам идти по самостоятельно избранному пути? На эти вопросы и пытается дать ответ Каранджия.

Он трезво оценивает позицию двух лагерей — капиталистического и социалистического — в отношении средневосточных стран.

В течение десятилетий колонизаторы Западной Европы и Америки прикрывали свою безжалостную эксплуатацию народов Востока словами о «бремени белого человека» — «цивилизатора» отсталых. В последние годы империалисты «модернизировали» эту формулу. Они говорят теперь о «бремени свободного человека». Конечно, это ни в малой мере не изменило сущности колониализма.

До недавнего времени природные богатства арабских государств — Сирии, Египта, Ливана, Аравии и других — служили объектом самого беспощадного разграбления. Каранджия приводит свидетельства европейских буржуазных экономистов о том, что в государствах Среднего Востока национальный доход в итоге империалистической

Р. К. Каранджия. Arab dawn. London. 1959
(Р. Каранджия. Заря арабов. Лондон. 1959).

политики был едва ли не самым низким в мире; зато прибыли иностранных нефтяных монополий были баснословны. Добыча аравийской нефти, например, приносила американским предпринимателям до трехсот процентов чистого дохода. «Борьба против империализма,— пишет автор,— неизбежно становилась, таким образом, важной частью борьбы арабских народов за лучшее существование».

В послевоенные годы Соединенные Штаты Америки заняли первое место среди империалистических претендентов на Средний Восток. Это они, напоминает Каранджия, руководили в 1951 году так называемой «Организацией средневосточной обороны» — военным и политическим союзом колониалистов. Это они захватили себе преимущественные «права» по эксплуатации арабских нефтяных богатств. В 1955 году США сыграли немаловажную закулисную роль в оформлении реакционного Багдадского пакта.

Каранджия убедительно разоблачает новейшие агрессивные доктрины американских империалистов. В их устах слова «заручиться доверием народов» по существу означают стремление полностью овладеть арабской нефтью, политической властью в арабских странах, вовлечь народы в «холодную войну» против социалистического лагеря. Об истинном курсе внешней политики США наиболее откровенно высказался небезызвестный Нельсон Рокфеллер. «Мы должны,— заявил он,— умно извлекать пользу из экономической помощи тем странам, которые мы намерены вовлечь в союз с нами... В наших интересах действовать осторожно и спокойно и на первых стадиях довольствоваться небольшими политическими уступками в обмен на нашу помощь... Поступая таким образом, мы откроем себе путь к тому, чтобы обеспечить все — и желаемую цену политического подчинения, и реализацию наших военных требований».

В книге «Заря арабов» немало фактов, иллюстрирующих способы, которыми осуществляется на практике американская доктрина.

В феврале 1957 года в Вашингтоне было опубликовано сообщение о предоставлении Иордании помощи в тридцать миллионов долларов. Однако эта мера не имела ничего общего с желанием действительно содействовать возрождению Иордании. Такой

«помощью» правящие круги США хотели сделать иорданцев покладистыми при навязывании им пресловутой доктрины Эйзенхауэра, что должно было позволить Соединенным Штатам «заполнить вакуум» — то есть занять позиции, которые потеряли другие, ослабевшие колониалисты. Недаром тогда же, в феврале 1957 года, по инициативе американцев к границам Иордании стягивались израильские и иракские войска, готовился антиправительственный заговор, участились полеты американских военных самолетов над ее городами. Автор был очевидцем происходивших в Иордании событий.

Для строительства Ассуанской плотины Египту сперва была обещана финансовая помощь, но в решительный момент в ней было отказано: тогда, в 1956 году, США, по признанию американской же прессы, еще близоручко рассчитывали, что этот отказ повлечет за собой падение политического престижа молодой арабской республики. Имелся и другой корыстный расчет: эта «помощь» не соответствовала экономическим интересам американских монополистов по производству хлопка. Да и чем, как не фикцией, можно признать даже все вместе взятые ассигнования США на Средний Восток? Ведь для шестидесятимиллионного населения арабских стран предназначалось всего двести миллионов долларов — меньше, чем по пачке сигарет в месяц на человека, как подсчитал один из арабских экономистов.

Народы Востока разгадывают замыслы империалистов. Они бдительно охраняют свою независимость, приобретаемую ценой долгой и тяжелой борьбы. В стремлении к полной свободе и суверенитету арабские страны опираются на бескорыстную помощь Советского Союза и стран социалистического лагеря.

Каранджия отчетливо показал, с каким упорством американские империалисты пытаются любой свой агрессивный шаг в странах Востока оправдывать ссылками на пресловутую «угрозу коммунизма». Так было и при развязывании ими войны против Сирии (1957 год), и при создании Багдадского пакта, и при возникновении новейших захватнических планов. Рассказывая о подлинном характере советской мирной политики, автор справедливо замечает, что сами сочинители мифа об «угрозе» боятся не

агрессии СССР, а своего проигрыша в мирном соревновании. Размеры «угрозы коммунизма» растут в прямой пропорции с провалами захватнической политики империалистов.

Как неоднократно подчеркивает Каранджия, Великая Октябрьская социалистическая революция вывела Россию из группы стран, охотившихся за чужой добычей, влила новые силы в борьбу угнетенных народов за независимость. Теперь, пишет автор, «существует качественное отличие в политике двух лагерей по отношению к арабским странам — отличие жизненно важное для народов этой части земли». Все усилия империалистов направлены на удушение национально-освободительной борьбы арабов; стремлением же Советского Союза является укрепление дружбы со странами Востока — безотносительно к общественному строю каждой страны, сотрудничеству с ними, базирующееся на взаимной выгоде. Эти твердо сложившиеся доброжелательные связи, проверенные на ряде трудных переломных этапов жизни арабских стран, не могут быть сорваны глашатаями «холодной войны».

Всему миру памятна напряженная обстановка, вызванная национализацией Суэцкого канала. Тогда очаг войны был погашен благодаря твердой позиции Советского государства. Такая политика «горячо отозвалась в сердцах арабов, расположив простых людей в пользу СССР на долгие времена... Веру и благодарность — вот что завоевали русские в итоге суэцкого кризиса», — заключает автор.

Как показано в книге, не только политические, но и экономические связи СССР с государствами арабского Востока качественно отличны от «помощи» капиталистических стран. Автор обращает внимание на то, что Советский Союз не имеет корыстной заинтересованности в природных богатствах Среднего Востока, и прежде всего в его нефти. Экономические отношения развиваются по линии мирной торговли и дружественной материальной помощи, оказываемой Советским Союзом. Достаточно вспомнить, что именно наша страна пришла на помощь ОАР при создании жизненно важной для Египта Асуанской плотины. С советскими торговыми договорами связывают надежды на развитие своей экономики многие арабские страны.

Оставаясь на позициях буржуазного мировоззрения, автор допускает и некоторые неправильные оценки. Так, несостоятельны его теоретические рассуждения о «неподготовленности» арабских народов к восприятию идей коммунизма и, больше того, о принципиальной неприемлемости этих идей для стран Востока. Автору подчас свойственна узконационалистическая трактовка ряда вопросов. Но главное в книге не это.

Основную ценность работы Каранджия представляет последовательно проводимая мысль о торжестве идеи мирного сосуществования равноправных государств, твердая вера в расцвет народов Востока, вступивших на путь независимости и прогресса.

А. БАЙКОВА,

кандидат исторических наук.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ ЯРОВИЦКИЙ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И ПИСАТЕЛЬ

Весной 1901 года А. М. Горький получил от нижегородской социал-демократической организации почетное и опасное поручение: приобрести в Петербурге и переправить в Нижний станок для печатания прокламаций (mimeограф). Поручение это было передано Горькому Алексеем Васильевичем Яровицким. Приобретя mimeограф, А. М. Горький 24 февраля 1901 года пишет из Петербурга Е. П. Пешковой: «Яровицкому скажи, что я сам привезу все».

Имя Яровицкого если и вспоминают сейчас, то в большинстве случаев только в связи с Горьким. Это отчасти правильно: дружеские взаимоотношения Горького с Яровицким в 1900—1903 годах помогают полнее представить революционное и литературное окружение великого писателя в начале XX века. Но фигура А. В. Яровицкого интересна и сама по себе. Между тем имя его — революционера, писателя — несправедливо забыто.

Один из активнейших нижегородских революционных деятелей, А. В. Яровицкий был членом первого комитета РСДРП, созданного осенью 1901 года в лесу за Сормовом, в который, кроме него, входили: П. Заломов, Д. Павлов, И. Ладыжников, О. Чачина, муж и жена Пискуновы. В 1901—1903 годах в «Нижегородском листке» и в центральных изданиях (журнал «Жизнь», газета «Курьер» и другие) печатались рассказы, легенды, очерки, стихи и статьи за подписью «А. Корнев». «Помнишь — я тебе надоедал со стихотворениями в прозе некоего Корнева? Следи за этим псевдонимом — он будет хорошо писать», — утверждал А. М. Горький в письме к В. Поссе в октябре 1901 года.

Псевдоним этот принадлежал А. В. Яровицкому.

После смерти Яровицкого А. М. Горький хотел издать сборник его рассказов, но бурные события 1905 года не дали возможности осуществить этот замысел. О близкой,

хотя и кратковременной, дружбе А. М. Горького и А. В. Яровицкого много свидетельств: об этом часто упоминается в письмах самого А. М. Горького, в воспоминаниях современников.

А. В. Яровицкий показан и в художественных произведениях Горького. В. А. Десницкий, например, утверждает, что сцена похорон Егора Ивановича в «Матери» изображена, как похороны Яровицкого; это же утверждение, со ссылкой на Десницкого, повторяет С. И. Касторский. В. А. Десницкому хочется верить: он сам не только присутствовал на похоронах Яровицкого, но и произносил речь на его могиле. Находившийся в толпе шпик записал эту речь — запись сохранилась в Горьковском архиве, в фонде охранного отделения. Сам А. М. Горький на похоронах не был (он в эти дни уезжал из Нижнего). Похороны Яровицкого были своего рода политической демонстрацией, но никакого столкновения с полицией не произошло, а ведь избивание демонстрантов полицией составляет основу сцены похорон Егора Ивановича в «Матери»... Однако в Нижнем Новгороде и до и после смерти Яровицкого похороны революционеров не раз превращались в политические демонстрации (похороны Г. Ливена в 1899 году, Б. Рюрикова в 1902 году, А. Панова в 1903 году и других).

Вероятнее всего А. М. Горький, создавая сцену похорон Егора Ивановича, имел в виду не только похороны Яровицкого...

Основные вехи революционной биографии А. В. Яровицкого почти полностью совпадают с вехами «биографии» одного из героев «Жизни Климса Самгина» — большевика Корнева. Фигура Корнева эпизодическая, но очень важная: это один из представителей лагеря Кутузова, один из основных героев эпохи, противостоящих миру самгиных. Самгин несколько раз сталкивается с Корневым и каждый раз относит к нему как к силе, ему враждебной. Вот Самгин «устроился удобно» в одиночной камере тюрьмы, «отгороженный от людей толстыми стенами»; в соседней камере — Корнев, он регулярно отстукивает Самгину политические новости. «Самгин, слушая стук по камню, представлял длинноногую, сухую фигуру Корнева орудием, которое неумоимо раз-

рушает стену». Естественно, что Самгин, узнав о смерти Корнева, «с наслаждением» берется за создание листовки-некролога о нем, и так же естественно, что написанная им листовка забракована большевиками. Сотрудник провинциальной газеты и активный член местной социал-демократической организации, Корнев в эпопее Горького пишет прокламации, сидит в местной тюрьме, организует демонстрации, после его смерти местная социал-демократическая организация выпускает прокламацию о нем. Все эти факты, совпадающие с фактами биографии Яровицкого, подтверждают, что прототипом Корнева в «Жизни Клима Самгина» явился А. В. Яровицкий.

В архиве г. Горького — в фондах жандармского управления, охраны, полиции — пристав — немало официальных документов о Яровицком (анкеты, протоколы допросов и прочее), которые говорят о внешних фактах его жизни: родился 15 мая 1876 года в Клевани, Волынской губернии, учился в Московском университете.

Весной 1899 года Яровицкий заканчивал историческое отделение Московского университета, оставалось сдать государственные экзамены. Но в это время он возглавил Исполнительный комитет московского студенчества, который подготовил созыв общероссийского съезда студентов. На второй день работы съезда, 21 апреля 1899 года, всех его участников арестовали на квартире одного студента, где заседал съезд. При аресте была захвачена составленная Яровицким «программа съезда», в которой были не только «академические», но и политические требования.

А. В. Яровицкий просидел под следствием в тюрьме (в Таганской и Бутырской) тридцать восемь дней и 30 мая 1899 года был выслан в Нижний Новгород под гласный надзор полиции (то есть без права выезда из города). Через день после приезда в Нижний Яровицкий пишет матери большое письмо, в котором между прочим сообщает, что во время следствия он «...написал такой протокол, который носит характер обвинительного акта... явился не обвиняемым, а обвинителем...».

На другой день по приезде в Нижний Яровицкий снял комнату и стал искать работу, но ночью к нему являлись жандармы, производят обыск, отбирают письма и — как он сообщает в письме к брату — «...рукопись с писаниями в марксистском духе».

Так началась жизнь Яровицкого в Нижнем. Все четыре года жизни его в городе — это цепь обысков, арестов, бесконечных полицейских придинок.

Вот «Дневник наружного наблюдения» за 1902 и 1903 годы — это большая канцелярская книга, куда равнодушная рука писаря из охранного отделения ежедневно заносила сообщения многочисленных шпиков, представленных к своим «наблюдаемым» — нижегородским революционерам. О Яровицком здесь немало записей — шпики часто провожают наблюдаемого то в квартиру А. М. Горького (в дом Киршбаум на углу Мартыновской и Ковалихи), то на Московский вокзал (где «наблюдаемый» опускает письма прямо в почтовый вагон), то в Бабушкинскую больницу, где работала фельдшерницей невеста Яровицкого — А. М. Кекишева¹. Но гораздо чаще шпики указывают: «Наблюдаемый был утерян». «Был утерян» — то есть скрылся, обманул филеров...

Очевидно, Яровицкий, сразу же по приезде в Нижний ставший активным участником социал-демократического подполья, осуществлял связь нижегородских революционных кругов с другими городами.

Несмотря на строгий запрет, А. В. Яровицкий часто отлучается из Нижнего — то в Казань, то в Донбасс, к сестре. «На прошлой неделе я ездил в Казань,— пишет он брату 7 ноября 1899 года,— это выследили жандармы, бывшие на пристани во время отправки парохода».

Особенно знаменательны поездки А. В. Яровицкого в Донбасс, на Щербиновский рудник — один из центров революционного движения в Донбассе. Возглавляли революционную работу на этом руднике известный революционер, организатор знаменитой морозовской стачки ткачей П. А. Моисеенко, молодой Г. И. Пегровский — будущий крупный советский государственный деятель, рудничный врач И. Н. Кавалеров² и другие. А в своих воспоминаниях о Моисеенко И. Н.

¹ А. М. Кекишева (1875—1958) — активный деятель Нижегородской организации РСДРП в начале 900-х годов. Заломов, со слов Горького, указывал на Кекишеву как на прототип Сашеньки из повести «Мать» (Архив А. М. Горького, МОГ — 6—15—1).

² И. Н. Кавалеров был женат на сестре А. В. Яровицкого. Старый большевик и крупный ученый-медик, Кавалеров в последние годы своей жизни заведовал кафедрой в Горьковском мединституте; умер в г. Горьком в 1946 году.

Кавалеров указывает: «Громкую роль в организации революционного движения в Щербиновском районе сыграли т. Г. И. Петровский, начавший работать на Щербиновском руднике в качестве слесаря, и приехавший из Сормова А. В. Яровицкий, близкий друг Горького, ведший несколько лет активную работу среди сормовских рабочих. Он, Г. И. Петровский и П. А. Моисеенко были, таким образом, фактически первыми организаторами революционного движения в Щербиновском районе».

За время жизни в Нижнем А. В. Яровицкий несколько раз был арестован и сидел в нижегородском остроге — то несколько дней, то несколько недель. В ночь с 16 на 17 апреля 1901 года одновременно с Яровицким был арестован А. М. Горький и большая группа молодежи. Доказать «виновность» арестованных не смогли и вынуждены были их выпустить. 8 мая 1901 года А. В. Яровицкий пишет брату: «В городе страшно возмущены совершенно бессмысленными арестами и объясняют их так: было на носу первое мая, талантливый прокурор сообразил, что если он произведет самые широкие аресты и обыски, то, быть может, на что-нибудь наткнется. Но попал пальцем в небо... Вместе со мной был арестован Горький и другой писатель — Скиталец, по поводу которого в городе острят, что он Бову читает по складам, а его обвиняют в пропаганде и агитации. К тюрьме ходили студенты и частные лица с выражением своего негодования. Спрос на сочинения и портреты Горького сразу поднялся. Здесь со всех фотографов взяли подписку о том, что они не будут продавать его карточек. Потеха!» В постановлении нижегородского жандармского управления по поводу этого ареста Яровицкого значится: «Принимая во внимание прошлую деятельность Алексея Яровицкого, вызвавшую подчинение его гласному надзору полиции, и установление сношений его и посещений обвиняемого Алексея Пешкова, желательно удаление его из Нижнего Новгорода, так как безрезультатность обыска и отсутствие прямых улик в настоящем деле объясняется только опытностью его и предусмотрительностью».

Революционная деятельность А. В. Яровицкого прервалась рано. Он умер от тифа в Бабушкинской больнице 22 ноября 1903 года, двадцати семи лет. Через два дня революционеры Нижнего хоронили своего товарища. Довольно подробные сведения о

похоронах А. В. Яровицкого имеются в секретном донесении нижегородского полицмейстера прокурору. Полицейстер в этом донесении между прочим пишет, что он потребовал удаления венка с надписью: «Безвременно погибшему борцу — товарищи». Организаторы похорон отказались выполнить это требование. Полицейстер признается в своем бессилии. «Так как гроб был окружен тесной толпой поднадзорных и единомышленников умершего, — пишет он, — то, чтобы не вызвать беспорядка, я не признал возможным силою устранить ленту...» Далее в донесении приводится список бывших на похоронах «поднадзорных» — всего 62 человека, в том числе Я. М. Свердлов, А. И. Пискунов, О. И. Чачина, сестры Иваницкие, П. Невзоров, Е. П. Пешкова...

В этом документе есть одно место, на которое хочется обратить особое внимание читателя. Сообщив о конце похорон, полицмейстер добавляет: «Кекишева, невеста умершего Яровицкого, была привезена из 2-го корпуса тюрьмы с разрешения жандармского начальства на могилу под присмотром жандармского унтер-офицера и тюремного надзирателя, где долго плакала». Перебирая архивные документы в поисках материалов о Яровицком, я обратил внимание на донесение одного пристава в жандармское управление зимой 1903 года (то есть вскоре после смерти Яровицкого) по поводу самоубийства какого-то юноши гимназиста. Пристав, сообщая об этом «по начальству», перечисляет все, что обнаружено в карманах самоубийцы: в правом — предсмертное письмо, а в левом — прокламация, выпущенная Нижегородским комитетом РСДРП под названием «А. В. Яровицкий».

Значит, после смерти Яровицкого о нем выпустили специальную прокламацию? Где же она? Экземпляр, найденный у самоубийцы, отправили в центр, а другого экземпляра нижегородские жандармы не раздобыли. Может быть, эта прокламация имеется в архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Обращаюсь туда — и вот прокламация передо мной. Небольшой листок, типографский шрифт очень мелкий, но четкий. Название: «А. В. Яровицкий (некролог)». Подпись: «Нижегородский Комитет РСДРПартии 1903 года, декабрь». Эта прокламация одновременно и яркий документ подпольной социал-демократической печати и свидетельство значительности революционной работы А. В. Яровицкого. «22

ноября умер от тифа наш товарищ А. В. Яровицкий. А. В. был социал-демократом и крупным деятелем в революционной работе, — так начинается прокламация. — Впервые он вступил в борьбу во время знаменитых студенческих волнений 1899 года в качестве члена Исполнительного комитета студенческих организаций в Москве. Он явился тогда одним из главных вожakov студенчества. В конце волнений, когда они стали обнаруживать свой политический характер, А. В. участвовал в созыве первого Всероссийского съезда студенческих организаций. Он был затем председателем на этом съезде, и не без его влияния студенческое движение повернуло на путь политических требований. По делу съезда А. В. был арестован и выслан под гласный надзор в Нижнем Новгороде на 3 года. Здесь он принял участие в работе местного социал-демократического кружка, тогда еще малочисленного и неокрепшего. Когда деятельность кружка разрослась и в Нижнем организовался Комитет Партии, А. В. был одним из главных его организаторов. Крупным, заметным деятелем партии он оставался и до самой смерти... Мы не имеем возможности перечислить то, что именно сделано умершим революционером, всякий шаг революционера делается в строгой тайне, столь необходимой для прочности нелегального дела. Часто настоящие подвиги самоотвержения совершаются скрытыми от всех взоров и навсегда остаются никому не известными. Ведь революционеру не надо славы, не надо похвал. Мы только скажем о нашем товарище, что в Нижнем Новгороде А. В. более трех лет напряженно работал...»

Заканчивается прокламация так: «Кто всюю душою полюбил дело борьбы за лучший мир, тому нипочем придется все личные невзгоды, тот смело будет смотреть в глаза смерти. Хорошо жить и умереть революционером. А. В. отдался делу нашей партии весь, всюю душою. Ему он принес в дар свой природный ум и свою редкую силу характера, качества, ценные для дела... Упадём ли мы духом от гибели друга? Нам не привыкать к потерям и жертвам... Наше дело имеет чудодейственную силу. На смену выбывшим становятся новые бойцы, и тем же железным слитым строем, непобедимые, мы идем вперед к нашей цели, прямо к ней»¹.

¹ Архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, ЦДЛ—1—84.

Профессиональный революционер, убежденный социал-демократ, А. В. Яровицкий имел и другую — «легальную» — жизнь. Но эта легальная жизнь Яровицкого — сотрудника газеты «Нижегородский листок» и писателя А. Корнева — органически сливалась с нелегальной: быть в начале XX века страстным и открытым последователем Горького означало быть революционером в искусстве.

После смерти А. В. Яровицкого-Корнева, в 1903—1904 годах, А. М. Горький собирал произведения умершего писателя, разбросанные по различным газетам и журналам. Он привлек к этому делу и Е. П. Пешкову, попросив ее переписать рассказы А. Корнева из «Нижегородского листка». В марте 1904 года А. М. Горький пишет из Петербурга Е. П. Пешковой в Нижний: «Нужно, мой друг, позаботиться о рассказах Яровицкого, мне хотелось бы к приезду моему дело это видеть конченным...» Е. П. Пешкова выполнила эту просьбу: некоторые рассказы А. Корнева из «Нижегородского листка» ею были переписаны в тетрадь, которую и взял с собой А. М. Горький, приехав в Нижний 6 мая 1904 года. Рукопись пролежала многие годы у директора издательства «Знание» К. П. Пятницкого, а потом попала в Архив А. М. Горького, где она и находится сейчас. После Пятницкого рукопись побывала, видимо, во многих руках: кроме двух тетрадей, здесь имеется большое количество перепутанных листов, случайных заметок, начал без концов, концов без начал. Все это вложено в большой двойной лист бумаги, на котором рукой А. М. Горького красным карандашом написано: «Рукописи А. В. Яровицкого. Не восстанавливать по всему этому книгу А. Корнева не представляется возможным...»

В Архиве А. М. Горького, кроме рукописей Яровицкого, имеется немало интересных материалов, проливающих свет на отношения А. М. Горького к молодому писателю. Вот, например, никогда не публиковавшиеся письма Горького к Е. К. Малиновской, жене нижегородского архитектора и активной общественной деятельнице. В одном из них А. М. Горький пишет о смерти Яровицкого: «Смерть А. В. ошеломила меня. Настроение — скверное. Ибо если сравнить его жизнь с моей — моя построена неважно...» В другом письме он сообщает, что посылает домой срочную телеграмму о венке на гроб Яровицкого, справляется, возложили ли

от него этот венок, и просит Малиновскую помочь в соби́рании рассказов Яровицкого. Там же он пишет, что берется за издание «трудов А. В.». И много лет спустя, уже в советскую эпоху, А. М. Горький не бросал мысли об издании книги Яровицкого. Об этом свидетельствует записка Е. П. Пешковой от 22 декабря 1928 года: «Рукописи Яровицкого — книга, подобранная Алексеем Максимовичем в 1903—1904 годах, он очень хотел, чтобы эти работы были изданы. Говорил об этом в Горках с В. А. Десницким».

Перебираю рукописи, письма, воспоминания и вдруг наталкиваюсь на интереснейший документ: письмо А. Кавалерова к А. М. Горькому от 5 ноября 1926 года в Сорренто; в нем говорится, что автор письма — племянник А. В. Яровицкого, что в его распоряжении находится большой архив, собранный родными Яровицкого, — письма, рукописи, фотографии. «Есть и Ваша фотография, — пишет А. Кавалеров Горькому, — подаренная А. В. со следующей надписью: «Без сомнения, с полной уверенностью пишу: будущему крупному писателю А. В. Яровицкому. Максим Горький с уважением и любовью. 7-го ноября 1901 г.»

Но ведь 7 ноября 1901 года Горького провожала из Нижнего в Крым революционная молодежь; о демонстрации по этому поводу писал В. И. Ленин в известной статье «Начало демонстраций». Значит, А. М. Горький дарит Яровицкому фотографию с такой надписью в такой день!

В конце письма А. Кавалеров просит А. М. Горького помочь в создании очерка о Яровицком. Ответил ли А. М. Горький Кавалерову? Где сейчас Кавалеров и архив Яровицкого? Нашел Кавалерова я без особых хлопот — через адресное бюро. Алексей Иванович Кавалеров, крупный работник министерства геологии, живет сейчас в Москве со своей матерью Верой Васильевной, родной сестрой А. В. Яровицкого. Они бережно хранят архив Яровицкого.

Этот частный архив прежде всего помогает восстановить книгу Яровицкого — здесь собраны почти все его рукописи, много газетных вырезок с его произведениями. Чрезвычайно интересны письма Яровицкого — к родителям, брату, сестре. Вот они передо мною, около ста пятидесяти писем, написанных в 1899—1903 годах. Четкий, волевой почерк. Смелые политические обобщения, остронаправленные оценки газет и

журналов, меткие характеристики людей. Эти письма — ценные исторические документы о революционной, общественной и литературной жизни Москвы и Нижнего Новгорода того времени. Во многих письмах — сведения об А. М. Горьком: о встречах с ним, беседах, о его замыслах и новых произведениях, бытовые яркие детали жизни писателя. Оказывается, М. Горький не только помог Яровицкому стать постоянным сотрудником «Нижегородского листка», но и придумал ему литературный псевдоним — «А. Корнев».

Первая встреча и знакомство Яровицкого с Горьким произошли при следующих обстоятельствах. Вскоре после приезда в Нижний Новгород А. В. Яровицкий написал и послал в журнал «Жизнь» несколько очерков и статью «Интеллигент-буржуа о Максиме Горьком». Очерки и статью редакция журнала переслала Горькому для отзыва и поставила об этом в известность автора. Вот тогда и решил Яровицкий сходить к Горькому. В письме к брату от 3 декабря 1899 года он так описывает эту свою первую встречу с Горьким: «...Когда он узнал, что я — автор прочитанных им очерков, он обрадовался моему приходу, воодушевился, говорил мне об их достоинствах и недостатках и объяснил, почему счел их неподходящими для журнала «Жизнь». Он все сдерживал свои похвалы, но потом прямо сказал, при прощании, что у меня талант и что потому-то ко мне и надо относиться поостроже. Он просил прийти снова через день, когда он думал прочесть мои очерки. Я был у него, он принял меня по-прежнему очень дружелюбно и сказал, что отсылает мои очерки в «Жизнь»; кой-какие погрешности в слого он дал мне исправить... Он говорил о себе, мы разговорились, он увидел, что я хорошо понимаю его произведения, и оба мы увлеклись... Я никогда не забуду той теплоты, того внимания и того дружеского расположения, которое он выказал ко мне. Он осведомился о моем материальном положении (еще во время первого визита), предложил пользоваться своей библиотекой, что я уже и делаю. Из кабинета — маленькой, неуютной комнатки — мы сошли вниз пить чай... Горький сказал, что очерки прочтутся с интересом, что они обратят на себя внимание, но — «не увлекайтесь» — добавил он, — когда будете читать себе похвалы...» Он боится, чтобы у меня не закружилась

голова. Но... мне всего дороже был отзыв его самого. Мне приятно было видеть, что факт моего появления в литературе доставляет ему такую радость: он говорил о пессимизме и о бодрости моих очерков. Он был так любезен (хотя это слово и звучит в данном случае как-то неподходяще и слабо), что хотел «сбегать» к одному фотографу и взять у него снимки Волги, чтобы приложить к моим очеркам. Итак, кажется, судьба моя решена, путь найден...»

А. М. Горького не случайно обрадовал «факт появления в литературе» нового писателя: этот новый — несомненно, талантливый — писатель был с самого начала его последователем. И Горький становится учителем, наставником, помощником начинающего писателя. 8 декабря 1900 года Яровицкий сообщает брату, что исправляет свой новый рассказ «...согласно указаниям Горького; потом он будет, вероятно, напечатан в «Жизни», словом там, куда определит его Горький». А 20 декабря 1900 года пишет матери: «Написал теперь более крупную вещь — рассказ. Должно быть будет напечатан в «Жизни» в будущем, словом там, куда его определит Горький, крестный отец почти всех моих произведений...»

Какой еще русский писатель, кроме Яровицкого-Корнева, мог в 1900 году назвать А. М. Горького крестным отцом всех своих произведений! Какой еще русский писатель, кроме Яровицкого-Корнева, имел счастливую возможность почти ежедневного общения с Горьким — по делам революционным и литературным! «...Каждое посещение его являлось для меня умственным и нравственным освежением,— пишет Яровицкий 31 декабря 1901 года отцу о посещении Горького,— это человек великого ума и сердца и замечательно разносторонний... При близком знакомстве с Горьким становится понятным, почему он — властитель дум настоящего времени, как некогда были Белинский, Добролюбов, Писарев, и почему даже за границей его проповедь отодвигает на задний план проповедь Л. Толстого. Я чувствовал, что его квартира — это центр, где зарождается новая мысль, все свежее, здоровое и столь необходимое в настоящее время...»

А. М. Горький радостно следит за быстрым развитием таланта Яровицкого-Корнева, помогает печататься, дает заказы. Благодаря Горькому произведения А. Корнева появляются в лучших русских журналах того времени, где печатался и сам А. М. Горь-

кий,— «Жизнь», «Журнал для всех», в газете «Северный курьер». «...Горький предлагал написать одноактную пьесу для Художественного театра, да я не дерзаю,— пишет Яровицкий сестре 20 октября 1902 года.— Целый ряд лиц будет писать эти одноактные пьесы — Андреев уже написал...» Весной 1903 года, за полгода до своей смерти, Яровицкий написал большой рассказ «Сказки». Тему этого произведения сам писатель определил так: «Здесь рисуется, с одной стороны, покоряющее влияние семьи и семейных традиций, с другой стороны, первые зачатки протеста человеческой личности против ее стеснения» (из письма к брату). Рассказ отдается на суд А. М. Горькому. «Горькому очень понравилась эта вещь,— пишет Яровицкий 8 мая 1903 года брату,— нашел ее «значительной и истинно революционной». И тут же сообщает, что Горький хочет этот рассказ «...выпустить отдельной книгой...».

С некоторыми произведениями своего ученика и последователя А. М. Горький знакомит А. П. Чехова и Л. Н. Толстого. 21 декабря 1901 года в «Нижегородском листке» опубликована легенда А. Корнева «Набат». А. М. Горький в это время жил в Крыму, и Яровицкий посылает туда газетную вырезку с «Набатом». «...Сегодня у меня праздник,— сообщает Яровицкий брату 5 января 1901 года — Горький от своего имени и от имени Чехова хвалит его (рассказ «Набат».— Л. Ф.) в своем письме ко мне. На днях его прочтет Л. Толстой, и тогда Горький напишет мне о его отзыве. Чехову понравился также мой язык; он нашел, что у меня «свой язык», хотя я временами и погрешаю против того «своего», что есть в нем. Я со страхом жду отзыва Толстого...» Отзыва Л. Толстого об этом рассказе мы, к сожалению, не знаем.

Преждевременная смерть не дала осуществиться многим творческим замыслам Яровицкого. Последнее произведение, подписанное фамилией А. Корнев,— большой очерк «На Волге» — был напечатан в «Нижегородском листке» за несколько дней до неожиданной смерти молодого писателя, и гонорар за этот очерк пошел на организацию похорон его автора.

Творческое наследие Яровицкого-Корнева составляет около сорока опубликованных при его жизни и свыше десяти оставшихся в рукописях произведений: очерки и рассказы, легенды и стихотворения в прозе,

лирические стихи и критические работы. Не все здесь значительно в художественном отношении, но большинство — оригинально, талантливо, с ясно ощутимой «горьковской» интонацией. И это не простое «подражательство», не эпигонство, а стремление усвоить пафос, направление искусства Горького. Романтическая взволнованность авторского повествования, ясная, доведенная до афористичности, лозунговости мысль, революционная пагетика — все это делает А. Корнева не просто учеником Горького, но талантливым последователем великого основоположника пролетарской литературы. Характерно, что излюбленный Яровицким жанр — аллегорическую сказку, легенду — он теоретически обосновывает тем же, чем и М. Горький в статье «Аллегории Оливии Шрейнер» (1899). В письме к родителям от 24 ноября 1902 года А. В. Яровицкий пишет: «Фантастические рассказы часто очень удобны потому, что в них можно сказать гораздо больше, чем в рассказе реальном. В такие рассказы можно вложить и больше поэзии».

Справедливости ради надо сказать, что А. Корнев, проходя период ученичества у Горького, иногда попросту шел след в след за своим учителем. То прямая реминисценция из «Старухи Изергиль» (неопубликованный рассказ «Сказки»); то горьковский образ (Черт в неопубликованном рассказе «Моя чернильница»); то излюбленная горьковская мысль: «Правда — бог свободного человека».

Но не эти элементы прямого подражания Горькому характерны, повторяем, для творчества А. Корнева в целом.

Вслед за А. М. Горьким Яровицкий-Корнев ставит проблему нового читателя — одну из чрезвычайно важных эстетических проблем молодой пролетарской литературы. В решении этой проблемы А. Корнев — горьковец, но вместе с тем и оригинальный художник и мыслитель. В неопубликованной рецензии на книгу П. Накрохина «Идиллия в прозе» (1899) Яровицкий пишет: «Одной талантливости для писателя мало. Ему необходимо чутко и внимательно прислушиваться и присматриваться к современной действительности, к жизни, чтобы уловить и подметить то, что волнует и чем живут его современники, или — точнее — тот класс, выразителем настроения и нужд которого он является. Только такой писатель способен

заставить звучать струны сердца у своего читателя и волновать его мысль».

А. В. Яровицкий-Корнев знает, выразителем какого класса он, как художник, является и кто его читатель. В аллегорическом рассказе «Ночь» («Нижегородский листок», 31 октября 1902 года) писатель лунной ночью... «ушел по большой дороге далеко за город, а когда устал, свернул в сторону и лег отдохнуть на пригорке». Недалеке — обрыв к реке; и вот с реки ветер доносит шум чьих-то тяжелых шагов, а потом перед лежащим писателем вырастает какая-то огромная фигура великана. «Голова его упиралась в небо, а ступни его ног были больше моего тела... Он был велик, могуч и красив в своей мощи, но, увидав его, я не ощутил страха». На вопрос, кто он, великан отвечает: «— Я — будущий читатель. Вон — смотри, там идут мои братья, — указал он мне на дорогу». И писатель увидел при блеске луны мужика в лаптях и рваном тулупе; за ним шел молодой и стройный человек. «На нем была надета блуза, грязная, вся в пятнах, ветер играл ею, и сквозь нее вырисовывалось его тело, крепкое и мускулистое. Картуз у него был сдернут на затылок, и шагал он легко, уверенно и весело, а тень его быстро бежала рядом, поднимаясь на бугры и груды камней, прычась в канаве, высоко вставая у деревьев». А вслед за ним — огромная толпа людей в блузах и лаптях. «Опираясь руками о землю, я смотрел на дорогу. Мне было хорошо, и слезы текли по моим щекам», — заканчивает Яровицкий описание этой встречи.

А. В. Яровицкий очень ясно понимал социальную природу декаданса — и поэтому отверг его, противопоставляя ему пролетарское искусство. В письме к брату от 8 мая 1903 года он пишет: «...Я не хотел бы пойти по тому пути, по которому идет современная новая литература (у нас Андреев и его подражатели, близкие к декадентам, Брюсов и другие из Скорпионов — это уж декаденты, так сказать, второго слива, нарочитые декаденты — подражатели западноевропейским образцам). Их пессимизм — пессимизм бессилия, отчаяния и растерянности... Нужна же демократическая литература, знающая, кому принадлежит будущее и кто похоронит современное общество...»

Совершенно не случайно поэтому А. В. Яровицкий в одном из рассказов

создает образ пролетарского писателя, в котором легко угадываются черты А. М. Горького. Речь идет об аллегорическом рассказе «О двух писателях», впервые напечатанном весной 1902 года в «Нижегородском листке», а затем включенном в «Нижегородский сборник», который вышел в издательстве «Знание» уже после смерти Яровицкого, в разгар революции 1905 года. В рассказе резко противопоставлены друг другу два типа писателей. Один любит человека таким, каков он есть. «Чигая его, они (то есть читатели.— Л. Ф.) жалели себя, проникались уважением к своим страданиям и еще более начинали любить себя самих, свою жизнь и порядки ее». Другой же писатель не любит человека, каков он есть, у него нет жалости к современному человеку, он призывает человека измениться — стать героем. «Вы думаете, что страдаете, но вы страдаете потому только, что слишком избалованы жизнью, и укол булавки принимаете за смертельную рану,— обращается он к своим читателям.— Счастье человеческой жизни — в свободном творчестве ее, вы же думаете лишь о том, чтобы сберечь свою шкуру... И я спрашиваю вас, неужели никогда не посещало вас желание быть безумно смелыми, гордыми и сильными; неужели творческий дух навсегда умер в вас? Человек должен быть

героем, чтобы быть достойным имени человека и, если вы так ничтожны, бессильны и так низки, что не способны быть героями, тем хуже для вас! Вы погибнете... Но я знаю, я верю, что на место вас придут иные люди, с грубыми, корявыми руками и принесут с собой жизнь полную и яркую, ибо они не привыкли, подобно вам, бояться ее и робко стоять в стороне от нее, дабы уберечь свое поило. Они следуют велениям своего сердца, и потому в них живет творческий дух... и сила, и отвага, нужная для творчества, есть в них. Я верю, что они придут, ибо, если б не было у меня веры в это, то не стоило бы жить мне...»

А. В. Яровицкий-Корнев — один из несправедливо забытых писателей молодой пролетарской литературы. Произведения этого галантливого ученика и последователя А. М. Горького имеют большую и общественную, и художественную, и историко-литературную значимость. Издание сборника произведений А. В. Яровицкого-Корнева сейчас означало бы не только выполнение одного из заветов А. М. Горького. Такой сборник, познакомив читателей с произведениями и письмами талантливого писателя-революционера, позволил бы расширить наши представления о пролетарском искусстве начала XX века.

Л. ФАРБЕР.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

Ф. И. КОТОВ. Вопросы труда в семилетнем плане. Госпланиздат. М. 1960. 212 стр. Цена 6 р. 60 к.

Июльский Пленум ЦК КПСС с особой силой подчеркнул, что «решить коренную проблему текущего семилетия — максимально выиграть время в мирном экономическом соревновании социализма с капитализмом — можно только путем всемерного повышения темпов технического прогресса и на этой основе роста производительности труда».

Наша экономическая литература пока еще не богата разработкой теоретических вопросов труда в период развернутого строительства коммунизма. Одной из новинок в этой области является книга Ф. Котова.

Как известно, за счет роста производительности труда в 1965 году должно быть получено свыше девяноста процентов всего намеченного семилетним планом прироста общественного продукта и основная часть увеличения национального дохода. Поэтому рассмотрение автором путей повышения производительности труда привлекает особое внимание, тем более что в книге это дано по отдельным отраслям народного хозяйства, включая строительство, сельское хозяйство, железнодорожный транспорт. Автор подробно рассматривает такие эффективные источники роста производительности труда, как развитие специализации предприятий, комбинирование производства, его концентрация.

Большое место в книге отведено проблемам улучшения использования трудовых ресурсов и повышения качества подготовки рабочих и специалистов.

Г. БАКУЛЕВ, Д. СОЛОМЕНЦЕВ. Промышленность Тульского экономического района. Тульское книжное издательство. 1960. 368 стр. Цена 11 р. 50 к.

Авторы начинают свой рассказ издалека, с той поры, когда Тульский край стал колыбелью индустриального развития России.

Неузнаваемо преобразился лик промышленной Тулы в советские годы. В книге приведены слова В. И. Ленина, писавшего в 1919 году: «Значение Тулы сейчас исключительно важно, — да и вообще, даже независимо от близости неприятеля, значение Тулы для республики огромно».

И в наши дни Тульский экономический район играет весьма заметную роль в хозяйстве страны. Достаточно сказать, что по добыче угля он занимает третье место в СССР — после Донбасса и Кузбасса. Тула — это также химия, черная металлургия, машиностроение. В тридцать семь государств мира экспортируется продукция области. Не померкла слава тульских самоваров, ружей, баянов, но примечательно, что на Брюссельской всемирной выставке отличий удостоились не только эти традиционные изделия, но и комбайны, чулочные автоматы, шахтные комплексы.

Какие перспективы открывает перед индустрией Тульского экономического района реорганизация управления промышленностью и строительством, какие мероприятия надо осуществить и какие резервы пустить в ход, чтобы обеспечить дальнейший подъем района? Отвечая на эти вопросы, авторы особенно подробно останавливаются на проблемах специализации, кооперирования и комплексности в развитии промышленности.

Е. Н. АНДРИКАНИС. Хозяин «Чертова гнезда». «Московский рабочий». 1960. 232 стр. Цена 4 р. 15 к.

Фабрикант-революционер... Какое странное и необычное словосочетание! Об этом благородном человеке напоминает название одного из проездов Москвы в районе Красной Пресни — Шмитовский проезд. Сама жизнь подтверждает глубокую справедливость слов Маркса и Энгельса, что «в те периоды, когда классовая борьба приближается к развязке... небольшая часть господствующего класса отрекается от него и примыкает к революционному классу... которому принадлежит будущее».

Именно так поступил Николай Павлович Шмит, сын «поставщика двора его императорского величества».

О короткой, но славной жизни Н. П. Шмита, эпизодах героической борьбы революционного пролетариата Москвы рассказывает книга заслуженного деятеля искусств РСФСР Е. Н. Андриканиса.

Н. П. Шмит стал членом большевистской партии, а его мебельная фабрика — «Чертово гнездо», как с ненавистью прозвали ее царские опричники, — крепостью большевизма на Пресне, бастионом декабрьского

вооруженного восстания в Москве в 1905 году.

Используя литературные и архивные материалы, а также воспоминания участников первой русской революции, автор создал яркие картины боевых подвигов дружинников Красной Пресни. В результате артиллерийского обстрела «Чертово гнездо» было разрушено до основания, а его владелец брошен в тюрьму, где его подвергли мучительным пыткам, а потом злодейски умертвили. Н. П. Шмит до конца остался верен делу революции и перед смертью завещал все свое состояние большевистской партии.

С. ДАТЛИН. Африка сбрасывает цепи. Госполитиздат. М. 1960. 80 стр. Цена 1 р.

Буря народного гнева бушует над Африкой. О том, как попали колонизаторы на «Черный континент» и как сейчас отступают они под натиском пробудившихся, жаждущих независимости народов, рассказывает книга С. Датлина.

Одна за другой проходят перед читателем африканские страны, изгнавшие колониализм. Только за последние четыре года завоевали политическую независимость Судан, Тунис, Гана, Гвинейская Республика. В начале 1960 года освободились от цепей колониализма народы Камеруна, Того, Итальянского Сомали и других колоний, которые еще совсем недавно считались надежным оплотом колониализма.

В книге убедительно показано, что империалистические страны соглашаются предоставить независимость той или иной колонии лишь тогда, когда мощное развитие национально-освободительной борьбы не оставляет им другого выбора. Автор развенчивает также «цивилизаторскую» роль колонизаторов. Достаточно напомнить, что 85—90 процентов африканцев неграмотны, а среди шестимиллионного местного населения такой колонии, как Мозамбик, имеется... один человек с высшим образованием.

В заключительной главе «Надежный друг народов Африки» рассказывается об укреплении уз экономического сотрудничества и искренней дружбы между Советским Союзом и странами Африки.

Д. Н. ПРИТТ. Шпионы и осведомители на скамье свидетелей. Издательство иностранной литературы. М. 1960. 116 стр. Цена 2 р.

Автор книги — известный английский юрист, крупный общественный деятель. Задачу своей новой работы он видит в том, чтобы показать то зло, которое неизменно возникает в результате использования буржуазными судами в качестве свидетелей по уголовным делам осведомителей и шпионов.

В основу книги легли подлинные факты и материалы судебных процессов, происходивших в последнее время в ряде капиталистических стран. Исследование посвящено главным образом положению в США и Англии. Автор рассматривает три типа

«свидетелей» подобного рода. Это соучастники, то есть люди, которые сами принимали участие в совершении преступления и решили потом предать своих товарищей ради спасения собственной шкуры; или же подосланные в организацию штатные шпионы; наконец, это агенты-provokatory, «которые не только слушают, а потом доносят, но, напротив, активно склоняют и подстрекают лиц, которые, возможно, и не намеревались совершить что-либо преступное». Использование лжесвидетельства, заявляет Д. Притт, одна из форм попрания гражданских и политических прав человека.

Являясь борцом за мир и демократию во всем мире, Д. Притт показывает, что силам зла не только вне, но и внутри буржуазных стран противостоят другие силы. Они не только оказывают мужественное сопротивление реакции, но нередко заставляют отступить своих политических противников.

В заключительной главе книги, названной «Читатель, будь начеку!», автор пишет, что самое важное и непосредственное, что может сделать каждый гражданин, — это убедить себя и других в необходимости отказаться от легкомысленного принятия на веру всего того, что в политических процессах сегодняшнего дня жиждется на показаниях осведомителей, шпионов и агентов».

А. ТАЛАНОВ. Нансен. «Молодая гвардия». М. 1960. 304 стр. Цена 6 р. 40 к.

Герой входит в книгу одиннадцатилетним мальчиком, очутившимся перед лицом первых трудностей. Мы видим, как ярко проявлялись уже в этом раннем возрасте присущие Нансену смелость, решительность, упорство в достижении намеченной цели. На наших глазах как бы происходит становление характера выдающейся личности, развитие тех качеств, которые позволили известному полярному исследователю Харальду Свердрупу сказать о нем: «Нансен был велик как полярный исследователь, более велик как ученый и еще более велик как человек».

Автор ведет нас через всю жизнь знаменитого норвежца. Вот его редкостный по отваге переход на лыжах через всю Гренландию; дрейф во льдах судна «Фрам»; океанографические работы, опровергшие мнение о мелководности Арктического бассейна, многие экспедиции отважного исследователя, обогатившие мировую науку.

Читатель узнает и о широкой общественной деятельности Нансена. Верный друг нашего народа, он был одним из организаторов помощи голодающим Поволжья в 1921 году, страстно разоблачал клеветников, выступавших против молодого Советского государства. В знак признательности к его благородной деятельности трудящиеся Москвы избрали Нансена почетным членом Моссовета.

Книга А. Таланова богато иллюстрирована; в числе приведенных фотопортретов Ф. Нансена есть впервые у нас публикуемые.

ЮЛИУШ СЛОВАЦКИЙ. Избранные сочинения в 2-х томах. Перевод с польского под общей редакцией М. Рыльского. Том I — стихи, поэмы, драмы. 808 стр. Цена 12 р. 15 к. Том II — драмы, проза. 702 стр. Цена 10 р. 25 к. Гослитиздат. М. 1960.

Недавно польский народ, а вместе с ним и все передовое человечество отмечали 150-летие со дня рождения великого польского поэта-гражданина Юлиуша Словацкого.

Поэт могучего поэтического дарования, Словацкий обращался к самым различным сторонам действительности. Творчество его необычайно многогранно. Он один из ярких представителей революционного романтизма в польской литературе и в то же время один из зачинателей ее реалистического направления.

Уже в самых ранних его поэмах — «Гуго», «Ян Белецкий» и других — звучит протест против шляхетского произвола и клерикализма. В драмах «Кордиан» и «Горштынский» поэт обличает польских магнатов и шляхту, предавших интересы родины. Чувством глубокой гуманности проникнута поэма «Отец зачумленных».

В канун событий 1848 года Словацкий приветствовал грядущее революционное выступление пролетариата. Дерзким вызовом прозвучали его стихи:

И выйдут сто рабочих...
Весь город вспашут, взроют,
Трудясь с утра до ночи.
И клетки все раскроют,
Чтобы свободным птицам
В неволе не томиться...
И, сотрясая своды,
Взнесется песнь свободы!

В нашей стране в ознаменование юбилея Словацкого вышел недавно в свет двухтомник его избранных произведений. В него включены все наиболее известные произведения поэта — стихи, одиннадцать поэм, семь драм, проза, письма. Это первое столь полное издание Словацкого на русском языке.

В подготовке двухтомника принимала участие большая группа известных советских поэтов.

ЮРИЙ СМОЛИЧ. Разговор с читателем и писателем. Стыги. Авторизованный перевод с украинского Л. Нестеренко. «Советский писатель». М. 1960. 360 стр. Цена 8 р. 70 к.

В книге собраны статьи известного украинского писателя Ю. Смолыча, посвященные вопросам литературного мастерства, роли искусства в жизни советского общества, значению взаимодействия между писателем и читателем, а также законам художественного творчества, путям освоения жизненного материала.

Книга состоит из двух частей. В первой части — «Разговор с читателем» — автор рассказывает о судьбе некоторых своих про-

изведений и о том отношении, которое они встретили в разное время со стороны многочисленных читателей. Это своеобразная попытка Ю. Смолыча самокритически оценить свое творчество и сделать для себя определенные выводы. Здесь автор сопоставляет мысли читателей и мнения критиков со своими собственными взглядами.

Вторая часть — «Разговор с молодым писателем» — подытоживает работу автора с рядом молодых писателей, выступивших в украинской советской литературе с первыми большими прозаическими произведениями после войны, как, например, Олесь Гончар, Василий Козаченко, Иван Волошин, Степан Чернобривец и другие.

Для русского издания Ю. Смолыч пересмотрел и значительно доработал свои статьи.

ВОСПОМИНАНИЯ О МАКАРЕНКО. Сборник материалов. Лениздат. 1960. 348 стр. Цена 6 р. 60 к.

В одном из писем к Макаренко А. М. Горький писал: «...Удивительный Вы человечиче и как раз из таких, в каких Русь нуждается».

Именно таким «удивительным человечичем» встает со страниц этого сборника образ Антона Семеновича Макаренко.

В книгу включены материалы, в свое время опубликованные на страницах периодической печати и в ряде изданий: воспоминания о Макаренко людей, близко и хорошо его знавших, — друзей, воспитанников, сотрудников, тех, с кем он бок о бок жил и работал в колонии имени Горького, создавал коммуны имени Дзержинского, «завоевывал Куряж».

Рассказывая о замечательных человеческих качествах Макаренко — его огромной целеустремленности, трудолюбии, настойчивости, — авторы воспоминаний отмечают его скромность, сердечность, то, что он среди коммунаров всегда «жил обыкновенной жизнью, как живут в обычной семье. Ни к кому не подлаживался, не напускал на себя нарочитого добродушия или строгости».

Все материалы сборника расположены в хронологическом порядке и сгруппированы в трех разделах: «А. С. Макаренко до Октября и в первые годы Советской власти», «А. С. Макаренко в колонии имени А. М. Горького», «А. С. Макаренко в коммуне имени Ф. Э. Дзержинского. Последние годы жизни».

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ (ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА): Под общей редакцией Н. К. Гея и Я. Е. Эльсберга. Гослитиздат. М. 1960. 428 стр. Цена 11 р. 20 к.

Каждая из составляющих сборник работ раскрывает тему, обозначенную уже в самом названии книги, на своем особом материале. В статье Н. Гея «Типический характер и проблема художественности» содержится, помимо общей постановки вопроса, сопоставление принципов изображения человека у Л. Толстого и А. Фадеева; статья С. Бочарова «Психологическое раскры-

тие характера в русской классической литературе и творчество Горького» исследует пути создания характера в произведениях Толстого и Горького; В. Сквозников обращается к особенностям раскрытия характера в лирике Блока и Маяковского.

Книга содержит далее статью Н. Драгомирецкой «Принципы создания характеров в творчестве М. Шолохова и классические традиции» и статью Ю. Борева, посвященную проблеме характера в драматургии Брехта.

Сборник полемически направлен против «упрощенческих представлений о преемственности и новаторстве, представлений, сводящих продолжение классических традиций к школярскому восприятию ремесленных навыков» и, с другой стороны, против вульгарного подхода к характеру, при котором выхолащивалось «индивидуальное богатство личности». Авторы работ исходят из положения, что «характер в литературе является художественным открытием... характеров... существующих в самой действительности, которые ранее не были увидены и осознаны современниками».

При этой методологической общности, позволяющей назвать книгу единым трудом, статьи разных авторов отмечены печатью своеобразия интересов и точек зрения. Так, например, С. Бочаров, сопоставляя творчество Толстого и Горького, ставит перед собой цель прежде всего «создать представление о преемственности и смене литературных эпох»; великие писатели выступают в его работе как «выразители законов и стадий художественного процесса». В. Сквозников в большей мере стремится выявить неповторимые индивидуальные особенности принципов выражения лирического характера в поэзии Блока и Маяковского.

Одной из ценных сторон этой книги, созданной сотрудниками Института мировой литературы имени Горького, является то,

что свои теоретические положения авторы стремятся развивать на конкретном материале литературы, раскрывая художественное богатство образов, созданных крупнейшими писателями прошлого и современности.

Б. В. ТОМАШЕВСКИЙ. Пушкин и Франция. «Советский писатель». Л. 1960. 498 стр. Цена 12 р. 10 к.

Книга недавно скончавшегося литературоведа, пушкиниста Б. В. Томашевского, является итогом его многолетних исследований. Тема «Пушкин и Франция» занимала ученого с того момента, когда он впервые обратился к изучению пушкинского наследия.

Свою работу над книгой автор не успел закончить. Однако и в этом не вполне завершенном виде книга представляет большой интерес. Будучи сборником статей, не равнозначных по материалу, обобщениям и выводам, она в то же время имеет цельный характер. Автор показывает, как по мере развития собственного творчества Пушкин все глубже и своеобразнее воспринимает явления мировой, в частности французской, литературы в ее соотношении с идейно-политической проблематикой времени. В центре внимания позднего Пушкина были судьбы русского народа, возможность и необходимость революционных потрясений в России, и именно это определяло интерес Пушкина к истории Франции, революционной борьбе французского народа. По общему замыслу и принципу книга далека от узкого компаративистского решения проблемы влияния.

Сейчас, когда наше литературоведение все более настойчиво стремится дать истолкование общеевропейского и даже мирового литературного процесса, книга о связях Пушкина с европейской культурой, несомненно, сыграет свою положительную роль.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

О ходе выполнения решений XXI съезда КПСС о развитии промышленности, транспорта и внедрении в производство новейших достижений науки и техники. Постановление Пленума ЦК КПСС, единогласно принятое 15 июля 1960 года. Резолюция об итогах совещания представителей коммунистических и рабочих партий в Бухаресте. Принята единогласно Пленумом ЦК КПСС 16 июля 1960 года. 48 стр. Цена 50 к.

Н. С. Хрущев. Речь на III съезде Румынской рабочей партии 21 июня 1960 года. Речь на митинге трудящихся в Бухаресте 25 июня 1960 года. 48 стр. Цена 50 к.

Н. С. Хрущев. За прочный мир во имя счастья и светлого будущего народов. Речь на Всероссийском съезде учителей 9 июля 1960 года. 36 стр. Цена 40 к.

Э. Бартошевич, Е. Борисоглебский. Именем бога Иеговы. 160 стр. Цена 2 р.

Г. Глезерман. О законах общественного развития. 240 стр. Цена 3 р.

Эндрю Грант. Социализм и средние классы. 200 стр. Цена 3 р. 50 к.

История Болгарской Коммунистической партии. В помощь изучающим историю ВКП. 392 стр. Цена 7 р.

В. Г. Коновалов. Герои одесского подполья. Предисловие Мориса Тореза. 264 стр. Цена 3 р. 40 к.

Основы марксистско-ленинской эстетики. 640 стр. Цена 10 р.

Н. А. Рубанин. Среди тайн и чудес. 240 стр. Цена 3 р.

VII съезд Венгерской социалистической рабочей партии. Будапешт, 30 ноября — 5 декабря 1959 года. 264 стр. Цена 5 р. 50 к.

Свет над Россией. Очерки по истории электрификации СССР. 400 стр. Цена 8 р.

Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Документы и материалы. 292 стр. Цена 4 р. 50 к.

Жан Эффель. Сотворение мира и человека. 240 стр. Цена 13 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

И. Анисимов. Классическое наследство и современность. 328 стр. Цена 7 р. 70 к.

Г. Афзал. В строю. Стихи. Перевод с татарского. 108 стр. Цена 1 р. 40 к.

Т. Ахтанов. Суровые дни. Роман. Перевод с казахского. 380 стр. Цена 6 р. 25 к.

А. Балодис. Крылатые горы. Стихи. Перевод с латышского. 156 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ю. Герман. Один год. Роман. 632 стр. Цена 10 р. 60 к.

Л. Гира. Здравствуй, вихри! Стихи. Перевод с литовского. 128 стр. Цена 2 р. 20 к.

С. Граховский. У синих криниц. Стихи. Перевод с белорусского. 132 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Золотаревский. Белые вороны. Сатирические стихи. 92 стр. Цена 1 р. 20 к.

С. Касторский. Повести М. Горького «Городок Окуров» и «Жизнь Матвея Кожемякина». 380 стр. Цена 9 р. 45 к.

З. Кэдрина. Из живого источника. Очерки советской казахской литературы. 408 стр. Цена 9 р. 50 к.

Б. Кежун. Лирика, сатира. 204 стр. Цена 2 р. 5 к.

В. Лаврентьев. Пьесы. 444 стр. Цена 9 р. 70 к.

Б. Майлин. Повести. Перевод с казахского. 488 стр. Цена 8 р. 20 к.

И. Меттер. Обида. Повести и рассказы. 548 стр. Цена 9 р. 20 к.

Б. Минулич. Повести. Перевод с белорусского. 452 стр. Цена 8 р.

Д. Минаев. Стихотворения и поэмы. 448 стр. Цена 5 р. 15 к.

Миртемир. Такое уже время. Стихи. Перевод с узбекского. 100 стр. Цена 1 р. 50 к.

Н. Н. Михайлов, З. В. Косенин. Американцы. Повесть. 224 стр. Цена 3 р. 40 к.

В. Озеров. Трагедии и стихотворения. 448 стр. Цена 8 р. 70 к.

Н. Погодин. Янтарное ожерелье. Роман. 280 стр. Цена 5 р. 10 к.

А. Пысин. Эхо. Стихи. Перевод с белорусского. 104 стр. Цена 1 р.

А. Чивилихин. Стихи и поэмы. 252 стр. Цена 5 р. 30 к.

К. Эрендженов. Песнь чабана. Повесть. Перевод с калмыцкого. 108 стр. Цена 1 р. 60 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Д. Ален-Фурнье. Большой Мольн. Роман. Перевод с французского. 207 стр. Цена 5 р. 20 к.

Касым Аманжолов. Письмо родине. Избранное. Перевод с казахского. 152 стр. Цена 2 р. 30 к.

Софья Виноградная. Память сердца. Из рассказов о В. И. Ленине. 63 стр. Цена 50 к.

Вчера и сегодня. Очерки русских советских писателей. В двух томах. Том I. 471 стр. Цена 10 р. 50 к. Том 2. 544 стр. Цена 12 р.

А. М. Еголин. Некрасов и поэты-демократы 60—80-х годов XIX века. 356 стр. Цена 9 р. 70 к.

В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. 308 стр. Цена 6 р. 70 к.

В. Я. Кирпотин. Ф. М. Достоевский. Творческий путь. 608 стр. Цена 14 р. 95 к.

Б. А. Кржевский. Статьи о зарубежной литературе. 439 стр. Цена 11 р. 10 к.

Луиза Мишель и Жан Гетрэ. Нищета. Роман в двух частях. Перевод с французского. Часть первая. 528 стр. Цена 8 р. 60 к. Часть вторая. 540 стр. Цена 8 р. 70 к.

Сомерсет Моэм. Луна и грош. Роман. Перевод с английского. 216 стр. Цена 5 р. 70 к.

О русском реализме XIX века и вопросах народности литературы. Сборник статей. 448 стр. Цена 11 р. 50 к.

Жан Прево. Стендаль. Опыт исследования литературного мастерства и психологии писателя. Перевод с французского. 439 стр. Цена 11 р.

Русская сатира XIX — начала XX вв. 730 стр. Цена 12 р. 15 к.

У Цзу-сян. Накануне отъезда. Рассказы. Перевод с китайского. 264 стр. Цена 4 р.

Геннадий Фиш. Падение Кимас-озера. Повесть. Мы вернемся, Суомин Роман. 400 стр. Цена 7 р. 80 к.

Садек Хедаят. Вродяга Аколь. Избранные произведения. Перевод с персидского. 392 стр. Цена 6 р. 25 к.

М. П. Чехова. Из далекого прошлого. 272 стр. Цена 6 р. 45 к.

Бонкимчондро Чоттопадхай. Радж Сингх. Исторический роман. Перевод с бенгали. 264 стр. Цена 3 р. 55 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Константин Ваншеннин. Надпись на книге. Стихи. 128 стр. Цена 2 р. 85 к.

Конст. Воробьева. Гуси-лебеди. Повести и рассказы. 159 стр. Цена 2 р. 20 к.

Владимир Гнеушев. Тревога. Стихи. 112 стр. Цена 2 р. 80 к.

Глеб Голубев. Улугбек. 200 стр. Цена 4 р. 85 к.

Дорогой отцов. Сборник очерков. 159 стр. Цена 2 р. 30 к.

И. Забелин. Зона взрывов. Рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 5 к.

Аленсей Кожевников. Добрые всходы. Повести. Рассказы. Очерки. 367 стр. Цена 6 р. 75 к.

Юр. Корольков. Через сорок смертей. Повесть. 288 стр. Цена 6 р. 65 к.

Молодые поэты Индии. Сборник стихов. 160 стр. Цена 2 р. 85 к.

Дмитро Павлычко. Быстрина. Стихи. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 1 р. 40 к.

Аленсей Першин. Побеждает тот, кто прав. Повесть. 159 стр. Цена 2 р. 35 к.

Полководцы гражданской войны. Сборник очерков. 352 стр. Цена 6 р. 90 к.

Иван Симонов. Охотники за сказками. Повесть. 368 стр. Цена 8 р. 45 к.

Сергей Смирнов. Русская красавица. Поэма. 96 стр. Цена 3 р. 25 к.

ДЕТГИЗ

Э. Багрицкий. Птицелов. Стихи и поэмы. 160 стр. Цена 3 р. 85 к.

И. Брагинин, Л. Никольский. Сила сильных. 192 стр. Цена 4 р.

С. Бытовой. Когда сходятся берега. Сборник рассказов. 128 стр. Цена 2 р. 90 к.

И. Волк. Санька покидает слободку. Историческая повесть. 96 стр. Цена 2 р. 40 к.

Е. З. Воробьев. Капля крови. Повесть. 176 стр. Цена 4 р.

Г. Н. Зубарев. Что ты знаешь о пластмассах. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

Д. Кервуд. Гризли. Казан. Повести. Перевод с английского. 320 стр. Цена 5 р. 95 к.

С. М. Марьяч. Сигнал бедствия. Повесть. 192 стр. Цена 4 р. 5 к.

Г. Мартынов. Каллистяне. Научно-фантастический роман. 288 стр. Цена 6 р. 95 к.

Мастер Иванко. Закарпатские сказки. 160 стр. Цена 3 р. 20 к.

Рассказы о Ленине. Ленинградские писатели — детям. 286 стр. Цена 6 р. 50 к.

А. И. Рутько. Повесть о первом подвиге. 128 стр. Цена 2 р. 65 к.

П. Северный. Шумит тайга Маньчжурии. Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 80 к.

А. А. Шахов. С весной на Север. Рассказы. 160 стр. Цена 3 р. 60 к.

Н. Шер. Рассказы о русских писателях. 512 стр. Цена 11 р. 75 к.

С. И. Штейман. Волшебный жезл. Рассказы из жизни. 144 стр. Цена 3 р. 20 к.

ГЕОГРАФИЗ

З. Анрамов. Жемчужина Средней Азии. 78 стр. Цена 1 р. 35 к.

С. Кондратьев. Необычные случаи на охоте и рыбной ловле. 110 стр. Цена 1 р. 75 к.

И. В. Никольский. География транспорта СССР. 406 стр. Цена 9 р. 20 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Д. Дегтяренко. Развитие советской государственности в Таджикистане. 168 стр. Цена 4 р. 40 к.

И. М. Ильинская. Судебное рассмотрение споров о праве на воспитание детей. 72 стр. Цена 1 р. 10 к.

В. С. Основин. Постоянные комиссии социалистической законности и охраны общественного порядка местных Советов. 56 стр. Цена 65 к.

Правовые вопросы управления промышленностью и строительством в СССР. Сборник статей. 396 стр. Цена 7 р. 50 к.

А. И. Ставцева, С. С. Каринский, Л. И. Пергамент и другие. Научный комментарий судебной практики по гражданским делам за 1959 г. 140 стр. Цена 2 р. 20 к.

Ю. К. Толстой. Жилищные права и обязанности граждан СССР. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. П. Шаламов. Теория улик. 184 стр. Цена 4 р. 95 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 25.VII 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 23/VIII 1960 г.
А 05592. Формат бумаги 70×103^{3/4} мм. 9 бум. л. — 24.66 печ. л. Тираж 90 200.
Заказ № 1428.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.